

Беназир Бхутто

ДОЧЬ
ВОСТОКА



Автобиография

*С любовью посвящаю памяти моего отца,
брата и всех, кто отдал свои жизни
в борьбе с военным режимом
генерала Зии уль-Хака в Пакистане*



Беназир Бхутто

ДОЧЬ
ВОСТОКА



DAUGHTER OF THE EAST

BY

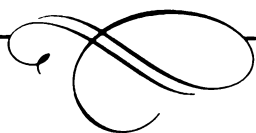
BENAZIR BHUTTO



HAMISH HAMILTON · LONDON

Беназир Бхутто

ДОЧЬ
ВОСТОКА



Автобиография

Москва
«Международные отношения»
1991

ББК 66.4(5П)
Б94

Ответственный редактор — М. Л. САЛГАНИК

Б $\frac{0804000000-013}{003\{01\}-91}$ КБ-35-4-1990

ISBN 5-7133-0405-1

© Перевод на русский язык
В. А. Панкратовой,
Е. Р. Рождественской, 1991

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Эта книга не требует ни предисловия, ни комментария — Беназир Бхутто сама прекрасно рассказала все, что сочла нужным, о себе и о своем мире.

Но автобиография отличается тем, что в ней не бывает заключительной главы. Автор ставит точку на том месте, где застало его время, а жизнь продолжает писать новые страницы.

Зенон, конечно, прав — Ахиллу не догнать черепахи, а книге и подавно не угнаться за течением жизни, но жизнь добавила к повествованию Беназир главу, исполненную такого драматизма и значимости, что обойтись без нее никак нельзя.

При всей своей неординарности и яркости, личность Беназир Бхутто едва ли вызвала бы столь большой интерес к себе, не будь ее судьба неразрывно связана с исторической судьбой целого государства. Так было до сих пор, и так будет дальше. Есть нечто кинематографическое в крутых поворотах судьбы этой женщины. Она и на международной политической арене появилась как киногероиня — молодая и красивая, отважная воительница за справедливость, дочь, подхватившая знамя, выпавшее из рук казненного отца, первая женщина — глава мусульманского государства, провозвестница демократических перемен в нем.

А тут еще за считанные дни до ее победы на выборах выходит в свет — и мгновенно становится бестселлером — «Дочь Востока». Мир, не слишком пристально следивший за перипетиями пакистанской политики, узнает о лишениях и страданиях, через которые пришлось пройти Беназир, и еще более симпатизирует ей.

В Пакистане ликование — на каждом шагу ее портреты, многолюдные толпы встречают и провожают ее, скандируя лозунги, на которых имя Беназир рифмуется с «кау́м ки так-ди́р» — «судьба народа», и похоже, что все так и думают.

Политический триумф — и семейная идиллия. Только

и разговоров о том, что Беназир и ее муж Асиф Зардари души не чают друг в друге. Через четыре месяца после выборов у счастливой четы появляется первенец, которому дают старинное синдское имя Билавал, а через год — еще и девочка, ее называют Бахтавар — дарующая счастье.

Какой счастливый был бы конец, желанный хэппи-энд для фильма о том, как награждаются упорство и отвага. Но режиссер-жизнь командует: «Мотор!» И события развиваются дальше по неумолимой логике истории.

Пройдет шестьсот семь дней, и Беназир Бхутто президентским указом будет смещена со своего поста. Ей предъявят длиннейший перечень прегрешений: от коррупции до небрежения исламизацией, от ущемления прав провинций до государственной измены.

Беназир Бхутто объявила происшедшее «конституционным государственным переворотом, организованным пакистанскими спецслужбами», обвинения категорически отвергла и снова ринулась в бой...

И проиграла на новых выборах.

Что же произошло с Беназир Бхутто? И что происходит с Пакистаном?

В поисках ответов на эти вопросы придется отмотать пленку и посмотреть на события, разворачивавшиеся задолго до рождения Беназир. И даже до рождения Пакистана. А лучше всего — начать с начала.

* * *

Начнем с начала. Отмотаем кинопленку до самого VIII века — до первого появления мусульман на Индостанском субконтиненте.

Это были арабы, и они установили свою власть как раз в Синде, в родной провинции Беназир Бхутто. Однако продержались они там недолго и существенного влияния на другие части Индии не оказали.

Настал черед мусульманских завоевателей — тюрок. Их орды раз за разом низвергались через Хайберский перевал на щедрые индийские равнины, и понемногу ислам растекался по всему субконтиненту. Идолопоклонники с их сонмом богов и жесткой иерархией каст вошли в соприкосновение с богом единым и незримым, перед которым все равны. Последователи этого бога были готовы распространять свою веру и силой, но индусы из низких каст принимали ислам добровольно, оставаясь, впрочем, на тех же ролях, какие им предписывались кастовым делением.

Шли века, возникали и распадались султанаты, княжества, империи — мусульманские, индусские, сикхские. Со временем всех их подчинила себе Великобритания, уравнив былых завоевателей с завоеванными. Но к тому времени мусульмане уже стали частью индийского народа. Индийские мусульмане образовали здесь, в стране множества этносов, еще один — в гумилевском понимании, и добавили своей культурой очень яркую и заметную краску в индийское «единство в многообразии».

Перемены наступили с приближением XX века, когда на политическую авансцену вышли новые лидеры: индийцы, приобщившиеся к либеральной мысли Запада и мечтавшие о свободе и новой жизни для своей родины. В 1885 году англичанин Аллен Октавиан Юм создал в Индии первую политическую партию — Национальный конгресс, в которую вошли образованные аристократы из различных религиозных общин. Как говорил третий президент Национального конгресса, бомбейский мусульманин сэр Бадруддин Тьябджи, «я не вижу ровно ничего в позициях различных индийских общин, что понудило бы какую-то одну отделиться от остальных в попытках проведения великих общих реформ, долженствующих послужить на общее благо».

Справедливо. Однако положение стало меняться с радикализацией обстановки в стране, а точнее, с началом деятельности Махатмы Ганди, когда индийская политическая жизнь сделала скачок от элитарности к массовости. За Ганди пошли десятки миллионов людей разных вер, неискушенных в политике, но неостановимых в своем движении.

Какой трагический парадокс — Махатма Ганди, человек, свято веривший в единство и равенство людей всех вер, заплативший жизнью за эту веру, именно он внушил ортодоксальной мусульманской верхушке, богатым землевладельцам и муллам страх за их будущее в стране, где они составят религиозное меньшинство и утратят свое влияние!

Крупный план: портрет этой верхушки, снятый ясно и четко известным историком и политологом М. Дж. Акбаром: «Старая мусульманская элита, созданная столетиями феодальной власти, состояла из двух основных групп: крупных землевладельцев и улема — духовенства. Ни одну из них не устраивали идеи демократии, ибо демократическое правление должно было неизбежно привести к земельной реформе и к секулярному законодательству. Ислам соединяет слово и дело теснее, чем другие мировые религии: Коран и хадисы являются, соответственно, словом

божьим и основой для социальных законов. Отсюда и исключительное влияние муллы, который выступает как истолкователь слова божьего и как законоучитель. Его влияние не ограничено юриспруденцией — контролируя систему образования, он оказывает воздействие и на повседневную жизнь общины. Духовенство не могло желать такого общественного устройства, при котором юриспруденция и народное образование стали бы функциями государства... Духовенство поддерживали богатые землевладельцы — всевозможные навабы и хан-бахадеры. Сложился классический союз традиционных сил: одна любой ценой стремилась оберечь свои экономические привилегии, другая стремилась не утратить социальное господство».

Уже в 1906 году с благословения англичан была создана Мусульманская лига, партия индийских мусульман, которая, как явствует из ее названия, должна была бы иметь широкую базу. На самом деле она стала, по сути, партией «союза традиционных сил», то есть мусульманской верхушки, и доказывает это факт почти невероятный: за все время своего существования и по сей день она только однажды получила большинство на выборах — в 1946 году, накануне отделения Пакистана, когда субконтинент пылал пожаром межрелигиозной розни.

Не может не встать вопрос о том, какую все-таки роль сыграли колониальные власти в обособлении мусульман, которое позднее переросло в отчуждение, а в конечном счете — в создание отдельного государства для них. То, что мусульманские феодалы видели в англичанах своих естественных союзников, а англичанам была на руку любая раздробленность антиколониального движения, — самоочевидно. Но вот действительно ли колонизаторы вынашивали дьявольские планы расчленения субконтинента или, преследуя собственные цели, просто помогли джинну выбраться из бутылки?

Скорее второе. Можно согласиться с горькими мыслями Мауланы Мохаммеда Али, одного из видных мусульманских лидеров 30-х годов: мы, кажется, поделили обязанности классической имперской формулы «разделяй и властвуй» — мы разделяемся, а англичане властвуют.

Отождествление нарождающегося национального самосознания с религией придумали не колонизаторы, но ввели религиозный фактор в политический обиход они, создавая, например, отдельные мусульманские избирательные курии. Получилось, что посеяли зубы дракона все вместе, с тех

самых пор этот посев продолжает всходить и давать кровавейшие урожаи.

Почву удобрили и индусские национал-патриоты, неустанно напоминавшие, что индусов в Индии 80 % и потому все, чья вера не родилась на этой земле, должны занимать на ней подчиненное положение.

В результате взаимодействия множества факторов — политических и экономических, реальных и фантомных и бог знает каких еще — создалась атмосфера, понудившая миллионы мусульман, жителей разных частей огромного Индостана, разрушить веками складывавшийся гомеостазис и выделиться в собственное государство. Но, по словам все того же М. Дж. Акбара, «Пакистан создали не мусульманские массы, это государство своим рождением обязано группке «лидеров», которым было недостаточно отдельной веры, и они потребовали себе отдельные избирательные курии, отдельный язык, отдельную манеру одеваться и, наконец, отдельный дом».

Пакистан — «отдельный дом» для индийских мусульман — был построен в августе 1947 года. Все его жители веровали в одного бога и желали жить по законам Корана. Впрочем, они без всяких помех делали это и до образования Пакистана, поэтому немало мусульман осталось в Индии — сегодня их там около 120 миллионов.

Фундаментом дома стал ислам — ничто другое его жителей не объединяло, ибо воплощенная в реальность политическая доктрина обрела страннейшую географическую конфигурацию: западное и восточное крылья Пакистана были разделены тысячью с лишним миль индийской территории. Она сохранилась до 1971 года, пока бенгальские мусульмане после кровопролитной войны с единоверцами из западного крыла не откололись и не утвердили на политической карте суверенное государство Бангладеш.

Едва ли сейчас, в ретроспективе, имеет значение, что «отцы нации», тот же Мохаммед Али Джинна, европейски образованный либерал, видели будущее Пакистана в сопряжении демократии и просвещенного ислама, где коранические идеи равенства и гуманизма воплотились бы в современных государственных институтах.

На практике ислам в Пакистане сразу же был возведен в ранг монопольной идеологии, превращен в инструмент жесткой централизации нового государства, которое понадобилось в прочной скрепе, поскольку не сложилось исторически, а было буквально выкроено из карты субконтинента.

Но идеология тоже нуждалась в подпорках, и ими стали реальные, осязаемые структуры — армия и бюрократический аппарат, унаследованные Пакистаном еще от англичан.

Монополярная идеология вместе с ее подпорками должна была служить противовесом этнической самобытности народов, составивших Пакистан. Единый государственный язык призван был вместе с религией сделать единой нацией — пакистанцами — патханов и белуджей, живущих племенами в своих недоступных горах, крестьян плодородного Пенджаба и засушливого Синда, а вначале — еще и темпераментных, смуглых бенгальцев из восточного крыла. У всех — собственные языки, обычаи, жизненный уклад, которые роднят их с одноплеменниками в Афганистане и в Индии больше, чем друг с другом...

Несколько особняком в этой этнической пестроте — мохаджире — миллионов десять мусульман, во время раздела бежавших от погромов из Индии, но так и не растворившихся в Пакистане. Они именуют себя нацией и оказывают существенное влияние на политическую жизнь. По их настоянию был объявлен государственным язык урду, хотя на нем и сегодня говорит меньше 10 процентов населения страны.

Этнически однородные государства в наше время можно по пальцам перечесть, а национальная политика смешанных государств зависит от того, благом или бедой они считают свой состав. Пакистан неизменно рассматривал любое проявление национальных чувств как угрозу своей целостности, как ересь, требующую искоренения.

К изначальному «союзу традиционных сил» после создания Пакистана добавилась армия, породненная на уровне высшего офицерского состава с земельной аристократией и с высшим бюрократическим эшелоном.

Очень скоро армия заняла главное место в триаде сил: еще с даллесовских времен Соединенные Штаты занялись оборудованием Пакистана под «форпост сдерживания коммунизма», и чем острее делалось блоковое противостояние в регионе и в мире, тем щедрее изливался американский золотой дождь, в первую очередь на генералитет. Собственно говоря, Америке было все равно, на кого ставить, но генералы оказывались надежнее штатских.

В общей сложности Пакистан прожил под армейским сапогом 24 года — более половины своего существования, и это наложило совершенно определенный отпечаток на общество.

Первый военный переворот произошел в 1958 году, и первый же военный диктатор генерал Айюб Хан бросил

крылатую фразу: «Демократия не приживается в жарком климате!» Генеральский путь развития привел к отколу Бангладеш. Бангладеш в переводе означает «страна бенгальцев», и она действительно этнически однородна. Пакистан же — это «страна чистых». Нюанс чрезвычайно многозначный: при столкновении национальных и идеологических основ жизни народа верх взяла национальная.

Отделение Бангладеш наглядно продемонстрировало несостоятельность концепции о возможности существования чисто идеологического Пакистана. Не в силах идеология служить единственной скрепой многонационального и многоукладного государства, сколько ни подпирай, она так и останется химерой, порожденной политическими мечтаниями.

Так как же дальше жить? Выражаясь нашим языком, потуже закрутить идеологические гайки или искать иных путей? Каких?

И тут на экране впервые появляется семья Бхутто в лице Зульфикара Али Бхутто, возглавлявшего страну в то время, когда в ней как будто сложились условия, благоприятствующие переменам.

Беназир так написала об отце, что ни в каких дополнительных штрихах этот портрет не нуждается. Разве что лишний раз подчеркнуть: за ним стояла первая в Пакистане действительно массовая политическая партия — Пакистанская народная партия (ПНП), которую он организовал в 1969 году.

Армия, покрывшая себя позором в Бангладеш, тихо отсиживается в казармах, с духовенством Зульфикар Али Бхутто не ссорится, для верхов общества он свой — человек их круга.

«Наша экономика — социализм, наша политика — демократия, наша религия — ислам!» — провозгласил он.

Принимается конституция, вводится трудовое законодательство, национализируются банки и некоторые отрасли промышленности, начинается пусть весьма ограниченная, но все-таки земельная реформа — и через семь лет все заканчивается очередным военным переворотом.

Беназир Бхутто считает, что ее отец допустил роковую ошибку, поверив, будто армия больше не воспрянет, будто эпоха военных диктаторов миновала, ибо этот путь ведет в тупик и общество это осознало.

Кто знает, что она думает сейчас? Беназир постоянно помнила об армейской угрозе.

А может, дело в том, что общество, психология которого сформирована подчинением монопольной идеологии, под-

крепленной армейской дисциплиной, трудно воспринимает демократическую практику? Популистские же лозунги приводят такое общество в состояние хаоса.

Ведь Беназир рассказывает о том, что заставило ее отца весной 1977 года дать армии право действовать, которым армия распорядилась по-своему.

На экране одно из наиболее зловещих лиц недолгой, но петливой истории Пакистана — генерал Зия уль-Хак. Беназир описывает свое первое знакомство с угодливым человечком. Единодушное мнение всех, кто знал его до взлета, — ничтожество. Ошиблись — генерал оказался сметливым, а к тому же ему неслыханно повезло. Сметливость проявилась в том, что он освятил террор зеленым знаменем ислама, удачу же ему обеспечил Леонид Ильич Брежнев.

Генерал отличался солдатской прямоотой: «Пакистан — идеологическое государство, такое же, как и Израиль. Без иудаизма Израиль рухнет, как карточный домик. Пакистан без ислама, превращенный в секулярное государство, тоже рухнул бы. Вот почему мы должны дать нашей стране мусульманскую систему ценностей».

Мусульманскую систему ценностей — исламской республике? Зия уль-Хак ввел законы средневековой жестокости, чего никогда не было у мусульман Индостанского субконтинента: за воровство отсекали руку, за прелюбодеяние побивали камнями, применялись телесные наказания, включая публичные порки, и все это во имя всемогущего и всемилостивого Аллаха. На службу исламу были поставлены и современные методы подавления: цензура, аресты с конфискацией имущества, пытки в тюрьмах.

Мир ахнул. Казнь Зульфикара Али Бхутто и хладнокровная ремарка генерала — ну, вешаем, так не всех же! — заставили было поморщиться даже администрацию США, но советское вторжение в Афганистан за одну ночь все изменило. Генералу осталось только подставить сундуки, чтобы американцы набивали их деньгами и вооружением. Война в Афганистане все разгоралась, и рука дающего не оскудевала. В Пакистан поступала и часть оружия, направлявшегося афганским муджахеддинам. В стране, как на дрожжах, возшла мафиозная экономика, при этом мафия торговцев оружием орудовала бок о бок с наркомафией.

Подавление политической деятельности и пренебрежение к гражданским правам неизбежно приводят к образованию социального вакуума, а поскольку природа не терпит

пустоты, в него так и хлынула племенная стихия. В последние годы диктатуры Зии уль-Хака межэтническая рознь стала чуть ли не доминирующим фактором.

Политика исламизации, по словам оксфордского профессора Акбара С. Ахмеда, «привела к отождествлению ислама с насилием и жестокостью, с самыми отрицательными явлениями в жизни общества, заставляя его забыть, что в основе этой религии лежат благочестие, истинная скромность, уважение к знанию, дух братства и терпимости».

Происходившее в Пакистане получило название «культура „Калашникова”». Общество оказалось брутализованным до предела.

Причины авиакатастрофы, в которой погиб Зия уль-Хак, расследовать так и не удалось. Была ли то рука Аллаха или человека, и, если так, то чья именно — неизвестно.

И вот в руках Беназир Бхутто бразды правления страной, раздираемой в клочья противоречиями, старыми и новыми.

Первый ее поступок: амнистия всем политическим заключенным и разрушение тюрьмы, где погиб отец.

Народ ликовал, но Беназир знала силу своих противников и, надо полагать, именно поэтому начала не с реформ, а с укрепления своих политических позиций — ведь Пакистанская народная партия так и не получила абсолютного большинства в парламенте. К тому же, сражаясь за власть, она вступала во всевозможные альянсы и щедро раздавала авансы — пришла пора платить долги.

Видимо, среди тех, кто шел вместе с Беназир, немало нашлось людей, посчитавших, что многолетние преследования при прежнем режиме теперь дают им право на куски государственного пирога в особо крупных размерах.

В стране, где народ далек от политики и ни за что не отвечает, массовое сознание отличается неустойчивостью и им легко манипулировать.

Все случаи коррупции, как подлинной, так и предполагающейся, обязательно соотносились с ближайшим окружением Беназир Бхутто, в частности с финансовыми операциями ее мужа и свекра.

Вряд ли этого было достаточно, чтобы пошатнуть авторитет нового правительства в народе, но и перемен к лучшему тоже не наблюдалось, более того, в стране нарастала напряженность.

На первое место вышли межнациональные конфликты.

...К маю 1990 года в Синде, на родине Беназир Бхутто, столкновения между коренным населением и мохаджирами,

переселенцами из Индии, угрожают перейти в настоящую гражданскую войну. Под градом обвинений в неспособности навести порядок Беназир вынуждена обратиться за помощью к армии. Армия охотно откликается на призыв, но требует себе особых полномочий — введения военного положения. Ситуация до такой степени напоминает происшедшее с отцом, что она с ужасом отказывается. Беспорядки продолжают.

Вечный индо-пакистанский спор из-за Кашмира приобретает небывалую остроту, что дает армии еще один повод быть недовольной политикой Беназир, которая старалась уладить разногласия с Индией мирным путем.

Фундаменталисты обвиняют Беназир в предательстве интересов кашмирских мусульман. Муллы открыто заявляют о том, что женщине не положено даже возглавлять молитву в мечети, как же можно терпеть ее во главе мусульманского государства?

На август было назначено рассмотрение в нижней палате парламента, где у Беназир большинство, законопроекта, который, если бы был принят, сделал бы шариат высшим законом Пакистана. Законопроект, внесенный еще Зией уль-Хаком, получил в июле одобрение сената, и судьба его теперь зависела бы от Беназир и ее партии. Допустила ли бы она, чтобы шариат стал единственным законом демократического государства? А смогла ли бы она сразиться с ортодоксальным духовенством и с фундаменталистами?

Беназир Бхутто не пришлось принимать решения — 6 августа 1990 года она была отстранена от власти. А в октябре состоялись выборы, на которых она потерпела поражение, заняв, правда, место лидера оппозиции.

Может показаться, будто все шло по старому сценарию, что инерция оказалась сильнее движения, а «союз традиционных сил» успешно пресек попытки обновления.

Однако на сей раз армии пришлось действовать за кадром — а это в пакистанском контексте очень важно. Основная причина в том, что новая глава пакистанской истории разворачивалась на фоне принципиально новых политических реальностей глобального порядка.

Глобальное противостояние сверхдержав, которое полвека определяло ситуацию в мире, перестало существовать. Можно сказать, что сегодня обе сверхдержавы заинтересованы в демократических преобразованиях в Пакистане и армия уже не может рассчитывать на безоговорочную поддержку США.

Этнические конфликты внутри Пакистана явно больше не удастся подавить силой, так что придется искать пути для их улаживания. Надо полагать, что будут и реформы, — ведь страна сейчас на распутье.

«Жизнь все время бросает нам новые вызовы!» — сказала Беназир, когда ее спросили, будет ли она продолжать политическую деятельность.

М. Салганик

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я всегда придавала очень большое значение историческим документам. Когда в 1977 году было свергнуто правительство моего отца, Зульфикара Али Бхутто, я уговаривала многих, кто работал с ним в тесном контакте, написать о годах его правления. Но в последовавшие затем тяжелые годы военной администрации этим людям пришлось либо спастись от преследований со стороны генерального режима, либо отбиваться от ложных обвинений. Иным пришлось бежать — и они потеряли доступ к личным архивам. Я сама взялась за книгу о правлении отца не могла — сначала с головой ушла в борьбу за восстановление демократии в Пакистане, потом без предъявления обвинений была надолго заключена в тюрьму.

В апреле 1986 года я неожиданно оказалась в центре мирового внимания, когда, возвратившись в Пакистан после двухлетнего изгнания, была встречена более чем миллионом соотечественников. Ко мне стали обращаться с предложениями написать не об отце, а о самой себе. Я долго колебалась. Одно дело — писать об отце, ставшем демократически избранным премьер-министром Пакистана, много сделавшем для страны, и совсем другое — писать о себе, понимая, что мои важнейшие политические битвы еще впереди. В этом виделась какая-то нескромность. Мне казалось, что автобиографии пишутся на закате жизни, когда оглядываешься назад.

Случайное замечание приятельницы решило дело. «Что не записано, забывается», — сказала она. Я согласилась. Я пережила черные годы военной администрации, как и многие пакистанцы, но, в отличие от них, у меня есть возможность написать об этом. Важно, чтобы мир узнал о страданиях, выпавших на долю Пакистана после военного переворота генерала Зии уль-Хака.

Мне трудно далась эта книга. Пришлось заново пережить муки прошлого. Но работа над книгой стала и своего

рода катарсисом — я, наконец, приняла как данность воспоминания, которые раньше гнала от себя.

Это рассказ обо мне: я описываю события, как я их видела, чувствовала, воспринимала. Это не глубинное исследование Пакистана, а взгляд на общество, перешедшее от демократии к диктатуре. Я хочу, чтобы книга стала и призывом к свободе.

*Беназир Бхутто
21 июня 1988 года
Карачи, Пакистан*

УБИЙСТВО ОТЦА

Они убили моего отца на рассвете 4 апреля 1979 года в Центральной тюрьме Равальпинди. Мы с матерью находились всего на расстоянии нескольких миль, нас держали под стражей в богом забытом учебном лагере полиции в Сихале, и я почувствовала, когда он умер. Несмотря на все снотворные, которые дала мне мать, чтобы как-то пережить эту мучительную ночь, в 2 часа я проснулась как от толчка.

— Нет! — вырвался крик из сдавленного горла. — Нет!

Я не могла дышать, я не хотела дышать. Папа, папа! Несмотря на жару, мне было холодно, меня не переставала бить дрожь. Нам с матерью нечем было утешить друг друга. Мы несколько часов просидели обнявшись в ободранном полицейском бараке. На рассвете мы были уже одеты и готовы сопровождать тело отца на семейное кладбище. Когда появился охранник, мать глухо сказала:

— Я в трауре и не могу видеть посторонних. Поговори с ним ты.

Мать вступила во вдовий траур — *иддат*. в течение четырех месяцев и десяти дней она не могла показываться чужим людям.

Я вышла в переднюю комнату с растрескавшимся цементным полом, которая служила нам гостиной. Пахло сыростью и гнилью.

— Мы готовы сопровождать тело премьер-министра, — объявила я молодому охраннику, нервно переминавшемуся с ноги на ногу.

— Его уже увезли хоронить, — сказал он.

Мне показалось, что он ударил меня.

— Без семьи? — с горечью спросила я. — Даже уголовникам из военной администрации известно, что религиозный долг семьи требует проводить усопшего в последний путь, прочитать заупокойную молитву, взгля-

нуть в лицо, прежде чем предать земле. Мы подавали прошение начальнику тюрьмы...

— Уже увезли, — прервал он меня.

— Куда его увезли?

Охранник молчал.

— Умер без мучений, — сказал он наконец. — Я принес вещи.

И стал передавать мне жалкие пожитки, которые были у отца в камере смертников: его *шальвар-камиз* — длинную рубаху и просторные штаны (он не снимал его до конца, поскольку, будучи политическим заключенным, отказался надеть тюремную одежду); коробочку для еды, от которой он отказывался в последние десять дней; постель, разрешенную лишь после того, как он в кровь ободрал себе спину о сломанную койку; его кружку...

— Где его кольцо? — заставила я себя спросить охранника.

— Было кольцо?

Я наблюдала, как он демонстративно рылся в сумке, в карманах и наконец протянул отцовское кольцо, которое в последние дни соскальзывало с его исхудалого пальца.

— Без мучений, он умирал без мучений, — продолжал бормотать он.

Можно умирать в петле без мучений?

Вошли Башир и Ибрагим, слуги, давно жившие в нашем доме и не пожелавшие оставлять нас и здесь, поскольку в тюрьме нас не обеспечивали едой. При виде отцовской одежды Башир побелел.

— О, Аллах, — воскликнул он, — они убили сахиба, они его убили!

Никто и ахнуть не успел, как Башир плеснул на себя керосином из канистры. Он бы сжег себя, если бы не мать, ворвавшаяся в комнату.

Я застыла в оцепенении, не в силах поверить, что действительно это произошло с отцом. Это же невозможно — убит Зульфикар Али Бхутто, первый избранный самим народом премьер-министр Пакистана. После деспотизма генералов, которые правили Пакистаном со дня его основания в 1947 году, мой отец первым установил демократию в стране. Мой отец дал Пакистану первую конституцию, гарантирующую защиту законопорядка и гражданских прав людям, которые на протяжении столетий зависели от произвола вождей племен и феодалов. Он гарантировал парламентарную систему правления с выборами каждые пять лет в стране, народ

которой мог избавиться от диктаторов только насилием и кровопролитием.

Нет. Это невозможно. «Джийе Бхутто! Да здравствует Бхутто!» — скандировали миллионы, когда отец приезжал в самые отдаленные и заброшенные деревни Пакистана, — он был первым политическим лидером, посетившим их. Когда основанная им Пакистанская народная партия (ПНП) победила на выборах, отец начал проводить в жизнь свои программы модернизации: перераспределение земель, которыми из поколения в поколение владела кучка феодалов, в то время как массы оставались нищими; предоставление возможностей учиться миллионам, погрязшим в невежестве; национализацию крупных промышленных предприятий; установление минимальной заработной платы и трудового законодательства; запрещение дискриминации женщин и национальных меньшинств. За шесть лет его правления страна, задыхавшаяся во тьме, увидела свет — пока не наступило утро 5 июля 1977 года.

Зия уль-Хак — начальник генерального штаба армии, клявшийся в преданности отцу, генерал, среди ночи пославший своих солдат низложить отца и силой захватить власть в стране. Зия уль-Хак — военный диктатор, который ни пулями, ни слезоточивым газом, ни указами военного положения так и не смог уничтожить сторонников отца и сломить волю отца, приговорив его к смерти. Зия уль-Хак — обезумевший генерал, который только что казнил моего отца. Зия уль-Хак — генерал, которому еще девять лет безжалостно править Пакистаном.

Онемев, я стояла перед молодым охранником с узелком в руках — это все, что осталось от моего отца. Его вещи еще сохраняли запах одеколона «Шалимар». Я уткнулась лицом в отцовскую рубашку, неожиданно вспомнив, как Катлин Кеннеди ходила в Рэдклиффе в меховой куртке своего отца много лет спустя после его убийства. Наши семьи часто сравнивали в политическом плане, а теперь между ними появилась новая жуткая связь. В ту ночь и много ночей потом я старалась удержать отца около себя, кладя его рубашку под подушку.

Я испытывала полнейшую пустоту, будто моя жизнь разлетелась на куски. Два последних года были заняты только одним — борьбой против выдуманных обвинений, которые нагромождал военный режим Зии. Я работала в ПНП, готовясь к выборам, обещанным Зией после военного переворота и отмененным, когда он убедился, что победит

на них наша партия. Меня шесть раз арестовывали, мне периодически запрещали показываться в Карачи и в Лахоре. Все это касается и матери, правда арестовывали ее восемь раз, так как в отсутствие отца она возглавляла ПНП. Последние шесть недель нас продержали в заключении в Сихале, до этого — шесть месяцев в Равальпинди. Но до вчерашнего дня я отказывалась поверить, что генерал Зия действительно решится казнить моего отца.

Кто сообщит об этом моим младшим братьям, которые ведут борьбу против смертного приговора отцу, находясь в изгнании в Лондоне? И кто скажет моей сестре Санам — она как раз заканчивает Гарвардский университет? Меня особенно тревожила мысль о Санам. Она никогда не интересовалась политикой, но и ее постигла трагедия вместе со всеми нами. Наверное, она сейчас совсем одна. Я молила бога, чтоб она не натворила глупостей.

Я физически ощущала, как рвется на части мое тело. Как мне дальше жить? Вопреки всем стараниям, отца я не смогла спасти. Мне было одиноко. Невыносимо одиноко. В тюремной камере я спрашивала отца, куда я похороню без его советов? Я нуждалась в его политическом опыте. Я не была политиком, хоть и получила дипломы политолога в Гарварде и Оксфорде. Но что он мог ответить? Отец беспомощно пожимал плечами.

В последний раз я видела отца накануне. Боль от этого свидания была почти непереносимой. Ему не сказали, что на рассвете он будет казнен. Об этом не знали и мировые лидеры, официально обращавшиеся к военному правительству с просьбой о помиловании, среди них Джимми Картер, Маргарет Тэтчер, Леонид Брежнев, папа Иоанн-Павел II, Индира Ганди, главы почти всех мусульманских государств, Саудовской Аравии, эмиратов, Сирии. И, уж конечно, ни один трус из правительства Зии не решился объявить Пакистану день казни, опасаясь реакции масс на убийство премьер-министра. Знали только мать и я. И то догадаться об этом помог нам случай.

Рано утром 2 апреля, когда я еще лежала, в комнату быстро вошла мать.

— Розанчик, — назвала она меня моим детским именем, но от ее тона я вся напряглась. — Приехали армейские офицеры, говорят, сегодня нам *обеим* дают свидание с отцом. Что это значит?

Я точно знала, что это значит. Мама тоже. Но ни я, ни она не могли произнести это вслух. Матери давали свидания раз в неделю, и сегодня как раз был ее день.

Мое свидание — в конце недели. Раз нам обоим дадут свидание в один день, это означает только одно — свидание будет последним. Зия решился уничтожить отца.

Я лихорадочно обдумывала план действий. Нужно как-то известить своих, нужно обратиться с последним призывом к мировой общественности и к нашему народу. Времени не оставалось.

— Скажи им, что мне нездоровится, — торопливо шепнула я матери, — скажи, если это свидание — последнее, то я, конечно, поднимусь, если же нет, мы поедем завтра.

Пока мать разговаривала с конвоем, я быстро развернула заранее приготовленную записку. Нужно было отправить новую: мне кажется, нас везут на последнее свидание, поспешно писала я подруге в надежде, что она сумеет связаться с руководителями партии, а те, в свою очередь, известят дипломатический корпус и поднимут народ. Народный протест — вот наша последняя надежда.

— Немедленно передай это Ясмин, — приказала я Ибрагиму, нашему доверенному слуге, отдавая себе отчет в том, какому риску подвергаю его. Я не оставила Ибрагиму времени договориться с одним из симпатизирующих нам или просто услужливых охранников, когда тот будет дежурить. Ибрагима могли обыскать, могли выследить, но на принятие обычных мер предосторожности не было времени. Опасность огромная, но такова же и необходимость.

— Беги, Ибрагим, беги! — торопила я слугу. — Скажи, что спешишь за лекарством для меня!

Я видела в окно, как охрана сначала обсуждала проблему между собой, потом передала сообщение о моей болезни по радию и теперь ждала приказа. Тем временем Ибрагим оказался уже у ворот и заявил часовым, слышавшим переговоры о моей болезни, что бежит за лекарством для меня.

Каким-то чудом Ибрагима выпустили, на все ушло не более пяти минут. Я не в силах была унять дрожь в руках. Не было никакой уверенности в том, что записка все-таки попадет по назначению.

Послышалось потрескивание радиации, и наконец охрана передала матери решение правительства:

— Поскольку ваша дочь заболела, можете получить свидание завтра.

Мы выиграли отцу еще двадцать четыре часа жизни.

Но когда тюремные ворота наглухо закрылись за Ибрагимом, мы поняли, что надвигается беда.

Бороться, нужно бороться. Но как? Я ощущала такое бессилие тут, взаперти, пока часы отсчитывали последние минуты жизни отца. Дойдет мое послание? Поднимется ли народ, который после военного переворота всюду наталкивается на штыки и пули? И кто поднимет массы? Большая часть руководства ПНП за решеткой. И тысячи членов партии тоже, причем, впервые в пакистанской истории, женщин сажали наравне с мужчинами. А скольким пришлось глотать слезоточивый газ или подвергаться публичным поркам — число ударов писалось прямо на голой спине — за простое упоминание имени отца? Услышит ли народ наш отчаянный призыв к действию? Услышат ли нас вообще?

В 8.15 мы с матерью включили Би-би-си. Все мышцы моего тела напряглись. Я застыла перед приемником, слушая диктора, который говорил о моем сообщении из тюрьмы. Завтра, 3 апреля, дают последнее свидание с отцом. Дошла моя записка! Сейчас диктор скажет о моем призыве к народу — нет, ничего нет! Вместо этого он сказал, что начальник тюрьмы не подтвердил полученное сообщение, что один из бывших министров отцовского правительства заявил, отвечая на вопрос корреспондента, что семья Бхутто паникует. Мы с матерью не могли смотреть друг другу в глаза. Рухнула наша последняя надежда.

Мчится джип. Солдаты оттесняют с дороги людей, скованных страхом, не подозревающих, какая судьба уготована их премьер-министру. Быстро открываются и закрываются ворота тюрьмы. Надзирательницы обыскивают нас с матерью — перед этим уже обыскивали в Сихале, сейчас здесь, в Равальпинди.

— Почему вы вдвоем? — раздается голос отца из ада камеры смертников.

Мать молчит.

— Это что — последнее свидание? — спрашивает отец. Мать не в силах ответить.

— Похоже на то, — говорю я.

Отец обращается к стоящему неподалеку начальнику тюрьмы — нас никогда не оставляют наедине с отцом.

— Это последнее свидание?

— Да. — Начальнику тюрьмы явно неловко оттого, что приходится разглашать планы администрации.

— Уже назначен день?
— Завтра утром, — отвечает начальник тюрьмы.
— В котором часу?
— В пять утра, согласно тюремному распорядку.
— Когда вы получили приказ?
— Вчера вечером, — неохотно сообщает начальник.
Отец не сводит с него глаз.
— Сколько времени мне дают на свидание с семьей?
— Полчаса.
— Согласно тюремному распорядку полагается час.
— Полчаса, — повторяет начальник тюрьмы. — Согласно полученному мной приказу.

— Распорядитесь, чтобы мне дали возможность вымыться и побриться, — говорит ему отец. — Мир прекрасен, и я хочу быть опрятным, покидая его.

Полчаса. Полчаса на прощание с человеком, который мне дороже всего на свете. Боль клещами сдавливает грудь. Только не плакать. Только не сорваться и не усугубить муки отца.

Отец сидит на матрасе, брошенном на пол, больше в камере ничего нет. Стол и табуретку унесли, постельное белье тоже.

— Забирай все это, — говорит отец, отдавая мне журналы и книги, которые ему передали раньше. — Не хочу, чтобы они рылись в моих вещах.

И сигары, которые принесли ему адвокаты.

— Только на вечер оставлю одну, — решает он.

Оставляет себе флакон одеколона «Шалимар». Отец хочет отдать мне и свое кольцо, но мать просит не снимать его.

— Хорошо, — соглашается отец, — но я хочу, чтобы потом это кольцо было у Беназир.

— Я передала сообщение, — шепчу я отцу, стараясь, чтобы не услышали надзиратели. И быстрым шепотом излагаю свой план. Отец явно мной доволен — уже почти освоилась в политике, читаю я на его лице.

В камере сумрачно. Я плохо вижу лицо отца. На прежних свиданиях разрешали входить в камеру, но сегодня нет. Мы с матерью прильнули к дверной решетке и шепотом беседуем с ним.

— Поцелуй детей за меня, — обращается он к матери. — Скажи Миру, Санни, Шаху, что я всегда старался быть им хорошим отцом, что я очень хотел бы сам проститься с ними.

Мать только кивает, она не в силах говорить.

— Вам обеим выпала тяжелая доля, — продолжает отец. — Когда они меня убьют, я хочу, чтобы вы освободились. Если решите, уезжайте из Пакистана на то время, пока не действует конституция и сохраняется военное положение. Если вы хотите прийти в себя и снова вернуться к человеческой жизни, вам лучше уехать в Европу. Я вам разрешаю. Поезжайте.

Это нельзя вынести.

— Нет, — говорит мама, — нет! Мы не можем уехать, мы никуда не уедем. Пусть генералы не думают, будто они победили. Зия опять назначил выборы, хотя не известно, посмеет ли он провести их. Если мы уедем, некому будет возглавить партию, ту партию, которую ты создал.

— А ты что думаешь, Розанчик? — спрашивает отец.

— Я не могу уехать.

Отец улыбается.

— Как я рад. Ты себе не представляешь, как я тебя люблю, как я тебя всегда любил. Ты — самое драгоценное в моей жизни.

— Время! — вмешивается начальник тюрьмы. — Ваше время истекло.

Я хватаюсь за решетку.

— Ну откройте же, — прошу я начальника, — дайте проститься с отцом.

Начальник отказывается.

— Я вас умоляю! Мой отец — законно избранный премьер-министр Пакистана. Я его дочь. Это наше последнее свидание. Я хочу обнять отца.

Отказ.

Я пытаюсь сквозь решетку дотянуться до отца. Как он исхудал, он истерзан малярией, дизентерией, голодом. Но отец распрямляется и касается моей руки.

— Завтра я буду свободен! — говорит отец, и его лицо озаряется. — Я встречу с моим отцом, с мамой. Я вернусь в Ларкану, на землю предков, и смешаюсь с этой землей, с воздухом, с запахами. Обо мне сложат песни, я стану легендой этой страны. — Он неожиданно улыбается. — Вот только жарко в Ларкане.

— Я построю навес, — умудряюсь выговорить я.

Нас окружают надзиратели.

— Прощай, папа!

Мать протягивает к нему руки сквозь решетку. Мы идем по пыльному двору. Я хочу оглянуться, но не могу. Я знаю, что не выдержу.

— До встречи! — кричит нам вслед отец.

Ноги передвигаются сами по себе. Я их не чувствую. Я обратилась в камень. Но я иду. Конвой ведет нас обратно, через двор, уставленный армейскими палатками. Я двигаюсь будто в трансе, помня только о голове. Выше голову! Выше! Они же смотрят.

Машина ждет во дворе, перед тюремными воротами — чтобы нас не увидел народ. Мое тело отяжелело настолько, что я с трудом сажусь в машину. Джип вылетает за ворота, к нему пытается прорваться толпа, но охранники грубо отшвыривают людей. Вдруг я вижу в толпе Ясмин, она ждет с передачей для отца.

— Ясмин! Они убьют его этой ночью! — кричу я ей в окно.

Услышала? И крикнула ли я?

Настало 5 утра и прошло. Шесть часов, каждый вдох заставляет меня думать о последнем вдохе отца.

— Господи, сотвори чудо! — молимся мы с матерью. — Господи, пусть что-нибудь случится.

Даже моя кошка Чан-Чан, которую я протащила в заключение, что-то чувствует. Она унесла куда-то котят, и мы их так и не нашли.

Мы цепляемся за остатки надежды. Верховный суд единогласно принял рекомендацию о замене отцу смертного приговора пожизненным заключением. Более того, по пакистанским законам, дата приведения приговора в исполнение должна быть объявлена минимум за неделю. А объявления не было.

Лидеры ПНП, остающиеся на свободе, дали нам знать, что Зия пообещал Саудовской Аравии, эмиратам и кое-кому еще заменить приговор. Но Зия славится тем, что не держит слово и плюет на закон. Зная о наших постоянных опасениях, министр иностранных дел Саудовской Аравии и премьер-министр Ливии дали обещание прилететь в Пакистан в случае, если действительно будет объявлен день казни. Слышали они мое заявление по Би-би-си? Хватит ли им времени прилететь сейчас?

В Исламабаде находится китайская делегация. Мой отец заложил основы дружбы между Пакистаном и Китаем. Попробуют ли китайцы повлиять на Зию?

Мы сидим с матерью в раскаленной Сихале, не в силах шевельнуться или обменяться словом. Зия дал понять, что рассмотрит просьбу о помиловании, только если она будет

исходить непосредственно от отца или от нас, членов семьи. Отец запретил нам и думать об этом. Как проходят последние минуты перед смертью? Мы с матерью просто сидим. Иногда плачем. Когда нет больше сил сидеть, откидываемся на подушки. Они погасят жизнь в нем, не перестаю думать я. Просто погасят жизнь в нем. Как ему должно быть одному сейчас в камере. Никого нет. Даже книги он не оставил. Ничего не оставил. Только сигару, одну. Горло сжалось до того, что хочется разодрать его. Но я не желаю, чтобы ох-рана, которая вечно хохочет и болтает под нашим окном, получила удовольствие от моего крика.

— Не могу, мама, я больше не могу!

— Попробуй поспать, — говорит мама и дает мне таблетку валиума.

Через полчаса я сорвалась с койки, чувствуя, что петля захлестывает мне горло.

В ту ночь с неба лились ледяные слезы, град бил наши родовые земли в Ларкане. Семейное кладбище находится у деревни Гархи Худа Бахш, издавна входившей во владения семьи Бхутто. Ночью деревню разбудил грохот армейских машин. Под покровом ночи, которую мы с матерью в муках провели в тюрьме, тело отца было тайно переправлено на захоронение в Гархи. Сначала в деревню явились представители военной администрации и поручили все приготовления старосте Назиру Мохаммеду, чья семья во многих поколениях трудилась на наших землях.

Назир Мохаммед:

4 апреля в 3 часа ночи меня разбудил мощный свет фар армейских машин. Пятьдесят или шестьдесят машин подъехали к деревне. Я подумал, что они опять приехали готовиться хоронить Бхутто-сахиба. Они уже приезжали две ночи назад, правда, нам сказали, что у них маневры. Люди тогда сильно испугались, особенно когда полиция стала обшаривать кладбище Бхутто. Теперь меня опять вытащили среди ночи из дому. Проснулась вся деревня, мужчины, женщины, старики, дети — все высыпали из домов. Мы боялись, что они либо уже повесили Бхутто-сахиба, либо вот-вот повесят. Народ начал плакать.

Меня привели к их начальству, и там спрашивают:

— Где должна быть могила Бхутто? Мы приехали приготовить все для похорон.

Я заплакал и говорю:

— Зачем вам знать место для могилы? Мы все сами сделаем, как полагается. Бхутто-сахиб нам не чужой.

Я спросил разрешения созвать людей, чтобы вырыть могилу, обложить изнутри необожженным кирпичом, обстругать доски, которые кладутся сверху, и приготовиться к заупокойной молитве. Разрешили взять только восьмерых.

Пока мы занимались нашим печальным делом, армейские и полицейские машины не только оцепили деревню, но даже каждый переулок перегородили. Никто не мог ни покинуть деревню, ни войти в нее. Полностью отрезали нас.

В 8 часов около деревни прямо на дороге, где уже ожидала «скорая», приземлились два вертолета. Я увидел, как гроб грузят в «скорую», и побежал на кладбище. Там армейский полковник указывает на домик, в котором живет кладбищенский сторож с женой и детишками, и приказывает:

— Освободить это помещение!

Я стал было говорить, что так нельзя, куда ж денутся Пеш Имам и его семья, но полковник и слушать не стал.

Двадцать солдат разместились на крыше, держа кладбище под прицелом.

Полагается, чтобы близкие родственники в последний раз посмотрели на лицо усопшего. У нас в Гархи живет родня Бхутто, прямо рядом с кладбищем. А первая жена Бхутто живет в Наудеро, в соседней деревне. Я долго уговаривал начальство, чтобы они разрешили мне позвать ее. Когда она пришла, мы открыли гроб и переложили тело на носилки, которые я принес из дому, и внесли их в дом. В семье сторожа женщины тщательно закрывали лица от посторонних: в их доме никогда не бывали чужие мужчины. Но солдаты вошли в дом — им и дела не было до правил приличия.

Когда немного погода доставили тело, я потребовал, чтобы полковник поклялся, что тело обмыто, как полагается по нашей вере. Он поклялся. Я проверил, завернуто ли тело в саван.

Мы все были в таком горе и так запуганы, что больше я ничего не проверял. Не думаю, чтобы они позволили, даже если б я попытался, потому что тогда бы обнаружили все их дела. Но лицо у него было чистое, как жемчуг, прямо как жемчуг. И выглядел он совсем молодым. Ни подтеков, ни выпученных глаз и высунутого языка, которые я видел на снимках повешенных. Как подобает, я повернул его лицом к западу — к Мекке. Голова не свалилась набок — значит, шея не была сломана. Но на шею

виднелись странные точки, красные и черные, вроде официальной печати.

Полковник очень рассердился. Тысячи полторы народу из деревни столпилось вокруг гроба, и каждый старался заглянуть в сияющее лицо мученика. Плач стоял такой, что сердце разрывалось. Полковник сказал, что, если сию минуту не разойдутся, он прикажет разогнать толпу.

— Хороните немедленно! — распорядился он. — Потребуется, так силой заставим хоронить!

Я сказал, что народ оплакивает покойника. Но под дулами автоматов мы вынуждены были быстро завершить заупокойную молитву. Потом мы опустили тело в могилу со всеми почестями, полагающимися покойному. Суры Корана смешивались с плачем деревенских женщин.

После смерти отца я в Сихале долго не могла ни есть, ни пить. Пробовала выпить воды, но тут же выплевывала — не могла глотать. Спать я тоже не могла. Стоило мне закрыть глаза, как я начинала видеть один и тот же сон. Я стою перед областной тюрьмой. Ворота распахнуты. Я вижу человека, который приближается ко мне. Папа! Я бросаюсь к нему с криком: «Тебя освободили, тебя освободили! Я думала, тебя убили, а ты жив!» Я просыпалась прежде, чем успевала прикоснуться к отцу, и заново осознала, что его нет.

— Надо есть, Розанчик, обязательно надо, — твердила мама, поднося мне суп. — Когда мы отсюда выйдем и начнем готовиться к выборам, тебе потребуются силы. Ешь, если ты собираешься бороться за убеждения отца, бороться так, как он сам умел! Ешь!

И я съедала немного супа.

Я заставляла себя читать соболезнования, которые нам потихоньку передавали. «Дорогая тетя, дорогая Беназир! — писал друг семьи из Лахора 5 апреля. — Нет слов, чтобы описать скорбь и боль. Весь народ виноват перед вами в том, что произошло. Мы все виноваты... Пакистанцы сегодня чувствуют себя обездоленными, деморализованными и потерянными. Мы все виноваты, и грех наш давит на нас...»

В тот же день в Равальпинди, на лужайке Лиакат-Баг, где полтора года назад во время первой избирательной кампании мать выступила перед народом вместо отца, уже находившегося в тюрьме, собралось десять тысяч человек. Тогда, видя громадную популярность ПНП, Зия отменил выборы и приговорил отца к смертной казни. Теперь на участников траурного митинга в память отца полиция снова обрушила гранаты со

слезоточивым газом. Народ бросился врассыпную, в полицию полетели кирпичи и камни. В ответ полицейские применили дубинки и стали хватать людей. Ясмин, обе ее сестры и мать тоже были на траурном митинге. Была там и Амина Пирача, друг семьи, помогавшая адвокатам в работе по делу отца в Верховном суде. Амина пришла с двумя сестрами, племянницами и с их семидесятилетней нянькой. Все десять женщин были арестованы вместе с сотнями других и просидели две недели.

Слухи о том, как умер мой отец, распространились быстро. Палач сошел с ума. Пилот вертолета, на котором отправили в Гархи тело отца, узнав, что за груз он везет, пришел в такое состояние, что вертолет пришлось посадить и заменить летчика. Газеты были полны жутких подробностей смерти отца. Писали, что его пытали чуть не до смерти и еле живым отнесли на носилках к месту казни. Была и другая версия — отец погиб в камере, когда там завязалась потасовка. Военные пытались заставить отца подписать «признание» в том, что он сам организовал военный переворот и предложил Зие возглавить страну. Отец отказался подписывать фальшивку, необходимую режиму для придания ему законности. Один из офицеров сильно толкнул отца, отец упал, ударившись головой о стену, и больше не пришел в сознание. Врач, вызванный, чтобы привести его в чувство, сделал массаж сердца и трахеотомию (этим можно объяснить следы, увиденные Назиром Мохаммедом на шее покойного). Однако все усилия врача оказались тщетными.

Я склонна верить этой версии. Иначе почему на теле отца не обнаружилось физических следов повешения? И почему я вдруг проснулась в 2 часа ночи, за целых три часа до назначенного времени казни? Один политический заключенный, генерал Бабар, рассказывал мне, что он тоже неожиданно проснулся в 2 часа. И многие другие наши друзья и политические сторонники, разбросанные по всему белу свету. Будто душа отца облетела напоследок всех, кто его любил.

Слухи не прекращались.

— Надо требовать эксгумации тела и вскрытия! — настаивал Мумтаз Бхутто, двоюродный брат отца и один из лидеров ПНП, приехавший в Сихалу выразить соболезнование. — Это даст нам политический выигрыш!

Политический выигрыш? Папа мертв. Никакая эксгумация не возвратит его к жизни.

— Его не оставляли в покое даже в камере смертников, — ответила я дяде Мумтазу. — Теперь он свободен. Пусть почит в мире.

— Ты просто не понимаешь, какое это может иметь историческое значение! — не унимался дядя Мумтаз. Я покачала головой.

— История будет судить отца по тому, что он сделал при жизни. Подробности его гибели не имеют значения. Я не желаю эксгумации. Он нуждается в покое.

Маминой племяннице Фахри и подруге моего детства Самии Вахид было разрешено пожить с нами в Сихале во время траура. Обе вздохнули с облегчением, когда убедились, что мы с мамой держимся, несмотря на горе.

— Говорили, что ты в депрессии, просто на грани самоубийства, — сказала мне Самия, передавая еще один слух, который распускали сами военные.

Фахри, существо очень эмоциональное, бросилась к маме, обняла ее, утешая по-персидски.

— Нусрат, душенька, лучше бы я умерла, лучше бы мне не дожить до этого дня, — причитала она. — Все говорят, что Зию мало повесить!

Фахри и ко мне бросилась с объятиями. Год назад именно она, проскользнув через полицейские заслоны, выставленные вокруг нашего дома в Карачи, где я тогда находилась под домашним арестом, принесла мне известие о том, что отца приговорили к смерти. Я сидела в гостиной, когда Фахри ворвалась в дом и с криками забилась на полу. Через полчаса у полиции уже был ордер на ее задержание — на арест Фахри, которая знать ничего не знала о политике и всю жизнь провела за игрой в маджонг и бридж. Фахри целую неделю пробыла под арестом вместе со мной, а дома у нее остались муж и маленькие дети.

Теперь мы вместе плакали. Фахри рассказывала, что на *сойем* — религиозный обряд, который соблюдается на третий день после смерти, — в наш сад в Карачи пришли сотни людей: фабричные рабочие, таксисты, уличные разносчики. А до этого в течение нескольких недель к нашему дому подъезжали автобусы, полные женщин, которые всю ночь молились за отца, держа на головах Коран.

Фахри рассказывала, что военная форма, считавшаяся всегда предметом национальной гордости, теперь вызывала презрение. Сев в самолет в Карачи, Фахри и Самия отказались занимать места рядом с людьми в военной форме. «Убийцы!» — кричали обе, и пассажиры опускали

головы в знак уважения и скорби. Никто не сказал ни слова, но у всех на глазах были слезы.

Мы обратились к властям с просьбой разрешить нам побывать на могиле отца на третий день после его кончины, и 7 апреля в 7 часов утра нам было сказано, что у нас пять минут на сборы. Траурной одежды у нас не было, и мы отправились в чем были при аресте. «Побыстрей, побыстрей!» — торопил нас охранник, когда мы садились в машину, чтобы ехать в аэропорт. Охрана вечно поторапливала нас, боясь, как бы нас не увидели, не помахали, не сказали доброе слово или еще как-нибудь не выразили симпатию нам и тем самым антипатию военному режиму.

Но не вся армия была превращена в бесчеловеченную машину. Когда нас привезли в аэропорт, экипаж военного самолета выстроился как почетный караул, только с опущенными головами. Мать вышла из машины, и экипаж отсалютовал ей. Это был жест уважения, предназначавшийся вдове человека, который вызволил свыше девяноста тысяч солдат живыми и невредимыми из индийских лагерей для военнопленных. Значит, не все забыли об этом. Во время короткого перелета члены экипажа предлагали нам чай, кофе, сэндвичи, и на лицах людей читались потрясение и скорбь. Преступление нескольких обратилось в чувство вины миллионов.

Самолет приземлился не в Мохенджо-Даро, ближайшем от Гархи Худа Бахш аэропорту, а в Джекобабаде, расположенном в часе езды от Гархи. Вдобавок местные власти не пожелали везти нас прямым путем от аэропорта к деревне — по современным дорогам, которые строил мой отец, — наша машина крутилась между рытвинами и ухабами проселка, а водитель из кожи вон лез, чтобы избежать случайных встреч и нас не могли увидеть через неплотно задернутые занавески на окнах. Наконец, потные и пыльные, мы оказались у ворот кладбища.

Я шагнула к воротам, армейский офицер сделал шаг за мной. Я остановилась.

— Нет! — сказала я. — Сюда вам нельзя. Никому из вас. Это наше кладбище. Вы здесь посторонние.

— Нам приказано не выпускать вас из виду, — возразил он.

— Я не могу позволить вам осквернить святость кладбища. Вы убили моего отца. По вашей милости он здесь. Мы приехали оплакивать его и будем оплакивать его одни.

— Нам приказано быть все время с вами, — не уступал он.

— В таком случае мы не пойдем на могилу, — объявила мать. — Везите нас обратно.

Она направилась было к машине, но офицер отступил, и мы вошли в кладбищенскую ограду, оставив обувь у ворот в знак почтения.

Как здесь было спокойно. И как знакомо. Здесь были похоронены несколько поколений нашей семьи, которым жилось не так горько, как нам: мой дед сэр Шах Наваз Хан Бхутто, бывший премьер-министр Джанагадха, удостоенный англичанами титула баронета за службу в Бомбейском президентстве — еще до раздела Индии; его супруга леди Хуршид; мой дядя Сикандер Бхутто и его легендарный брат Имдад Али, человек такой поразительной красоты, что, по преданию, когда он ехал в своем экипаже по Эльфинстон-стрит, главной торговой улице Карачи, англичанки выбегали из магазинов, чтобы взглянуть на него. Много других родственников погребено здесь, в земле, которая дала нам жизнь и в которую мы возвратимся после смерти.

Отец привозил меня сюда в 1969 году, перед моим отъездом в Гарвардский университет. Мы остановились тогда между могилами предков, и он сказал:

— Сейчас ты уезжаешь в Америку, увидишь многое, что тебя поразит, побываешь в местах, о которых ты и не слышала. Но помни, что бы ни происходило в твоей жизни, ты обязательно вернешься сюда. Здесь твой дом. Здесь твои корни. Пыль, грязь, жара Ларканы в твоих костях. И здесь упокоятся твои останки.

А сейчас я сквозь слезы смотрела на его могилу. Я даже сначала не поняла, где именно его похоронили. Я с трудом различила это место — простой земляной холмик. Еще не совсем просохшая земля, пересыпанная цветочными лепестками. Мы с мамой сели у изножия могилы. Я не могла поверить, что мой отец — под этой землей. Прильнув к земле, я поцеловала ее там, где должны были быть его ноги.

— Прости меня, отец, если я когда-то причинила тебе боль, — прошептала я.

Одна. Я чувствовала себя такой одинокой! Как все дети, я воспринимала отца как должное, естественное. Теперь же, потеряв его, я ощущала пустоту, которую ничто не могло заполнить. Но я не плакала — мусульмане верят, что слезы влекут дух усопшего обратно в землю, не давая ему освободиться.

Мой отец заслуживал свободы, он дорого заплатил за покой. Его страдания закончились.

Я прочитала суру «Йа сын» из Корана: «Хвала же тому, в руке которого власть надо всем, и к Нему вы будете возвращены!».

Душа моего отца пребывает в божьем раю.

Нас быстро увезли обратно в аэропорт, теперь уже другой, еще более извилистой дорогой. Но тот же экипаж выстроился у самолета. Ничего не изменилось: нас так же обыскали у ворот в Сихале, провели во все те же обшарпанные комнатенки. Но во мне пробудилось ощущение спокойствия и обновленной уверенности.

Принять вызов. Бороться против сил, значительно превосходящих собственные. Одолеть противника. Во всех историях, которые в детстве мы слышали от отца, добро всегда побеждает зло.

— Все зависит от тебя самой: использовать случай или упустить его, укрепить свою волю или воспитать в себе робость. Судьба каждого в его руках.

Так постоянно говорил нам отец.

В нынешнем пакистанском кошмаре дело отца стало моим делом. Я осознала это у его могилы, почувствовала, как сила и убежденность отца наполняют меня. В ту минуту я поклялась себе, что буду трудиться не покладая рук, пока Пакистан не вернется к демократии. Я поклялась, что не дам погаснуть огню надежды, зажженному отцом. Он был первым пакистанским лидером, который выступал за интересы всего народа, а не за интересы армии или верхушки общества. Нам предстояло продолжить его дело.

Пока нас с матерью везли обратно в Сихалу после *сойема* по отцу, солдаты забрасывали гранатами со слезоточивым газом толпу, собравшуюся в нашем саду на Клифтон-Роуд, 70, чтобы снова и снова читать заупокойные молитвы. Гранаты падали так густо, что загорелся навес во дворе. Скорбящие люди разбежались, задыхаясь, прижимая Коран к груди.

Годы заключения



ТЮРЬМА НА ДОМУ

В конце мая 1979 года, через семь недель после смерти отца, мы с матерью были освобождены из Сихалы. Мы возвратились домой, в Карачи, на Клифтон-Роуд, 70.

Все было по-прежнему. Но ничего не осталось прежним. Надпись на медной табличке у ворот: «Зульфикар Али Бхутто, адвокат». Повыше — другая табличка, потускневшая от времени, на ней имя моего деда сэра Шах Наваза Бхутто. Этот просторный двухэтажный дом построила бабушка в 1953 году, вскоре после моего рождения, и мы с братьями росли здесь, где веял прохладный бриз с Аравийского моря, от которого до дома всего с четверть мили. Кто мог тогда представить себе, что в этот уютный семейный дом войдут трагедия и насилие?

Что ни день — сотни людей, оплакивающих отца, собираются в саду под кокосовыми пальмами, манговыми деревьями, защищенными от дыхания пустыни лианами в красных и желтых цветах. Мать все еще в трауре, она не может принимать посторонних и посылает меня встречать их.

Привычная домашняя обстановка делает кошмар еще более ирреальным. Слуги рассказали, что за две ночи до казни отца солдатня уже второй раз ворвалась в дом на Клифтон-Роуд, обыскала чердаки и сад, вскрыла мамин сейф, перерыла всю одежду в отцовском шкафу.

— Есть у вас ордер на обыск? — спросил один из слуг, полагавший, что законы еще существуют.

— Группу возглавляю я, так что в ордере нет необходимости! — бросил в ответ армейский офицер, приехавший вместе с полицией.

В течение десяти часов дом переворачивали вверх дном, увезли пачку моих личных писем, которые я держала в спальне, и две черные папки с банковскими поручениями и оплаченными счетами, собранными мной для опровержения лживых обвинений в коррупции, выдвинутых против отца.

— Покажите, где находятся тайники и скрытые переходы! — требовал офицер.

Когда слуги сказали, что в доме нет ничего подобного, их избили. Во время обыска слуг согнали в переднюю и заперли там. Та же участь постигла молочника, когда он явился поутру, а за ним и почтальона. Обыскивающие приходили во все большую ярость.

— Подпиши эту бумагу! — потребовал офицер от одного из слуг, а когда тот отказался, сказал:

— Ты видел, что произошло с твоим хозяином, и постарайся представить, что с тобой будет, если не подпишешь!

Перепуганный слуга подписал.

После того, как стало ясно, что обыск ничего не даст, к воротам подогнали грузовик. Полицейские раскатали красный ковер, вывалили на него из грузовика гору документов и пригласили представителей прессы сфотографировать вновь обнаруженные «свидетельства» виновности отца. Многие полагали, что поскольку Верховный суд единогласно рекомендовал заменить смертный приговор пожизненным заключением, то режим поспешно начал стряпать новое дело против отца. Когда уже ближе к вечеру группа покинула дом, она увезла эти «свидетельства» с собой, заодно прихватив множество наших личных вещей, в том числе отцовскую коллекцию старинных географических карт.

Но все же я теперь дома, на Клифтон-Роуд, 70, и собираюсь в Ларкану на могилу отца. Узнав о моих планах, военная администрация отменяет все авиарейсы, вынуждая меня ехать поездом. На каждой станции меня встречают огромные толпы народа. Иногда и на перегонах люди ложатся на рельсы, останавливая поезд.

— Мсть! — кричат они. — Мсть!

— Мы должны черпать силу в нашей горе и победить Зию на выборах, — говорю я, ободренная поддержкой масс.

Толпы народа — это лучший ответ нашим политическим противникам, которые публично заявляют, что «сила Бхутто и его партии похоронена вместе с ним».

По возвращении в Карачи я начинаю проводить встречи с лидерами ПНП и рядовыми членами партии — одну за другой, с интервалом в десять минут, с девяти утра до девяти вечера. Каждые несколько часов я отрываюсь от переговоров, чтобы выйти в сад к людям, оплакивающим отца. Их глаза загораются, когда они видят меня, а после окончания траура и маму. Народ даже не надеялся, что

мы с матерью переживем заключение и казнь отца. Ведь мы привыкли к привилегиям и комфорту, а не к жизни, полной лишений. Люди испытывают прилив надежды при виде нас. Как только одна группа уходит, на ее место приходят другие.

По вечерам я занимаюсь организационными вопросами и вопросами политической тактики, разбираюсь в жалобах, в сообщениях о политических арестах, подготавливаю на основе этих материалов сводки для матери. У меня было ощущение, что я никогда не выберусь из горы бумаг, и не выбралась бы, если бы мне на помощь не пришли подруга моего детства Самия, а также Амина и Ясмин, молодые женщины, с которыми я подружилась в период борьбы за отмену смертного приговора отцу. Западная печать окрестила Самию, Амину и Ясмин «ангелами Чарли», хотя я думаю, что никакие ангелы не выдержали бы подобной нагрузки. Однажды я так и заснула с документами в руках, поэтому на следующую ночь захватила с собой в кабинет зубную щетку и пасту.

Еще до приказа о казни отца Зия уль-Хак, желая утихомирить народ, в очередной раз пообещал провести выборы, которые вернули бы страну из военной диктатуры к гражданскому правлению. Но допустит ли он победу ПНП на выборах? Он же сделал публичное заявление о том, что «не передаст власть тем силам, у которых она была отнята», и что для него приемлемы только выборы с «позитивными результатами».

Зия уже однажды столкнулся с этой трудностью, когда назначил выборы вскоре после государственного переворота в 1977 году. Убедившись в неминуемой победе ПНП, он отменил их и арестовал всех партийных лидеров. А что он сделает на сей раз?

Сначала — в сентябре — пройдут выборы в местные органы управления. ПНП победит на них с огромным перевесом. Затем наступит черед общих выборов, в которых Зия отчаянно нуждается для придания законности своему режиму. Отдавая себе отчет в том, что избирательные правила обязательно будут обращены против ПНП, руководство партии собралось на Клифтон-Роуд, 70, чтобы решить, участвовать нам в выборах или бойкотировать их.

— Избирательное поле никогда нельзя оставлять свободным для маневров противника, — настаивала я, памятуя отцовские уроки: противодействуй, как бы ни

малы были шансы на победу, как бы ни тяжелы были условия игры.

Условия, как мы и предполагали, были жульническими, и Зия изменил их сразу вслед за объявлением ПНП о намерении участвовать в выборах.

Военная администрация заявляет:

— Вы не можете участвовать в выборах, если не зарегистрируетесь в качестве политической партии.

Мы отказываемся: регистрация означала бы признание военного режима Зии. И объявляем, что готовы выставить независимых кандидатов, хотя и понимаем, что рискованно лишаться права ставить партийную эмблему на избирательных бюллетенях в стране с 27 процентами грамотных, по официальным источникам, а фактически — с 8 процентами.

Режим поднимает ставки: независимый кандидат будет считаться избранным, если наберет 51 процент голосов.

— Согласны, — отвечаем мы. — Голоса мы наберем.

Но 15 октября 1979 года, когда до назначенного дня выборов остается один месяц, ряд влиятельных членов партийного руководства требуют снова собраться и заново обсудить вопрос участия ПНП в избирательной кампании. В процессе обсуждения происходит раскол. Сидя вокруг обеденного стола в нашей столовой, теперь превращенной в зал заседаний, некоторые руководители ПНП настаивают, чтобы мать согласилась на бойкот выборов. Я знаю, что за моей спиной они зовут меня «молоденькой дурочкой», но все же беру слово.

— Беспрестанное изменение избирательных правил говорит о том, что Зия потерял уверенность, — доказываю я. — Мы не должны утратить ее сами. Мы одержали победу на выборах в местные органы, и мы победим на общих выборах!

Только поздней ночью крайне незначительным большинством голосов в поддержку решения участвовать в выборах решается этот вопрос.

Когда на другой день Зия узнает о решении ПНП, у него сдают нервы. Главный администратор военного положения снова действует, как в 1977 году: он вообще отменяет выборы и посылает солдат на Клифтон-Роуд, 70.

— Дом оцеплен! — сообщают мне среди ночи.

Я поспешно собираю бумаги, которые так тщательно готовила: документы, списки членов, переписку, списки арестованных, бегу в ванную и там поджигаю. Не желаю я облегчать задачу режиму! Буквально через минуту в дом

врываюся солдаты, и нас с матерью под дулами автоматов отправляют в Аль-Муртазу, в нашу усадьбу в Ларкане. Шесть месяцев проведем мы там в заточении.

Я меряю шагами коридоры Аль-Муртазы. За два года после военного переворота мать оказывается под арестом в девятый раз, я — в седьмой. Каждый новый арест усиливает наше возмущение. Может быть, дело в моем возрасте, мне двадцать шесть. Хотя не думаю, что, будь я постарше, я бы по-другому восприняла заключение, особенно заключение в Аль-Муртазе.

Аль-Муртаза — это наш фамильный очаг, дом, в который мы съезжаемся с четырех концов света на зимние каникулы, на празднование *Ид* в конце священного месяца рамазана, на дни рождения отца, на свадьбы и на поминки многочисленной родни, рассеянной по землям, столетиями принадлежавшим нашей семье. Теперь же военный режим превратил Аль-Муртазу в место заключения для нас с матерью.

Западным журналистам власти сообщают, что мы находимся под «домашним арестом». Однако это не совсем так. В Пакистане «домашний арест» не отличается строгостью: арестованному разрешается принимать друзей и родных, давать интервью, звонить по местному и междугородному телефону, получать книги, а подчас и побывать на митинге вне дома. Аль-Муртаза была превращена в помещение тюремного типа, где действовали тюремные правила. Наш телефон отключен. Нам с матерью не разрешено выходить за пределы двора и принимать посетителей. Изредка делается исключение для Санам.

Охрана дома поручена солдатам пограничных войск — военизированному подразделению из патханов, жителей Северо-Западной Пограничной провинции. Во времена отца в Аль-Муртазе держали специальную охрану, которая не допускала посторонних лиц. Теперь здесь пограничники с единственной целью — не выпускать его вдову и дочь. Зия хотел бы, чтобы страна, а лучше весь мир забыли о существовании семьи Бхутто.

В пакистанской прессе наши имена почти не упоминаются. Начиная с 16 октября 1979 года, со дня вторичной отмены выборов и нашего с матерью ареста, Зия добавил полную цензуру печати к быстро растущему списку указов военного положения. В соответствии с указом № 49 военного положения редактор любого печатного органа, поместивший материал, представляющийся опасным для «суверенитета, цело-

стности и безопасности Пакистана, а также для общественной морали и поддержания общественного порядка», мог быть подвергнут наказанию от десяти ударов кнутом до двадцати пяти лет тюремного заключения.

«Мусават» — газета ПНП, тираж которой достигал 100 тысяч в одном только Лахоре, была закрыта, типография конфискована. Другие газеты держали в узде либо угрозами закрытия, либо ограничениями на шрифт и рекламу. В последующие шесть лет фотографии отца, матери или мои станут редкостью на страницах пакистанских газет. Равно как и благожелательное упоминание наших имен. Если военная цензура учтет хоть каплю расположения к нам в любом материале, она выбросит его прямо из гранок, которые газеты должны в обязательном порядке представлять на просмотр. Иногда газеты выходили с пропусками на местах изъятых материалов — это был способ, которым журналисты давали понять читателям, что цензура помешала им напечатать нечто существенное.

Сила ПНП заставила Зию ужесточить и без того достаточно жесткие политические ограничения. Со времени введения военного положения в 1977 году любой, кто занимался политической деятельностью, рисковал оказаться в тюрьме или подвергнуться публичной порке. Но с 16 октября 1979 года политические партии объявлены вне закона, что было совершенно явной попыткой раз и навсегда покончить с массовой поддержкой курса моего отца. «Все политические партии с их группировками, отделениями и ячейками прекращают свое существование», — прямо говорилось в указе № 48. Любой член политической партии или любой человек, в частной беседе признавший себя таковым, отныне подлежит каре: четырнадцать лет тюремного заключения, конфискация имущества и двадцать пять ударов кнутом. Отныне всякое публичное упоминание ПНП должно предваряться словом «бывшая». Таким образом, мы с матерью были низведены до положения «бывших» лидеров «бывшей» партии в бывшей демократической стране.

Фотографии деда на конференции по Индии, проходившей в Лондоне в 1931 году. Фотографии с отцовских дней рождения. Почти вся семейная история связана с Аль-Муртазой. Здесь родились отец и три его сестры — с помощью повивальной бабки из близлежащей от Ларканы деревни, приходившей принимать роды на женскую половину дома,

выстроенную дедом. Хотя на месте старого дома потом построили новый, более современный, все равно Аль-Муртаза остается подлинным семейным очагом Бхутто.

Парадный вход облицован белыми и голубыми плитками с изображениями картин жизни Мохенджо-Даро: неподалеку от нас находятся руины весьма развитой цивилизации долины Инда, относящиеся к 2500 году до н. э. В детстве я думала, что древний город называется *мундж-джодеро*, что по-синдски означает «мой дом». Мои братья, сестра и я — мы все страшно гордились тем, что растем под сенью Мохенджо-Даро, на берегу Инда, реки, издревле дававшей жизнь окрестным землям. Нигде больше не ощущалась с такой силой связь времен, ибо мы по прямой линии происходим от мусульман, в 712 году вторгшихся в эти пределы. Дневники одного из наших предков, содержавшие семейные предания, погибли во время большого наводнения, случившегося при жизни моего прадеда. Но нам с детства объясняли, что мы происходим либо от воинво-раджпутов, индусов, обращенных в ислам в период мусульманских завоеваний, либо от завоевателей-арабов, которые высадились в Индии на территории Синда, нашей провинции, и дали ей имя «Врата в ислам».

Клан Бхутто — один из крупнейших в Синде — насчитывает сотни тысяч членов, разбросанных по всему Пакистану и по всей Индии, среди которых есть и бедные крестьяне, и богатые землевладельцы. Наша семья происходит непосредственно от прославленного вождя племени Бхутто — Сардара Додо Хана. Несколько деревень в Верхнем Синде носят имена наших предков, которые столетиями владели большей частью провинции и определяли ее политику: деревня Мирпур Бхутто, где живет семья дяди Мумтаза, Гархи Худа Бахш, где находится наше семейное кладбище. Мы оставили за собой дом в Наудеро, недалеко от Гархи Худа Бахш, там отец с братьями проводили праздники *Ид*, угощая гостей традиционным рисом, сваренным с сахарным тростником, и водой, настоенной на цветочных лепестках. Однако после дедушкиной смерти центр семейной жизни переместился в Ларкану, им стала Аль-Муртаза.

До земельной реформы 1958 года на семью Бхутто работало чуть ли не большинство сельскохозяйственных рабочих провинции Синд. Наши земли, как и земли нескольких других семей, измерялись не акрами, а квадратными милями. В детстве мы очень любили историю о том, как пришел в недоумение Чарльз Напьер, англичанин,

завоевавший Синд в 1843 году. Он путешествовал по покоренной им провинции и время от времени спрашивал своего кучера:

— Чьи это земли?

— Это земли Бхутто, — следовал неизменный ответ.

— Хорошо, разбуди меня, когда они кончатся, — распорядился он.

Через несколько часов Напьер проснулся сам и удивился, что его не разбудили. Он спросил:

— Чьи это земли?

— Это земли Бхутто, — опять ответил кучер.

Напьер прославился тем, что после завоевания Синда отправил в Лондон сообщение на латыни: *reccavi* — грешен, что по-английски звучит как «я захватил Синд». Детскими не улавливали замысловатую игру слов и думали, что англичанин просто признал свой грех.

Отец любил семейные предания.

— Ваш прадед Мир Гулам Муртаза Бхутто в двадцать один год был признанным красавцем и смельчаком, — начинал он свою любимейшую историю. — В него были влюблены все женщины Синда, среди которых была и молодая англичанка. В те времена браки с иностранцами считались *харам* — запретными, но англичанка совершенно потеряла голову и не в силах была сдерживать себя. Услышав о тайной любви, английский офицер, некто полковник Мэйхью, послал за вашим прадедом. Для англичанина было не важно, что находится он в Ларкане, в цитадели клана Бхутто. Не важно было для него и то, что владения Бхутто простирались дальше горизонта. Англичане не уважали наши семейные традиции. Полковник понимал одно: англичанка связалась с темнокожим.

— Как ты смеешь поощрять чувства белой женщины? — с возмущением спросил полковник, когда ваш прадед предстал перед ним. — Мне придется проучить тебя!

Полковник занес над ним хлыст, но Гулам Муртаза перехватил хлыст и отстегал самого полковника. Полковник с криком забился под стол, а Гулам Муртаза хлопнул дверью.

Узнав о происшедшем, семья и друзья Гулама Муртазы настаивали, чтобы он бежал.

— Англичане убьют тебя! — говорили ему все.

И ваш прадед покинул Ларкану, сопровождаемый верными друзьями и англичанкой, которая ни за что не желала расстаться с ним.

Англичане бросились в погоню и скоро стали настигать беглецов.

— Нам надо разделиться, — решил Гулам Муртаза. — Несколько человек отправятся со мной. Остальные увезут англичанку. Но помните: она ни в коем случае не должна оказаться в руках своих соплеменников. Это вопрос чести!

И они поскакали в разные стороны, переходя с одного берега Инда на другой, чтобы запутать преследователей. Но англичане начали догонять тех, кто сопровождал женщину, которая не могла скакать с такой скоростью, как ваш прадед. Тогда его друзья решили обмануть англичан, вырыли нору и укрылись в ней, забросав вход листвой. И все же англичане нашли их. Что было делать? Они дали слово Гуламу Муртазе, что не отдадут женщину в руки ее соплеменников, и не могли нарушить обещание. В ту минуту, когда англичане оказались рядом с женщиной, друзья вашего прадеда убили ее.

На этом месте истории мы замирали с широко раскрытыми глазами. Но это было только началом. Наш прадед сумел прорваться в независимое княжество Бхавальпур и укрыться там. Однако, когда англичане пригрозили захватить княжество, если им не выдадут беглеца, прадед поблагодарил местного *наваба* за гостеприимство и снова пересек Инд, перейдя на афганскую сторону. В Афганистане он был принят как гость эмира. Разъяренные англичане конфисковали земли Гулама Муртазы, наша фамильная усадьба была продана с торгов. С торгов пошли наши шелковые ковры, наши диваны, обитые привозными старинными шелками, атласами и бархатом, наша столовая посуда из чистого золота и серебра, громадные казаны, в которых в дни религиозных праздников готовилась еда для тысяч крестьян, наши вышитые навесы, под которыми проводились праздники.

Гулам Муртаза должен был быть наказан и наказан сурово, чтобы другим неповадно было бросать вызов англичанам. Они приравнивали себя к богам. В иных частях Индии туземцам не разрешалось ходить по одним улицам с англичанами, с англичанами нельзя было вступать в пререкания, уже не говоря о том, чтобы ударить...

В конце концов отношения между англичанами и Гуламом Муртазой были кое-как улажены. Гулам Муртаза возвратился в Ларкану. Но дни его уже были сочтены. Он захворал и начал терять в весе. Деревенские лекари, *хакимы*, подозревали, что он отравлен. Но кем? Пищу и воду прадеда пробовали, прежде чем подать на стол. Однако

ему становилось все хуже, и он умер. Ему было всего двадцать семь. Уже после его смерти выяснилось, что причина была в хукке — кальяне, в котором табачный дым проходит сквозь воду.

Я могла без конца слушать эти фамильные предания, так же как мои братья Мир Муртаза и Шах Наваз естественно отождествляли себя со своими легендарными тезками. Трудности, которые те преодолевали, помогали нам выработать собственные нравственные принципы, чего и добивался отец. Преданность. Честь. Принципиальность.

Сын Гулама Муртазы Бхутто — мой дед Шах Наваз — первым из Бхутто начал отходить от феодального образа жизни, тормозившего развитие целого общественного слоя. Раньше члены клана Бхутто заключали браки только между собой, между двоюродными или, по возможности, троюродными родственниками. По канонам ислама женщины наследуют имущество, и браки были единственным способом сохранять земельные наделы во владении семьи. Такой брак «по расчету» был устроен и для отца, которого в возрасте двенадцати лет женили на его двоюродной сестре Амир, лет на десять старше, чем он. Отец не соглашался на женитьбу, пока дед не соблазнил его крикетным инвентарем из Англии. После свадьбы Амир вернулась жить к своим родителям, а отец — в школу, сохранив, однако, стойкое ощущение несправедливости браков по принуждению, в особенности для женщин.

Амир, по крайней мере, оказалась замужем. Другие женщины из клана Бхутто оставались незамужними, если не удавалось найти подходящего родственника. Так составились в девичестве мои тетки — дочери деда от первого брака. Что касается дочерей от второго брака, тот дед выдал их замуж за чужаков, невзирая на сильнейшее противодействие семьи, хотя, конечно, и это не были браки по любви. Уже в следующем поколении моя сестричка Санам стала первой из Бхутто, вышедший замуж по собственному выбору. Я же, вопреки собственным ожиданиям, пошла традиционным путем и вышла замуж по сватовству.

Тем не менее мой дед считался человеком очень прогрессивным. Он дал образование всем детям, даже дочери учились в школе, что по феодальным меркам было делом просто скандальным. Во многих феодальных семьях не учили и сыновей — незачем. Рассуждали так: у наших сыновей есть земля, они обеспечены и им никогда не

придется искать себе работу или работать на других. Наши дочери унаследуют землю, о них позаботятся мужья или братья. Зачем нам образование?

Дед же убедился в том, какие преимущества дает образование, глядя на городских индусов и мусульман, среди которых он работал в бомбейском правительстве еще при англичанах. Отправляя учиться своих детей, сэр Шах Наваз хотел показать пример и другим синдским землевладельцам, чтобы после раздела Индии и создания независимого Пакистана обществу не пришлось прозябать в невежестве. Сколько бы ни пожимали плечами старейшины клана, он послал отца учиться за границу. Отец оправдал его надежды: с отличием окончил Калифорнийский университет в Беркли, потом изучал юриспруденцию в оксфордском колледже Крайст-Черч, сдал на адвоката в «Линколнз Инн» и возвратился работать по специальности в Пакистан.

Мама родилась в семье горожан-промышленников, которая придерживалась куда более современных взглядов, чем землевладельцы. В семействе Бхутто женщины закрывали лицо и почти не покидали стен дома, а если выходили, то с головы до пят закутывались в черное покрывало. Мама и ее сестры не знали никаких покрывал и лихо водили машины по улицам Карачи. Они, дочери иранского бизнесмена, закончили колледж, а после создания Пакистана даже служили офицерами в женских военизированных подразделениях. Женщины из семейства Бхутто и помыслить ни о чем подобном не могли.

Когда отец и мать поженились в 1951 году, мать начала закрывать лицо; выходить из дому и навещать родителей ей разрешалось не чаще раза в неделю. Но старые обычаи всех тяготили. Если бабушке требовалось куда-то съездить, а шофера не оказывалось под рукой, она просила маму сесть за руль. Во время пребывания семьи в Аль-Муртазе отец жил не на мужской половине, а вместе с мамой на женской. При строительстве дома на Клифтон-Роуд, 70 женская половина вообще не была предусмотрена, хотя дед купил еще один дом напротив, чтобы проводить там время с друзьями. Новое, более просвещенное поколение заводило порядки в Пакистане.

Мусульманская культура ориентирована на мужчину, поэтому мальчикам у нас отдается предпочтение перед девочками, и не только в том, что касается образования, — в случае нужды еду отдают мужчинам, матери же семейства и дочери довольствуются остатками. В на-

шей семье никого не обделяли. Скорее наоборот, я была центром всеобщего внимания. Я, старшая из четверых детей, родилась в Карачи 21 июня 1953 года и была такой розовенькой, что сразу получила прозвище Розанчик. Брат Мир Муртаза родился через год, Санам — в 1957 году, а наш младший, Шах Наваз, — в 1958-м. Я, первое дитя в семье, с самого начала занимала в ней особое, несколько обособленное место.

Мне было четыре года, отцу — двадцать восемь, когда президент Искандер Мирза впервые направил его в ООН. Впоследствии отец занимал различные государственные посты: он был министром торговли в правительстве Айюб Хана, потом министром энергетики, министром иностранных дел, главой пакистанской делегации в ООН, в течение почти семи лет они с матерью большую часть времени проводили в разъездах.

Я чаще видела отца на первых полосах газет, чем дома, — вот он излагает в ООН позиции Пакистана и других стран «третьего мира», а вот в 1960 году заключает с Советским Союзом соглашение о финансовой и технической помощи; в 1963 году возвращается из запретного города Пекина с соглашением, согласно которому Китай мирно уступает Пакистану 750 квадратных миль спорной территории. Мать обычно сопровождала его в поездках, а детей оставляли на попечение прислуги и на мое.

— Следи за младшими, — внушали мне родители. — Ты же старшенькая.

Мне было лет восемь, когда родители уехали, оставив на меня весь дом. Мама дала мне на продукты и на другие расходы деньги, которые я держала под подушкой. Я только-только осваивала сложение в школе, но каждый вечер шла на кухню, забиралась на высокий стул и делала вид, что проверяю счета вместе с Бабу — нашим старым и верным управляющим. Не помню, сходилось у нас или нет. К счастью, деньги были небольшие. В те времена на десять рупий можно было закупить провизию на все семейство.

Учебе в семье отводилось приоритетное место. Мой отец, как и его отец в свое время, хотел, чтобы мы были примером для других: первое поколение образованных, прогрессивных пакистанцев. С трех лет я ходила в детский сад, с пяти — поступила в одну из лучших в Карачи школ: миссионерскую школу Иисуса и Марии. Преподавание велось там на английском языке, на котором у нас

дома говорили куда чаще, чем на синди и фарси (родных языках отца и матери) или на урду — государственном языке Пакистана. Нас учили ирландские монахини, школьниц делили на группы под возвышенными названиями: «Дисциплина», «Любезность», «Прилежание», «Служение», но никто не пытался обратить нас в христианство. Школа давала монахиням хороший доход, и они не желали рисковать доверием немногочисленных мусульманских семей, у которых было достаточно денег и хватало дальновидности, чтобы платить за образование своих детей.

Беседуя с нами, отец часто повторял:

— Я требую от вас только одного — хорошо учиться!

Когда мы подросли, нам взяли еще и частных учителей по математике и английскому, с которыми мы занимались после уроков, и, где бы он ни был, отец всегда звонил в школу и спрашивал о нашей успеваемости. К счастью, я хорошо училась, и отец был мной доволен — у него были большие планы относительно меня, он хотел, чтобы я стала первой из женщин Бхутто, кто поехал бы учиться за границу.

Я с малых лет помню, как, собрав всю нашу четверку, отец говорил:

— Вы все соберете свои вещи, и я повезу вас в аэропорт. Розанчик уедет тощенькой девчонкой, а вернется молодой красавицей в сари. Шах Наваз наберет с собой столько баракла, что не сможет закрыть чемодан. Придется кликнуть Бабу и попросить его сесть на крышку.

Вопрос о нашем с сестрой образовании даже не обсуждался в семье: мы должны были получить равные с братьями возможности. Это не противоречило и исламу. Нам с детства было известно, что права женщин ограничивает не ислам, а мужчины, которые толкуют его по-своему. В исламе с самого начала было обозначено прогрессивное отношение к женщине: пророк Мохаммед запретил распространенный в те времена среди арабов обычай убивать новорожденных девочек, он требовал, чтобы женщины получали образование и имели право наследовать имущество задолго до того, как подобные права были предоставлены женщинам на Западе.

Биби Хадиджа — первая, принявшая ислам, — была вдовой, она самостоятельно вела торговлю, она наняла на работу пророка Мохаммеда, тогда совсем еще молодого, а позднее стала его женой. Умм-е-Умара участвовала в битвах наравне с мужчинами и мощным ударом меча спасла жизнь пророка. Правительница южноиндийского княжества Ахмаднагар, от-

важная Чанд Биби, нанесла поражение могольскому императору Акбару и вынудила его подписать мирный договор с ней. Нур-Джехан, супруга императора Джехангира, фактически правившая Индией, прославилась на поприще государственной деятельности. В мусульманской истории можно найти множество женщин, сыгравших большую роль в общественной жизни с не меньшим успехом, чем мужчины. Ислам не запрещал им, как и мне, избрать этот путь. В суре «Муравей» сказано: «И узнал я, что женщина правит ими. И было ей дано всего в изобилии, и могучим был ее престол». И в суре «Женщины» тоже: «Мужчинам дастся, что они заработают, женщинам дастся, что они заработают».

Мы читали Коран с *маулеви*, приходившим к нам домой и занимавшимся нашим религиозным воспитанием, после того, как было покончено с уроками. Главным было научиться читать Коран по-арабски и понять суть нашей веры. Часами бились мы над трудными арабскими выражениями — алфавит тот же, что и в урду, но грамматика и значение слов различаются примерно как английский и французский.

— Рай расположен у ног матери, — учил нас *маулеви* в те послеполуденные часы, растолковывая нам кораническую заповедь чтить родителей и повиноваться им. Неудивительно, что мама тоже часто напоминала об этой заповеди, чтобы заставить нас слушаться. *Маулеви* учил нас, что от наших земных поступков будет зависеть и наша судьба после смерти.

— Придется вам перейти огненное ущелье по мосту тоньше волоска. Вы представляете себе толщину волоска? — драматически вопрошал *маулеви*. — Грешникам не удержаться на волоске, упадут они в адский огонь и будут гореть в нем. Чистые же душой попадут в рай, где реки текут молоком и медом.

Но молиться я научилась у мамы. Она очень серьезно относилась к вере. Где бы она ни находилась, чем бы ни была занята, она совершала предписанные пять намазов в день. Когда мне исполнилось девять лет, мама и меня стала брать на молитву. Рано утром она приходила в мою комнату, мы вместе совершали омовение, чтобы чистыми предстать перед богом, и простирались на полу лицом к Мекке.

Мать, как большинство иранцев, была шииткой, остальные члены семьи — суннитами. Значения это не имело. Шииты и сунниты столетиями жил бок о бок, вступали в браки. Между этими двумя направлениями ислама значи-

тельно больше общего, нежели различий. Все мусульмане подчиняются воле бога, веруют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мохаммед его последний пророк. Так определяет Коран принадлежность к исламу, и в нашей семье это самое главное.

В месяц *мухarrам*, когда шииты оплакивают убийство внука пророка имама Хуссейна в иракском городе Кербела, я иногда одевалась в черное и вместе с мамой выполняла шиитские обряды. «Будь внимательна!» — предупреждала мама, поскольку шиитские обряды куда сложнее суннитских. Я слушала, как завороженная, повествование о трагедии, постигшей имама Хуссейна и кучку его сторонников в Кербеле, где их подстерегли и изрубили воины узурпатора Язида. Не пощадили никого, даже малые дети падали под ударами мечей. Имам Хуссейн был обезглавлен, а сестру его Зейнаб заставили с непокрытой головой приблизиться к трону Язида — и увидела она, что тиран играет отрубленной головой ее брата. Но не сломилась Биби Зейнаб, сердце ее исполнилось решимости, как сердца других, кто верен остался имаму Хуссейну. Их потомки, известные сегодня как шииты, никогда не забудут трагедию Кербелы.

— Слышите — ребенок просит пить, — с большим чувством продолжала рассказчица. — Вообразите сердце матери, которая слышит мольбу дитяти. Посмотрите на прекрасного всадника, отправляющегося к реке, вот он наклоняется, чтобы зачерпнуть воды... О горе! Люди с мечами набрасываются на него!

И при этих словах многие слушательницы горестно бьют себя в грудь. Я часто не могла удержаться от слез, слушая это повествование.

Отец готов был сделать все, что в его силах, чтобы Пакистан — и его дети — вступил в двадцатый век.

— Наши дети будут заводить семьи в пределах клана? — спросила мама как-то раз.

Я затаила дыхание в ожидании отцовского ответа и облегченно перевела дух, услышав его слова:

— Я не хотел бы, чтобы наши сыновья женились на двоюродных сестрах и держали их потом взаперти, как не хотел бы видеть наших дочерей похороненными заживо в домах рдни. Пускай они прежде всего получают образование, а потом сами решат, что им делать.

Так же обрадовало меня решение отца в тот день, когда мама впервые надела на меня черное покрывало. Мы ехали

поездом из Карачи в Ларкану, и мама, достав из дорожной сумки покрывало, закутала меня полупрозрачной тканью.

— Ты уже большая, — с легкой печалью в голосе сказала она.

Совершив древний обряд, знаменовавший в консервативных феодальных семьях переход девушки в период зрелости, мама ввела меня в новый мир. Как он разочаровал меня! Потускнели, покрылись серым налетом краски неба, зелени, цветов. Покрывало мешало мне видеть, а сойдя с поезда, я обнаружила, что ткань, в которую я была закутана с головы до ног, мешает и ходить. Под покрывалом было нечем дышать, и я обливалась потом.

Когда мы добрались до Аль-Муртазы, мама объявила отцу:

— Сегодня Розанчик в первый раз надела покрывало!

Последовало долгое молчание. Наконец, отец принял решение:

— Ей незачем носить покрывало. Сам пророк говорил, что скромность в сердце женщины. Пусть судят о женщине по характеру и уму, а не по тому, во что она одета.

И я стала первой из женщин Бхутто освобожденной от участи жить в вечном сумраке.

Отец постоянно мне внушал, что я должна ощущать себя частицей большого мира. Я с трудом воспринимала его уроки. Осенью 1963 года мы с отцом путешествовали в отдельном вагоне, который полагался ему как министру иностранных дел. Среди ночи отец разбудил меня.

— Вставай! Не время спать! Случилась страшная трагедия — убит молодой президент Соединенных Штатов!

Мне было лет десять, и я смутно представляла себе, кто такой президент Соединенных Штатов, но отец заставил меня неотлучно быть при нем, пока поступали бюллетени о состоянии президента Кеннеди, с которым отец несколько раз встречался в Белом доме, которого неизменно уважал за либеральные социальные воззрения.

Иногда отец брал нас, детей, на встречи с иностранными делегациями, посещавшими Пакистан. В один прекрасный день он объявил, что мы увидимся с «очень важными людьми из Китая». Я была очень взволнована. Отец часто рассказывал нам о Китае, с похвалой отзывался о китайской революции и ее вожде Мао Цзэдуне, который провел народную армию через горы и пустыни и низверг старые порядки. Я решила, что в делегации будет сам Мао, кепка которого, личный подарок революционера, всегда висела в отцовской комнате. Ради такой встречи я позволила, без

сопротивления, переодеть себя в нарядное платье от Сакса — отец каждый год выписывал нам одежду из этого дорогого нью-йоркского магазина, где хранились наши мерки. Велико же было мое разочарование, когда выяснилось, что никакого Мао нет, а «важные люди» — это премьер-министр Китая Чжоу Эньлай и два министра — Чень И и Лю Шаоци, впоследствии погибший в тюрьме во время культурной революции.

Чжоу Эньлай оказался не единственным «высоким гостем», разочаровавшим меня. Правда, другого мы так и не увидели. Мы понимали, что дома ждут к обеду кого-то очень важного, потому что вход был иллюминирован маленькими лампочками. Когда в ворота въехал лимузин, мы прилипли к окнам и увидели, как из машины выходит президент Айюб Хан, а с ним американец. Я сразу узнала американца по фильмам, которые шли в Карачи. Наутро я небрежно спросила маму:

— Ну и как тебе понравился Боб Хоуп?

— Кто? — изумилась мама.

— Боб Хоуп, комик!

— Глупышка, — улыбнулась мама. — Это был Хьюберт Хэмфри, вице-президент Соединенных Штатов.

Позднее я узнала, что Хьюберт Хэмфри пытался заручиться поддержкой Пакистана во вьетнамской войне, хотя бы чисто символической — в виде поставок ракеток для бадминтона американским частям. Однако отец отверг даже это — он был принципиально против любого иностранного вмешательства в гражданскую войну во Вьетнаме.

Когда мне исполнилось десять лет, а Санам — семь, нас отправили в миссионерскую школу-интернат, расположенную среди сосен горного селения Меррей, где некогда был английский курорт. Наша гувернантка довольно неожиданно решила вернуться к себе в Англию, интернат был единственным выходом из положения, к тому же отец считал, что самостоятельная жизнь пойдет нам на пользу. Впервые в жизни мне пришлось самой убирать постель, чистить себе обувь и таскать из коридора воду для мытья. Отец предупредил монахинь, чтобы нам не делали никаких поблажек. Они выполнили отцовскую просьбу: нас с Санни наказывали за малейшее нарушение школьных правил.

И в Меррее мы не остались в стороне от политики. В своих письмах отец рассказывал нам о всех крупных политических событиях. Вскоре после возвращения из Джакарты с Конференции глав неприсоединившихся госу-

дарств он написал нам подробное письмо о том, как великие державы защищают в ООН собственные интересы за счет стран «третьего мира». Меня и Санам вызвали, усадили на скамейку в школьном саду, и одна из монахинь полностью прочитала нам письмо, из которого мы мало что поняли.

На второй — и последний — год нашего пребывания в интернате мы с Санам получили непосредственные уроки политического образования. 6 сентября 1965 года началась война между Индией и Пакистаном из-за Кашмира. Отец вылетел в ООН отстаивать право кашмирского народа на самоопределение и требовать осуждения индийской агрессии, монахини тем временем начали подготавливать школьников к возможному вторжению Индии. Дорога на Кашмир проходила через Меррей, и многие считали, что индийские войска именно по ней двинутся на Пакистан.

Вместо игр и чтения книг Инид Блайтон после обеда у нас теперь устраивались учебные тревоги и затемнения. Монахини поручили старшеклассницам смотреть за младшими и уводить их в бомбоубежища, поэтому я заставляла Санни спать в тапочках, привязывая их к ногам, чтобы не потерялись в суматохе. В школе учились дочери многих крупных правительственных чиновников и военных, мы с воодушевлением придумывали друг другу псевдонимы и заучивали их — на случай, если попадем в руки врага. Романтически волновала мысль о том, что нас могут украсть и увезти в горы, но в течение семнадцати дней той войны угроза вторжения была пугающей реальностью.

Позиция Соединенных Штатов усугубляла трудности Пакистана. Администрация Джонсона, встревоженная тем, что вооружение, поставляемое Пакистану для борьбы против коммунистической угрозы, используется против Индии, ввела эмбарго на поставки оружия всем странам субконтинента. Однако все это время Индия получала вооружение от Советского Союза, а Пакистан остался ни с чем. И все же наши солдаты отважно сражались до тех пор, пока 23 сентября ООН не договорилась со сторонами о перемирии. Страна ликовала: мы не только отразили нападение Индии, но и захватили больше индийской территории, чем Индия нашей.

Ликование длилось недолго. Во время мирных переговоров в советском городе Ташкенте президент Айюб Хан проиграл все, что Пакистан выиграл на поле битвы. В соответствии с Ташкентским соглашением стороны отводили войска на позиции, которые они занимали до

начала военных действий. Отец был возмущен и подал в отставку с поста министра иностранных дел. Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри на другой день после подписания соглашения умер от сердечного приступа, и отец не удержался от ядовитого замечания: не выдержал такого счастья, сказал он.

Соглашение вызвало протесты в стране, в провинциях Пенджаб и Синд прошли массовые демонстрации; говорили, что полиция разгоняла их с большой жестокостью. Тем не менее демонстрации продолжались. А в жизни семьи Бхутто произошли необратимые перемены.

В июне 1966 года Айюб наконец принял отставку отца. Разногласия между Айюбом и отцом стали теперь достоянием гласности, авторитет отца как политического лидера значительно возрос, его поддерживали массы. Когда он в последний раз поехал в Ларкану в своем личном вагоне министра иностранных дел, поезд повсюду встречали возбужденные толпы. Люди старались прорваться к отцу, забирались на крыши вагонов, бежали по крышам пристанционных домов. Гремели лозунги:

— *Фахр-е-Асия зиндабад!* Да живет гордость Азии!

— *Бхутто зиндабад!* Да здравствует Бхутто!

В Лахоре у отца был назначен ланч с губернатором Пенджаба. Отец отправился к нему, а я пережила миг ужаса: с улицы донесся крик — у Бхутто рубака в крови! Я обмерла, но тут из толпы появился отец, улыбаясь, подняв в приветствии руку. Рубашка на нем была действительно порвана, щека исцарапана, галстук исчез, но он был цел и невредим. Я слышала потом, что этот галстук был продан с аукциона за несколько тысяч рупий. Когда отец поднялся к себе в вагон, толпа начала все сильнее и сильнее раскачивать поезд, и я даже подумала, что мы опрокинемся.

Домой мы все же добрались. Наш дом так и бурлил политическими спорами. В наш детский лексикон вошли такие слова, как «холодная война» и «эмбарго на оружие», смысл которых мы понимали довольно смутно. Результаты голосования на различных конференциях «круглого стола» волновали нас, как детей в других семьях волнуют результаты мирового первенства по крикету. После разрыва отца с Айюб Ханом в 1966 году в политических разговорах стали часто употребляться слова «гражданские свободы» и «демократия», слова из области фантастики для большей части населения Пакистана, которое при правительстве Айюба знало только ограниченную политическую деятель-

ность, пока в 1967 году отец не создал собственную политическую партию: ПНП — Пакистанскую народную партию.

Роти. Капра. Макан. Хлеб. Одежда. Крыша. Эти простые обещания, эти основы жизни, которых были лишены миллионы пакистанских бедняков, и стали лозунгами ПНП. Мусульманам положено преклоняться перед Аллахом, но миллионы пакистанских бедняков преклонялись перед имущими.

— Поднимайтесь! Не ползайте ни перед кем в пыли! Вы люди, и у вас есть человеческие права! — неустанно призывал отец, приезжая в самые отдаленные и богом забытые деревни, куда ранее не ступала нога политического лидера. — Добивайтесь демократии, такого порядка, при котором голос бедняка столь же важен, что и голос самых богатых!

Кто такой Бхутто? Что собой представляет Бхутто? Откуда эти разговоры, будто весь Пакистан собирается слушать его политические выступления, когда на самом деле на его митинги приходят одни рикши, кучера и извозчики? — вопрошал айюбовский губернатор Пенджаба устами послушной правительству прессы. Это был удар по моему идеализму. Хотя мы и жили в окружении весьма обеспеченных людей и учились в привилегированных учебных заведениях, я видела полуголых и босых людей, молоденьких женщин с нечесаными волосами и истощенными младенцами на руках. Что же это значит — бедные не люди? Они не часть народа? Мы помнили, что сказано в Коране: все мусульмане равны перед богом. В доме нас приучали относиться ко всем с уважением, не разрешать никому припадать к нашим ногам, падать ниц или пятиться, выходя.

— Нет такого божьего закона, по которому только Пакистан должен быть беден! — доказывал мой отец толпам бедняков, среди которых понемногу стало появляться все больше женщин, застенчиво теснящихся в сторонке. — Наша страна богата. У нас много естественных ресурсов. Почему же мы не можем преодолеть нищету, голод, болезни?

Эти рассуждения народ понимал без труда. Обещания Айюба перестроить пакистанскую экономику ничего не дали, кроме того, что разбогатели его собственная семья и кучка других. За одиннадцать лет пребывания Айюба у власти так называемые «двадцать две семьи» практически прибрали к рукам все банки, страховые компании и

крупные промышленные предприятия страны. Вначале сотни, а потом тысячи людей, возмущенных этим, собирались на митинги, выступая на которых, отец требовал проведения экономических и социальных реформ.

Первый этаж дома на Клифтон-Роуд, 70 был превращен в штаб-квартиру ПНП. Санам было одиннадцать, мне — четырнадцать, когда мы с большим энтузиазмом внесли по четыре аны вступительного взноса, чтобы получить право помогать нашему управляющему Бабу записывать новых членов партии, которые каждый день выстраивались в очередь перед нашими дверьми. Наряду с другими цифрами, интересовавшими нас, например, кто с каким счетом выиграл в волейбол или в крикет, мы научились запоминать со слов отца, кто сколько получил от правительства Айюба и сколько предлагают отцу.

— Вы еще молоды и полны сил, у вас вся жизнь впереди. Оставьте Айюба в покое, а потом наступит и ваш черед. Вам есть смысл работать не против нас, а с нами, тогда и мы окажем вам поддержку, — предлагали отцу посланцы Айюба почти в тех же выражениях, которые много позднее услышу и я от посланцев другого диктатора. Когда стало ясно, что отец не соглашается на сделку, посыпались угрозы расправиться с ним.

Я в те времена не знала, что такое мир насилия. Существовал мир политики, в котором жил отец, и наш детский мир: школа, спорт, игры на пляже. Но миры столкнулись, когда мы узнали о покушениях на отца. Во время поездки по стране с целью популяризации ПНП сторонники Айюба стреляли в отца в Рахимярхане, в Сангаре и в других деревнях. К счастью, убийцы промахнулись. В Сангаре отца спасли его люди, которые буквально закрыли его своими телами. Многие были ранены.

В доме воцарилась напряженность, но я старалась не показывать, что мне страшно. Что толку? Такова политическая жизнь Пакистана, а следовательно, и наша жизнь. Угрозы. Коррупция. Насилие.

Ну что делать, раз такова реальность? Я просто не разрешала себе бояться. Вообще я старалась научиться не поддаваться чувствам, даже когда через одиннадцать месяцев после образования ПНП Айюб арестовал и бросил в тюрьму отца и других руководителей партии. Чего еще ждать от диктатора? Протесты? Подавить! Несогласные? В тюрьму! По какому праву? Права — это мы!

1968 год был годом бурных событий не в одном Пакистане. Революционная волна прокатилась по миру, бунтовали студенты в университетских городках Парижа, Токио, Мехико-сити, Беркли и Равальпинди. В Пакистане организованные против правительства Айюба выступления начались, когда распространилось известие, что отец арестован и отправлен в Миянвали — наихудшую из наших тюрем. Протесты усилились, когда его перевели в Сахиваль и поместили в камеру, кишашую крысами. В попытке остановить беспорядки правительство отдало распоряжение о закрытии всех школ и университетов.

В моих учебных делах наступил самый важный период — я готовилась сдавать экзамены в Рэдклифф. Я уговаривала отца разрешить мне поступать в Беркли, где он сам когда-то учился, но отец и слышать об этом не хотел.

— В Калифорнии слишком хороший климат, — объяснил он. — А снежные зимы Массачусетса заставят тебя учиться как следует.

О том, чтобы пропустить экзамен, речи не могло быть — экзаменационные тексты присылали из Англии раз в году, в декабре. Мать решила, что я должна остаться в Карачи и готовиться к экзаменам, а она с младшими детьми поедет в Лахор подавать жалобу в Верховный суд по поводу задержания отца. Меня оставили одну в доме на Клифтон-Роуд, 70, в значительном отдалении от торгового центра Карачи, где шли волнения.

Я с головой ушла в занятия, стараясь отвлечься от тревожных мыслей об отце. В дом каждый день приходили репетиторы, с которыми я занималась. Иногда по вечерам вместе с подругами Фифи, Таминой, Фатимой и Самией я ходила в Синд-клуб — некогда британский заповедник, куда не допускались «туземцы и собаки», а теперь просто спортивный клуб для богатых пакистанцев. Мы играли в сквош, плавали в бассейне, хотя и понимали, что за пределами клуба жизнь далеко не беззаботна. С тех пор как отец выступил против Айюба, кое-кто из родственников и доброжелателей моих подруг стали предупреждать их, что дружить с Бхутто опасно, что правительству это может не понравиться. Отца Самии тоже предупредили, но она, как и многие другие, сохраняла добрые отношения со мной. Правда, в школе я ощущала некоторое отчуждение.

28 ноября отец писал мне из сахивальской тюрьмы:

«Молюсь за успех твоих экзаменов. Мне приятно думать, что у меня такая умная дочка — сдает вступи-

тельные экзамены в пятнадцать лет, моложе, чем был я, когда сдавал их. Если и дальше так пойдет, в один прекрасный день ты можешь и президентом стать».

Отец, который содержался в то время в одиночном заключении, изо всех сил старался внушить мне, что для него нет ничего важнее моей учебы. Он писал:

«Я знаю, что читаешь ты много, но все же тебе следовало бы уделять больше внимания литературе и истории. Книги у тебя есть. Почитай о Наполеоне Бонапарте, самом цельном человеке во всей новейшей истории. Почитай об американской революции и об Аврааме Линкольне. Прочти «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Почитай о Бисмарке и о Ленине, об Ататюрке и о Мао Цзэдуне. Почитай историю Индии начиная с древнейших времен. А главное — читай историю ислама».

И подпись на тюремном бланке: Зульфикар Али Бхутто.

Больше всего на свете мне хотелось быть в Лахоре со всеми нашими, но это было невозможно. Санам рассказала по телефону, что мать каждые два-три дня возглавляет марши женщин, протестующих против отцовского заключения, и лично проверяет, у всех ли с собой пластиковые сумки с мокрым полотенцем — на случай, если полиция применит слезоточивый газ. Полиция уже несколько раз разгоняла демонстранток бамбуковыми палками, но число участниц все равно продолжало увеличиваться. Айюб приказал арестовать протестующих женщин, но солдаты отказались. Даже при правлении Айюба такие действия рассматривались бы как святотатство.

Наступил декабрь и экзамены. Миссионерская школа Иисуса и Марии устроила так, что они должны были проходить в посольстве Ватикана, расположенном в районе Клифтона, довольно далеко от торгового центра Карачи, то есть в наиболее безопасном месте. В Англии экзаменующиеся спокойно сидели в тихих классных комнатах, а нас потихоньку привозили в пакистанский центр римско-католической церкви.

Беспорядки продолжались, а после того, как полиция открыла огонь по демонстрантам и было убито несколько человек, ненависть к Айюбу сделалась неукротимой. Теперь повсюду раздавались требования об отставке Айюба, об освобождении отца и других политических заключенных.

Через три месяца после ареста отца хаос в стране вынудил Айюба выпустить на свободу лидеров ПНП. Но тут же распространились слухи, что правительство собирается инсценировать авиационную катастрофу и мой отец

погибнет в самолете, на котором полетит в Ларкану. Мать созвала срочную пресс-конференцию, чтобы рассказать о заговоре, прежде чем он будет осуществлен. Отца привезли в Ларкану поездом. Я в жизни никого не встречала с такой радостью, как отца в тот раз. Однако борьба против Айюба была еще далеко не окончена.

Вскоре после освобождения отца в Ларкане проводился марш победы. Мы все стояли в открытой машине, медленно пробиравшейся сквозь толпы людей, выкрикивавших:

— Да здравствует Бхутто!

— Стены рушатся — ударь по ним!

— Ложись! — вдруг крикнул отец мне и Санам.

Айюбовский агент почти в упор выстрелил в отца. Случилось чудо — пистолет дал осечку. Толпа жаждала мести.

Я увидела из-под отцовской руки молодого парня, которого толпа раздирала в клочья — в самом буквальном смысле. В него вцепилось множество рук, одновременно тащивших его в разные стороны. Он обливался кровью.

— Не смотри! — отец с силой наклонил мою голову, я повалилась на колени, но слышала, как отец призывает толпу отпустить убийцу. Толпа неохотно повиновалась, но я потом долго не могла забыть это зрелище.

Не могу я забыть и вид отца, изможденного голодовкой, которую он проводил вместе с другими лидерами ПНП, протестуя против диктаторских полномочий Айюб Хана, включая присвоенное им право на аресты без суда.

— Уступи отцу! — мысленно требовала я от Айюб Хана и удивлялась, почему другие голодающие выглядят гораздо лучше отца.

— Они едят по ночам в своих комнатах! — шепнул мне один из слуг. — Только, пожалуйста, не рассказывайте вашему отцу!

Голодовки распространились по всему Пакистану. Группы голодающих, как грибы, появлялись тут и там — перед помещениями адвокатских ассоциаций, на людных улицах и площадях. Вокруг голодающих все время собирались толпы, поддерживающие их, требующие отставки Айюба. И 25 мая 1969 года, поняв, что никакая полиция не в силах справиться с ситуацией, Айюб отказался от власти. Но радоваться оказалось нечему: вместо того, чтобы передать бразды правления спикеру Национальной ассамблеи, как полагалось по его же собственной конституции, Айюб назначил новым лидером Пакистана Яхья Хана, начальника армейского генштаба. Пакистан снова попал

под власть военного диктатора, который незамедлительно объявил о временном прекращении действия гражданских законов и ввел военное положение.

В апреле мама объявила мне:

— Пришло письмо из Рэдклиффа!

Я взяла в руки конверт со смешанным чувством. Действительно ли хотелось мне уезжать? Еще до этого из колледжа написали отцу, что мне всего шестнадцать, я не совсем подхожу по возрасту и не повременить ли годик с моим поступлением. Однако отец не видел резона в том, чтобы я теряла время, и обратился за содействием к своему другу Джону Кеннету Гэлбрейту, профессору экономики Гарвардского университета, который раньше был послом США в Индии. Я распечатала конверт: меня зачислили в колледж с осени 1969 года.

На прощание отец подарил мне прелестный томик в переплете с перламутровой инкрустацией — Коран. Отец сказал:

— Тебя многое удивит в Америке, кое-что может и шокировать. Но ты привыкнешь, я в этом уверен. Главное — учись хорошенько. Мало кто в Пакистане получает такую возможность, которая сейчас есть у тебя, так что ты обязана использовать ее. Помни всегда, что деньги на твое обучение дала земля, дали люди, которые в поте лица трудятся на ней. Ты перед ними в долгу. С божьей помощью ты вернешь им долг, употребив свое образование на улучшение условий их жизни.

В конце августа я остановилась у резной двери нашего дома на Клифтон-Роуд, 70. Мать обвела вокруг моей головы мой новый Коран. Я поцеловала его. Семья отправлялась на аэродром провожать меня в Соединенные Штаты.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В АЛЬ-МУРТАЗЕ: ГЛОТОК ДЕМОКРАТИИ

Пошел второй месяц нашего с матерью заключения в Аль-Муртазе, а сад наш уже умирает. До ареста и казни отца мы держали десять садовников, которые ухаживали за огромными садами поместья. Когда же Аль-Муртаза была превращена в место заключения, режим Зии позволил оставить только трех садовников. Я приняла участие в борьбе за спасение сада.

Не могу видеть, как засыхают цветы, особенно отцовские розы. Он всякий раз привозил из заграничных поездок саженцы новых, невиданных сортов роз для сада — лиловые розы, апельсиновые розы, розы вообще непохожие на цветы, выглядевшие как совершенное произведение, вылепленное скульптором из глины. Его любимцем был куст с голубыми цветами, этот сорт называется «роза мира». Теперь за розами стало некому смотреть, и они засыхают.

Стоит затянувшаяся летняя жара, но каждое утро в 7 часов я в саду, помогаю садовникам перетаскивать тяжеленные шланги от одной клумбы к другой. Солдаты-пограничники наблюдают за мной со своих постов по углам дома. Раньше у садовников уходило три дня на поливку всего сада. Сейчас нам требуется восемь, и к тому времени, когда мы поливаем последний куст, первые уже успевают засохнуть. Я хочу внушением приказать им, чтоб они не умирали, ибо в их борьбе за жизнь без воды я вижу отражение моей собственной борьбы за жизнь без свободы.

Я провела самые счастливые часы моей жизни среди этих роз, в прохладной тени фруктовых деревьев Аль-Муртазы. Днем воздух бывал напоен ароматом белых цветов под названием *дин-ка-раджа* — «король дня», которые мама прикалывала к волосам, как это принято у пакистанских женщин. На закате начинала сильно пахнуть ночная красавица, и ее запах придавал особое очарование вечерним семейным беседам на террасе.

Еще шланги. Еще поливка. Я подметаю внутренний дворик, убираю сухую листву, хожу с граблями по лужайке, пока руки не начинают просто отваливаться. Ладони у меня все в волдырях.

— Зачем ты доводишь себя до такого состояния? — спрашивает встревоженная мать, когда около полудня я падаю без сил.

— Мне нужно чем-то себя занять, — говорю я ей.

Но дело не только в этом. Мне нужно вымотаться до предела, до такой степени изнеможения, чтобы перестать думать. Я не хочу думать о том, что жизнь бесцельно уходит в условиях военной диктатуры.

Я разбиваю новую клумбу, высаживаю розы, но они не приживаются. Мать оказывается удачливее меня со своей мятой, дамскими пальчиками и перчиками. По вечерам я свистом подзываю пару ручных журавлей и радуюсь, когда они бросаются ко мне, хлопая крыльями, и берут хлеб из рук. Для меня это доказательство того, что я существую.

Когда я не работаю в саду, время превращается в помеху, которую необходимо преодолеть. Читаю и перечитываю Ирла Стенли Гарднера из дедушкиной библиотеки, но свет часто отключают, и мы с матерью проводим дни и ночи в темноте. Есть телевизор, но смотреть по нему нечего, даже когда есть электричество. Во времена отца показывали пьесы, фильмы, даже мыльные оперы, наряду с дискуссиями, учебными программами для неграмотных. Теперь на экране постоянно Зия: Зия выступает с речью, еще одна речь Зии, дискуссия о речах Зии, отцензурованные программы новостей, в которых рассказывается, с кем встретился Зия.

Вечером, в 8.15 обязательно включаем радио и слушаем Би-би-си на урду. Только из радиопередач Би-би-си становится нам известно, что разъяренные толпы сожгли дотла американское посольство в Исламабаде, убежденные в том, что захват Великой мечети в Мекке дело рук Соединенных Штатов. Мы с матерью с изумлением узнаем о том, что студентов-фундаменталистов, которые подожгли американское посольство, привезли туда на автобусах — и это в Исламабаде, где все до мелочей находится под контролем военных. Посольство пылало несколько часов, прежде чем отреагировали власти, которые были тут как тут, едва начиналась демонстрация ПНП. Американское посольство разграблено, один человек убит. Ловкач Зия выступил по телевидению, публично принес американцам

извинения и предложил возместить убытки. Но в чем заключалась его игра? Это и по сей день осталось загадкой.

Через месяц по Би-би-си пошли еще более интересные новости. 27 декабря 1979 года русские войска вступили в Афганистан. Услышав это, мы с матерью поняли, что последствия этого шага будут чудовищными. Борьба между сверхдержавами перенесена в непосредственную близость к Пакистану. Если американцам нужна страна достаточно сильная, чтобы противостоять советскому присутствию в регионе, они должны принять немедленные меры для восстановления демократии в Пакистане. Но если они решат подождать и понаблюдать за развитием событий в Афганистане, диктатура Зии окрепнет.

Америка. Америка, страна, где я впервые узнала, что такое демократия, и где провела четыре счастливейших года моей жизни. Я могла закрыть глаза и представить себе университетский городок Гарварда-Рэдклиффа, багрянец и золото осенних деревьев, мягкое снежное покрывало зимой, волнение, которое все мы испытывали при виде первых зеленых листочков весной.

Но именно в Рэдклиффе я узнала на практике, как беспомощны страны «третьего мира» перед лицом своекорыстия сверхдержав.

— Па-ки-стан? Где он находится, этот Па-ки-стан? — интересовались мои новые однокашники в Рэдклиффе.

В те времена отвечать на их вопросы было проще. Я отвечала, будто читала по рекламной брошюре:

— Пакистан является самой большой мусульманской страной мира. Территория Пакистана разделена на два крыла, между которыми расположена Индия.

— А, Индия! — с облегчением откликнулись собеседники. — Вы рядом с Индией!

Меня всякий раз передергивало при упоминании об Индии, с которой у нас были две ожесточенные войны. Пакистан считался сильнейшим союзником Соединенных Штатов, географическим буфером против советского влияния в Индии и в других сопредельных с нами странах — коммунистическом Китае, Афганистане и Иране. Соединенные Штаты использовали авиабазы северного Пакистана для полетов своих самолетов-разведчиков У-2, включая и злополучный полет Пауэрса в 1960 году. Тайный полет Генри Киссинджера из Исламабада в Китай в 1971 году был более успешным, так как проложил путь для исторического визита президента Никсона на следующий год. И при всем этом

американцы будто и не подозревали о существовании моей родины!

Понятно, что они не слышали и о семье Бхутто, и я впервые в жизни наслаждалась полной анонимностью. В Пакистане фамилия Бхутто вызывала немедленную реакцию, которой я стеснялась. Я никогда не могла понять, проявляют ли люди интерес ко мне или все дело в моей фамилии. В Гарварде первый раз я была просто собой.

Вначале со мной была мама. Она помогла мне расположиться в комнате, которую мне дали в Элиот-Холле, и тщательно определила, в какой стороне находится Мекка, чтобы я могла обратиться к ней лицом во время молитвы. Уезжая, мама напомнила мне про теплые шерстяные *шальвар-камизы*, специально сшитые на заказ, с шелковой подкладкой, чтобы не кусалась шерсть, — о чем мама особо позаботилась. Я относилась с вниманием к маминым напутствиям по поводу молитв, но не по поводу гардероба, крайне неудобного в дождь и в снег да еще делавшего меня белой вороной в университетском городке. Я быстро убрала подальше все эти *шальвар-камизы* и вошла в джинсы и свитера из гарвардского кооператива. Отрастила волосы и носила их распущенными по плечам, страшно гордясь, когда подруги по Элиот-Холлу говорили, что я похожа на Джоан Баэз. Я галлонами пила яблочный сидр, поедала немыслимое количество мороженого — мятного, из кафе Бригхема — и с одинаковой регулярностью бывала на рок-концертах в Бостоне и на чаепитиях в саду у Гэлбрейтов — моих «временных родителей». Все в Америке было мне вновинку, и я упивалась этой новизной.

Антивоенное движение достигло в те времена своего апогея, и я вместе с тысячами студентов участвовала в маршах мира, направлявшихся в День моратория из Гарварда в Бостон, участвовала в массовом митинге в Вашингтоне, где по иронии судьбы впервые нанюхалась слезоточивого газа. Я нацепила бляху с надписью «Верните ребят домой сейчас!», хотя нервничала — меня как иностранку могли депортировать за участие в политической манифестации. Но я на родине выступала против войны во Вьетнаме, а теперь мои взгляды стали еще радикальнее под воздействием яростных антивоенных настроений американской общественности. Удивительно, но и американские участники маршей, и я стояли на одних позициях: Америке незачем вмешиваться в гражданскую войну в Азии.

В Пакистане мне пришлось сменить шесть отделений четырех разных школ, и я радовалась, что в Гарварде проучусь четыре года на одном месте. Набирало силу женское движение, книжные магазины Гарварда были заполнены книгами по женскому вопросу и женскими журналами, среди которых, конечно же, была студенческая библия тех лет — «Сексуальная политика» Кейт Миллетт и первые номера знаменитого журнала «Мисс». Каждый вечер мы с подругами рассуждали о наших новых устремлениях, о том, как мы теперь по-новому будем строить отношения со своими мужьями — естественно, в случае, если мы вообще выйдем замуж. В Пакистане я была в числе немногих девушек, не считавших своей главной целью в жизни замужество и семью. В Гарварде нашлось множество женщин, которым, как и мне, и в голову не приходило, что их женское естество чему-то в жизни мешает. Меня это сильно ободрило, и я преодолела застенчивость, мучившую меня в юности.

В Пакистане я, сестра и братья общались с ограниченным кругом родственников и друзей дома, поэтому я робела в присутствии незнакомых людей. В Гарварде я никого не знала, за исключением Питера Гэлбрейта, с которым я познакомилась у его родителей перед самым началом занятий. Внешность Питера привела меня в шок, мой консервативный глаз сразу отметил нестриженные волосы, обтрепанную, неопрятную одежду, а уж сигареты, которые он курил при родителях! Питер выглядел уличным оборвышем, приведенным в дом бывшего посла Америки в Индии, но никак не сыном крупного дипломата и почтенного профессора.

Что я могла тогда знать о роли, которую через пятнадцать лет сыграет Питер, мой друг, в моем освобождении из пакистанской тюрьмы?

Но Питер был только одним из тысяч гарвардских студентов. Мне приходилось обращаться к совершенно посторонним людям, спрашивая, как пройти в библиотеку, в аудитории, в общежитие. Мне было необходимо преодолеть застенчивость. Меня бросили в непривычный иностранный бассейн с глубокой стороны, и выплыть я могла только собственными силами.

Я быстро вошла в новую жизнь. Уже на первом курсе меня выбрали секретарем по социальным вопросам Элиот-Холла, потом я пробовала силы в университетской газете «Кримзон», водила экскурсии по университетскому городку по поручению общества «Кримзон-Ки».

— Официально это здание именуется Центром международной учебы, сокращенно — ЦМУ, похоже на ЦРУ, а чем занимается эта организация, общесизвестно, — заговорщическим тоном рассказывала я вновь поступающим, внушая им таким образом тот дух университетского вольномыслия, которым сама восторгалась, когда на экскурсию водили меня.

В том же ключе обыкновенно характеризовался факультет изящных искусств. Здание факультета было спроектировано французским архитектором Корбюзье и воспринималось не всеми одинаково — насчет здания ходила шутка:

— Предположительно строители держали план вверх ногами.

Жизнь ставила передо мной и культурные барьеры, которые мне было трудно преодолевать. Например, мне не удавалось привыкнуть к тесному соседству с мужчинами, а Элиот-Холл был превращен в смешанное общежитие как раз в год моего поступления. Даже если я просто видела кого-то из студентов в нашей общей прачечной, я сразу убегала со своим узелком белья. Проблема решилась только с моим переселением в другое здание, где у меня и Иоланды Кодржиски была отдельная ванная, да и прачечная тут была значительно просторнее. Вначале я было решила заняться психологией, однако, выяснив, что в курс входят занятия медициной и анатомирование животных, струсила. В конце концов я выбрала курс сравнительного государственного устройства. Отец был счастлив — он потихоньку написал президенту Рэдклиффа Мэри Бантинг, прося ее повлиять на меня и направить мои интересы в сторону политологии. Миссис Бантинг, даже словом не обмолвившись об отцовском письме, пригласила меня на беседу и стала расспрашивать о моих планах. Мой выбор она одобрила.

Выбор действительно оказался чрезвычайно удачным. Изучая в Гарварде государственное устройство различных стран, я стала лучше понимать, что происходит в Пакистане, чем тогда, когда жила в этой стране.

— Когда полицейский поднимает на улице руку и приказывает: стоп! — все останавливаются. Если руки поднимем мы с вами и прикажем: стоп! — не остановится никто. Почему?

Вопрос был задан профессором Уомэком группке студентов-первокурсников на семинаре по революции.

— Потому, — продолжал профессор, — что полицейскому поручено конституцией, правительством наблюдение

за законопорядком. У него есть мандат, есть законное право приказывать: стоп! У нас с вами такого мандата нет.

Я сидела на лекциях профессора Уомэка с раскрытым ртом — я наверняка была единственной студенткой, жившей в условиях диктатуры. Пример, который привел профессор, раскрыл передо мной суть беззакония, пренебрежения к человеку, царивших в Пакистане при Айюбе, Яхья Хане, а позднее и Зие уль-Хаке. Народ не дал диктаторам мандат на власть, их власть была самовольной. Я впервые осознала, почему пакистанский народ не видел резона в повиновении такого рода правительству, в повиновении приказу: стоп! Где нет законного правительства, там царствует анархия.

Я проучилась половину второго курса, когда в Пакистане появилась надежда избрать законное правительство. 7 декабря 1970 года Яхья Хан наконец провел выборы — первые выборы за тринадцать лет. На другом конце света я всю ночь просидела с учебниками около телефона. Когда мать позвонила и сообщила, что, против всех ожиданий, отец и ПНП одержали крупную победу в Западном Пакистане, получив в Национальной ассамблее 82 из 138 мест, радости моей не было границ. В Восточном Пакистане еще больше мест получил шейх Муджиб ур-Рахман, лидер Народной лиги, у которого не было соперников.

— Примите поздравления! — говорили мне наутро совершенно незнакомые люди, прочитавшие о победе отца в «Нью-Йорк таймс».

Моя радость оказалась, однако, совсем недолгой. Вместо того, чтобы вместе с отцом и представителями Западного Пакистана заняться работой по подготовке новой конституции, равно приемлемой для обеих частей Пакистана, Муджиб способствовал усилению движения за независимость, за полное отделение Восточного Пакистана, или Восточной Бенгалии, от западной части федерации. Отец неоднократно обращался к шейху Муджибу с призывом сохранить единство Пакистана, сотрудничать с ним как с представителем гражданского правительства в окончательном ниспровержении военного режима Яхьи. Но Муджиб не проявил гибкости, не принял то, что было тогда политической необходимостью, а упрямо следовал какой-то своей логике, смысл которой я и по сей день не понимаю. Восточная Бенгалия ответила на призыв к независимости захватом аэропортов. Жители Восточной Бенгалии отказались платить налоги. Бенгальские служащие учреждений

центрального правительства объявили забастовку. К марту гражданская война стала неминуемой.

Отец продолжал переговоры с Муджибом, надеясь сохранить целостность Пакистана, избавить Восточный Пакистан от кровавых репрессий, на которые военные режимы всегда идут с легкостью. 27 марта 1971 года отец находился в Дакке, столице Восточного Пакистана, куда прилетел для очередного раунда переговоров. Там он узнал, что оправдались его наихудшие опасения: Яхья Хан отдал армии приказ подавить бунт. Из окна своего номера в отеле отец смотрел на пылающую Дакку, ужасаясь тому, что генералы способны решать проблемы только применением силы. За шесть тысяч километров в Кембридже я усваивала горький урок.

Грабежи. Изнасилования. Похищения. Убийства. Когда я приехала в Гарвард, моя страна никого не интересовала, сейчас она интересовала всех. И все единодушно осуждали ее. Сначала я отказывалась верить сообщениям западной печати о бесчинствах, чинимых нашей армией в Восточной Бенгалии, которую повстанцы называли теперь Бангладеш. Родители еженедельно присылали мне газеты из Пакистана. В этих газетах, находившихся под контролем правительства, писалось о том, что мятеж уже подавлен. В таком случае почему здесь утверждают, будто Дакка сожжена дотла, будто вооруженные солдаты врываются в университет, расстреливают студентов, преподавателей, поэтов, романистов, врачей и адвокатов? Я не могла заставить себя поверить во все это! Сообщалось о тысячах беженцев, которых пакистанцы расстреливали с воздуха в таких количествах, что из трупов сооружались дорожные заграждения.

Я не знала, что и думать об этих чудовищных сообщениях. У меня это не укладывалось в голове — как лекция, в которой новых студентов Рэдклиффа предупреждали об опасности изнасилования. Я вообще до приезда в Америку никогда не слышала об изнасиловании, и сама мысль, что это может случиться, заставляла меня четыре года, пока я училась в Гарварде, не выходить одной по вечерам. После того, как я прослушала ту лекцию, изнасилование приобрело в моих глазах черты реальности. Кровавые события в Восточной Бенгалии с реальностью не совмещались. Как за якорь спасения ухватила я за стереотип, распространенный в наших краях: западная печать умышленно сгущает краски, это часть «сионистского заговора» против мусульманского государства.

Но убедить в этом студентов Гарварда было нелегко. На меня сыпались обвинения:

— Ваша армия варварски ведет себя!

— Вы истребляете бенгальцев!

Заходясь от негодования, я спорила:

— Мы не истребляем бенгальцев! Как можно верить всему, что пишут газеты?

Но действиями Западного Пакистана возмущались все, даже те, с кем мы в начале года ходили от дома к дому, собирая средства для пострадавших от разрушительного циклона, пронесшегося над Восточным Пакистаном. И общественное негодование все нарастало.

— Вы диктаторы и фашисты, вот кто вы такие!

Я отругивалась, не выбирая выражений, особенно когда узнала, что Индия использует лагеря беженцев на своей территории для военного обучения тысяч бенгальцев, которых потом переправляют обратно через границу.

— Мы боремся с мятежниками, получающими помощь от Индии! — доказывала я. — Мы ведем такую же борьбу за единство своей страны, какую и вы вели во время гражданской войны!

Негде было укрыться от града обвинений, справедливых ли или нет.

— Пакистан отказывает народу Бангладеш в праве на самоопределение! — гремел с трибуны профессор Уолцер в своей публичной лекции «Война и нравственность». Я вскочила и произнесла мою первую в жизни политическую речь перед аудиторией человек в двести.

— Это не соответствует действительности, профессор, — начала я дрожащим голосом. — Бенгальский народ осуществил свое право на самоопределение в 1947 году, когда вошел в состав Пакистана!

Аудитория ошеломленно молчала. С исторической точки зрения я была совершенно права. Я сказала правду. Но куда более горькая правда, которую я отказывалась признать, заключалась в том, что народ Восточного Пакистана разочаровался в своем выборе.

Сколько раз я потом молила бога простить мне мое невежество! Я не понимала, что народ выбирал демократический Пакистан, но был грубо обманут в своих ожиданиях. По сути, Западный Пакистан, где проживало меньшинство населения, относился к густонаселенному Восточному Пакистану как к своей колонии. Доходы от экспорта Восточного Пакистана составляли около 31 миллиарда рупий, но эти средства шли на строительство дорог,

школ, университетов и больниц в Западном Пакистане с его меньшинством населения, и почти ничего не делалось для Восточного Пакистана. Армия, крупнейший работодатель в нашей бедной стране, на 90 процентов состояла из жителей Западного Пакистана. И 80 процентов государственных служащих тоже составляли жители Западного Пакистана. Центральное правительство даже объявило государственным языком всей страны урду, который почти не распространен в Восточном Пакистане, что еще больше затруднило для бенгальцев поступление на государственную службу или в высшие учебные заведения. Неудивительно, что бенгальцы чувствовали себя обойденными и эксплуатируемыми.

В гарвардские времена я была слишком молода и наивна, чтобы понять, что пакистанская армия способна на такие же жестокости, как и всякая другая, получившая неограниченную власть над мирным населением. Действует та же убийственная психология, которая в 1968 году привела к зверствам американской армии в деревне Милей. И зверства солдат Зии в моей родной провинции Синд много лет спустя ничем не отличались от этого. Солдаты теряют контроль над собой и способны чинить любое насилие над мирным населением, ибо воспринимают население как «врага», которого можно убивать и грабить. Но в ту страшную весну 1971 года я еще держалась за свое детское представление о героическом пакистанском солдате, который так отважно сражался против Индии в 1965 году. От этого представления я отказалась не сразу и не безболезненно.

Отец прислал мне длинное письмо, которое он впоследствии включил в книгу «Великая трагедия». Он писал:

«Пакистан переживает тяжелейшую пору. Пакистанцы убивают пакистанцев, и этому кошмару пока нет конца. Продолжает литься кровь. Агрессивное вмешательство Индии еще больше осложнило ситуацию. Если страна справится с сегодняшними трудностями, она пойдет дальше к своей цели, в противном же случае серия катастрофических событий погубит ее».

Катастрофическое событие наступило утром 3 декабря 1971 года.

— Не может быть! — отшвырнула я газету.

Под предлогом необходимости упорядочения притока беженцев и отправки их обратно на родину индийская армия вторглась в Восточный Пакистан, одновременно нанеся удар и по Западному Пакистану. Современнейшие

советские ракеты ударили по пакистанским военным судам в порту Карачи, индийские самолеты бомбили жизненно важные объекты города. Пакистан не мог отбиваться своим устаревшим оружием. Теперь под угрозой оказалось само существование нашей страны.

Самия писала из Карачи:

«Какое счастье, что ты не здесь. У нас бомбежки каждую ночь, у нас затемнение и все окна заклеены черной бумагой. Школы и университеты закрыты, так что даже нечем отвлечь себя от постоянной тревоги. В газетах, как всегда, ничего не сообщают. Мы даже не знали, что Индия вторглась в Восточный Пакистан, пока кто-то не застучал в дверь с криком: «Война! Началась война!» В 7 часов в последних известиях сказали, что мы побеждаем, а по Би-би-си говорят, что наша армия разгромлена. По Би-би-си также говорят, что пакистанская армия совершает чудовищные жестокости в Восточном Пакистане. Тебе об этом что-нибудь известно?

Твой братец Шах Наваз шумит больше всех мальчишек в Карачи. Он записался в отряд гражданской обороны и каждую ночь ездит по округе на своем мотороллере, проверяя, все ли окна затемнены. Мы же все просто перепуганы. Я была у вас дома, сидела с Санам, когда начался воздушный налет, твоя мама всех нас потащила вниз в столовую, потому что там нет окон. Дома я ночую в маминной комнате, нам обоим так страшно! Напротив нашего дома упали три бомбы, но, к счастью, не разорвались. Весь сад засыпан битым стеклом.

Индийские самолеты летают так низко, что можно рассмотреть пилотов! Наших самолетов совсем не видно. Три ночи назад бомбы взорвались совсем рядом, и я даже подумала, что они попали в соседний дом. Поднялась на крышу посмотреть — все небо было розовое. Наутро я узнала, что ракета попала в нефтехранилище в порту. Пожар продолжается и сейчас. Мы ожидаем, что нам помогут американцы».

Военной помощи от американцев Пакистан так и не дождался. Между Пакистаном и США существовал договор об обороне, но американцы были готовы защищать нас от своего противника — Советского Союза. Однако реальную угрозу для Пакистана всегда представляла Индия. Даже сейчас значительная часть вооружений, предназначенных для использования афганскими повстанцами против советских войск, попадает в пакистанские арсеналы с расчетом возможного использования против Индии.

Во время кризиса 1971 года президент Никсон отказался от военного вмешательства, предпочтя ему более безопасное дипломатическое маневрирование и заняв позицию, впоследствии получившую название «благоприятствования» в отношении Пакистана. 4 декабря, на другой день после начала войны, продлившейся тринадцать дней, государственный департамент полностью возложил вину за нее на Индию. 5 декабря Соединенные Штаты предложили Совету Безопасности проект резолюции о прекращении огня. 6 декабря администрация Никсона заявила, что приостанавливает рассмотрение вопроса о предоставлении Индии ранее обещанного займа для целей развития в сумме более чем 85 миллионов долларов.

Однако все эти меры окажутся недостаточными. Через неделю после вторжения уже была на грани падения Дакка, наш последний оплот. Индийская армия перешла границу Западного Пакистана. Тогда Яхья Хан обратился к единственному законно избранному лидеру Пакистана, имевшему и право, и народный мандат решать судьбу Пакистана, — к моему отцу.

Я получила сообщение от отца:

«Вылетаю в ООН. Жди меня в Нью-Йорке 9 декабря в отеле “Пьер”».

— Как ты думаешь, будет позиция Пакистана рассмотрена по справедливости в ООН? — спросил отец, когда мы встретились в Нью-Йорке.

— Ну, конечно, папа! — ответила я с уверенностью моих восемнадцати лет. — Никто же не может отрицать, что Индия в нарушение всех международных норм вторглась в чужую страну и захватила чужую территорию!

— И ты полагаешь, что Совет Безопасности осудит действия Индии и будет настаивать на отводе индийских войск?

— А как иначе? — с изумлением спросила я. — Международная организация, предназначенная для сохранения мира, просто не выполнит свой долг, если будет бездействовать, когда гибнут тысячи людей и нарушается суверенитет страны.

— Ты прекрасно выучила международное право, Розанчик, и мне даже неудобно спорить со студенткой Гарварда, — мягко сказал отец, — но ты и понятия не имеешь о реальной политике.

Воспоминания о тех четырех днях, когда отец тщательно пытался спасти единство Пакистана, до сих пор свежи в моей памяти.

Я сижу в зале заседаний Совета Безопасности через два ряда позади отца. На сессии Генеральной Ассамблеи за осуждение действий Индии проголосовали сто четыре страны, и среди них Соединенные Штаты и Китай, но из-за того, что Советский Союз угрожает применить вето, пять постоянных членов Совета Безопасности никак не могут принять даже резолюцию о прекращении огня. После семи заседаний, посвященных разбору индо-пакистанского конфликта, после полдюжины проектов резолюций Совет Безопасности не принял ни одного. В этом зале на моих глазах происходит все то, о чем рассказывал отец, объясняя мне, как сверхдержавы манипулируют странами «третьего мира». Сверхдержавы заботятся о собственных интересах.

«11 декабря, 5.40. Наша армия героически сражается, но силы противника превосходят наши в пропорции 6:1, и без поддержки авиации и флота нам не выстоять больше 36 часов, отсчитывая со вчерашнего дня», — торопливо записывала я на фирменной бумаге отеля «Пьер».

Запись следующего дня еще более безрадостна:

«6.30. Звонил посол Шах Наваз, сказал, что дело плохо. Единственным выходом было бы вмешательство Китая, при условии, что американцы удержали бы от вмешательства русских. Папа послал телеграмму в Исламабад: 36 часов мало, продержитесь 72 часа. Генерал Ниязи, главнокомандующий нашей армией в Восточном Пакистане, обещает сражаться до последнего солдата».

12 декабря отец выступает в Совете Безопасности с призывом к прекращению огня, отводу индийских частей с территории Пакистана, размещению контингента ООН в Восточном Пакистане и принятию мер по предотвращению ответных действий другой стороны. Глас вопиющего в пустыне. Не веря собственным ушам, я выслушиваю в течение часа дискуссию на тему: собраться ли Совету Безопасности наутро в 9.30 или не спешить и собраться в 11 часов. Тем временем Пакистан, каким он был до сих пор, гибнет.

— Надо заставить Яхью открыть второй фронт! — требует отец на встрече членов пакистанской делегации в нашем номере. — Наступление на западе отвлечет часть индийских сил с востока и там станет полегче. Без этого мы рискуем потерять весь Пакистан!

Я пытаюсь соединить отца с Яхья Ханом по телефону, но адъютанты сообщают мне, что президент спит и они не могут беспокоить его. Отец вырывает у меня трубку.

— Идет война! Разбудите президента! — кричит он. — Пусть он откроет второй фронт! Нужно немедленно ослабить нажим Индии на востоке!

Западный журналист прибегает с сообщением, что генерал Ниязи капитулировал. Отец совершенно выходит из себя.

— Опровергните эти слухи! — кричит он в трубку секретарю Яхьи по военным вопросам, поскольку самого Яхью так и не подозревали. — Как я могу добиться достойного урегулирования, если мне нечем торговаться!

Телефоны в «Пьере» не смолкают ни на миг. Возникает ситуация, при которой одновременно по одному телефону звонит государственный секретарь США Генри Киссинджер, а по другому — Хуан Хуа, глава делегации КНР. Генри Киссинджер крайне встревожен возможностью китайского вмешательства на стороне Пакистана. Мой отец встревожен тем, что этого может не произойти. Пока отец собирается уговорить Яхью лететь в Пекин и использовать последнюю возможность, Киссинджер, как я прочитаю впоследствии, проводит с китайцами встречу за встречей в «тайных убежищах» ЦРУ в Нью-Йорке.

В отцовский номер приходит советская делегация и уходит. Приходят и уходят китайцы. Является и американская делегация во главе с Джорджем Бушем. Буш вручает мне свою визитную карточку:

— Мой сын тоже учится в Гарварде. Если вам что-нибудь будет нужно, звоните мне.

Все это время я провожу в спальне у телефона, записывая подлинные указания, передавая фальшивые.

— Входи во время переговоров, — распоряжается отец. — Если у меня советская делегация, скажи, что звонят китайцы. Если американцы — скажи: русские на линии или индийцы. И никому не говори, кто у нас на самом деле. Основное правило дипломатии — никогда не выкладывать все карты на стол, сеять сомнения.

Я следую урокам отца, но не этому. Я всегда выкладываю карты на стол...

Однако нью-йоркская игра в дипломатические карты неожиданно прерывается. Яхья Хан не открывает второй фронт, военный режим психологически уже примирился с мыслью о потере Восточного Пакистана, и дух его сломлен.

Китайцы не собираются вмешиваться, несмотря на все их заявления о военной поддержке. А слух о поспешной капитуляции Пакистана, хотя и был опровергнут, все равно наделал много вреда. Индийцы уже знают, что наше военное командование в Восточном Пакистане готово отказаться от борьбы. Знают это и постоянные члены Совета Безопасности. Вот-вот падет Дакка.

15 декабря в зале заседаний Совета Безопасности я сижу на своем обычном месте за спиной отца, когда он, не выдерживая тактики бездействия, которой придерживаются участники, взрывается:

— У каждого должна быть позиция! — он указывает пальцем на представителей Англии и Франции, воздержавшихся при голосовании из-за собственных интересов на субконтиненте. — Вы должны занять позицию либо на стороне справедливости, либо на стороне несправедливости, либо на стороне агрессора, либо на стороне тех, кто подвергся агрессии. Нейтралитета не бывает!

Его страстный призыв гремит в зале, а я постигаю урок: что такое примирение, а что — сопротивление. В условиях, когда сверхдержавы решительно настроены против Пакистана, было бы разумнее примириться с этим. Однако, уступая диктату сверхдержав, мы вступили бы в сделку с ними.

— Можете навязать любое решение, заключить договор похуже Версальского, можете узаконить агрессию, узаконить оккупацию, узаконить все, что было вне закона до 15 декабря 1971 года, но я в этом участвовать не буду. Оставайтесь в своем Совете Безопасности, а я его покидаю!

С этими словами он встал и зашагал из зала. Я поспешно схватила свои бумаги и бросилась за ним. При полном молчании делегация Пакистана покинула зал.

В «Вашингтон пост» выступление отца в Совете Безопасности было названо «театром в жизни». Для нас это было вопросом будущего нашей родины, если вообще суждено было остаться на свете стране под названием Пакистан. Позднее, когда мы ходили с отцом по улицам Нью-Йорка, он сказал мне:

— Даже если дело кончится военной капитуляцией в Дакке, мы не можем участвовать в политической капитуляции. Покидая зал заседаний, я хотел подчеркнуть, что нас можно сломить физически, но невозможно лишить нас воли и национального достоинства.

Отец был очень подавлен. Мы ходили и ходили по улицам, представляя себе сокрушительные последствия поражения для будущего Пакистана.

— Если бы удалось достичь политического урегулирования, возможно на основе референдума под наблюдением ООН, то народ Восточного Пакистана мог бы изъявить свою волю: либо оставаться в составе единой страны, либо отделиться и образовать Бангладеш. А так Пакистану придется с позором капитулировать перед Индией. Мы заплатим за это страшной ценой.

На другой день отец отправился в Пакистан. Я возвратилась в Кембридж. Дакка пала.

Потеря Бангладеш нанесла страшный удар по Пакистану на многих уровнях. Стало очевидно, что ислам — наша общая религия, которая, как мы всегда верили, поможет держаться Востоку и Западу вместе, невзирая на тысячу миль индийской территории между нами, — не оправдал надежд. Пошатнулась наша вера в то, что Пакистан способен выжить как страна, до предела напряглись скрепы, соединяющие четыре провинции, из которых состоит Западный Пакистан. Народный дух упал как никогда раньше.

На телевизионном экране даккский ипподром — генерал Ниязи подходит к индийскому командующему генералу Ороре. Я не поверила своим глазам, увидев, что генерал и победитель Дакки — а они вместе учились в Сендхерсте — обмениваются саблями и Ниязи обнимает Орору. Обнимает! Даже нацистам не приходилось капитулировать столь унижительно. Ниязи, армия которого потерпела поражение, поступил бы куда достойнее, если б застрелился.

Когда отец приземлился в Исламабаде, город пылал. Разъяренные толпы поджигали даже винные лавки, которые, по слухам, поставляли спиртное Яхья Хану и его генералам. Зрелище капитуляции — после того, как неделями шла информация о том, что Пакистан выигрывает войну, — толкнуло громадные толпы в Карачи на штурм телецентра, который пытались сжечь. Воинственные журналисты в Индии угрожали дальнейшим развалом Пакистана, утверждая, что Пакистан — «искусственно созданная страна, которая вообще не должна бы существовать».

20 декабря 1971 года, через четыре дня после падения Дакки, Яхья Хан под напором народной ярости вынужден был сложить полномочия. И мой отец, в качестве законно избранного лидера крупнейшей парламентской фракции в Пакистане, занял пост президента. По иронии судьбы,

поскольку конституции в стране не было, он был приведен к присяге как первый в истории гражданский глава военного режима.

Меня в Гарварде больше никто не звал Розанчик из Пакистана, теперь я была Розанчик Бхутто, дочь президента Пакистана. Но гордость за отца была отравлена позором нашей капитуляции и ценой, уплаченной за поражение. За две недели войны мы потеряли четвертую часть наших ВВС и половину флота. Казна была пуста. Мы лишились не только Бангладеш — индийская армия удерживала 5 тысяч квадратных миль территории Западного Пакистана и 93 тысячи военнопленных. Многие считали, что Пакистан уже не вынырнет. После появления на свет Бангладеш единый Пакистан, основанный в 1947 году в результате раздела Индии Мохаммедом Али Джинной, прекратил свое существование.

Симла, 28 июня, 1972.

Встреча на высшем уровне между моим отцом, президентом Пакистана, и Индирой Ганди, премьер-министром Индии. От исхода этой встречи зависело будущее всего субконтинента Индостан. И отец опять пожелал, чтобы я была с ним.

— Чем бы ни закончилась эта встреча, она все равно будет поворотным пунктом в истории Пакистана, — сказал он мне через неделю после моего приезда на летние каникулы. — Я хочу, чтобы ты все видела своими глазами.

Если полгода назад в ООН атмосфера была напряженной, то сейчас в Симле она раскалилась почти до предела. Отец сел за стол переговоров с пустыми руками. Все карты были у Индии: наши военнопленные, угроза судебного рассмотрения военных преступлений и пять тысяч миль нашей территории. Отец и члены пакистанской делегации мрачные сидели в самолете, летевшем в Чандигарх, столицу индийского штата Пенджаб. Удастся или нет снять в Симле напряженность между нашими странами? Сумеет ли мы заключить мирный договор с Индией? Или наша страна обречена?

— Будь чрезвычайно осторожна, — еще в самолете предупредил меня отец. — Все будут стараться по мелким признакам угадать, успешно ли идут переговоры. Не слишком улыбайся, чтобы не сказали, что ты прекрасно проводишь время, а наши солдаты все еще томятся в индийских лагерях. Но и мрачная не ходи, потому что это может быть истолковано как признак пессимизма. Ты

не должна никому дать повод говорить: вы только посмотрите на ее лицо! Ясно, что дело идет к провалу, пакистанцы пали духом, поняли, что у них нет надежды, и готовы соглашаться на уступки.

— Так как же мне выглядеть?

— Я же объяснил тебе: ни веселой, ни грустной!

— Но это очень трудно!

— Ничего трудного.

На сей раз отец ошибался. Было неимоверно трудно хранить на лице ничего не значащее выражение, пока в Чандигархе мы пересаживались в вертолет, который должен был доставить нас в курортную Симлу, бывшую летнюю столицу британского Раджа. Еще труднее было сохранить его, когда мы приземлились на футбольном поле и перед телекамерами начали обмениваться приветствиями с самой Индирой Ганди. Она оказалась такой хрупкой, гораздо меньше ростом, чем я представляла себе по бесчисленным фотографиям. А как элегантна — даже в дождевике, надетом на сари из-за надвигавшегося дождя. Я приветствовала ее мусульманскими словами миролюбия: «Ас-салам алейкум». «Намасте», — ответила она с улыбкой. Я тоже одарила ее тем, что мне казалось светской полуулыбкой.

На протяжении пяти дней переговоров отец и другие члены пакистанской делегации рассказывались на «качелях эмоций».

— Хорошо началось, — сказал мне один из нашей делегации во время первой сессии.

— Переговоры не предвещают ничего хорошего, — сообщил другой вечером того же дня.

На следующий день «качели» стали раскачиваться еще сильнее и надежда сменилась отчаянием. Индира Ганди, действуя с позиции силы, настаивала на заключении всеобъемлющего соглашения, включая и спорные территории в Кашмире, на которые Индия предъявляла претензии. Делегация Пакистана предпочитала двигаться шаг за шагом, поочередно разбираясь в вопросах, касающихся оккупированной территории и военнопленных, а также в спорах двух стран по поводу Кашмира. Уступки по всем вопросам не были бы приняты народом Пакистана и усугубили бы опасность нового вооруженного конфликта.

Переговоры зашли в тупик, а тем временем в городе происходило нечто весьма странное. Стоило мне выйти из Химачал Бхавана, бывшей резиденции британских губернаторов Пенджаба, где нас разместили, как вдоль улиц

выстраивались желающие посмотреть на меня. Толпы народа собирались, чтобы приветствовать меня, за мной следовали повсюду — мимо старинных коттеджей и сади-ков, разбитых некогда англичанами, тосковавшими по родному ландшафту, в музей кукол, посещение которого входило в программу, в центр кустарных промыслов, на фабрику по переработке фруктов, на танцевальный концерт в миссионерской школе, где я неожиданно встретилась с несколькими учительницами из моей миссионерской школы в Меррее. Когда я решила пройти пешком по Маллу, где в старые времена чиновники имперского правительства прогуливались со своими супругами, сбегалось столько народу, что пришлось перекрыть уличное движение. Меня это очень смущало. Чем я заслужила такое внимание к своей персоне?

Я получала горы писем и телеграмм с приглашением посетить разные индийские города. В одном письме отцу предлагали даже назначить меня послом Пакистана в Индии! Журналисты наперебой просили интервью, я выступала по Всеиндийскому радио. К большой моей досаде, вся страна взялась обсуждать мой гардероб, и дело было не только в том, что все туалеты я позаимствовала на время у сестры Самии, а у меня ничего, кроме обычных *шальвар-камизов* и джинсов с майками, не было, просто я не считала тряпки чем-то заслуживающим внимания. Я видела себя этаким интел-лектуалкой из Гарварда, поглощенной серьезными про-блемами войны и мира, а тут журналисты засыпали вопросами о том, как я одеваюсь.

— Мода — это буржуазная выдумка! — в отчаянии брякнула я одному журналисту.

Но из того, что он опубликовал в газете, явствовало: я пролагательница новых путей в моде.

Отец и вся пакистанская делегация тоже пребывали в недоумении по поводу моей популярности. Как-то утром, рассматривая снимок на первой полосе газеты, на котором я приветствую толпу поднятой рукой, отец предположил:

— Наверное, твой вид помогает людям чуточку от-влечься от серьезных проблем, которые тут обсуждаются.

И поддразнил меня:

— Но ты будь осмотрительнее, а то здесь ты похожа на Муссолини!

Думаю, отец был прав, предполагая, что люди хотят отвлечься. Переговоры проходили в обстановке строжайшей

секретности, и легионам представителей международной прессы только и оставалось, что писать обо мне.

Однако я ощущала и нечто иное в невероятном внимании, обращенном на меня.

Я символизировала собой новое поколение. Я никогда не была индианкой. Я родилась на свет в суверенном Пакистане и была свободна от тех комплексов и предубеждений, которые разъединяли индийцев и пакистанцев, помнивших о кровавых событиях раздела страны. Возможно, люди надеялись, что молодое поколение преодолееет враждебность, вызвавшую три войны между Индией и Пакистаном, навеки предаст земле горькое прошлое отцов и дедов и будет жить в дружбе. Приветливость и доброжелательность, которые я ощущала на улицах Симлы, внушали мне уверенность в том, что это возможно. Разве обязательно жить за стеной взаимной ненависти, разве мы не можем наладить отношения, как сделали это страны Европы после войны?

Ответ на мой вопрос должен был родиться в глубине здания, возведенного в колониальные времена, в обшитых деревом залах заседаний, где шли многочасовые изнурительные переговоры, заводившие в никуда. Отец продлил свое пребывание на переговорах, надеясь найти выход. Но он не был настроен оптимистически. Индийская сторона по-прежнему отказывалась даже обсуждать пакистанское предложение по Кашмиру — проведение плебисцита, который дал бы кашмирцам возможность самим решить, к какой из стран они желают присоединиться. К тому же отцу было трудно с Индирой Ганди. Отец очень чтит ее отца, премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, но считал, что дочь не обладает той перспективностью мышления, которая позволила Неру создать Индии высокий авторитет в мировом сообществе.

Я не знала, что думать об Индире Ганди. Во время небольшого делового обеда, который она давала 30 июня, Индира Ганди не сводила с меня глаз, отчего я ужасно нервничала. Я внимательно изучала ее политическую карьеру, и эта женщина своей настойчивостью вызывала у меня восторг.

Избирая ее премьер-министром в 1966 году, враждующие группировки в Национальном конгрессе полагали, что нашли себе послушного и чисто символического лидера, за глаза называя ее «немой куклой». Но эта женщина из шелка и стали переиграла всех. За обедом, стараясь побороть свою нервозность, я попыталась завязать с ней

беседу, но она отвечала мне весьма сдержанно. В ней чувствовалось какое-то высокомерие и натянутость, исчезающие только когда она улыбалась.

Неловкость моя усугублялась и тем, что на мне было мамино шелковое сари. Хотя мама долго учила меня, как надо обертывать метры ткани вокруг тела, чтобы сари сидело хорошо и плотно, я все время боялась, что оно вдруг развяжется. У меня из головы не шла история, которая приключилась с моей тетей Мумтаз в Западной Германии. Она ступила в универмаге на эскалатор, край сари попал между ступеней, и ткань стала разматываться, пока кто-то не сообразил остановить эскалатор. Теткина история не помогла мне расслабиться. А Индира все смотрела на меня.

Может быть, она вспоминала дипломатические встречи, на которых сопровождала своего отца? Может быть, во мне она узнавала себя, дочь другого государственного деятеля? Вспоминала, как любила своего отца, как он любил ее? Индира выглядела такой худенькой и хрупкой. В чем только держится ее пресловутая беспощадность? Она против воли отца вышла замуж за парса — политика, к которому Неру относился неодобрительно. Семейная жизнь сложилась неудачно и кончилась тем, что супруги жили порознь. Теперь умерли оба — и отец, и муж. Чувствует ли она себя одинокой?

Я подумала, что, может быть, встреча с пакистанской делегацией в Симле пробудила в ней воспоминания исторического свойства. Ведь здесь, в этом самом городе, ее отец встречался с Мохаммедом Али Джинной и Лиакатом Али Ханом для определения границ будущего мусульманского государства Пакистан, которому предстояло выделиться из Индии. Теперь же от Индиры Ганди, ставшей премьер-министром, зависит само существование отдельного мусульманского государства. Или несуществование его.

Что она изберет? Мы узнали это четырьмя днями позже.

2 июля отец распорядился:

— Собирай вещи. Мы уезжаем.

— Без соглашения?~

— Без соглашения. Лучше я вернусь в Пакистан без соглашения, чем с соглашением, условия которого навязаны Индией. Индийцы считают, что я не могу уехать домой без соглашения и поэтому вынужден буду уступить их нажиму. Я вижу их игру насквозь. Лучше уж столкнуться с недовольством в Пакистане, чем подписать соглашение, в результате которого мы останемся просто ни с чем.

Измученная делегация мрачно сидела в Химачал Бхаване. Тишина нарушалась только шуршанием укладываемых документов. Оставались лишь визит вежливости, который отец должен был нанести Индире Ганди в 4.30, и обед, устраиваемый нами вечером для индийской стороны. После этого мы улетаем в Исламабад.

Я сидела на полу в своей комнате, когда в дверях неожиданно появился отец. Его глаза опять блеснули.

— Не говори никому, но я хочу воспользоваться этим протокольным визитом, чтобы еще раз попробовать убедить Индиру. У меня появилась одна мысль. Только не падай духом, если ничего не выйдет.

И он ушел.

Я поминутно подбегала к окну, ожидая его возвращения. За окном висел туман, смягчая очертания сосен на склонах холмов, вьющихся горных троп и бревенчатых домиков. Симла так напоминала Меррей, но люди, жившие по разные стороны границы, не могли даже навещать друг друга. И тут я увидела отца.

— Возродилась надежда! — объявил он с широкой улыбкой. — Бог даст, подпишем соглашение.

— Как ты это сделал, папа? — спрашивала я, а тем временем тоскливая тишина дома сменилась суматохой, члены делегации забегали, сообщая друг другу великую новость.

— Я обратил внимание на то, какой напряженной она выглядела во время нашей предыдущей встречи, — объяснял отец. — Ведь провал переговоров означает неудачу не только для нас, но и для нее. Провал будет использован политическими противниками против нас обоих. Индира все вертела сумочку в руках и пила чай с таким видом, будто он вызывает у нее отвращение. Тогда я набрал полную грудь воздуха и говорил, не замолкая, в течение получаса.

Отец сказал Индире Ганди, что оба они являются демократическими лидерами, получившими народный мандат. Сейчас мы можем либо дать мир региону, который не знал его с самого раздела, либо, если мы этого не добьемся, уже нанесенные раны станут еще сильнее кровоточить. Применение силы — это тоже часть истории, но главную роль в ней всегда играли дипломатические победы. Дипломатия предполагает умение заглянуть в будущее и пойти на некоторые уступки сегодня ради будущих результатов. В данный момент победила Индия, а не Пакистан, поэтому именно Индия, как победительница, должна сделать уступки во имя прочного мира.

— И она согласилась? — спросила я с нарастающим волнением.

— Она не сказала «нет», — ответил отец, раскуривая сигару. — Сказала, что ей нужно все обсудить с советниками, и обещала дать ответ за сегодняшним обедом.

Не знаю, как мы вытерпели банкетные тосты, речи, банальности. На этот раз я смотрела на Индиру, но по ее лицу невозможно было ничего понять. После обеда отец и Индира Ганди удалились в соседнюю маленькую гостиную, а их советники отправились в бильярдную — самую большую комнату в доме. Бильярд был превращен в громадный письменный стол. Когда стороны приходили к согласию по какому-то вопросу или, наоборот, их мнения расходились, кто-то один нес документы в гостиную и возвращался от лидеров с их «да» или «нет».

Ушли часы на проекты и контрпроекты, на внесение изменений и поправок. Дом понемногу наполнялся журналистами, телеоператорами, представителями обеих стран. Я курсировала между комнатой для прессы внизу и моей спальней наверху.

— Есть новости? — спрашивала я, перегибаясь через перила. Поскольку до получения официального подтверждения ничего нельзя было разглашать, пакистанская делегация придумала код, чтобы информировать друг друга о ходе дел.

— Если соглашение заключается, говорим «родился мальчик», если не заключается — «девочка».

— Какой гнусный мужской шовинизм! — отреагировала я, но на меня никто не обратил внимания.

Уходя в маленькую гостиную, отец предупредил:

— Обязательно будь внизу при подписании соглашения. Это историческая минута.

А получилось, что я как раз поднялась наверх, когда дом огласился криками:

— Мальчик! Родился мальчик!

Было 12.40. Я ринулась из спальни вниз, но не сумела пробиться через толчею журналистов и телевизионщиков, чтобы попасть в гостиную в тот миг, когда мой отец и Индира Ганди ставили подписи под документом, получившим потом название Соглашения в Симле. Да какое это имело значение? Важно было то, что субконтинент вступил в самый длительный период мирной жизни.

По этому соглашению Пакистан получал обратно пять тысяч миль территории, завоеванной Индией. Закладывалась основа для восстановления коммуникаций и торговли

между двумя странами, вне зависимости от их позиций по спорным вопросам относительно Дžамму и Кашмира. Соглашение открывало путь и для возвращения пакистанских военнопленных без унижительной процедуры суда над ними, которой угрожал Муджиб. Однако военнопленные не могли вернуться немедленно.

Позднее, когда мы с отцом поднялись к себе наверх, отец пояснил:

— Индира Ганди соглашалась либо на немедленное возвращение военнопленных, либо на возвращение территории. Как ты думаешь, почему я предпочел получить обратно территорию?

Я была шокирована.

— Не знаю я, папа! Народ был бы куда более счастлив, если бы освободили военнопленных!

— Их все равно освободят, — заверил меня отец. — Это проблема человеческая, которая лишь становится острее оттого, что речь идет о 93 тысячах человек. С индийской стороны было бы бесчеловечно долго держать их в лагерях. Кстати, их размещение и питание — тоже проблема. Территория — совсем другое дело. Территорию можно освоить, чего не сделаешь с людьми. Арабы, как потеряли территорию в войне 1967 года, так по сей день и не могут вернуть ее себе. Судьба тысяч военнопленных будет приковывать к себе внимание мировой общественности, а судьба территории — нет.

Отцу было нелегко принять решение возвратиться на родину, так и не договорившись об освобождении военнопленных. Как и можно было ожидать, посыпались протесты — и со стороны политических оппонентов, и от семей военнопленных. Возможно, Индия рассчитывала на неизбежный скандал, предвидение которого должно бы вынудить отца сдаться. Но он не сдался. Что же касается 93 тысяч военнопленных, то их освободили в 1974 году, когда Пакистан признал Бангладеш.

3 июля мы летели обратно в Равальпинди в радостном настроении — не сравнить с мрачностью нашего путешествия в Индию. Тысячи людей собрались в аэропорту приветствовать нашу делегацию. Отец выступил с речью:

— Сегодня — великий день, сегодня — день большой победы. Эту победу одержал не я. Ее одержала и не Индира Ганди. Эта победа народов Пакистана и Индии, которые после трех войн наконец завоевали себе мир.

4 июля 1972 года соглашение было единодушно поддержано Национальной ассамблеей, включая и оппозицию,

тоже высоко оценившую его. Соглашение, подписанное в Симле, действует и по сей день.

К сожалению, этого нельзя сказать о конституции 1973 года, первой демократической конституции Пакистана, разработанной подлинными выборными представителями народа.

Год спустя, 14 августа 1973 года, вся наша семья смотрела из ложи премьер-министра, как Национальная ассамблея единогласно принимает исламскую хартию. Навероятно, но факт: хартия получила национальный консенсус, ее поддержали региональные и религиозные лидеры, поддержала и оппозиция. Как лидер большинства в Национальной ассамблее мой отец стал премьер-министром Пакистана.

Через четыре года Зия свергнет правительство отца и приостановит действие конституции, но пока народ Пакистана впервые в своей истории получает конституцию, предоставляющую ему основные человеческие права и гарантирующую их защиту. Конституцией 1973 года заправлялась дискриминация по расовому, половому или религиозному принципу. Конституция гарантировала независимость судебной власти и отделяла ее от власти исполнительной. Первое представительное правительство Пакистана наконец заложило правовую основу власти: власти, санкционированной народом, суть которой когда-то разъяснил мне профессор Уомэк на своем семинаре.

Когда весной 1973 года я заканчивала Гарвард, была наглядно продемонстрирована мощь конституции Соединенных Штатов. Ни весенняя погода, ни матчи на Гарвардском стадионе не могли оторвать большинство студентов от телепередач об Уотергейте. Господи, думала я, американский народ смещает своего президента демократическим, конституционным путем. Даже могущественный президент, такой как Ричард Никсон, который положил конец войне во Вьетнаме и проложил путь в Китай, не может стать выше законов своей страны. Я читала Локка, Руссо и Джона Стюарта Милла о природе общества и государства, о необходимости гарантировать права народа. Но теория — это одно, а практическое воплощение этих принципов — совсем другое.

Уотергейтский процесс заставил меня понять огромное значение законодательства, признанного страной, в противовес сиюминутным и сомнительным законам, навязываемым отдельной личностью. Когда через год, в августе 1974 года, президент Никсон оставил свой пост, переход

власти к новому президенту прошел гладко и спокойно. В демократической Америке лидеры приходят и уходят, а конституция Соединенных Штатов остается. Пакистану в этом смысле так не посчастливится.

Приближалось время моего расставания с Гарвардом, и мне становилось все грустнее от мысли, что я уеду из Кембриджа, уеду из Америки. Я уже принята в Оксфорд вместе с некоторыми моими друзьями, включая Питера Гэлбрейта, но не хочется уезжать. Я так свыклась с Кембриджем и Бостоном, даже научилась не путаться в метро. Я пыталась уговорить отца разрешить мне поступить в Тафт, в Школу права и дипломатии Флетчера, а потом вернуться на работу в Пакистан. Но отец был непреклонен — я буду учиться только в Оксфорде. Четырех лет на одном месте больше чем достаточно, написал он мне. Если ты еще останешься в Америке, тыпустишь там корни. Пора на новое место.

Впервые отец принуждал меня. Но что мне было делать? В конце концов, деньги на образование давал мне отец. Выбора не было. А я человек практичный.

Мама приехала на вручение диплома, а потом вместе с моим братом Миром, который закончил в Гарварде первый курс, помогла мне собраться. Иоланда Кодржиски, моя соседка, и я раздали нашу мебель, снимали плакаты со стен. Комнаты сразу опустели. Пустовато было и на стадионе, и на полках книжного кооператива. Может быть, и впрямь пришла пора сниматься с места.

Когда самолет взлетел с аэродрома Логан, я вытянула шею, стараясь увидеть в последний раз Бостон сверху. Покупки в подвальном этаже универмага «Файлинз». Обеды за общими столами в Дерджин-парке. Походы в «Касабланку», чтобы опомниться после хоккейного проигрыша бостонской университетской команды. Человек высадился на Луне, и я видела лунную пыль в музее массачусетского Технологического. В ушах звучали слова песенки Питера, Пола и Мэри: «Самолет меня уносит, я не знаю, возвращусь ли...» Я улетала на родину, в Пакистан.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В АЛЬ-МУРТАЗЕ: ЗАДУМЧИВЫЕ ШПИЛИ ОКСФОРДА

Январь, 1980.

На третий месяц нашего заключения в Аль-Муртазе меня снова начинает беспокоить ухо. Тук. Тук. В ухе снова стучит, как это уже было во время ареста 1978 года. Тогда, в Карачи, врач, доставленный ко мне военными, диагностировал синусит, обострившийся из-за того, что я каждые две недели летала самолетом, навещая отца в тюрьме. Врач сделал пункцию, чтобы вскрыть евстахиеву трубу. Теперь снова в ухе привычное гудение и нарастающая боль. Приходит местный доктор, но ничего не может сделать, и я обращаюсь к тюремному начальству с просьбой вызвать того врача, который оперировал меня в Карачи. К моему большому удивлению, приводят совершенно незнакомого человека. У него мягкие манеры и приятный голос.

— Расслабьтесь, вы слишком долго были в напряжении, — успокоительно говорит он, осматривая ухо.

— Ой! — вскрикиваю я. — Больно!

— Это вам кажется, — успокаивает он. — Я просто хочу заглянуть в ухо.

Проснувшись на другое утро, я обнаруживаю на подушке несколько капель крови.

Опять приходит врач.

— Вы прокололи себе барабанную перепонку, — объясляет он. — Шпилькой, наверное.

Какой шпилькой? Зачем мне совать шпильку в ухо? Врач прописывает два препарата, которые я должна принимать по три раза в день. Но его таблетки только вызывают у меня сонливость, а когда я не сплю — депрессию. Мать потрясена, когда на третий день приема лекарств я уже не встаю на рассвете, чтобы поливать сад, не ем и даже не чищу зубы. Мать не успокаивается до тех пор, пока не выбрасывает лекарства.

Тянутся дни, боль то усиливается, то затихает, а шум в ухе все нарастает. Тук. Тук. Тук. Тук. Я не сплю, я

не нахожу себе места. Нарочно проколол этот врач барабанную перепонку или по недосмотру? Тук. Тук. Тук. Ощущение, будто уши забиты, и я плохо слышу.

Днем я стараюсь отвлечься, работая в саду еще больше, чем прежде. С меня пот льет градом и затекает в ушную раковину. В ухо попадает вода от поливки цветов. Я не оберегаю уши, когда принимаю душ. Я не знала, и врач не предупредил меня, что больное ухо нужно беречь от воды, что жидкость, просачиваясь через поврежденную перепонку, может вызвать заражение. Тук. Тук.

Я не сплю ночами и брожу по комнатам Аль-Муртазы. В усадьбе, как и в доме на Клифтон-Роуд, 70, было уже столько обысков, что вещи давно переставлены с привычных мест или вообще пропали. Военные наложили арест на отцовскую коллекцию старинного оружия, доставшуюся ему в наследство от деда, и она заперта в садовой кладовке. Раз в неделю начальство проверяет, не сломан ли замок, будто нас с матерью подозревают в том, что мы будем пробиваться на волю, отстреливаясь из старинных мушкетов.

Я прохожу через опустевшую комнату, где раньше размещалось оружие, комнату, которую мы использовали как семейную столовую. Вхожу в обшитую деревом бильярдную, где мои братья сражались с приятелями, приезжавшими погостить ко мне из Оксфорда. На бильярдном столе почему-то стоит керамическая фигурка толстого китайца, окруженного множеством детей, хотя ей место в гостиной. Я беру ее и несу на место. Отец очень любил фигурку и часто шутил, что ему хотелось бы завести детей на целую крикетную команду, но, поскольку у него не хватило бы денег на приличное образование для одиннадцати детей, пришлось ограничиться нами четверьмя.

Оксфорд, Оксфорд, Оксфорд, твердил он нам. Оксфорд — это один из лучших, престижнейших университетов мира. Оксфорд — это сама история Англии. Английская литература, церковь, монархия, парламент — все это неотделимо от Оксфорда. Американская система образования превосходна, отец это признавал, но она чересчур либеральна. Оксфорд откроет перед нами новые горизонты и приучит нас к дисциплине. Отец записывал каждого из нас в Оксфорд сразу после рождения. Я, как старшая, оказалась единственной, кто закончил этот университет, прежде чем военный переворот перевернул и наши жизни. Мир бросил учебу в начале второго курса, когда ему пришлось бороться в Англии за

жизнь отца, а Санам так и не поступила туда. Для отца было очень важно, что я училась в его возлюбленной альма-матер.

«Со странным чувством представляю я себе, как ты идешь по тем следам, что я оставил в Оксфорде почти двадцать два года назад, — писал отец из резиденции премьер-министра в Равальпинди вскоре после моего приезда в Оксфорд осенью 1973 года. — Я был счастлив и когда ты училась в Рэдклиффе, но, поскольку с Гарвардом у меня ничего не связано, я не могу увидеть тебя там через призму воспоминаний. В Оксфорде же я просто вижу тебя, как мое воплощение во плоти и крови, вижу каждый камень на улицах, вижу, как ты идешь по заледенелым каменным ступеням, какходишь во врата знания. Ты в Оксфорде — сбылась моя мечта. Мы за тебя молимся и надеемся, что сбывшаяся мечта приведет тебя к блестящей карьере на благо твоего народа».

Отец наверняка чувствовал себя в Оксфорде лучше, чем я в первое время. В отличие от Гарварда, где мы с подружкой занимали целые апартаменты, здесь у меня была крохотная комнатка в Леди-Маргарет-Холле и общая ванная внизу. Мне недоставало собственного телефона, а допотопная оксфордская система связи обыкновенно срабатывала через два дня. И англичане показались мне очень замкнутыми по сравнению с моими гарвардскими друзьями, с которыми я сошлась сразу. В первые несколько недель я старалась держаться поближе к американским знакомым, поступившим в Оксфорд. Но отец не оставлял меня в покое, прислал мне литографию с изображением Древнего Рима, которая в 1950 году украшала его комнату в колледже Крайст-Черч. Он написал мне из Аль-Муртазы:

«Литография ничего не значила бы для тебя до приезда в Оксфорд. Сейчас я посылаю ее в надежде, что тебе, может быть, захочется повесить литографию в своей комнате».

Я повесила литографию, и она соединила цепью преемственности пыльные дороги Пакистана с чисто выметенными улицами Оксфорда.

Отец предупреждал меня, что Оксфорд — не Гарвард, что условия учебы здесь гораздо жестче. Я признала его правоту, когда пришлось выжимать из себя по два сочинения в неделю для курсов политологии, философии и экономики. Отец оказался прав и настаивая на моем вступлении в Оксфордский студенческий союз.

В Оксфорд великое множество разных обществ—от социалистических, консервативных и либеральных полити-

ческих клубов до организаций гребцов и горнистов, однако наибольшей известностью пользуется дискуссионное общество Студенческого союза. Союз был основан в 1823 году по образцу Палаты представителей и считался чем-то наподобие школы для будущих политических деятелей. Я не собиралась становиться политическим деятелем, поскольку достаточно насмотрелась на их жизнь и работу, я рассчитывала на дипломатическую карьеру. В Студенческий союз я вступила, желая сделать приятное отцу.

Правда, помимо этого меня привлекало искусство дискуссии. В Азии, где огромное число неграмотных, ораторское искусство играет очень большую роль. Слово Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру, Мохаммеда Али Джинны да и моего собственного отца поднимало миллионы людей. Рассказчики, поэты и ораторы — неотъемлемая часть нашей традиции. Естественно, я не могла тогда предвидеть, что навыки, приобретенные в благопристойных, обшитых деревом стенах дискуссионного общества, пригодятся мне для выступлений перед миллионными толпами на полях Пакистана.

В течение трех лет я изучала политологию, философию и экономику, четвертый год проучилась в докторантуре по международному праву и дипломатии, но все это время важнее и приятнее всего для меня было участие в деятельности дискуссионного общества. Я, как свои пять пальцев, знала парк и дом Студенческого союза в центре Оксфорда, ресторанчик в подвальном этаже, две библиотеки и бильярдную — не хуже, чем усадьбу Аль-Муртаза. Мы собирались в зале заседаний и слушали самых разных ораторов: от писательницы-феминистки Жермен Грир до профсоюзного лидера Артура Скарбилла. В мое время у нас выступили два бывших премьер-министра Великобритании — лорд Стоктон и Эдвард Хит. Выступающие студенты были одеты в строгие костюмы с гвоздикой в петлице, что вынудило и меня сменить джинсы на шелка от Анны Белинды. Сначала устраивался обед при свечах, а после обеда мы приступали к словесной войне.

Какие только шутки не разыгрывает с нами жизнь. Первая речь, которую я должна была произнести под мраморными бюстами таких государственных мужей Великобритании, как Гладстон и Макмиллан, касалась смещения выборного главы государства конституционными средствами без применения оружия. Президент общества предложил мне доказать: данное собрание добьется импичмента Никсона.

И я начала:

— Парадокс заключается в том, что человек, который основным пунктом своей программы на президентских выборах сделал укрепление законности и правопорядка, будучи избранным, приложил все усилия к тому, чтобы нарушить закон и вызвать беспорядки по всей стране. Однако история Америки изобилует парадоксами. Вспомним эпизод, касающийся Джорджа Вашингтона и его отца. Когда отец Джорджа увидел, что кто-то срубил вишневое дерево, он пришел в ярость и пожелал узнать, кто это сделал. Юный Джордж отважно сделал шаг вперед со словами: «Отец, я не могу солгать. Дерево срубил я». Итак, Америка начала с президента, который был неспособен солгать, и пришла к президенту, который неспособен сказать правду.

С бесшабашной уверенностью, свойственной двадцатилетним, я изложила обвинения в нарушениях закона, допущенных президентом США, по которым он заслуживает импичмента. В том числе: ущемление права конгресса на объявление войны — имелась в виду война во Вьетнаме, секретные бомбардировки Кампучии, уклонение от уплаты налогов, предполагаемое соучастие в сокрытии истины об Уотергейте и таинственно стертые магнитофонные записи.

— Нет сомнения, друзья мои, — заключила я, — что все эти обвинения серьезны. Никсон постоянно ставил себя выше закона, утверждая свое право поступать, как ему заблагорассудится. Последний британский монарх, утверждавший это право, сложил за него голову. Мы предлагаем менее болезненную, но не менее эффективную хирургическую операцию. Говорят, будто Никсон обратился к психиатру, который сказал ему: «У вас не паранойя, господин президент, вас действительно ненавидят». Сегодня Никсона не только ненавидят — ему окончательно перестали верить. Утратив доверие своего народа, Никсон лишился и морального права стоять во главе Америки. В этом трагедия и Никсона, и Америки.

Кодексы законов. Доверие. Моральное право. Все эти демократические принципы, которые в годы жизни на Западе я принимала как должное, будут утрачены в Пакистане. Дискуссионное общество проголосовало 345 голосами против 2 за импичмент Никсона. В Пакистане правительство моего отца было смещено не голосами, а штыками.

Но Пакистан был так далеко от Оксфорда. Легкие и счастливые годы, проведенные там, стали, как и предсказывал

отец, лучшими годами моей жизни. Мы с друзьями катались на плоскодонках по Черуэллу, устраивали пикники на тенистых лужайках дворца Бленхейм около Вудстока. Иногда мы ездили в машине, подаренной мне отцом по случаю окончания Рэдклиффа, смотреть шекспировские пьесы в Стратфорд-Эйвон или в Лондон, где я набрасывалась на американское мятное мороженое. В период «восьми недель» — пока шли гребные соревнования команд колледжей — мы собирались на завтраки в саду, куда молодым людям полагалось являться в плоских соломенных шляпах и пиджаках, а дамам — в длинных платьях в цветочек и тоже непременно в шляпах. На экзамены мы наряжались в традиционные белые блузки, черные юбки и черные безрукавные мантии, так что, когда мы шли по улицам, нам желали удачи даже случайные прохожие.

В Гарварде иностранных студентов было довольно мало — в моем классе всего четверо, причем одна студентка была из Англии и было как-то странно считать ее «иностранкой». В Оксфорде иностранцев училось значительно больше. Со мной учился Имран Хан, ставший потом звездой пакистанского крикета, и Бахрам Дехкани-Тафти, отец которого был иранцем. Бахрам был убит в мае 1980 года, вскоре после революции в Иране. В студенческие годы мы часами слушали его игру на пианино: в репертуар Бахрама входило буквально все — от Гилберта и Салливана, от Скота Джоплина до «Реквиема» Форе. Правда, на азиатов в Оксфорде смотрели как на экзотическую диковину, и они не входили в местную табель о рангах, но не все англичане так относились к нам.

В феврале 1974 года я побывала в Пакистане. Отец проводил в это время встречу глав правительств мусульманских стран в Лахоре, где собрались практически все монархи, президенты, премьер-министры и министры иностранных дел тридцати восьми государств, эмиратов и королевств. После того как отец выступил с призывом о дипломатическом признании Бангладеш, прилетел и Муджиб ур-Рахман, за которым был послан личный самолет президента Хуари Бумедьена. Встреча стала большим успехом для отца и для Пакистана. Протянув Муджибу оливковую ветвь, отец проложил путь для мирного возвращения на родину военнопленных, которым бенгальский лидер угрожал трибуналом.

В Англию я возвращалась окрыленная своей причастностью к Азии и сразу столкнулась с первым для меня проявлением расизма.

— Где вы собираетесь жить в Англии? — спросил чиновник иммиграционной службы, разглядывая мой паспорт.

— В Оксфорде, — вежливо ответила я. — Я там учусь.

— В Оксфорде? — он саркастически поднял брови.

Начиная злиться, я протянула ему студенческий билет.

— Бхутто. Мисс Беназир Бхутто. Карачи, Пакистан, — пренебрежительно протянул чиновник. — Ваше полицейское разрешение!

— Прошу вас, — я подала полицейское разрешение, которое обязаны носить с собой в Англии иностранцы.

— Ну, и откуда у вас деньги на обучение в Оксфорде? — снисходительно усмехнулся он.

Я сдержалась и не сказала, что привезла с собой карандаши и жестянку — торговать у метро.

— Родители переводят мне средства на банковский счет, — я показала книжечку.

Но въедливый чиновничек продолжал держать меня, то перелистывая мои документы, то сверяя мою фамилию, которая ему явно ни о чем не говорила, с записями в толстой книге.

— Откуда у паков могут взяться деньги на обучение в Оксфорде? — процедил он наконец, возвращая мне документы.

Я в бешенстве ринулась из аэропорта. Если чиновники службы иммиграции так ведут себя с дочерью премьер-министра, что же они выделяют с другими пакистанцами, которые не говорят по-английски, как я, и не могут постоять за себя?

Задолго до моего отъезда в Оксфорд отец, предостерегая меня, говорил, что на Западе я могу встретиться с проявлениями расизма. Он и сам столкнулся с этим в студенческие годы, когда однажды служащий отеля в Сан-Диего отказал ему в номере — и не потому, что он пакистанец, а потому, что смуглостью кожи напоминал мексиканца.

Отец снова предупредил меня о расизме, когда и мои письма из Оксфорда, и домашние разговоры стали отдавать столь же Западом, сколь и Востоком. Он, видимо, побаивался, как бы меня не увлекли песни западной сирены и я не решила бы навсегда расстаться с Пакистаном. Отец писал мне:

«Там все знают, что, окончив учебу, ты не останешься среди них навсегда. К тебе хорошо относятся, поскольку ты неходишь в число иммигрантов, цветной обузы.

Отношение к тебе сразу переменится, если ты вдруг окажешься еще одной пакистанкой или азиаткой, ищущей прибежища в их великой стране... Они начнут указывать тебе твое место, считая несправедливым, чтобы ты соперничала с ними».

Отцу незачем было беспокоиться — мысль о невозвращении в Пакистан никогда не приходила мне в голову. Я сердцем была в Пакистане, куда уходили корни моей традиции, моей культуры. И там было мое будущее — на дипломатическом поприще, как я надеялась. Я уже приобретала дипломатический опыт, будучи дочерью своего отца.

В 1973 году на официальном банкете в Белом доме — отец приехал в Соединенные Штаты с государственным визитом договариваться об отмене эмбарго на поставку вооружений для Пакистана — я сидела рядом с Генри Киссинджером. За супом я все время вспоминала разворот в нахальном журнале «Гарвард лампун», на котором государственный секретарь США был изображен с сигарой в зубах лежащим на шкуре панды. Бесценный номер журнала был немедленно послан мною в Пакистан сестре и Самии. Чтобы не думать о журнале, я за рыбой завела с Киссинджером разговор об элитарности Гарварда и о других совершенно невинных вещах. Как же я была удивлена, когда на следующий вечер, уже на другом приеме, Киссинджер, ухватив отца за пуговицу, заявил ему:

— Господин премьер-министр, ваша дочь внушает мне еще больший страх, чем вы!

Отец рассмеялся, сочтя это комплиментом. Я-то до сих пор не уверена, что это комплимент...

Ядерная энергия была темой, которая широко обсуждалась во Франции, куда отец приехал в 1974 году на похороны Жоржа Помпиду. Годом раньше было достигнуто неофициальное соглашение с Помпиду, по которому Франция должна была оказать Пакистану содействие в создании завода по обогащению урана. Однако было не ясно, намерен ли преемник Помпиду продолжить переговоры по этому вопросу. За обедом с друзьями у «Максима» отец спросил меня:

— Кто, по твоим предположениям, будет новым президентом?

— Жискар д'Эстен, — ответила я, строя свой прогноз на блестящем курсе французской политики, который нам читал в Крайст-Черче Петер Пульсар. Мне повезло, я не

ошиблась. Президент Жискара д'Эстен согласился выполнять ранее данное обещание, вопреки сильному нажиму Генри Киссинджера и Соединенных Штатов.

Мои прогнозы насчет новых президентов были куда менее удачными три года назад, когда отец отправил нас четверых в Китай, чтобы мы составили себе представление о коммунистическом государстве. Нас принял премьер-министр Китая Чжоу Эньлай, который спросил меня, кто, с моей точки зрения, станет следующим президентом Соединенных Штатов. Джордж Макговерн, ответила я и стояла на своем даже после того, как Чжоу Эньлай сообщил, что его американские источники называют Ричарда Никсона. Но я, активистка антивоенных движений в Гарварде, жительница либерального северо-запада, и думать не могла ни о ком, кроме Макговерна.

— Вернетесь в Америку, напишите мне о своих впечатлениях, — сказал Чжоу Эньлай.

Я ему написала. Макговерн, повторила я. Вот чего стоила моя политическая прозорливость студенческих лет.

Но той осенью 1976 года, когда я вернулась в Оксфорд, чтобы пройти годичный курс докторантуры, меня занимал вопрос о моих собственных президентских выборах, оказавшихся удачными. Хотя мне уже не терпелось оставить академические занятия ради дипломатической деятельности, отец настаивал на том, чтобы мы, как дети премьер-министра, были вдвойне подготовлены к любой работе, чтобы никто не мог обвинить его — или нас — в семейственности.

Мой брат Мир как раз поступил в Оксфорд, и мне хотелось некоторое время побыть вместе с ним. Но самым большим соблазном дополнительного года в Оксфорде стала возможность баллотироваться на пост президента Студенческого союза. Я несколько лет проработала в постоянном комитете союза, работала и казначеем, но в президенты при первой попытке баллотироваться не прошла. На этот раз я победила на выборах. Моя победа в декабре 1976 года потрясла «мужской клуб», каковым по сути был Оксфордский союз, где еще десять лет назад женщин допускали только на галерею, где и сейчас на семь мужчин приходится одна женщина. Поэтому моя победа изумила всех, даже отца.

«На выборах одна сторона побеждает, значит, другая должна проиграть, — писал он мне в 1976 году, незадолго до президентских выборов в Америке, стараясь подготовить меня к тому же, что ожидало Джеральда Форда, проиг-

равшего Джимми Картеру. — Делай все, что в твоих силах, но прими с достоинством любой результат».

Месяцем позже я получила совсем другое послание от отца:

«В восторге от твоего избрания президентом Оксфордского союза. Ты молодец. Мы все от души поздравляем тебя с большим успехом. Папа».

Мой трехмесячный президентский срок начинался с января 1977 года. Мы с Миром полетели домой на рождественские каникулы — жизнь казалась безоблачной.

Через несколько дней отмечался день рождения отца, как всегда в Аль-Муртазе. Во двореке ко мне подошел один из отцовских адъютантов:

— Я хочу представить вам Зию уль-Хака!

Так в первый — и единственный — раз я встретила лицом к лицу с человеком, который шесть месяцев спустя сместит моего отца, а впоследствии и казнит его.

Я слышала, что были трудности с подбором кандидатуры на пост начальника генерального штаба, и с любопытством смотрела на генерала. На этот пост претендовали шесть других генералов, но проверкой спецслужб за каждым было что-то обнаружено: кто пил, кто распутничал, кто казался ненадежным. Небезупречен был и генерал Зия. Ходили слухи, что он связан с Джамаат-е-ислами, фундаменталистской религиозной организацией, стоящей в оппозиции к ПНП и считавшей, что страной должны управлять религиозные лидеры, а не гражданское правительство. Один из пакистанских послов утверждал также, что Зия нечист на руку.

Однако можно было назвать и ряд положительных моментов. Поскольку в период гражданской войны Зия находился вне Пакистана, он не был замаран кровью армейских бесчинств в Восточном Пакистане. Говорили, что в армии он пользуется уважением. Это послужило для отца наиболее веским доводом в пользу Зии при длительном процессе отбора кандидатуры, от которого отец уже устал. Получив положительные отзывы от различных армейских ведомств, отец остановил свой выбор на Зии.

— Не нужно, чтобы думали, будто гражданское правительство навязывает армии свою волю. Пусть Зия и не самый старший по чину, но похоже, что к нему хорошо относятся солдаты, — с облегчением сказал отец.

Таким образом, 5 января 1977 года я лицом к лицу столкнулась с человеком, которому будет суждено разом перевернуть наши жизни.

Помню, как он удивил меня. В опровержение моего наивного представления о солдате — рослом, с обветренным лицом и стальными нервами Джеймса Бонда, передо мной стоял нервный человек, растяпа по виду, с напояженными волосами, разделенными пробормом по середине головы и приклеенными к вискам. Он больше походил на злодея с английской карикатуры, чем на восходящую военную звезду. Вдобавок он был невыносимо лстыив и без конца повторял, какая для него честь — познакомиться с дочерью столь великого человека, как Зульфикар Али Бхутто. Уж мог бы отец подыскать более представительного начальника штаба, подумала я про себя, но отцу ничего не сказала.

Во время прогулки по саду после праздничного обеда отец поделился со мной:

— Я собираюсь провести дополнительную земельную реформу. И хочу назначить выборы на март. По конституции мы можем проводить их в августе, но я не вижу надобности ждать. Конституционные демократические институты уже введены, парламент и правительства в провинциях действуют. Имея в руках мандат народа, нам легче переходить ко второй фазе нашего плана — к расширению промышленной базы страны и к модернизации сельского хозяйства, для чего нам потребуются новые артезианские колодцы, дополнительное распределение семенного материала, увеличение производства химических удобрений...

Мы гуляли по саду, отец рассказывал о своих планах. Он видел Пакистан современным, способным состязаться с другими странами государством.

Многие из этих реформ уже были начаты. В своей предвыборной программе ПНП обещала беднейшим слоям населения начать перераспределение земель, находившихся во владении кучки феодалов. Отец приступил к проведению в жизнь социалистических преобразований в экономике: было национализировано несколько промышленных предприятий, монополизированных пресловутыми «двадцатью двумя семьями», с тем чтобы возратить Пакистану прибыли от них. Правительство установило минимальный уровень заработной платы, что было очень важно для тех, кто раньше получал крохи или вообще ничего не получал от старейшин племен или владельцев предприятий. Пра-

вительство поощряло рабочих создавать профсоюзы, впервые в истории Пакистана предоставляя им право на участие в управлении, а следовательно, и в формировании будущего страны.

Были электрифицированы целые районы в сельской местности. Были разработаны программы ликвидации неграмотности среди мужчин и женщин, выстроены новые школы для неимущих. Пыльные города украсились парками и садами, асфальтированные дороги пролегали там, где были проселки. В сотрудничестве с китайцами прокладывалась новая дорога через Гиндукуш, которая должна была протянуться до самой китайской границы. Отец был полон решимости дать народу Пакистана современное благосостояние.

— Мой ослик все время спотыкается на этой вашей новой дороге, — пожаловался отцу крестьянин из Белуджистана.

— Я покажу тебе ослика получше, который в три раза быстрее доставит твои овощи на городской базар, — пообещал отец и через неделю прислал крестьянину джип.

Естественно, отец сталкивался с противодействием. Он, конечно, не устраивал тех промышленников, чью собственность он национализировал. Или крупных землевладельцев, владения которых он распределил между крестьянами, обрабатывавшими эти земли в течение жизни одиннадцати поколений, довольствуясь всего половиной урожая. Против отца выступали члены Джамаат-е-ислами, среди которых было много мелких торговцев, недовольных его социальными реформами, особенно мерами по защите работающих женщин и законами, запрещающими женскую дискриминацию. Политика отца, направленная на консолидацию страны, вызвала сопротивление тех, кто был заинтересован в сепаратизме: в поддержке движения за независимость Белуджистана и Северо-Западной Пограничной провинции, в поддержке старейшин различных племен, которые не желали выполнять распоряжения центрального правительства, предпочитая по-старому вершить судьбами сотен тысяч людей.

В принципе, в 1977 году в Пакистане существовали те же группировки, что и при создании страны в 1947 году, — регионалисты против центрального правительства, капиталисты против социалистов, феодалы и сардары против образованной прослойки, бедные провинции против богатой элиты зажиточного Пенджаба, фундаменталисты против сторонников модернизации. И на всем

лежала густая тень армии — единственной хорошо сколоченной и четко функционирующей организации в раздробленном Пакистане.

Кое-кто из западных политологов вместе с пакистанскими военными доказывал невозможность демократического правления в стране со столь пестрым населением, где так мало грамотных и так низок уровень жизни. Пакистанцам даже общаться между собой трудно — в каждом регионе собственный язык и свои обычаи. Только армейской дисциплиной можно поддерживать порядок в такой стране, доказывали они. Но отец опроверг эту теорию, успешно приведя к власти гражданское правительство, при котором не военной силой решается вопрос о руководстве, а выборами. В начале 1977 года ни у кого и сомнения не было, что правительство отца будет вновь переизбрано в марте.

Отец начал готовиться к выборам, а я вернулась в Оксфорд и занялась организацией дебатов. Темой первой дискуссии, которую я проводила как президент, была такая: «В состязании двух систем победит капитализм». Оппонировать этому тезису я пригласила Тарика Али, человека левых взглядов, весьма уважаемого и прекрасного полемиста, который и сам был президентом Оксфордского союза в студенческие годы. Следующая тема, рассчитанная на то, чтобы привлечь внимание к проблеме Север — Юг, называлась «Запад не может дальше жить за счет „третьего мира“».

В Пакистане политическая оппозиция объединялась против ПНП в коалицию из девяти партий — Национальный альянс Пакистана, куда вошли регионалисты, религиозные фундаменталисты и промышленники. А я организовывала пятые дебаты, которым, по традиции, полагалось быть юмористическими. Придумала тему: «Данное собрание предпочитает року — ролл». Под почтенными сводами зала заседаний впервые в истории загремела рок-музыка, и двое друзей из колледжа Магдалены спели очень громкий дуэт об Оксфордском союзе на мелодии из оперы «Иисус Христос — супер-стар», а потом подхватили меня и вынесли из зала на руках.

Я хлопотала о перекраске президентской комнаты в нежно-голубой цвет, носилась, печатая программы дебатов белым и зеленым — цветами пакистанского флага, а в Пакистане бывший главнокомандующий ВВС Асгар Хан, лидер НАП, делал заявления о том, что оппозиционная

коалиция не примет результаты мартовских выборов, ибо они обязательно будут подтасованы. Я обращала мало внимания на эти обвинения, так как знала, что отец действует согласно избирательной процедуре, общепринятой в демократических странах, что в Пакистане образованы независимая Избирательная комиссия, Избирательные трибуналы, что за соблюдением избирательных законов будет следить Верховный суд, призванный обеспечить достоверность выборов.

Но все же мне казалось странной предвыборная тактика Асгара, заранее склоняющего страну не соглашаться с неминуемой победой ПНП на выборах.

Еще более странный характер избирательная кампания приобрела, когда к 18 января — последнему дню регистрации кандидатов — НАП не выставил ни одного кандидата в тех кругах, где баллотировались отец и его главные министры. До чего же странно, подумала я, прочитав об этом в английских газетах. Почему оппозиция никого не выставляет против премьер-министра и главных министров четырех провинций? Что, кандидаты НАП понимают свое положение и не хотят терять лицо? Чересчур рациональное объяснение, подумала я. Объяснение, представленное оппозицией, было не только невероятным — оно попало в заголовки всех газет.

— наших кандидатов похитили и не дали им зарегистрироваться! — кричала оппозиция, утверждая, что полиция задержала их кандидатов и держала у себя, пока не прошел срок регистрации. Обвинения показались мне, сидевшей в Англии, совершенно нелепыми. Я была не единственной, кто не поверил в историю с похищением, — глава Избирательной комиссии тоже не поверил и отклонил жалобу НАП за недостатком доказательств. Если там кого-то и похищали, то они наверняка сами все это подстроили. Но ход оппозиция, как выяснилось, сделала ловкий. Похищения нередко случались в Пакистане, и, возможно, многие поверили обвинениям НАП.

Я стала внимательнее следить за избирательной кампанией — как по английским газетам, так и по различным азиатским изданиям, не говоря уже о пакистанских, еженедельно присылаемых мне родителями. НАП вел себя все более безответственно и чудовищно. Бхутто нельзя доверять! — повторяла оппозиция на все лады. Он собирается национализировать крышу над вашей головой и конфисковать золотые украшения у каждой женщины. Бхутто не человек из народа, он из богатейшей семьи. Вы

на него посмотрите — заказывает себе костюмы на Савил-Роу, носит итальянскую обувь и пьет шотландское виски.

Это же обвинение повторяли и министры Айюб Хана. Отцовский ответ привел меня в восторг — отец был человеком откровенным и не любил ханжества.

— А я и не отрицаю, что могу иногда выпить после восемнадцатичасового рабочего дня! — объявил он на митинге в Лахоре. — Только, в отличие от других, я виски пью, а не народную кровь!

Я ни на миг не ставила под сомнение исход выборов. Лидеры НАП не были ни крупными фигурами, ни просто порядочными людьми. В большинстве это люди немолодые, гораздо старше отца, и мыслили категориями прошлого. У них не было такого, как у отца, образования, государственного и политического опыта. В Пакистане не было второго такого, как мой отец, — это факт. Когда правят генералы, политики не могут быть сливками нации; считалось, что настоящие личности скорее найдут себя на административной службе, в армии, в промышленности. Оппозиция в значительной части состояла из людей мелких, провинциальных, чья политическая близорукость и в прошлом мешала развитию Пакистана, и в будущем сделает то же самое.

Оппозиция продолжала нагромождать ложь за ложью. Асгар Хан уверял, что мой отец настолько плохой мусульманин, что он только сейчас учится читать молитвы пять раз в день. У меня глаза на лоб полезли, когда я прочитала это в февральском номере «Фар истерн экономик ревью», — сколько раз я молилась дома вместе с родителями! Но мне понравилось, как отец ответил. Когда журналист спросил, с какой целью к нему едет Ясир Арафат, отец ответил:

— С целью поучить меня молиться!

Другие лидеры коалиции во время предвыборной кампании бесстыдно использовали религиозные чувства народа в политических целях, выступая под лозунгом *Низаме-е-Мустафа*, «правление пророка». Глава Джамаат-е-ислами заявил на избирательном митинге в сельской местности, что голос против этой партии есть голос против бога. А если проголосовать за НАП, то это приравнивается к ста тысячам лет молитвы.

Более трезвые лидеры оппозиции знали, как взрывоопасен религиозный фактор, и остерегались этой темы. Несмотря на непрекращающийся поток обвинений, они

знали, что ПНП занимает твердую позицию по вопросу ислама. Ведь именно мой отец дал стране в 1973 году первую исламскую конституцию, и это он впервые создал министерство по делам религии. Это его правительство напечатало первое пакистанское издание Корана, в котором не было ни единой ошибки, отменило квоты, введенные предыдущим правительством, на число паломников в Мекку, сделало *исламият* — закон божий — обязательным в начальной и средней школе. Правительство моего отца организовало телепрограммы для изучения арабского языка, чтобы пакистанцы знали язык, на котором написан Коран, учредило «Рует-е-Хилаль» — комитет по наблюдению за Луной, чтобы покончить с разногласиями по поводу начала и окончания поста в месяц рамазан. Правительство даже ставило вопрос о замене Красного креста на Красный полумесяц, чтобы подчеркнуть связь этой организации с исламом, а не с христианством.

Памятуя обо всем этом, я не очень встревожилась, когда узнала о фундаменталистском привкусе избирательной кампании оппозиции. Я полагала, что большая часть народа отдает себе отчет в том, как отбросило бы назад Пакистан проведение в жизнь *шариата* в его фундаменталистском истолковании. Пакистану пришлось бы отказаться от многого, чего он добился в области правопорядка и экономики. Например, пришлось бы отменить банки, ибо, строго следуя *шариату*, взимание процентов надо признать ростовщичеством. Женщины же потеряли бы все то, что дали им прогрессивные реформы отца.

Отец открыл для женщин доступ к дипломатической работе, административной службе и службе в полиции. Желая содействовать развитию женского образования, отец назначил женщину проректором Исламабадского университета, женщину сделал губернатором Синда и женщину же — заместителем спикера в Национальной ассамблее. Для женщин открыл путь и в средства массовой информации — на наших телеэкранах впервые появились дикторши.

Отец привлекал и маму к более активной деятельности. В 1975 году она возглавила пакистанскую делегацию на международной женской конференции, проводившейся в Мехико-сити по линии ООН. Я страшно гордилась, когда мать была избрана вице-президентом конференции. Теперь она баллотировалась в Национальную ассамблею, символизируя этим положительное отношение своего мужа к участию женщин в политической жизни.

Однако по мере приближения дня выборов нападки НАП на ПНП становились все яростнее. Асгар Хан угрожал отправить в концлагеря наиболее ненавистных ему лидеров ПНП, как только он придет к власти, отца же — просто убить.

— Повесить ли мне Бхутто на Аттокском мосту? Или повесить его на фонарном столбе в Лахоре? — вопрошал лидер оппозиции.

Вот это уже напугало меня. Ходили слухи, что Асгар Хан связан родственными узами с младшими армейскими офицерами, которые в 1974 году попытались организовать военный переворот. Может быть, он опять что-то затевает в армии?

Оксфорд казался таким далеким от Пакистана. Мой отец стремился сделать Пакистан демократической страной, однако создавалось впечатление, что далеко не все у нас научились самодисциплине, без которой нет демократии. В одном из районов Карачи кандидат от НАП расстрелял из пулемета предвыборный плакат отца, убив при этом ребенка, попавшего под огонь.

В феврале я получила письмо из Карачи от школьной подруги. Она писала:

«Оппозиция ведет себя ужасно, настолько ужасно, что на это реагирую даже я, при моем полном безразличии к политике... Сейчас сильнее, чем когда бы то ни было раньше, пакистанцы понимают, как они нуждаются в твоём отце. Боже упаси, чтобы кто-нибудь другой даже приблизился к рычагам власти. Страна погибнет».

Наступил день выборов. Вечером я пошла к Миру, мы уселись ждать у телефона в его комнате напротив Крайст-колледжа. Посол Пакистана в Лондоне и один из наших министров — оба обещали позвонить, как только поступят данные о результатах. Брат предсказывал, что ПНП получит от 150 до 156 мест в Национальной ассамблее. Зазвонил телефон, мы услышали голос отца, охрипший от предвыборных выступлений, — ПНП получила 154 места из 200.

— Поздравляем, папа! — кричала я в трубку.

Я была возбуждена победой ПНП, испытывая и большое облегчение оттого, что пришел конец предвыборной нервотрепке. Но оказалось, что конец не пришел.

Оппозиционная коалиция, как и обещала, заявила о подтасовке результатов выборов и о своем решении бойкотировать выборы в Провинциальные собрания, назначенные тремя днями позже. Напряженность возросла.

Посыпались сообщения о неожиданном появлении на улицах Карачи банд на мотоциклах, оставлявших за собой подожженные кинотеатры, банки, винные магазины, дома, на которых были флаги ПНП. Сожгли заживо семью из тринадцати человек, и, когда в предсмертной агонии одна из жертв попросила воды, бандиты помочились ей в рот. Линчевали члена ПНП, и его труп висел на фонарном столбе, пока не был снят полицией. Министры и члены парламента от ПНП получали письма — их обещали убить или похитить из школ их детей.

В Карачи начался кошмар.

Я по утрам бросалась за английскими газетами, прежде чем взять из почтового ящика пакистанские. Мы с Миром читали газеты, не веря собственным глазам, — нам демократия была известна по тому, что мы видели в США и в Англии, где политические оппоненты крайне редко прибегали к терроризму и насилию, и тактика НАП приводила нас в ужас. У нас крепили самые страшные подозрения о целях этой тактики. Было ясно, что НАП не рассчитывает на выборы. В таком случае можно было думать, что непрекращающееся насилие предназначено для захвата власти иным путем — скажем, путем военного переворота.

Ключевую позицию занимала армия. Однако ставить под сомнение лояльность армии не было оснований. Отец пользовался большой популярностью среди военных, а назначение Зии уль-Хака на пост начальника генерального штаба в обход шестерых других, старших по чину, должно было быть гарантией его верности. Согласно нашей традиции, благодетеля не предают. Тем не менее Асгар Хан старался перетянуть армию на свою сторону, рассылая циркулярное обращение к вооруженным силам, которое, по сути, призывало их захватить власть. Обращение не возымело действия. Напротив, начальники штабов родов войск выступили с заявлением в поддержку законно избранного гражданского правительства. У НАП ничего не получалось.

После почти трехнедельных беспорядков в Карачи и в Хайдарабаде НАП попытался организовать грабежи и поджоги в Лахоре. Туда были направлены банды, которые группами по двадцать — тридцать человек носились на мотоциклах теперь уже по базарам, забрасывая покупателей камнями, принуждая лавочников в страхе прекращать торговлю. Иногда бандиты обливали бензином банки, автобусы, поджигали их и улетучивались.

Мы с Миром читали об этом в газетах и все больше возмущались тактикой НАП, направленной на поддержание беспорядков. Политики старого типа не могли принять поражение, как подобает в демократическом обществе, и боролись при помощи насилия и слухов. Например, таких: «Жена Бхутто уже вывезла свои вещи. Сам Бхутто скоро последует за ней».

Отец был настолько уверен в силе ПНП, что предложил провести новые провинциальные выборы и, если НАП получит на них большинство, повторно провести общие выборы, однако лидеры НАП отказались даже вступать в переговоры. Их не устраивало ничего, кроме его отставки. Отец, который только что был переизбран подавляющим большинством голосов на честных, демократических выборах, естественно, отказался подать в отставку.

Террористические методы НАП коснулись даже меня в Оксфорде. В конце марта я к вечеру возвращалась из библиотеки и была удивлена, увидев поджидающего меня человека из Скотланд-ярда.

— Не хотел бы внушать вам тревогу, мисс Бхутто, — сказал английский офицер, — но существуют данные о некоторой опасности для вас.

Не думаю, чтобы Скотланд-ярд стал гонять своего человека в Оксфорд, не будь это в моих же интересах, я с того самого дня и вплоть до моего отъезда тщательно следовала всем инструкциям. Прежде чем открыть дверцу машины, я заглядывала под нее, проверяя, нет ли взрывчатки, внимательно проверяла замок, удостоверяясь, что его никто не трогал. В инструкцию Скотланд-ярда входило также требование постоянно изменять распорядок дня. Допустим, если у меня занятия начинались в десять, я должна была то выезжать пораньше, в половине десятого, то совсем поздно — без пяти десять. Я и сейчас использую некоторые приемы, которым меня обучил Скотланд-ярд.

К началу апреля беспорядки в Пакистане, спровоцированные НАП, пошли на убыль. Стало казаться, будто кризис миновал, но тут из дома начали поступать новые, еще более зловещие известия.

Моя подруга Самия написала мне, что у людей появились американские доллары и они бросают рабочие места. Ушла прислуга моей двоюродной сестры Фахри, то же самое произошло в домах нескольких наших друзей. Слуги заявили: «Нам платят больше за участие в демонстрациях НАП». С марта, писала Самия, появилось столько долла-

ров, что их цена на черном рынке упала на 30 процентов. В Карачи забастовали — без видимого материального ущерба для себя — шоферы частных грузовиков и автобусов, что привело к закрытию фабрик, поскольку рабочие не могли добраться до работы. Однако те же самые грузовики и автобусы оказывались под рукой, когда требовалось доставить народ на демонстрации НАП.

Азиаты всегда легко верят в заговоры. Но в данном случае и мой отец, и другие члены ПНП были убеждены, что к беспорядкам приложила руку Америка. Когда у нас началась забастовка шоферов, я тоже обратила внимание на сходство происходившего с методами экономического подрыва Чили, примененными ЦРУ для содействия военному перевороту против демократически избранного президента Альенде. Пакистанские спецслужбы в то время отмечали весьма частые встречи между американскими дипломатами и лидерами НАП.

Подозрительной казалась и высокая эффективность стачек, устраиваемых НАП. Когда отец пришел к власти, ему стало известно, что в 1958 году США проводили с пакистанской армией совершенно секретные маневры с целью обучения пакистанцев выведению из строя правительства через организацию забастовок. Секретные маневры проводились под кодовым названием «Операция «Тормоз»». Теперь руководство НАП призывало к проведению всеобщей забастовки. Как она должна была называться? «Операция «Тормоз»».

Я не хотела верить, что Соединенные Штаты участвуют в активной дестабилизации демократически избранного правительства Пакистана. Но у меня не выходила из головы фраза Генри Киссинджера, оброненная им во время его визита в Пакистан летом 1976 года. Речь шла о твердой решимости отца продолжить переговоры с Францией о заводе по переработке ядерного топлива, о заводе, который обеспечил бы Пакистан энергией в период, когда даже экономика развитых стран Запада пострадала от резкого повышения цен на нефть. Однако правительство Соединенных Штатов рассматривало строительство завода только как нашу потенциальную возможность создания ядерного устройства, а «исламская бомба», как ее потом стали называть, естественно, была не в интересах свободного мира.

Встреча с Киссинджером прошла неудачно, и отец вернулся домой, кипя от злости. Он сказал, что Киссинджер вел себя грубо и надменно. Государственный секретарь

США без обиняков заявил, что заключение соглашения о заводе по переработке ядерного топлива неприемлемо для Америки. Либо следует отказаться от подписания соглашения вообще, либо отложить его заключение на несколько лет — до появления технических средств, которые исключат использование завода для военных целей. В разговоре Киссинджер все время подчеркивал, что считает отца блестящим государственным деятелем, что предупреждает его о возможных неприятностях исключительно как «доброжелатель»: либо отец пересмотрит соглашение с Францией, либо он рискует стать «дурным примером».

Я все время вспоминала этот разговор, хотя президентом США уже три месяца был Джимми Картер, а государственным секретарем Сайрус Вэнс — не Генри Киссинджер. Но перемены в американской администрации необязательно должны были означать перемены во всех центрах власти США. Я семь лет изучала государственное устройство Америки и знала, что ЦРУ часто действует независимо и что здесь политика изменяется не вдруг. Было ли когда-то принято решение избавиться от моего отца, если его не удастся заставить отказаться от соглашения по ядерной энергии?

Не мог ли отец нечаянно сыграть им на руку, объявив выборы на целый год раньше, чем того требовала конституция?

Могу себе представить досье ЦРУ на моего отца! Человек, выступавший против американской политики во время войны во Вьетнаме, способствовавший нормализации отношений с коммунистическим Китаем, поддерживавший арабов в войне 1973 года, на всех конференциях требовавший независимости стран «третьего мира» от сверхдержав. Не много ли этот человек берет на себя с точки зрения ЦРУ?

Появилось еще одно сообщение службы безопасности — на сей раз запись подслушанного телефонного разговора двух американских дипломатов в Исламабаде. «Кончилась гулянка, ему крышка!» — сказал один из них, имея в виду отца.

— Джентльмены, — ответил отец, выступая на Национальной ассамблее, — ничего не кончилось и не кончится до тех пор, пока не будет выполнена моя миссия в отношении нашей великой страны!

А тем временем фундаменталисты, получающие субсидии, распускали по городу новые, совершенно немыслимые слухи:

— Бхутто — индус! Бхутто — еврей! — скандировали они на улицах. Как будто можно одновременно исповедовать эти две несовместимые религии! Отец — мусульманин, он не исповедовал ни одну из них.

«Я просто не знаю, что написать тебе о нашей ситуации, — сообщала мама в письме. — Я знаю только то, о чем пишут газеты, а газеты ты сама читаешь. Ближе всех к истине «Морнинг стар», эта газета не доверяет сенсациям, поэтому ты знаешь столько же, сколько и я.

Написала Санам [моя сестра в 1975 году поступила в Рэдклифф] и Миру с просьбой не приглашать друзей в Пакистан на это лето. Не уверена, получили они мои письма или нет, потому что почта стала пропадать. Если это письмо дойдет до тебя, на всякий случай сообщи обо всем брату и сестре».

Руководство НАП по-прежнему отказывалось от предложения отца вступить в переговоры о мирном разрешении ситуации. Непрекращающиеся грабежи, поджоги и убийства, жертвами которых становились сторонники ПНП, вынудили отца задержать нескольких лидеров НАП. Он рассчитывал, что, если они хоть на время перестанут призывать к насилию, страна немного утихомирится. Но 20 апреля Карачи был парализован давно планировавшейся «Операцией “Тормоз”». Забастовали водители и не открылись двери магазинов, банков, лавочек и текстильных предприятий. 21 апреля, в соответствии с конституцией, отец приказал армии прийти на помощь гражданским властям в деле восстановления порядка в крупнейших городах — в Карачи, Лахоре и Хайдарабаде. Беспорядки утихли. Так и не состоялись ни массовая демонстрация, ни всеобщая забастовка, назначенные на 22 апреля. Через неделю не состоялся запланированный НАП «Долгий марш» — два миллиона человек должны были отправиться в Равальпинди и окружить резиденцию премьер-министра. Провал «Долгого марша» означал и окончательный провал кампании НАП. Когда отец проехал по улицам Равальпинди, его приветствовали толпы народа.

Однако кампании, проводившиеся НАП, свое дело сделали. Были сожжены тысячи новеньких машин и автобусов. Промышленные предприятия в Карачи были либо закрыты, либо не могли наверстать упущенное. Убытки от разрушений исчислялись миллионами рупий. Погибли люди. Я вздохнула с облегчением, когда 3 июня

узнала из газет, что руководство НАП согласилось наконец на переговоры с отцом, который, в свою очередь, был готов рассмотреть вопрос о роспуске правительства в преддверии новых выборов.

Казалось, что в Пакистан возвращается здравый смысл. На четвертый день переговоров отец отозвал армию, а через неделю были освобождены лидеры и рядовые члены НАП, задержанные во время беспорядков. После заявления отца о проведении новых выборов в октябре даже самые упрямые сторонники НАП стали проявлять оптимизм в отношении будущего. Журнал «Ньюсуик» от 13 июня писал, цитируя слова одного из лидеров оппозиции, сказанные после его встречи с отцом: «Теперь я вижу свет в конце туннеля. Будем надеяться, что это не мираж».

Как будто начали улучшаться и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Азиз Ахмед, секретарь по иностранным делам Пакистана, вылетел в Париж для встречи с государственным секретарем США Сайрусом Вэнсом. Он повез с собой пятидесятистраничный доклад министерства иностранных дел о фактах, заставляющих Пакистан подозревать Соединенные Штаты в содействии попыткам дестабилизации правительства. Отец потом рассказывал мне, что Сайрус Вэнс, взяв доклад, отложил его в сторону со словами:

— Нет, мистер Азиз Ахмад, мы хотим открыть новую главу наших отношений с Пакистаном. Мы высоко ценим длительные и тесные отношения дружбы с вашей страной.

Сыграли американцы какую-либо роль в дестабилизации правительства моего отца? У нас никогда не будет доказательств. Мы уже пытались получить через друзей информацию на этот счет, используя Закон о свободе информации, но безуспешно. ЦРУ прислало нам шесть документов, в том числе анализ китайской поддержки Пакистану в 1965 году, во время войны с Индией, когда отец занимал пост министра иностранных дел, а также телеграмму с отчетом о продвижении гражданских колонн через Равальпинди, относящуюся к тому же времени. Лишь один документ касался непосредственно отца и ПНП, да и то речь в нем шла о сопротивлении принятию предложенной им в 1973 году конституции.

В сопроводительном письме говорилось:

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть существование или отсутствие документов, отвечающих вашему запросу о материалах, касающихся Зулфикара Али Бхутто. Такого рода информация относится к разряду секретной

по соображениям национальной безопасности, исключая, конечно, то, что было официально признано. Настоящим действием мы ни подтверждаем, ни опровергаем существование или отсутствие материалов. Соответственно, вам отказано в части запроса, касающегося документации на Зульф리카ра Али Бхутто...»

Что бы ни происходило в Пакистане в 1977 году, происходило потому, что нашлись люди, допустившие, чтобы это произошло. Если бы лидеры НАП действовали в интересах Пакистана, а не только в своих собственных, если бы в интересах Пакистана, а не в собственных действовал назначенный отцом начальник генштаба, правительство не было бы ниспровергнуто. В этом заключался самый важный урок для всех нас, который и сегодня не утратил актуальности. Соединенные Штаты действовали в своих национальных интересах, но мы-то в своих интересах не действовали. Кому-то хочется найти самое простое объяснение событиям 1977 года, и они возлагают всю вину за происшедшее на Америку. Но, не найдись среди нас тех, кто пособничал американцам, кто рвался к власти, а не к служению родине, с законно избранным правительством Пакистана ничего бы не случилось. Но тогда я еще училась в Оксфорде и не понимала этого.

Солнце ярко светило в то утро, когда мне исполнилось двадцать четыре. Этот день, 21 июля, сулил жаркое лето, и я с удовольствием думала о дне рождения, который я решила совместить с прощанием с Оксфордом и устроить его в парке Куин Элизабет Хауза. Кажется, я пригласила всех, чей телефон нашелся в моей оксфордской книжечке, и, судя по количеству людей, все пришли. За клубникой со сливками мы обменивались воспоминаниями и домашними адресами.

Мне было грустно расставаться с Оксфордом, где у меня появилось столько друзей. Жалко было оставлять желтенькую машину, которую Мир обещал осенью продать. Столько лет эта машина служила доской для объявлений всем моим друзьям, она же содержала коллекцию штрафных квитанций за парковку в неположенных местах. Но вместе с тем меня волновала моя будущая жизнь в Пакистане. Мы с отцом уже обсуждали предварительные планы моей работы: лето я могла бы работать в секретариате премьер-министра и параллельно в Межпровинциальном совете общих интересов, где познакомилась бы с проблемами провинций. В сентябре отец собирался включить меня в

состав пакистанской делегации в ООН, там я тоже набралась бы опыта. В ноябре я должна была возвратиться в Пакистан и начать готовиться к экзаменам в министерство иностранных дел, которые надо было сдавать в декабре. Все мое будущее было тщательно распланировано.

Отец с таким же нетерпением ждал моего возвращения, как я отъезда из Оксфорда. Он написал мне:

«Обещаю тебе сделать все, что в моих силах, чтобы твое вхождение в пакистанскую жизнь было и кратким, и приятным. Но после этого — живи, как умеешь. Конечно, придется терпеть мой гадкий юмор. К сожалению, человека в моем возрасте уже не перевоспитать, хотя я для моей старшенькой буду очень стараться. Беда в том, что и ты у нас с характером и слезы льешь с той же готовностью, что и я. Что делать — плоть от плоти, кровь от крови.

Давай заключим пакт о взаимопомощи. Ты — думающий человек. Как может думающий человек желать, чтобы в пустыне не было жарко, а горы были свободны от снега? Ты найдешь свой солнечный свет и свою радугу в собственной системе ценностей и в собственной нравственности. Все будет прекрасно. Мы с тобой будем трудиться вместе и добьемся немалых результатов. Держу пари, что добьемся».

25 июня 1977 года Мир и я сели в самолет на Равальпинди, где собиралась вся семья. Шах Наваз возвращался на каникулы из швейцарской школы, а Санам — из Гарварда. Семья в последний раз соберется вместе.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В АЛЬ-МУРТАЗЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА ЗИИ УЛЬ-ХАКА

В окна Аль-Муртазы я вижу февральское солнце, посверкивающее на штыках наших стражей. Тянется четвертый месяц заключения, и мне начинает казаться, будто заточена и сама усадьба. Здесь встречались с отцом главы государств и крупные политические деятели: из соседней Персии приезжал шах Ирана, правитель Абу-Даби и глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Зайед, принц Карим Ага-хан, сенатор Макговерн из Соединенных Штатов, член кабинета министров Великобритании Дункан Сендис. Отец часто устраивал охоту для гостей, хотя сам не очень любил ее. Правда, оба брата прекрасно стреляли и бывало, что подранивали дичь или оленей, чтобы гости потом думали, что это их добыча, и гордились.

Даже в будние дни Аль-Муртаза звенела смехом и весельем. Отец любил петь и пел, хоть и фальшиво, с большим энтузиазмом синдские народные песни или свои любимые западные мелодии: «В тот чудный вечер» из мюзикла «Саут Пасифик», который видел в молодости в Нью-Йорке, «Чужаки в ночи» Френка Синатры, которую пел весь Карачи в те времена, когда он ухаживал за мамой, и свой коронный номер «Ке сера, сера». Я так и слышу его голос: «Что будет, то будет, мы будущего не знаем...»

Кто мог предвидеть мрачное будущее, которое так неожиданно началось для нас ранним утром 5 июля 1977 года, — военный переворот, ставший нашей личной трагедией и смертной мукой Пакистана?

5 июля, 1977, 1.45. Резиденция премьер-министра, Равальпинди.

— Быстро вставайте! Одевайтесь! Армия захватила власть! Армия власть захватила!

Мать выкрикнула эти слова, проносясь через мою комнату, чтобы разбудить сестру.

Через несколько минут, нервно вздрагивая, я вошла в родительскую спальню. Я не могла понять, что произошло. Переворот? Какой может быть переворот? За день до этого ПНП и лидеры оппозиции достигли окончательной договоренности по всем вопросам, связанным с выборами. А если армия и захватила власть, то кто именно стоит за этим? Генерал Зия и корпусные командиры всего несколько дней назад лично говорили с отцом, заверив его в преданности армии.

Отец у телефона, он звонит начальнику генштаба генералу Зие и федеральным министрам. Первый звонок к нам — от министра образования. У них дома уже побывали солдаты.

— Солдаты избили отца и увели его! — рыдает в трубку дочь Хафиза Пирзады, который всего несколько часов как расстался с моим отцом, отпраздновав с ним заключение соглашения с оппозицией. Мы с сестрой болтали в доме, но я видела на лужайке огоньки их сигар и слышала смех.

— Держись спокойно, — твердым голосом говорит отец дочери Пирзады. — Сохраняй достоинство, присущее вашей семье.

Но когда отец начинает разговаривать с губернатором Северо-Западной Пограничной провинции, телефон вдруг отсоединяется.

На лице матери смертельная бледность. Она шепотом рассказывает мне, что папа узнал о перевороте от полицейского, который увидел, что резиденцию окружают солдаты. Рискуя жизнью, он проскользнул через оцепление, по-пластунски подполз к входной двери.

— Скажи господину Бхутто — военные идут убить его! — задышавшись, шепнул полицейский Урсу, старому отцовскому слуге. — Пусть скорее прячется! Пусть прячется!

Отец, как мне сказали, выслушал известие хладнокровно. Урсу он ответил:

— Моя жизнь в руках бога. Если военные меня собираются убить, они меня убьют. Нет смысла прятаться. И никому из вас нет смысла сопротивляться. Пусть заходят.

И все же скорее всего предупреждение полицейского спасло всем нам жизни.

— Премьер-министр желает говорить с начальником генерального штаба! — говорит отец по телефону Санам — у нее отдельный телефон, по которому она без конца болтает с подругами. Чудом этот телефон работает.

Зия немедленно отвечает, пораженный тем, что отцу известно о перевороте.

— Извините, сэр, но я вынужден был сделать это! — выпаливает он, даже не упоминая о только что достигнутом соглашении. — Нам придется поддержать вас под защитительным арестом. Но я проведу выборы в ближайшие девять дней. Вы, конечно, вновь будете избраны премьер-министром, и я встану перед вами по стойке «смирно».

Теперь отцу, по крайней мере, известно, кто стоит во главе заговора. Его глаза сужаются, пока он слушает Зию, который говорит, что отца увезут, куда он пожелает, — в летнюю резиденцию около близлежащего Меррея, в нашу собственную усадьбу в Ларкане, куда угодно. Зия бы хотел, чтобы семья в течение месяца оставалась в резиденции премьер-министра в Равальпинди. А за отцом приедут в 2.30.

— Я буду находиться в Ларкане, — решает отец. — Моя семья возвратится в Карачи. Здесь резиденция премьер-министра, а поскольку я, видимо, больше таковым не являюсь, то к вечеру моя семья освободит помещение.

Мрачный, отец кладет трубку. Когда он снова поднимает ее, чтобы позвонить, телефон Санам уже отключен.

В комнату влетают мои братья Мир и Шах Наваз, которые явно одевались наспех.

— Надо отбиваться! — кричит Мир.

— Никогда нельзя противиться военному перевороту, — негромко говорит отец. — Генералы хотели бы видеть нас мертвыми. Мы не должны давать им повод, который оправдал бы убийство.

Я вздрагиваю — я вспоминаю, как два года назад во время военного переворота в Бангладеш у себя дома были убиты Муджиб и почти вся его семья. Бангладешская армия еще вчера была пакистанской. Есть ли основания считать, что эта армия будет действовать иначе?

— Поворот организовал Зия, — объясняет мама братьям, сообщая им то немного, что известно нам. — Асгар Хан и другие лидеры НАП взяты под арест. Арестованы министры Пирзада, Мумтаз, Ниязи и Кхар. Зия говорит, что отдаст Асгар Хана под суд по обвинению в государственной измене, что не пощадит также Ниязи и Кхара. Обещает провести выборы в течение девяти дней.

— Он все это проделал, а теперь проведет выборы?

Шах Наваз моложе нас всех, он больше жил в Пакистане, чем мы, и набрался здешней политической мудрости. Но вопросы остаются без ответа. Почему Зия

арестовал именно этих политических деятелей? Чтобы скрыть свои подлинные намерения? А вдруг на самом деле они его сообщники? Мы пытаемся осмыслить скудную информацию, выявить смысл происходящего, которое внезапно утратило всякий смысл.

Почему Зия так долго тянул с переворотом? Беспорядки закончились уже к апрелю. Переговоры же с лидерами НАП успешно завершились всего несколько часов назад.

— Зия ошибся в расчетах, — говорит отец. — Он думал, что переговоры сорвутся и у него будет предлог для захвата власти. Он нанес удар прежде, чем можно было довести дело до подписания соглашений.

— Одному богу ведомо, что с нами теперь будет, — тихо произносит мать. Она уходит к себе, отпирает там сейф и выносит деньги.

— Уже решено, вы утром отправляетесь в Карачи, — вручает она деньги братьям. — Беназир, Санам и я скоро к вам присоединимся. Если мы к вечеру не приедем, немедленно покидайте страну.

Уже почти 2 часа. Мы ждем солдат, которые придут и уведут отца. Никому не хочется уходить из родительской спальни и приниматься за сборы. Мы так и не знаем, что с нами будет. Может быть, генерал Зия ожидал, пока мы все соберемся в Пакистане, чтобы одним ударом покончить со всей семьей? Какие страшные мысли. Нельзя об этом думать. Но прогнать эти мысли я не могу. Две дочери президента Муджиба остались живы — обе были в то время за границей. Теперь одна из них возглавила оппозицию. Может быть, пакистанская армия не желает повторить ошибку в отношении нас?

Мы все возвращались на родину порознь: Шах Наваз — из Швейцарии, где учился в школе, Санам — из Гарварда, мы с Миром — из Оксфорда. Родители боялись несчастного случая и никогда не разрешали нам путешествовать вместе. Всего десять дней назад отец встретил меня словами:

— Слава богу, ты кончила учиться и приехала домой. Теперь будешь помогать мне.

Мне дали комнату в секретариате премьер-министра недалеко от отцовского кабинета, я приняла присягу о неразглашении тайны и приступила к изучению документов, излагая собственные взгляды на их содержание. Как много может измениться за неделю. За несколько часов.

Мать включает радио — может быть, передают новости. Хотя какие среди ночи новости по радио? Ничего нет. Мы все ожидаем появления солдат, и отец даже веселеет.

— Бремя ответственности с плеч долой, — говорит он. — Мне оказали доверие, я честно оправдал его. Теперь я ни за что не отвечаю.

Мы в оцепении сидим на диване в родительской спальне, а отец, следуя привычке, спокойно просматривает один за другим документы, которые стопкой высятся на столе у его мягкого кресла. Бумаги в черной папке он подписывает, не читая.

— Первый документ, который я подписал в качестве премьер-министра, был помилованием приговоренных к смертной казни, — говорит отец. — И последний документ будет таким же. А читать это я не могу — никогда не мог читать мольбы о жизни.

Я пытаюсь обнять отца, но он мягко отстраняет меня.

— Сейчас не время для сентиментальности. Время для твердости.

Половина третьего. Половина четвертого. За отцом никто не пришел. Мне все больше не по себе. Что еще придумала армия? Около 4 часов является отцовский секретарь по военным делам. У него красные глаза, и он выглядит обескураженным. Он прямо из генштаба, куда его вызвал генерал Зия, объясняет секретарь. Генерал Зия сожалеет, что отца невозможно направить в Ларкану. Если это не причинит отцу чрезмерных неудобств, он будет помещен в летней резиденции премьер-министра в Меррее, где будет содержаться в условиях, соответствующих его высокому положению. Все приготовлено к его отбытию в 6 утра.

— Не понимаю, почему они все время меняют планы? — спрашивает Санам.

— Видимо, мой звонок вышиб Зию из равновесия, — говорит отец. — Он сейчас прикидывает, не успел ли я до разговора с ним поднять на ноги верных мне офицеров и не готовится ли контратака.

Мы снова в напряженном ожидании. Через час один из слуг сообщает, что управляющего разбудили и отправили в Меррей — приготовить резиденцию к приезду отца.

— Генерал Зия сказал, что за мной придут в 2.30. Сейчас речь идет о 6 часах. Летняя резиденция оказалась не готова. Они собирались арестовать других, но не меня.

Тишина в комнате усиливает значительность его слов.

Шах Наваз шепчет мне:

— Выродок хотел перебить нас прямо в постелях!

— Начинайте укладывать вещи, — говорит мама братьям. — Ваш самолет в 7 утра.

Мы настраиваем приемник на Би-би-си, слушаем утренние новости на урду — сухое сообщение о том, что в Пакистане власть захватила армия.

— Ты изучала политологию, — говорит отец, — как ты полагаешь, проведет Зия выборы?

— Думаю, что да, папа, — отвечаю я с неостывшим пылом студенческого идеализма и академической логики. — И лично наблюдая за их проведением, Зия лишит оппозицию возможности заявлять, что результаты подтасованы, следовательно, лишит ее и предлога для новых беспорядков.

— Не будь душой, Розанчик, — негромко возражает отец. — Военные захватывают власть не для того, чтобы выпустить ее из своих рук. И генералы идут на государственную измену не для того, чтобы проводить выборы и восстанавливать демократические институты.

Я с неохотой ухожу от родителей и начинаю собирать вещи. Отец годами готовил нас к тому, что резиденцию премьер-министра придется рано или поздно оставлять, но мне и в голову не приходило, что оставлять ее придется под конвоем. Отец твердил, что нельзя рассматривать резиденцию как наш дом — это не более чем официальное помещение, которое принадлежит правительству. Он хотел, чтобы мы сразу освободили помещение, если его больше не изберут, не вели бы себя на манер семейства Яхья Хана, которое еще несколько месяцев продолжало жить в резиденции после смены власти.

— Не держите здесь много вещей, — настаивал он. — Только то, что вам требуется, чтобы все можно было уложить в один день.

А я нарушила это фундаментальное правило. Всего две недели назад я прилетела сюда прямо из Оксфорда, притащив с собой уйму тряпок и книг. Я собиралась переправить все это добро к нам домой, в Карачи, но так и не собралась. Была занята, помогала отцу.

И вот я никак не могу сосредоточиться на сборах, поминутно отрываюсь и бегу в родительскую спальню, посмотреть, не увезли ли отца без меня. Мой персидский кот Сахарок, которому передалось общее волнение, с мяуканьем пытается потереться о мои ноги, так что я каждый раз спотыкаюсь о него. Мама приходит, когда комната уже почти пуста.

— Восемь часов, — говорит мама, — а военные так и не появились. Адъютант уверяет, что еще не готова резиденция в Меррее. Кто их знает, правда ли это. Слава богу, хоть мальчики беспрепятственно уехали.

Почему-то при дневном свете все кажется менее страшным. Бытовые хлопоты, сборы в дорогу помогли мне немного прийти в себя. Мы с мамой идем в соседнюю комнату к Санам — она беспорядочно швыряет в чемодан наряды, картинки, альбомы пластинок, даже старые журналы «Харперс базар» и «Вог». Санам, с нечесанными волосами, в джинсах и маечке, сердито повторяет:

— Не хочу, чтобы они трогали мои вещи! Не хочу!

Около девяти послышался голос матери:

— Розанчик! Санни! Скорее, папа уезжает!

— *Джальди*, скорее! Сахиб уезжает! — в дверях появляется слуга в тюрбане, в красно-белой форме персонала резиденции премьер-министра. У него слезы на глазах.

Я чувствую, что сию минуту расплачусь. Красные глаза и у Санам.

— Нельзя прощаться с папой в таком виде, — говорю я.

— Сейчас! — торопится Санам. — У меня есть глазные капли.

Мы бежим с ней в комнату и трясущимися руками закапываем лекарство друг дружке. Усиленно моргая, мы летим по белому с золотом коридору к парадной двери, и я слышу рыдания, которые доносятся с лужайки, где уже собралась вся прислуга.

Папа в машине, в «мерседесе» премьер-министра. Машина трогается, мы с Санни выбегаем на ступени.

— Папа, до свидания! — кричу я, отчаянно размахивая руками.

Отец оглядывается и слабо улыбается нам, «мерседес» выезжает за ворота резиденции, и утреннее солнце высвечивает золотую эмблему премьер-министра на номерном знаке — сплетенные листья.

Колонна армейских машин сопровождает отца в Меррей, где он будет содержаться под «защитительным арестом» — термин, который изобрел Зия, чтобы оправдать заточение своих политических противников. Отец пробудет три недели в тихом белом доме, построенном англичанами в предгорьях Кашмира. Мы всей семьей проводили там летние каникулы, часами играли в скреббл на передней веранде с колоннами. А теперь отец возвращается в Меррей под присмотром военных. Гражданское правительство, главой которого был отец, прекратило свое существование. Пакистаном снова правят генералы.

Мне следовало бы понять, что переворот необратим, что арест отца означает конец демократии в Пакистане.

Действие конституции 1973 года было приостановлено. Введено военное положение. Но я продолжала упрямо цепляться за свои книжные представления и наивно верила, что в ближайшее время Зия проведет выборы, которые он многократно обещал стране. Наутро после переворота Зия объявил:

— Я хочу, чтобы было абсолютно ясно: у меня нет политических амбиций, да и армия не намерена отвлекаться от своего солдатского дела... Моя единственная цель заключается в том, чтобы организовать свободное, честное голосование на выборах, которые будут проведены в октябре этого года. Вскоре после выборов власть будет передана выбранным представителям народа. Я торжественно заверяю вас, что буду следовать этому плану.

Он лгал.

Указ № 5 военного положения: Организация или участие в митинге профсоюза, студенческого союза или политической партии без санкции администратора военного положения наказуемо публичной поркой — до десяти ударов кнута — и тюремным заключением сроком на пять лет.

Указ № 13 военного положения: Критика армии в устной или письменной форме наказуема десятью ударами кнута и тюремным заключением сроком на пять лет.

Указ № 16 военного положения: Подстрекательство военнослужащих к неисполнению долга в отношении главного администратора военного положения наказуемо смертной казнью.

Указ № 6, изданный в день военного переворота: Никто не будет расстрелян. Максимальная мера наказания — ампутация руки.

Чтобы привести народ в полное послушание, Зия дал волю силам религиозного фундаментализма. В Пакистане каждый мусульманин сам решал, поститься ему или не поститься в священный месяц рамазан. В правление Зии был издан приказ: в месяц рамазан держать все рестораны и закусочные закрытыми с восхода и до заката солнца. В университетах перекрывали воду в кранах и даже в туалетах, чтобы кто-нибудь не выпил глоток воды в пост. Банды фундаменталистов без помех носились по улицам, вламывались среди ночи в дома, проверяя, готовят ли там *сехри* — традиционную пищу, которую полагается съесть до рассвета. Курение сигарет, питье воды или принятие пищи на людях карались арестом. Никакой личной свободы

в Пакистане больше не было — осталась только сильная рука режима, считавшего себя религиозным.

Когда мы вернулись из Равальпинди, в саду дома на Клифтон-Роуд, 70 каждый день стали собираться сторонники ПНП, обеспокоенные арестом отца и судьбой Пакистана, над которым сгущалась тьма. С мужчинами беседовал Мир, а к женщинам мать посылала меня — сама она мучительно страдала от давнишней своей гипотонии. Мать учила меня:

— Говори одно — *хаусила ракхо*, не падать духом!

— *Хаусила ракхо! Хаусила ракхо!* — повторяла я, с напряжением выговаривая слова на урду, позабытом за восемь лет жизни за границей.

Зия повел в прессе кампанию по дискредитации отца. Газеты запестрели заголовками: «Бхутто пытался убить меня!», «Бхутто меня похитил!» Это старались политические противники отца, явно живехонькие и свободные.

— Ты должна выдержать клеветническую кампанию, — сухо предупредил отец в одном из ежедневных звонков из Меррея, — это часть «операции "Честная игра"».

Отец имел в виду кодовое название, которое Зия дал военному перевороту. Зия постепенно уменьшил число прислуги в летней резиденции. "Как будто это меня волнует!" — сказал отец.

Отец не падал духом и не терял чувство юмора. Однажды он сообщил:

— Сегодня звонил журналист, спрашивал, как я провожу время. Я ответил, что читаю Наполеона, стараюсь понять, как он держал в узде своих генералов, чего я сделать не сумел.

Отцовское хладнокровие помогло всем нам сохранить душевное равновесие. Мы больше не испытывали подавленности, мы чувствовали себя сильными, уверенными, хозяевами своей судьбы. Первое — отец жив. Второе — народ нас поддерживает. Популярность ПНП не снизилась. Отец послал Мира в Ларкану работать на его избирательном участке, а Шах Наваз и я принимали толпы людей, приходивших в дом на Клифтон-Роуд, 70 выразить нам поддержку. Каждую встречу освещали репортер и фотокорреспондент газеты «Мусават», принадлежавшей нашей семье. Это была единственная газета, которая служила рупором для ПНП и выступала против прессы, поддерживаемой режимом и проводившей пропагандистскую кампанию против ПНП.

После задержания отца спрос на «Мусават» резко возрос — от нескольких тысяч экземпляров до 100 тысяч в одном только Лахоре. Типография не справлялась с увеличившимся тиражом, и ловкие киоскеры стали продавать «Мусават» по спекулятивным ценам.

— На черном рынке «Мусават» стоит десять рупий! — радостно сообщала я отцу, хотя десять рупий — это больше, чем зарабатывает средний пакистанец в день.

Спрос на газету был просто поразителен — в стране с таким низким процентом грамотных, без официальной поддержки в форме платных объявлений да еще со всякими ограничениями на распространение.

15 июля отец сообщил по телефону:

— Сегодня ко мне приезжает Зия.

На фотографиях, которые на другой день появились в газетах, отец выглядел суровым, выражение его лица соответствовало политической ситуации, назревавшей в стране. Зия же смотрел на отца с виновато-льстивой улыбкой, прижимая руку к груди.

После встречи отец сказал, что Зия подтвердил свое намерение провести выборы и играть в них роль честного арбитра между политическими партиями. Зачем понадобилось Зие подчеркивать, что он собирается вести честную игру? Отец в его честность не верил. Мы тоже. В атмосфере истерических нападок поддерживающей режим прессы на отца и ПНП нам трудновато было доверять ему.

Слишком много было непонятого. Пакистан уже пережил две военные диктатуры, но сейчас впервые оказались за решеткой государственные чиновники: секретарь премьер-министра Афзаль Саед, советник премьер-министра Рао Рашид, заместитель комиссионера в Ларкане Халид Ахмед, глава Федеральной службы безопасности, насчитывающей 500 человек, Масуд Махмуд и многие другие. Какое отношение к политике имеют государственные чиновники? Что замышляют военные?

Зия уже начал говорить в интервью, что переворот планировался армией «на всякий случай», то есть признавал, что подготовка к нему велась заранее. Следовательно, и арест государственных чиновников — не спонтанное действие, а часть продуманной военной операции. Кто же стоит за всем этим? Непонятна была и цель клеветнической кампании в прессе, развернутой военными. Если Зия собирается проводить свободные и честные выборы, то какой во всем этом смысл?

А журналисты обрывали телефоны в доме на Клифтон-Роуд, 70, домогаясь сведений об отце, о ПНП, о выборах, которые Зия продолжал обещать.

— Пригласи их всех на чай, — посоветовал отец.

Я пригласила. К моему изумлению, все пришли — столовая на Клифтон-Роуд, 70 была переполнена, и кондиционеры не справлялись с нагрузкой. Мне помогали двоюродные сестры Фахри и Лале, а также Самия со своей сестрой. Я сильно нервничала, когда отвечала на вопросы. Один просто потряс меня:

— Скажите, правда ли, что господин Бхутто организовал переворот совместно с генералом Зией, чтобы поднять свою популярность?

— Конечно же, нет! — это было единственное, что я могла ответить, вспоминая страх и неуверенность за судьбу отца в ночь его ареста.

Однако, когда на другой день я рассказала об этом друзьям из ПНП, я еще больше удивилась — оказывается, слух этот широко распространен и распространяет его армия, чтобы внести разлад в ряды наших сторонников и разрядить неприязнь к организаторам переворота. Слух этот, как и многие другие, циркулировал долго.

В такой стране, как Пакистан, с низким уровнем грамотности, слухи и базарные сплетни часто подменяют собой факты. Самые нелогичные домыслы и слухи обретают собственную силу и оказывают воздействие даже на образованных людей. Однажды меня спросила моя школьная подруга:

— Ты действительно носишь в сумочке миниатюрную видеокамеру и снимаешь встречи с политическими лидерами?

Я не могла поверить собственным ушам.

— Каким же образом можно снимать из сумки? — спросила я ее.

— Правда, я об этом не подумала! Но я читала про камеру в газетах!

Отцу винули даже за очень сильные муссонные дожди, которые начались недели через две после переворота.

— Фундаменталисты распускают слухи, что Бхутто вызвал ливни в отместку за то, что его сместили! — сказал мне один человек из ПНП. Возможно, кто-то и верил в это, тем более что ливни размыли дома и затопили поля. Но в бедных кварталах Лахора, сильно пострадавших от ливней, верили отцу, — они были подлинным бастионом ПНП.

— Поезжай в Лахор в знак солидарности с пострадавшими от наводнения, — посоветовал отец.

Разрушения в Лахоре были весьма значительными.

В Лахор — одна? Мне никогда раньше не приходилось выполнять партийные поручения. От волнения у меня что-то сжалось в животе.

— Объяви программу своей поездки через «Мусават» и возьми с собой Шах Наваза, — подсказал отец.

Через двадцать четыре часа мы с Шахом уже были в Лахоре.

В аэропорту нас встречали сотни сторонников ПНП, скандировавших лозунги, несмотря на указ № 5 военного положения, согласно которому участие в политическом митинге или его организация карались пятилетним тюремным заключением. Нас встречали с таким энтузиазмом, что мы с Шахом насилу протолкнулись к ожидавшей машине. Моего восемнадцатилетнего брата и меня потрясла эта неожиданная демонстрация отношения к нам. Мы ведь были всего-навсего детьми премьер-министра — не политическими фигурами.

У дома Бегам Хаквани, президента женского крыла ПНП в Пенджабе, собралось еще больше народу, заполнившего и огромный сад, и даже улицу. В битком набитой приемной скоро стало не продохнуть, мы с Шахом обливались потом, слепли от ежеминутных вспышек фотокамер. В самый разгар встречи меня позвали к телефону, и по комнате сразу прошелестело: «Это премьер-министр Бхутто! Председатель Бхутто звонит!»

Телефон окружили десятки людей.

— Как дела? — поинтересовался отец, не подозревая о том, что тут творилось.

Я рассказала о встрече в аэропорту и здесь, в Лахоре. Отец был очень доволен. «Передай всем привет от меня», — сказал он. Я положила трубку, повернулась к ожидающим людям:

— Мой отец просит передать соболезнования всем, кто пострадал от наводнения, — объявила я на моем корявом урду. — ПНП начинает сбор средств в пользу пострадавших семей.

Явная поддержка, оказываемая народом отцу и ПНП, побудила Зию принять меры для повышения популярности НАП. В середине июля он объявил, что всем задержанным политическим лидерам разрешается принимать посетителей. Но из этого ничего не вышло. У летней резиденции премьер-министра в Меррее с каждым днем росли толпы

желающих встретиться с отцом, у домов же лидеров оппозиции почти никого не было. Зия проворно дал обратный ход. 19 июля главный администратор военного положения заявил:

— Вследствие допускавшихся злоупотреблений отменяется право публики посещать задержанных политических лидеров.

События после переворота развивались не так, как рассчитывал Зия. Обычно в Пакистане народ отворачивался от поверженного лидера и поддерживал лидера победившего. Но на сей раз свержение отца было воспринято иначе. Народ не только не отвернулся от него, но проявил во стократ большую верность ему. Когда через три недели Зия освободил отца и других политических лидеров и отец отправился в поездку по крупнейшим городам Пакистана, его всюду встречали миллионы, без преувеличения, миллионы людей, вопреки всем законам о военном положении. Толпы, собирающиеся на Западе, не идут ни в какое сравнение с массами народа в Азии. Но даже по азиатским меркам толпы, пришедшие послушать отца, были несметными.

Сначала отец вернулся в Карачи, где его машина сантиметр за сантиметром пробиравась через плотную толпу. От вокзала до нашего дома отец ехал десять часов, хотя нормально там полчаса езды. Машина была вся помята и исцарапана. Мы не решались выйти за ворота встречать отца, боясь, что нас раздавят, и потому поднялись на крышу, чтобы увидеть его приближение. Нам уже приходилось видеть разгоряченные толпы, но такое мы увидели в первый раз. Людей, рвущихся к отцу, чтобы увидеть его, приблизиться, прикоснуться к нему, было столько, что цементная изгородь вокруг дома обрушилась под их напором.

— Как я счастлива, что ты на свободе, папа! — сказала я, когда вечером мы все, наконец, собрались в родительской спальне.

— На свободе в данную минуту, — усмехнулся отец.

— Зия больше не осмелится тебя арестовать! — возразила я. — Он же видел все эти толпы.

— Не надо! — прервал меня отец и очертил рукою круг, показывая, что, вероятно, комната прослушивается.

Однако я упорствовала.

— Зия — трус и предатель. Он государственный изменник! — нарочито громко произнесла я, желая, чтобы

мои слова записались подслушивающим устройством. По глупости я думала, что отца защитит его популярность в народе.

— Хватит! — резко одернул меня отец. — Ты сейчас не на демократическом Западе. Ты находишься в Пакистане, и в стране военное положение!

Тень военного положения сделалась чернее, когда мы все поехали с отцом в нашу родную Ларкану. Его и здесь встречали огромные толпы людей, внушая мне ложное чувство безопасности и усиливая мою радость видеть отца опять с нами. Когда вечером мы все собрались в Аль-Муртазе, жизнь показалась привычной и нормальной. Это было не так. Пришел наш родственник, передавший предупреждение от одного крупного исламабадского чиновника. Чиновник предупреждал, что режим собирается выдвинуть против отца обвинение в причастности к убийству.

К убийству? По комнате пробежал холодок. Отец и мать молча переглянулись.

— Начиная готовить детей к возвращению на учебу за границу, — распорядился отец. — Чтобы все было в порядке — бумаги, банковские документы. Один бог знает, что будет дальше.

Мать согласно кивнула, и отец обратился ко мне:

— Розанчик, тебе тоже надо серьезно подумать об отъезде из Пакистана на некоторое время. Если хочешь, возвращайся в докторантуру и учись, пока дела не прояснятся.

Я в оцепенении уставилась на отца. Уехать из Пакистана? Я же только что вернулась.

— Могут быть крупные неприятности и у прислуги, — продолжал отец. — Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда в стране военное положение.

Наутро он всех собрал и выступил с предупреждением:

— Вы можете пострадать, поэтому, если кто решит оставить службу в моем доме и уехать в деревню до лучших времен, я это правильно пойму. Может получиться так, что при генерале Зие я буду не в состоянии защитить вас.

Службу не оставил никто. Не уехала и я. Отец отправился в Лахор.

— *Джийе Бхутто! Джийе Бхутто!*

По подсчетам, в Лахоре, столице Пенджаба, традиционно поддерживавшей армию, собралось около трех миллионов человек — такого большого митинга в Пакистане еще никогда не бывало. Политическими средствами Зия

был не в силах подорвать популярность отца. И мы получили второе предупреждение. В дом бывшего главного министра Пенджаба, где разместили отца, тайно явился офицер безопасности.

— Генерал Зия и его окружение намерены убить вас, сэр. Задержанных государственных чиновников подвергают в тюрьме пыткам, стараясь собрать ложные свидетельства вашего соучастия в убийстве.

Офицера трясло.

— Сэр, ради бога, уезжайте из страны. Ваша жизнь в опасности! — умолял он.

Но отец был не из тех, кто капитулирует перед угрозой террора. Позвонив домой из Лахора в тот вечер, он обронил только одну фразу:

— Возможно, я недолго пробуду на свободе.

Вернувшись в дом на Клифтон-Роуд, 70, он начал серию почти непрерывных политических совещаний. Зия назначил выборы на 18 октября и дал месяц на избирательную кампанию — следовательно, она открывалась 18 сентября.

Пока отец проводил совещания с политическими лидерами внизу, наверху я брала уроки урду. Отец сказал мне:

— Тебе нужно уметь выступать на урду. Мне может потребоваться твоя помощь.

Весь август, по два часа в день, я корпела над прессой на урду, а мой учитель обучал меня политической терминологии.

— Как у нее успехи? — интересовался отец, подходя к двери столовой в паузах между совещаниями.

В конце августа я сопровождала отца в Равальпинди. Чтобы не дать собираться большим толпам, как на привокзальных митингах в Карачи и Ларкане, когда туда приезжал отец, генерал Зия издал приказ, запрещавший политическим деятелям ездить поездами. В Равальпинди были приняты дополнительные меры — военные патрули перекрывали все подъездные пути к аэропорту. Но людям не помешали никакие преграды, они все равно выстраивались вдоль дороги, соединяющей аэропорт с городом, и плотно обступали машину.

Наша машина с трудом пробиралась через толпу в Равальпинди, а в Карачи к матери подбежал журналист, сторонник ПНП Башир Рияз с очередной тревожной вестью.

— Я вас умоляю, — говорил он матери, — убедите Бхутто-сахиба покинуть страну. Один из приближенных Зии, с которым я дружу, сказал: «Забудь про Бхутто, он

никогда не вернется к власти». Он сказал мне: «Зия решил его казнить по обвинению в убийстве». Этот человек хотел купить меня, но я не поддался.

Зия продолжал затягивать петлю, и я впервые почувствовала, что тоже в петле. На другой день в Равальпинди меня позвали на чай к Кхокхарам, семье, поддерживающей ПНП. Там собралось около сотни женщин, и сестры Кхокхар стали уговаривать меня сказать несколько слов. Две сестры работали в нашей партии, третья, Абида, когда-то была секретарем матери в резиденции премьер-министра. «*Хаусила раkho*», — сказала я в своей двухминутной речи, заученной на урду. Уезжая, я с удивлением обнаружила у ворот их дом большой полицейский отряд, где были и женщины-полицейские.

— Эти уже по твою душу! — сказала одна из сестер.

Еще больше я удивилась, когда вечером мне вручили уведомление за подписью, если не ошибаюсь, генерала Арифа о том, что главный администратор военного положения генерал Зия уль-Хак предостерегает меня от политической деятельности. Со дня введения военного положения прошло полтора месяца, и я получила первое официальное предостережение Зии. Я не восприняла его всерьез и со смехом показала отцу:

— Ты только подумай! Мое участие в чаепитии сочтено угрозой военному положению!

— Ничего смешного, — тихо сказал отец. — Военное положение — дело смертельно опасное.

И его опасность усиливалась. Было ясно, что оппозиция никакими средствами не одержит верх над ПНП на честных выборах. За две недели до начала предвыборной кампании Зия снова арестовал отца.

3 сентября, 4 часа утра. Клифтон-Роуд, 70, Карачи.

Я проснулась от скрипа лестничной ступеньки. Уже начался рамазан, месяц поста, и я подумала, что мне несут завтрак, который полагается съесть до рассвета. Но дверь распахнулась, и в мою спальню ворвалось шестеро мужчин в белом. Короткие стрижки, атлетическое сложение — я сразу узнала в них армейских командос. Сколько раз я видела их в охране резиденции премьер-министра! Но почему они не в форме?

Пятеро направляют автоматы на меня, а шестой носится по комнате, сбрасывает все с туалетного столика, срывает с вешалок одежду, швыряет на пол книги, разбивает настольную лампу, обрывает телефонный шнур.

— Что вам надо? — в ужасе спрашиваю я.

Мужчины не имеют права врывать в комнату мусульманки.

— Молчи, если жить хочешь! — рывкает главарь.

Они направляются к двери, оставляя меня в разгромленной спальне.

— Вы хотите убить отца? — я обращаюсь к тому, кто носился по комнате.

На мгновение кажется, что он сочувствует мне.

— Нет, — отвечает он после секундного колебания.

Его лицо снова каменеет.

— Тебе лучше сидеть тут и не двигаться! — говорит он, направляя на меня пистолет. Затем они уходят, с грохотом захлопывая дверь.

Я торопливо набрасываю на плечи первое, что попадается под руку в грудe одежды на полу. Влетает перепуганная сестра.

— Куда ты? Не смей! Они нас всех убьют, — кричит Санам.

— Тихо! Я должна найти отца!

Я выбегаю из комнаты, Санам за мной — коридор полон командос в белом с автоматами. Нас загоняют вниз, в холл, где их еще больше. Я бросаюсь к парадной двери, собираясь перебежать двор к пристройке, в которой живут братья, но командос окружают меня и заставляют сесть на диван рядом с сестрой, угрожая автоматами. Командос становятся по двое у каждой двери с оружием наготове.

Я должна быть с отцом. Он в опасности. Я должна к нему прорваться. Солдаты зачем-то ворвались в дом среди ночи, но они не в форме. Отца можно было без шума арестовать в любую минуту по законам военного положения. Но солдаты явно стараются запугать и унижить нас. В чем дело? Возможно, они хотят что-то сделать с отцом втайне от людей. Но втайне от его дочери они ничего не сделают, не выйдет!

— Вы кто, солдаты? — спрашиваю я на урду у тех, кто стоит перед кухонной дверью.

Они переглядываются, но армейская дисциплина не позволяет им ответить. И я решаюсь.

— Ты только посмотри на этих солдат! — громко говорю я сестре на урду. — У них нет ни стыда, ни совести! Премьер-министр Зульфикар Али Бхутто вытащил их из индийских лагерей, где они гнили по милости генералов. И вот как они его отблагодарили, ворвавшись в его дом, оскорбив святость очага!

Краешком глаза я вижу, что солдаты начинают нервничать.

— Чей это дом-то? — спрашивает один.

Я вдруг осознаю, что многие даже не знают, где они и какое выполняют задание!

— Вы что, не знаете, что вторглись в дом премьер-министра Пакистана? — презрительно спрашиваю я.

Они в растерянности опускают оружие. Мой шанс! Я быстро избегаю по лестнице в комнату родителей. Меня никто не останавливает.

Папа сидит на краешке кровати. Мама лежит, натянув одеяло до самого подбородка, в руках у нее ушные тампоны, которыми она пользуется перед сном, чтобы не просыпаться, когда отец возвращается поздно. Вокруг стоят командос с автоматами. Тот, который громил мою спальню, теперь крушит все в родительской, пытается содрать со стены скрещенные старинные сабли.

— Что ты делаешь? — говорит ему отец в ту минуту, когда я вхожу.

В голосе отца звучит привычная властность, и тот останавливается. Отец знаком показывает, чтобы я села рядом с ним. Поистине гротескное зрелище — в одном из хрупких, обитых бело-голубой парчой маминых креслиц в стиле Людовика XV развалился толстяк бандитского вида.

— Кто это? — шепчу отцу.

— Сагир Анвар. Директор Федерального агентства расследований.

— Вы можете предъявить ордер на мой арест? — обращается отец к нему.

— Нет, — тот с некоторым смущением разглядывает ковер.

— На каком же основании вы уводите меня из дому?

— Мне приказано доставить вас в армейский штаб.

— Чей это приказ?

— Генерала Зии уль-Хака.

— Поскольку я вас не ждал в такое время, — спокойно говорит отец, — мне потребуется полчаса на сборы. Распорядитесь, чтобы прислали моего слугу собрать вещи.

Сагир Анвар упрямится, утверждая, что, согласно приказу, с отцом никто не должен встречаться.

— Пришлите Урса, — невозмутимо повторяет отец, и Анвар делает знак одному из командос.

Урса, как я узнала потом, вместе с другими держали во дворе под дулами автоматов.

— Молчать! Руки за спину! — скомандовали им по-английски.

Кто не понял английский или замешкался — получил прикладом. У прислуги отобрали деньги и часы.

— Кто здесь Урс? — спросил посланный из дома командос.

— Я! — отозвался Урс и тут же получил прикладом за то, что подал голос.

Затем этот же солдат стал опрашивать всех в поисках Урса. Все отрицательно качали головами, солдат опять подошел к Урсу, который теперь уже молча кивнул. Урса схватили и поволокли наверх, где под дулом автомата он уложил отцовские вещи.

Отец принимает душ и одевается. Я поражаюсь его самообладанию. Какое сильное оружие по сравнению со всеми их автоматами!

— Назад! — приказывает мне солдат, когда я вслед за отцом иду к лестнице.

Я не обращаю внимания. Пропускают.

Внизу отец обменивается взглядами с Санам. Моя застенчивая сестричка кричит солдатам:

— Бесстыдные трусы! Трусы!

Отца ведут к машине.

Я опять смотрю, как увозят моего отца, и не знаю, куда его везут, увижу ли его еще. Машу ему рукой. Сердце мое одновременно и разрывается, и леденеет.

— Розанчик!

Оглянувшись, я вижу среди прислуги во дворе и Шах Наваза.

— Отпустите его! — кричу я солдатам, сама пугаясь новых нот, появившихся в моем голосе.

Однако солдаты отступают на шаг.

Мать в спальне, ее лицо блее мела. У нее совсем упало давление, и мы все по очереди растираем ей ноги, чтобы восстановить кровообращение. Я хочу позвонить доктору, но телефон отключен. Прошу охрану у ворот разрешить мне сбежать за доктором, но меня и слушать не хотят. Только утром, когда появляется наш управляющий и находит среди солдат сочувствующего земляка, от которого узнает, что случилось ночью, по городу распространяется известие об аресте отца. Дост Мохаммед часами носится на мотоцикле по Карачи, сообщая об этом лидерам ПНП, моему брату Миру, находящемуся в Аль-Муртазе, родственникам, представителям печати и маминной докторше. Но когда доктор Ашраф Аббаси является, ее не пускают

дальше ворот. К полудню военные присылают своего врача, и матери делают укол, в котором она так остро нуждается.

После обеда появляется полковник с чистым листком бумаги.

— Генерал Зия, главный администратор военного положения, приказал, чтобы вы и ваша мать поставили свои подписи, — говорит полковник, одетый в полевую форму с пластмассовой полоской на груди, на которой указано его имя — Фарук.

Я отказываюсь поставить подпись.

— Я ведь и заставить могу! — угрожает полковник, и его маленькие глазки становятся еще меньше, а линия рта еще жестче.

— Убить меня можете, а заставить подписать нет! — говорю я своим новым голосом. — Даже ваш генерал Зия не может!

— Вам же хуже будет, — голос полковника звучит отчетливо и сурово.

Он поворачивается и уходит.

В пять с дома наконец снимают охрану. Мы с Шах Навазом бросаемся в штаб-квартиру ПНП. Многие там напуганы. Одни требуют объявить общую забастовку в знак протеста и провести демонстрации, руководство же ПНП призывает проявлять сдержанность, пока не будет установлена связь с отцом. Связь с отцом? Кто знает, когда это удастся сделать?

На другой день мать получает еще более страшное известие. Ей удалось поговорить с отцовским адвокатом. Тайные предупреждения оказались верны — отца обвиняют в соучастии в убийстве.

Убийство? Я даже не знаю человека, которого отец якобы пытался убить.

Мать объясняет, что речь идет о мелком политикане по имени Ахмед Раза Касури — он жив и здоров. Три года назад недалеко от Лахора была устроена засада на машину, в которой он ехал с семьей. Убили его отца, бывшего мирового судью, однако Касури, член Национальной ассамблеи от ПНП, утверждал, что целью покушения был он. Касури перешел потом в оппозицию, было известно, что у него много врагов, и говорили — как это ни невероятно, — что на его жизнь уже было совершено пятнадцать покушений. Он заявил, что подозревает отца в последнем покушении, и дал соответствующие показания полиции. Уровень свободы в демократическом Пакистане тогда был таков, что полиция приняла показания против

премьер-министра. Последующее рассмотрение дела в суде освободило отца от всех подозрений в причастности к преступлению, и вся эта тягостная история была забыта.

Забыта до 1977 года. Касури снова вступил в ПНП и даже хотел баллотироваться от нашей партии на мартовских выборах. После того, как другому человеку было предложено выставить свою кандидатуру по данному избирательному округу, Касури, видимо, решил снова начать дело против отца. Теперь же, за две недели до начала избирательной кампании, Зия использовал дело как предлог для ареста отца. Однако и на этот раз махинации Зии обратились против него самого.

Судья, который рассматривал дело, нашел предоставленные документы «спорными и недостаточными», не дающими основания считать отца виновным по предъявленному ему обвинению. Через десять дней после ареста отец был освобожден под денежный залог. Я снова взглянула в будущее с оптимизмом.

Зия сделал заявление для печати:

— Если гражданский суд освободил премьер-министра, я не вижу причин его задержания по законам военного положения.

13 сентября отец явился прямо домой в Карачи, рассчитывая наутро вместе с Шах Навазом отправиться к Миру в Ларкану и там отпраздновать окончание рамазана. Времени совсем не оставалось — через пять дней начинается избирательная кампания, и отец запланировал девятносто выступлений на тридцать дней. Как всегда, вечером все собрались в родительской спальне, но разговор принял совершенно неожиданный оборот. Отец лежал на кровати, куря сигару, и вдруг сказал:

— Знаешь, Нусрат, Розанчика пора замуж выдавать. Я найду ей хорошего мужа.

Я так и подскочила на кушетке, чуть не сбросив на пол мамин пасьянс.

— Не хочу я замуж! Я недавно вернулась домой!

Санам и Шах Наваз радостно ухватились за возможность вернуться к своим детским дразнилкам и запели хором:

— Наш Розанчик выйдет замуж, наш Розанчик выйдет замуж!

— У меня уже есть на примете один славный молодой человек, — продолжал отец.

Мать улыбнулась — наверное, уже начала обдумывать свадьбу.

— Не хочу я замуж, и ты меня не заставишь! — воинственно заявила я.

— Разве можно говорить «нет» отцу? — усмехнулся отец, а Санам и Шах Наваз опять завели свою песню.

— Нет, нет и нет! — сопротивлялась я, и тут, на мое счастье, отцу принесли ужин.

Заговорили о другом, но о куда более страшном.

— Все говорят, что Зия меня не пощадит и что мне лучше уехать. Сегодня один руководитель ПНП попросил у меня денег на отъезд. Уезжай, если хочешь, сказал я, но я не крыса, чтобы удирать. Я останусь в Пакистане и выступлю против Зии.

— И победишь на выборах, и отдашь Зию под суд за государственную измену! — громко заявила я.

— Будь осторожнее, Розанчик, — отец опять показал на стены.

Но от счастья, что отец вышел на свободу, что он снова дома, я просто не могла остановиться и все говорила о предательстве Зии, пока отец не рассердился.

— Замолчи! — одернул он меня. — Сама не знаешь, что говоришь!

Мы посмотрели друг на друга. Обиженная, я в ярости выскочила вон.

Теперь я понимаю, что он предвидел, как плохо все сложится, что с самого начала он отдавал себе отчет в положении дел, которое я отказывалась понимать. Отец знал беспощадность Зии и хотел удержать меня от провоцирующих разговоров. Но я была чересчур упряма. Сколько раз я потом благодарила бога за то, что отец разбудил меня перед отъездом в Ларкану.

— Не держи в сердце то, что я тебе вечером сказал, — отец присел на край моей кровати. — Я стараюсь уберечь тебя от беды.

Он обнял меня. Целуя отца, я сказала:

— Я все понимаю, папа, прости меня!

Я до сих пор отчетливо помню его серый *шальвар-камиз* и запах одеколона «Шалимар». Это был последний раз, когда я видела отца свободным.

17 сентября, 1977, половина четвертого ночи. Аль-Муртаза.

Бахаваль, один из работающих в Ларкане, вспоминает о случившемся. Я при этом не присутствовала.

«Около двух часов ночи 70 командос и полицейских перелезли через ограду дома Аль-Муртазы, избили сторо-

жей и бросились в дом, где был я с другими слугами. «Открывайте», — требовали они, барабана в парадную дверь.

— Что вам надо? — спросили мы.

— Бхутто!

— Подождите, мы его разбудим.

— Откройте немедленно! — они налегли на дверь и высадили ее.

На грохот прибежал Мир-баба и отправился будить Бхутто-сахиба.

— Скажи им, что незачем ломать двери, — сказал Бхутто-сахиб, — пускай войдут два офицера. Мне требуется время, чтобы собраться.

Он ждал, что за ним придут: его чемодан и портфель были уложены.

Через десять минут Бхутто-сахиба увели. Всех нас загнали в дом и заперли. Силы безопасности охраняли дом снаружи и изнутри. Мы плакали.

Мир-баба очень сердился. Он хотел позвонить в Карачи, но провода были перерезаны. Утром я проскользнул мимо охраны и побежал к соседям, чтобы позвонить Бегам-сахибе. Вся деревня уже знала, что случилось, и сотни людей столпились перед воротами Аль-Муртазы. Они выкрикивали: «Да здравствует Бхутто!»

Полиция арестовала их».

Отца увезли в тюрьму Суккура, затем перевезли в Карачи, потом в Лахор. Зия не хотел рисковать и скрывал его местопребывание от народа. На сей раз Зия был намерен разделаться с отцом. Ему было предъявлено все то же обвинение в убийстве, но теперь Зия принял меры, чтобы отец не смог оправдаться.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В АЛЬ-МУРТАЗЕ: УБИЙСТВО ОТЦА ПО ПРИГОВОРУ СУДА

Март, 1980.

Время в Аль-Муртазе тянется медленно, сочась по крупинкам из бездонных песочных часов. Я чувствую себя похороненной заживо, отрезанной от всего, чем живут люди. Моя мать проводит бесконечные часы заточения, раскладывая пасьянс. Но через пять месяцев, проведенных взаперти в Аль-Муртазе, я чувствую себя более беспокойно, чем когда-либо. Я не могу даже представить себе, когда нас освободят и освободят ли. Все в руках Зии.

Правительство Соединенных Штатов сделало свой выбор. Ближе к весне становится ясно, что американцы предпочитают военную диктатуру Зии восстановлению демократии. Подталкиваемый нарастающим советским военным присутствием в Афганистане, президент Картер предлагает в марте 1980 года 400 миллионов долларов помощи Пакистану, но Зия отвергает весь пакет помощи как «мелочь». Количество афганских беженцев в Пакистан растет, и это лишь начало потока, который хлынет сюда с разгаром гражданской войны в Афганистане. Теперь, когда беженцы и советские войска у порога нашей страны, иностранная помощь посыплется на Зию, как из рога изобилия, и Пакистан станет таким образом третьим по величине получателем помощи от США, после Израиля и Египта. Советское вторжение в Афганистан называют в Пакистане «рождественским подарком Брежнева Зие». А мы с матерью остаемся в заточении в Аль-Муртазе.

Приезжает Санам. Ее визиты редки, и мы всегда ждем их с нетерпением. Она, как обычно, окружена свитой тюремных и армейских чиновников. Даже мать и сестру она может посещать только в присутствии военного начальства. У мамы опять упало давление, и она лежит у себя в спальне. Я спрашиваю разрешения провести свидание у нее в присутствии надзирательницы. Когда мы с Санам идем к нашим жилым комнатам,

я слышу шаги за спиной. Но это не представительница полиции. Это капитан Ифтихар, один из армейских офицеров. Я в недоумении смотрю на него. Ни одному мужчине, если он не родственник, не положено заходить в наши комнаты. Некоторые люди, верные нашим обычаям, предпочли бы умереть, чем позволить чужаку нарушить их святость.

— Даже по тюремным правилам только надзирательница может войти в женскую камеру, — напоминаю я ему.

— Я буду присутствовать при свидании, — говорит он.

— Тогда мы вообще отказываемся от свидания. Я позову сестру.

Санам уже прошла вперед к комнате матери; я иду за ней по коридору в наши комнаты, собираясь сообщить матери и сестре, что сегодняшняя встреча откладывается. Я слышу шум за спиной. Капитан Ифтихар все еще идет за мной.

— Вы понимаете, куда идете? Вы не можете войти сюда, — я совершенно ошеломлена.

Но он не обращает на меня внимания.

— Знаете ли вы, кто я? — восклицает он. — Я капитан пакистанской армии и могу идти, куда захочу.

— Знаете ли вы, кто я? — отвечаю ему так же громко. — Я дочь человека, который вернул вас домой после позорной капитуляции в Дакке.

Капитан Ифтихар вскидывает руку, чтобы ударить меня. И вся ярость, которую я подавляла в себе, гнев, который я пыталась сдерживать, вырываются наружу.

— У вас нет совести! Вы поднимаете руку в этом доме! Вы смеете поднимать руку в доме человека, который спас вас. Вы с вашей армией сдались индийским генералам. Мой отец — вот кто возвратил вам честь. И вы поднимаете руку на его дочь?

Он резко опускает руку.

— Мы еще посмотрим, — рычит он, поворачиваясь на каблуках, и выходит с надменным видом.

Визит Санам отменяется.

Я пишу в суд, куда моя мать и я подали протест по поводу нашего ареста, как только нас заперли в Аль-Муртазе. В 1979 году, уже при военном положении, гражданские суды еще имели право на пересмотр дел по арестам, произведенным по военным предписаниям. Я описываю все, что случилось в наших жилых помещениях. Генерал Зия часто говорил о святости

чадры и затворничества женщин как о символах святости семейной жизни. Однако, похоже, ни он, ни капитан Ифтихар не особенно заботятся об этом. Я отдаю письмо тюремщику. Он обещает переслать его в суд и выдает мне расписку. В то время я даже представить не могла, какой важной окажется эта расписка.

Cogito, ergo sum — мыслю, следовательно, существую. В Оксфорде у меня всегда были сложности с этим философическим тезисом, а сейчас их еще больше. Я мыслю, даже когда не хочу этого, но по мере того, как медленно проходят дни, я сомневаюсь в том, существую ли я вообще. Для того, чтобы существовать, человек должен совершать что-то, действовать и вызывать ответные действия. Я чувствую, что у меня нет ничего, на чем мое существование могло бы оставить отпечаток.

Однако отпечаток, оставленный на мне моим отцом, помогает мне держаться. Стойкость. Честь. Принципы. В тех историях, которые отец обычно рассказывал нам, когда мы были детьми, Бхутто всегда выигрывали моральные битвы.

— Руперт напал на меня в лесах Вудстока, — начинал он обычно повествование о том, как неподалеку от Оксфорда он встретил Руперта Генцау, зловещего персонажа романов Энтони-Хоупа. Вскакивая, отец размахивал воображаемым мечом.

— Он ранит меня в плечо, наносит страшный удар по ноге. Но я продолжаю сражаться, потому что благородный человек сражается до конца.

Зачарованные, мы глядим, как папа обороняется. Он наносит удар. Он не обращает внимания на кровь, струящуюся из раны на животе. Сделав внезапный выпад, он приканчивает Руперта, затем падает в кресло.

— Благородный шрам, — говорит он, поднимая рубашку и показывая нам рубец от аппендицита.

Воспитанная на этой и других легендах о Бхутто, я уверена, что после переворота мой отец одержит победу и над Зией. Я все еще не чувствовала разницы между вдохновенными битвами, которые отец устраивал для нас в своих рассказах, и реальным злом, которое ожидало его.

Сентябрь, 1977.

Массивные кирпичные стены с колючей проволокой наверху. Крошечные оконца под потолком с ржавыми железными решетками. Громадные железные ворота. Тюрьма Кот-

Лакхпат. Дверь в воротах, через которую я проходила, скрипела и громычала. Я еще никогда не была в тюрьме. Я оказалась еще перед одной стальной стеной, на этот раз охраняемой вооруженными полицейскими. Мужчины, женщины, дети, несущие в руках коробочки с едой, проталкиваются к маленькой дверце в стене. Пакистанские тюрьмы не обеспечивают заключенных ничем — одежду, постельные принадлежности, посуду, даже еду должны приносить родственники. Те, чьи семьи слишком бедны, чтобы обеспечить подобную «роскошь», и приговоренные к строгому режиму находятся в камерах класса «С» — в общих камерах, где пятьдесят человек спят на полу на завшивленных матрасах, вместо туалета — дыра в углу комнаты; их дневной рацион — кусок хлеба и две чашки жидкой похлебки из чечевицы. Там нет вентиляторов, которые спасли бы в почти 40-градусную жару, нет душа, чтобы заключенные могли немного охладиться или помыться. Полицейский провел меня в кабинет начальника тюрьмы для встречи с отцом.

— Теперь Зия уже открыто возбуждает дело по обвинению в убийстве. Дети должны срочно выехать из страны, иначе Зия помешает им, — говорит мне отец. — Особенно мальчишки. Я хочу, чтобы через двадцать четыре часа их не было в стране.

— Да, папа, — говорю я, зная, что для Мира и Шаха мысль об отъезде сейчас невыносима. Как они смогут углубиться в учебу, когда отец в тюрьме? Они оба так усердно работали в Ларкане и Карачи, готовясь к выборам, которые Зия все еще обещает провести...

— Ты уже завершила свое образование. Но если ты захочешь вернуться в Англию и жить более безопасной жизнью, я пойму тебя. Ты можешь ехать, — продолжает отец. — Если ты решишь остаться здесь, то знай, что нас ждут тяжелые времена.

— Я останусь здесь, папа, и буду помогать тебе на процессе, — говорю я.

— Тебе нужно стать очень сильной, — отвечает он.

Через несколько дней Мир с неохотой уехал в Англию. Отца он больше никогда не увидит. Не увидит его больше и Шах Наваз, проделавший долгое путешествие в тюрьму Кот-Лакхпат за несколько дней до своего возвращения в школу в Швейцарии.

— У меня есть разрешение на свидание с отцом, — сказал Шах страже, пройдя первые ворота. — Я приехал попрощаться с ним.

— У нас нет разрешения на ваше посещение, — ответили охранники. — Мы не можем допустить вас.

Мой отец, который как раз в этот момент проходил за внутренней стальной стеной на встречу с адвокатами, услышал спор Шаха с тюремщиками.

— Ты мой сын. Не выпрашивай у них никаких милостей, — громко сказал он брату. — Возвращайся к своим занятиям и работай усердно. Я хочу гордиться тобой.

Через два дня Шах Наваз уехал в американский колледж в Лейсине. Вскоре после этого Санам вернулась в Гарвард. Через десять дней, 29 сентября 1977 года, я была арестована в первый раз.

Люди. Толпы людей. Молодые люди в *шальвар-камизах*, прижимающиеся к деревьям и уличным фонарям, с трудом удерживающиеся на крышах автобусов и грузовиков. Целые семьи, выглядывающие из окон, свешивающиеся с балконов и крыш. Люди стиснуты так плотно, что, если кому-нибудь станет дурно, он не упадет; женщины в покрывалах нерешительно топчутся в сторонке, осмелившись ради такого случая появиться на людях. Дочь их премьер-министра, заключенного в тюрьму, приехала побеседовать с ними.

Женщина на трибуне больше знакома толпе, чем мне самой. На субконтиненте и другие женщины до меня подхватывали политические знамена своих мужей, братьев и отцов. Политическое наследование по женской линии стало традицией в Южной Азии. Индира Ганди в Индии. Сиримаво Бандаранаике на Шри-Ланке. Фатима Джинна и моя собственная мать в Пакистане. Я никогда не думала, что это может произойти и со мной.

Стоя на наскоро сооруженной трибуне в промышленном городе Файзалабаде, я не помнила себя от страха. Мне было всего 24 года, и я не считала себя ни политическим деятелем, ни оратором. Но у меня не было выбора.

— Моя дорогая, ты должна начинать кампанию. Нам придется разделить между собой программу твоего отца, — заявила мне мать за неделю до того в Карачи. — Другие лидеры ПНП либо в тюрьме, либо заняты своими программами. Остались только мы с тобой.

— Но я не знаю, что говорить, — сказала я.

— Не волнуйся, — ответила она. — Мы подготовим твое выступление.

— *Бхутто ко реха каро!* — Свободу Бхутто! — скандировали люди: эти же слова слышала от миллионной толпы день

назад в Равальпинди на митинге моя мать. Я стояла за ней на трибуне и училась, глядя на нее.

— Не волнуйтесь, если ваш отец в тюрьме. У вас есть мать, которая пока еще на свободе, — выкрикивала она в толпу. — У меня нет ни танков, ни автоматов, но у меня есть непобедимая сила угнетенных для того, чтобы противостоять любой силе в мире.

Во время митинга ее голос был тверд, но руки слегка дрожали; всем сердцем я была с ней. Моя мать не желала этой общественной жизни, она не хотела брать на себя руководство ПНП на то время, что отец находился в тюрьме. Она все еще очень плохо себя чувствовала из-за пониженного кровяного давления и была очень слаба. Когда партийные лидеры, переругавшись из-за поста председателя партии, предложили в порядке компромисса этот пост ей, она отказалась. Но отец написал ей из тюрьмы и попросил выполнить решение партии. Она вынуждена была согласиться. Обещанные в первый раз выборы должны были состояться всего через две недели. И народ был более чем готов приветствовать возвращение ПНП к власти.

«Операцию “Честная игра”», которую провел Зия, можно было считать какой угодно, но не честной для подавляющего большинства населения. Менее чем через два месяца после переворота Зия вернул национализированные моим отцом зерновые и рисовые мельницы их прежним владельцам и обещал дальнейшую денационализацию. Промышленники по всей стране торжествовали, увольняя организаторов профсоюзов. Только в одном Лахоре пятьдесят тысяч человек были временно отстранены от работы.

— Ну и где же ваш батюшка Бхутто теперь? — язвительно спрашивали владельцы предприятий рабочих, потерявших единственную гарантию занятости, которую они когда-либо имели.

Оставшимся рабочим угрожали массовые увольнения и понижение зарплат. Крестьянам, надеявшимся продать свой урожай по гарантированным ценам, были предложены ничтожные деньги. Снова феодалы-землевладельцы и хозяева фабрик прикарманивали прибыль; лук теперь стоил в пять раз дороже, чем в 1975 году, картофель — в два раза, яйца и мука подорожали на 30 процентов. Поворот вспять политики, которую проводил мой отец, вызвал гнев народа, и на митингах ПНП по всему Пакистану раздавались требования: *Бхутто ко реха каро!* — Свободу Бхутто!

В Файзалабаде я сжимала в руках текст своей речи, которую все время репетировала у себя в комнате в Исламабаде. Смотри прямо перед собой. Не опускай глаза вниз. Обращайся к противоположной стенке комнаты. Как оттачивались эти приемы в Оксфордском союзе! А сейчас передо мной на спортивном поле простиралась необозримая масса людей.

— Не настраивай хунту против себя, не давай Зие повода отменить выборы, — предупреждала меня мать.

Но сдержать толпу было невозможно.

— Мне просто не верится, — говорит местная партийная деятельница, удивленно поднимая брови. — Я в жизни не видела такого многолюдного митинга.

Кто-то подал мне микрофоны, присоединенные к громкоговорителям незаземленными проводами. Искры из проводов с треском сыпались во все стороны. В то время, как я произносила речь, люди на трибуне пытались обернуть тряпками провода или держать для меня микрофоны. Нет, это вам не Оксфордский союз!

— Когда я была с отцом в Индии на переговорах с Индирой Ганди, он отказался спать в постели и спал на полу, — обращалась я к людям со словами, которых не было в тексте моей речи. — «Почему ты спишь на полу?» — спросила я. «В Индии я не могу спать в постели, — ответил он, — когда наши военнопленные спят в лагерях на земле».

Толпа взревела.

Сегодня Касур. Завтра Окара. Проезжаем бескрайние зеленые поля, на которых согнувшиеся крестьяне заняты прополкой и поливкой. Предвыборная кампания ПНП с успехом набирала темп в Пенджабе, житнице Пакистана. Часто наше движение по дорогам замедлялось из-за толп, приветствовавших нас. Пенджаб — родина джаванов, армейских рядовых, преданных сторонников отца. Он относился к ним с уважением: заботился о теплой одежде для солдат, замерзавших зимой в окопах Западного Пакистана, повышал им жалованье, старался помочь им получить офицерские чины. Теперь семьи этих солдат становились нашей опорой. Мы слишком быстро наступали на пятки Зие.

— Здесь вас судья ждет, — с тревогой сказала мне хозяйка дома, когда я приехала в Сахивал 29 сентября. Это была третья остановка на моем пути.

— Дом объявляется местом заключения. Вы задержаны на пятнадцать дней, — объявил судья.

Я не могла в это поверить. Дом был окружен полицией. Телефон отключили, время от времени отключали воду и электричество. Все дороги к этому району были перекрыты, жители соседних домов не могли попасть к себе. Мои хозяева, впоследствии вышедшие из партии, были задержаны вместе со мной. Три дня я в ярости мерила шагами свою комнату. Надзирательница в полицейской форме стояла на посту в коридоре.

В чем меня обвиняли? Я не нарушала никаких законов, даже законов военного положения. Я просто замещала своего отца в течение месяца предвыборной кампании, разрешенной самим Зией. Как мало тогда понимала я в игре с высокими ставками, в которую оказалась втянутой.

— Моя дочь привыкла носить украшения. Теперь она будет гордиться украшением из тюремных цепей, — сказала моя мать на предвыборном митинге в Карачи, где число собравшихся превышало все предыдущие. Широкая поддержка, которую оказывал нам народ, разрушала надежды Зии победить ПНП политическими средствами. Бхутто в тюрьме оказался еще более влиятельным, чем Бхутто на предвыборном митинге.

На следующий день Зия объявил по телевидению, что выборы отменяются.

С этого момента я знала, что законов больше не существует.

24 октября, 1977.

В этот день начался суд над моим отцом за соучастие в преднамеренном убийстве. В отличие от обычных процессов по обвинению в убийстве, которые начинаются в нижнем суде, этот начался в Высшем суде Лахора. Таким образом мой отец был лишен права апеллировать к промежуточным инстанциям. Судья, который шесть недель назад освободил моего отца под залог, был отстранен от активного участия в работе Высшего суда, и новая судебская бригада в составе пяти специально отобранных судей приступила к работе. Одним из первых решений нового суда была отмена освобождения отца под залог. Теперь он был задержан по уголовному обвинению и по указу главного администратора военного положения Зии уль-Хака.

Наконец я смогла продолжить вместе с матерью работу в интересах отца: я была освобождена из заключения вскоре после отмены выборов. Сторонник нашей партии предоставил нам свой дом без мебели в Лахоре, столице Пенджаба.

Мы его использовали как штаб-квартиру ПНП и место встреч во время судебного процесса над отцом. Каждый день мы по очереди посещали судебные слушания, которые проходили в прелестном здании, построенном англичанами в 1866 году. В зале заседаний с резным деревянным потолком, с богатым красным ковром на полу налицествовали все юридические атрибуты. Все вставали, когда входили судьи. Впереди шел человек в длинном зеленом одеянии и белом тюрбане и нес деревянный скипетр с серебряным набалдашником. Судьи в черных мантиях и седых париках занимали свои места на пяти креслах с высокими спинками под красным атласным балдахином с кистями. Адвокаты отца в черных шелковых мантиях поверх черных пиджаков, в белых накрахмаленных рубашках с загнутыми воротничками и в брюках в полоску были уже в зале. Вместе с другими зрителями, заполнившими ряды деревянных скамей, я должна была бы чувствовать себя спокойно. Это все выглядело как в лучших традициях британского закона. Но все это было не так.

Обвинение против моего отца было основано прежде всего на свидетельстве Масуда Махмуда, генерального директора Федеральной службы безопасности. Масуд Махмуд был одним из государственных служащих, арестованных вскоре после переворота. Говорят, его пытали, чтобы он дал ложные показания против отца: После того, как военные продержали его в заключении почти два месяца, Масуд Махмуд решил «дать показания», то есть он признался якобы в соучастии в преступлении, но был прощен и оправдан при условии, что скажет «правду» про других участников. Теперь Масуд Махмуд заявлял, что мой отец приказал ему убить политического деятеля Касури.

Заявление Масуда Махмуда было единственным свидетельством участия моего отца в заговоре, в котором его обвиняли. Еще четверо «сообщников» также были служащими федеральной безопасности. Они якобы принимали участие в покушении по приказанию генерального директора. Как и Масуда Махмуда, их всех арестовали вскоре после переворота. Свидетелей нападения не было.

Четверо обвиненных сотрудников ФСБ сидели рядом со своими адвокатами, отец же был окружен агентами разведки и находился за деревянным барьером, сооруженным специально для этого процесса.

— Я знаю, что вы привыкли к очень комфортабельной жизни, поэтому я предоставил вам кресло вместо скамьи, — ехидно сказал исполняющий обязанности

главного судьи Муштак Хусейн моему отцу в первый день процесса, который длился пять месяцев. Один из самых высших судебных чиновников, назначенный на эту должность лично Зией, Муштак Хусейн был его земляком из Джалландара в Индии и старым отцовским врагом. Он возглавлял процесс над моим отцом во время его конфликта с Айюб Ханом. При правительстве ПНП он был переведен на пост главного судьи, в дальнейшем повышении — назначении в Верховный суд — ему было отказано после того, как министр юстиции, генеральный прокурор и мой отец сочли, что он не подходит для этого поста. Вскоре после переворота Зия назначил его главой избирательной комиссии, превратив разделение исполнительной и законодательной власти в правительстве в посмешище. Вряд ли он мог быть беспристрастным.

Настроение суда было очевидным. В первый же день процесса Миян Аббас, один из обвиняемых сотрудников ФСБ, порядочный и бесстрашный человек, встал и отказался от своих собственных показаний.

— Мои признания были вырваны у меня под пытками, — заявил он. На следующий день его уже не было в зале суда.

— Он заболел, — объяснил обвинитель.

Защита затребовала копии свидетельских показаний против отца. Просьба была отклонена главным судьей «до подходящего момента». В ходе процесса Д. М. Авана, главного советника защиты, вызвали в кабинет главного судьи, где ему посоветовали «подумать о своем будущем». Когда он продолжал настаивать на обеспечении справедливой юридической защиты отцу, главный судья предъявил ему встречное обвинение, оспорив судебные решения в других случаях, по которым выступал Аван. В конце концов Аван посоветовал своим клиентам найти себе другого адвоката.

Я присутствовала в суде, когда *маулеви* Муштак намеренно искажал свидетельские показания водителя Масуда Махмуда, пытаясь выстроить связь между моим отцом и генеральным директором ФСБ.

— Правда ли, что ты отвез Масуда Махмуда на встречу с премьер-министром? — задал вопрос главный судья.

— Нет, — ответил испуганный водитель.

— Пишите: «Я отвез Масуда Махмуда на встречу с премьер-министром», — продиктовал Муштак стенографисту.

— Возражаю, Ваша милость! — поднялся защитник.
— Возражение отклоняется, — огрызнулся Муштак, злобно нахмутив густые седые брови. Затем он повернулся к свидетелю.

— Видимо, ты хотел сказать, что ты не помнишь точно, но, наверное, отвез Махмуда к премьер-министру? — подсказал он.

— Нет сэр. Я не отвозил его, — водитель стоял на своем.

— Пишите: «Масуд Махмуд сам поехал на встречу с премьер-министром», — приказал стенографисту главный судья.

— Возражаю, — вновь встал адвокат.

— Сядьте! — зарычал Муштак. Он повернулся к водителю.

— Ведь Масуд Махмуд мог сам поехать к премьер-министру, не так ли? — спросил он.

— Нет, сэр, — трясаясь от страха, отвечал водитель.

— Почему нет? — заорал Муштак.

— Потому что ключи от машины были у меня, — голос водителя дрожал.

Джон Матьюз, королевский адвокат, юрист из Англии, присутствовавший на процессе в ноябре, был потрясен ходом суда. Позднее он сообщил английскому журналисту: «Я был возмущен в особенности тем, как благоприятный для обвиняемого ответ свидетеля тут же прерывался судьями, которые либо сводили показания свидетеля на нет, либо заставляли его изменить их». Еще больше была обеспокоена защита. К концу процесса выяснилось, что ни одному из возражений, ни одному противоречию в показаниях, которое они отметили, не нашлось места на 706 страницах дела.

Они даже не пытались изобразить справедливость. Однажды утром я приехала в суд и случайно услышала, как заместитель директора Федерального агентства по расследованиям Абдул Халик дает наставления группе свидетелей, какие показания они должны дать.

— Что же это за правосудие? — возмутилась я вслух. Вокруг меня начали собираться люди.

— Уведите ее, — приказал Халик полицейским.

— Я никуда не уйду, — кричала я, намереваясь устроить сцену, чтобы смутить свидетелей обвинения.

— Выведите ее, — распорядился Халик.

Когда полицейские приблизились ко мне, по коридору разнесся приглушенный шум голосов — моего отца везли

из тюрьмы. Я не хотела, чтобы он огорчился, увидев, что полиция выволакивает его дочь из здания суда как хулиганку, поэтому я перестала обличать суд. Позднее я слышала, что обвинители арендовали дом недалеко от зала суда, завезли туда еду и напитки и там «отрабатывали» со свидетелями их показания.

Прибыл Рамсей Кларк, бывший министр юстиции США, для наблюдения за ходом судебного процесса. Через некоторое время в «Нейшн» была опубликована его статья об этом. Он писал: «Обвинение базировалось исключительно на показаниях нескольких свидетелей, которых держали под арестом до тех пор, пока от них не получили признания, которые противоречили себе и друг другу; все, кроме Масуда Махмуда (генерального директора ФСБ), связывали свои показания с тем, что сказали остальные. В результате возникли четыре версии того, что произошло, и ни одна из них не была подтверждена наличием свидетелей, прямыми уликами либо вещественными доказательствами».

Я верила в правосудие. Я верила в юридические и нравственные показания, подтвержденные клятвой, и в судебную процедуру. Но ничего этого не было во время того фарса, которым оказался суд над отцом. Защита смогла добыть армейский вахтенный журнал, из которого было очевидно, что джипа, который якобы использовался при нападении на Касури, вообще не было в этот день в Лахоре.

— Не доказано, что данные этого журнала точны — таково было возражение обвинителей, хотя они сами предъявили журнал суду наряду с другими материалами, относящимися к делу.

Защита предъявила путевые листы ФСБ, из которых было видно, что Гулям Хуссейн, офицер, который якобы организовал и руководил попыткой покушения, в тот день, когда оно произошло, был в Карачи по другому поручению. Вообще-то, судя по путевым документам, он был в Карачи в течение десяти дней до и десяти дней после нападения.

— Эти документы были преднамеренно фальсифицированы, — возражало обвинение, хотя об этом в течение процесса не заявляли ни они, ни «признавшиеся обвиняемые».

Неопровержимым доказательством того, что все дело по обвинению в убийстве было сфабриковано, стала копия баллистической экспертизы, представленная адвокатами отца. Место, с которого якобы стреляли «нападавшие», не соответствовало пулевым отверстиям в автомобиле. Убийц

было четверо, а не двое, как заявляло обвинение. Более того, оказалось, что стреляные гильзы, найденные на месте преступления, не подходят к пистолетам, находящимся на вооружении ФСБ, которыми якобы пользовались при попытке убийства «расскаившиеся обвиняемые».

— Мы выиграли дело! — торжествующе заявила мне в зале суда Рехана Сарвар, сестра одного из отцовских адвокатов.

Не медля, я помчалась к отцу во время перерыва на чай. «Признавшимся обвиняемым» разрешалось сколько угодно болтать с членами своих семей прямо в зале заседаний, а отца под усиленным конвоем полиции обычно заталкивали в каморку за стеной.

— Папа, мы выиграли, мы победили! — я рассказала ему про баллистическую экспертизу. Я никогда не забуду выражение нежности на его лице, когда он слушал мой возбужденный рассказ.

— Видимо, ты не все понимаешь, Розанчик, — мягко ответил он. — Они намерены убить меня. Не имеет значения, с каким свидетельством выступишь ты или кто-нибудь еще. Они собираются убить меня за убийство, которого я не совершал.

Онемев, я посмотрела на него, не веря, не желая верить тому, что он сказал. Никто из присутствующих в комнате, не исключая адвокатов, не хотел поверить в это. Но он уже знал. Он знал это с того момента, когда солдаты Зии пришли за ним посреди ночи в Карачи.

— Беги, — умоляла его сестра, когда впервые услышала о том, что готовится обвинение в убийстве. И другие уговаривали его бежать. Он всем отвечал то же самое, что и мне сейчас.

— Моя жизнь в руках Аллаха, и только в его руках, — сказал он мне в комнате, когда мы пили чай. — Я готов к встрече с Ним, когда бы Он ни призвал меня. Моя совесть чиста. Для меня самое главное — мое имя, моя честь, мое место в истории. И я готов бороться за это.

Мой отец знал, что можно заточить в тюрьму человека, но не идею. Можно отправить в ссылку человека, но не идею. Можно убить человека, но не идею. Но Зия был слеп, он пытался внушить людям другое. Посмотрите на вашего премьер-министра. Он из плоти и крови, как любой другой человек. Что толку от его принципов теперь? Его можно убить так же, как любого из вас... Посмотрите, что мы делаем с вашим премьер-министром. И только представьте себе, что мы можем сделать с вами.

Отец пытался объяснить мне, что его ждет. Но до меня его слова доносились как бы издалека. И я не хотела приближаться к ним. Иначе я не смогла бы бороться против предъявляемых ему обвинений. Борьба за его честь стала моей борьбой.

На следующий день после ареста отца в Карачи Зия выпустил указ № 21 военного положения. Всем членам Национальной ассамблеи, сенаторам, членам провинциальных правительств в период с 1970 по 1977 год (когда у власти была ПНП) необходимо было предъявить военному режиму финансовые декларации о всех видах собственности и приобретениях, начиная с земельных владений, техники, драгоценностей, вплоть до страховых документов и конторского оборудования. Наказание за неисполнение приказа — семь лет строгого тюремного заключения и конфискация имущества.

Если военный режим сочтет, что имущество и ценности приобретены с помощью политического влияния или что имеет место злоупотребление собственностью правительства, виновным будет запрещено занимать выборные или назначенные политические посты.

Произвольно выбирая жертвы, власти военного режима использовали новый закон для давления на членов парламента, понуждая их к покорности. Единственным средством апелляции, доступным жертвам бесправия, оставался лишь трибунал, учрежденный тем же режимом, который лишил их всего. Естественно, те, кто соглашался на сотрудничество с режимом, были самым чудесным образом восстановлены в правах.

Возглавляла первый список лишенных прав политиков моя мать, хотя она была членом парламента в течение всего трех месяцев. Ей пришлось несколько раз предстать перед трибуналом, но режим так и не смог выдвинуть против нее никаких обвинений. Слушание ее дела постоянно откладывалось. Но самой главной мишенью в течение осени и зимы 1977 года был мой отец, репутацию которого Зия отчаянно старался дискредитировать.

Бхутто использовал правительственные средства для закупки мотоциклов и велосипедов для активистов ПНП. Мистер Бхутто установил за счет правительства кондиционеры в своих домах в Ларкане и Карачи. Мистер Бхутто использовал пакистанские посольства для закупок из казенных фондов одежды и еды для личного употребления. Одно обвинение за другим — коррупция,

злоупотребление фондами, даже подозрение в совершении уголовного преступления — громоздил режим против моего отца в полной уверенности, что из тюремной камеры нелегко их будет опровергнуть. С особыми мерами предосторожности они заключили в тюрьму личного секретаря отца. Но самым главным опровержением шестидесяти с лишним обвинений, предъявленных отцу, оказалась его система ведения документации.

Я нашла все свидетельства невиновности отца в его бумагах в Карачи. День за днем я продиралась через семейные счета, заваливая адвокатов необходимыми бумагами, и получала все новые указания насчет того, что еще надо найти. Мой отец записывал все расходы, включая 24 доллара, потраченных на отрез ткани во время поездки в Таиланд в 1973 году, или 218 долларов, израсходованных на клей для обоев в Италии в 1975 году. Я была удивлена, обнаружив, что он заплатил даже за свои очки для чтения, хотя премьер-министру полагается бесплатное медицинское обслуживание. В газетах же появлялись лишь обвинения, но не печатались наши опровержения. Мы сами размножали на mimeографах тексты опровержений и распространяли их.

Из этих материалов мы составили книгу, опубликованную позднее под названием «Бхутто: слухи и правда», в которой сведениям, дискредитирующим отца, были противопоставлены реальные факты. Публикация книги была рискованным делом, так как любую литературу, благоприятно отзывающуюся об отце, режим считал «подстрекательством к мятежу», а людям, печатающим и распространяющим такую литературу, грозили тюрьма и конфискация имущества. Эти опровержения были нужны не только пакистанцам, но и иностранным журналистам, которые просто тонули в потоке клеветнических публикаций против отца и ПНП. Но надо было принять еще какие-то меры.

— Мы должны обратиться к народу с призывом о забастовке или демонстрации либо еще какой-то мере, — в отчаянии сказала я партийным деятелям, когда ночью мы собрались в арендованном нами доме на совещание. Они робко возражали: «Не надо ничего предпринимать, пока мы не выработаем линию партии».

Меня, так же как и других молодых членов партии, раздражала их медлительность.

— Давайте пойдем молиться к *мазарам*, — предложила я, наивно полагая, что режим, который вбивает всем в

головы — ислам-ислам-ислам, не осмелится арестовать нас во время молитвы у могил наших святых. Идея понравилась. Активисты ПНП стали собираться в мечетях и *мазарах* по всей стране. Они читали Коран и молились за освобождение отца. Но я ошиблась. Тяжелая рука режима дотянулась и до *мазаров*.

Аресты и телесные наказания продолжались. К декабрю 1977 года количество жертв достигло семи сотен. Случай с Халидом Ахмедом, заместителем комиссара Ларканы, позволяет предположить, что они сделали с Масудом Махмудом и другими, арестованными после переворота, чтобы заставить их дать ложные показания против отца. Двое военных пришли в дом Халида Ахмеда в Лахоре с предписанием от Зии, рассказывала мне его жена Азра.

— Если я не позвоню тебе завтра, значит, что-то случилось, — сказал он, когда его уводили. Звонка не было. Когда наконец через месяц она нашла его в одной из тюрем Исламабада, она уже почти пожалела об этом.

— Я не забуду этот день, — говорила она мне. — Его лицо было пепельно-серое, губы сухие, потрескавшиеся. Слюна запеклась вокруг рта. Его пытали электрическим током, приставляя провода к самым чувствительным местам. Они хотели, чтобы он дал показания, которые можно было бы использовать на суде против мистера Бхутто.

Халида продержали в одиночной камере пять месяцев. Каждый вечер Азра приходила в городской парк, из которого был виден тюремный двор.

— Его выпускали на прогулку на полчаса в день, — рассказывала она. — Я часами сидела на скамейке, чтобы хоть краем глаза увидеть его, убедиться в том, что он еще жив.

Жизнь Халида Ахмеда — и, возможно, многих других — была спасена прошением, которое моя мать подала в Верховный суд вскоре после первого ареста отца. В нем она опротестовала законность его ареста военным режимом. В ноябре 1977 года Верховный суд подтвердил законность военного положения, объявив его «законом по необходимости» и сопоставляя его с законом Корана, который позволял мусульманину есть свинину, чтобы выжить, если нет другой пищи. Но суд также пояснил, что военное положение действительно только в течение ограниченного периода, то есть девяти месяцев, определенных режимом для организации свободных и честных выборов.

Судьи также постановили, что за высшими гражданскими судами будет оставлено право пересматривать су-

дебные решения, принятые военными судами. Если бы не было этого постановления относительно пересмотра дел гражданскими судами, тысячи людей, включая политических активистов и государственных служащих, были бы лишены возможности апелляции для установления правомочности их задержания. И хотя проходило много месяцев, прежде чем апелляции доходили до суда — не исключая и мою собственную, когда я была арестована, — в то время еще была по крайней мере какая-то надежда на пересмотр решения в гражданском суде.

В декабре 1977 года Высший суд освободил Халида Ахмеда, так как против него не было вообще никаких свидетельств и не было даже ордера на арест.

— Мы имели приказ свыше, — сказал армейский офицер.

Но так же, как власти игнорировали решения суда каждый раз, когда арестовывали отца, точно так же они поступили с Халидом. Через неделю после освобождения бывшего комиссара предупредил его друг, что его вновь собираются арестовать в соответствии с указом № 21 военного положения за злоупотребление правительственным автомобилем и за кондиционер. Опять кондиционер!

— Я умоляла его бежать, — со слезами на глазах рассказывала мне Азра.

В эту же ночь ее муж улетел в Лондон. Однако обвинение против него остается в силе, из-за чего ему приходится скрываться за границей. Азра одна воспитала двоих детей. Преследование этой семьи, как и многих других, лишь только начиналось в декабре 1977 года. Через две недели ситуация еще больше обострилась.

Слезоточивый газ. Крики. Бегущие люди. Острая боль в вывихнутом плече.

— Мама, где ты? Что с тобой? Мама!

16 декабря 1977 года. Годовщина капитуляции нашей армии в Индии. Лахор, стадион Каддафи. Мы с матерью решили сходить на крикетный матч, чтобы хоть немного отвлечься от процесса. У нас были билеты на места для женщин, но, когда мы приехали, почти все входы были закрыты, кроме одного, в который мы и вошли. Как только нас увидели, публика на стадионе сразу же начала аплодировать и приветствовать нас. И вдруг игроки убежали с поля. На месте крикетных команд в три ряда стояли на коленях полицейские.

Ш-ш-ш! Что-то тяжелое со свистом проносится перед самыми лицами.

— Газ! Слезоточивый газ! — раздаются крики вокруг меня.

Люди в панике рвутся к закрытым воротам. Я не могу дышать, ничего не вижу. Я начинаю задыхаться в ядовитых облаках, клубящихся вокруг. Интересно, легкие могут загореться? А что с плечом? Я почти падаю от удара. В дыму я вижу лишь полицейских, дубинками заставляющих людей ложиться на землю.

— Мамочка! — зову я. — Мамочка!

Наконец я нахожу ее. Она стоит, согнувшись над металлическими перилами. На мой голос она поднимает голову. Из глубокой раны на голове течет кровь.

— В больницу! Мать надо отвезти в больницу, — кричу я.

— Нет, — тихо возражает мама. — Сначала мы должны увидеть администратора военного положения.

Кровь стекает по ее лицу, бежит струйками по одежде. Мы пробираемся через толпу и находим машину.

— Отвезите нас в дом администратора военного положения, — просит мама.

Солдаты службы безопасности настолько поражены, увидев нас, что разрешают нам въехать в ворота. Когда мать выходит из автомобиля, вслед за нами подъезжает джип генерала.

— Помните ли вы, какой сегодня день, генерал? — спрашивает она, стоя перед Икбалом, которого Зия назначил администратором военного положения Пенджаба. — В этот день вы сдались индийской армии в Дакке, а сегодня вы опозорились опять, пролив мою кровь. Вам незнакомо слово «честь», генерал, вы знаете только «бесчестие».

Он ошеломленно смотрит на нее. С большим достоинством мать поворачивается и садится в машину. Мы едем прямо в больницу, где ей накладывают на рану двенадцать швов.

К вечеру того же дня меня арестовывают дома. Мать арестовали в больнице.

На следующий день Зия, выступая по телевидению, поздравляет администрацию Пенджаба с успешным урегулированием инцидента. А отца удаляют из зала суда только за то, что он произнес «черт побери», пытаясь выяснить, что с нами случилось.

— Уведите его, пусть он опомнится, — говорит главный судья.

Назавтра отец подает протест по поводу несправедливого решения суда.

Протест отклонен.

Мать находилась в больнице, я — под замком в пустом доме в Лахоре. Только тогда я наконец-то поняла, до чего может дойти Зия, чтобы сокрушить наш дух. Я не сомневалась, что нападение во время крикетного матча было подготовлено и продумано заранее. Полиция сама закрыла все входы, чтобы заставить нас пройти в подготовленное заграждение, где потом использовали газ и бамбуковые дубинки. Происшествие это имело чудовищное значение. До этого события женщины никогда не были жертвами наказания или преследований. Мы вступали в новый период, подобного которому Пакистан никогда не переживал. Эти дни, проведенные взаперти в нашем лахорском доме среди мимеографов и пишущих машинок, были для меня очень тяжелыми.

Через неделю мама присоединилась ко мне, с ее головы еще не сняты швы. Что же происходит, спрашивали мы друг друга в недоумении. Неужели то, что мы видим, происходит на самом деле? Мы не были готовы к тому, чтобы принять и понять все это. Но я уверена, что именно это помогло нам выдержать. Каждое новое зверство вызывало очередной шок и очередной взрыв решимости. Гнев толкал меня к неповиновению и к самым смелым поступкам. Они думают, что могут унижить меня? Ну что ж, попробуйте, думала я.

Первый Новый год после моего возвращения в Пакистан я провела в заключении. Всего лишь год назад я приезжала из Оксфорда в Аль-Муртазу и там встречалась с Зией на дне рождения отца. Теперь отец проводил свой день рождения в тюрьме. А мы с мамой отсчитывали каждый день нашего пятнадцатидневного заключения. Мама проводила время за пасьянсом, иногда включала телевизор.

Пришел и ушел день, когда я должна была посетить отца, это очень огорчило меня. У меня всегда поднималось настроение при встрече с ним, я получала от него инструкции, написанные для меня на желтых листках его личного блокнота, который был у него с собой в камере. Тогда я думала, что у него очень плохая камера, где пол был грязный, а воду подавали с переборами. Тогда я еще не представляла, что его ждут гораздо худшие камеры.

Тюремное начальство поместило его рядом с камерой, где находились умственно неполноценные заключенные,

которые кричали, хохотали и выли целыми ночами. Власти также позаботились о том, чтобы он слышал крики других политических заключенных, когда их пороли в тюремном дворе. Иногда они даже подносили им ко рту микрофоны. Но режим не смог сломить его.

— Мой дух тверд, — уверял меня отец во время одного из моих посещений. — Я не из того дерева, которое легко горит.

Пламя гнева вспыхнуло за пределами тюрьмы, когда в начале января 1977 года режим пошел на первые массовые убийства. Еще до того, как нас с мамой арестовали, ПНП призвала отметить 5 января, день рождения моего отца, как День демократии. Рабочие текстильной фабрики в Мултане, объявившие забастовку из-за того, что владельцы предприятия лишили их премии, которую они до этого получали, собрались в этот день провести демонстрацию. Но им это не удалось.

За трое суток до Дня демократии военные закрыли фабричные ворота, разместились на крыше и обстреляли рабочих, оказавшихся внизу в ловушке. Это была настоящая бойня, одна из самых страшных, которые видел субконтинент. Как нам говорили, погибли сотни человек. А сколько точно — не знает никто. Одни говорят — двести, другие — триста. В течение многих дней трупы разлагались в полях, в сточных канавах. Таким образом Зия предупредил рабочий класс, который составлял массовую опору ПНП: либо успокойтесь, либо вас перебьют!

День демократии оказался самым страшным днем. По всей стране были арестованы тысячи сторонников ПНП. Жестокости и зверства охватили страну.

Порке подлежал каждый, кто осмеливался сказать: «Да здравствует Бхутто!» или «Да здравствует демократия!». Порке подлежал каждый, кто показывался с флагом ПНП. Наказание осуществлялось молниеносно, зачастую в течение часа после вынесения приговора, чтобы опередить подачу апелляций, которые тогда еще рассматривались в гражданских судах. В тюрьме Кот-Лакхпат заключенных буквально распинали на специальных козлах для порки. Вызывали врача, он следил за пульсом жертвы, и прекращали порку только на пороге смерти. Часто несчастных приводили в чувство нюхательными солями, чтобы они полностью получили назначенное количество ударов — обычно от десяти до пятнадцати.

И за пределами тюрьмы публичные порки становились все более частым явлением. Скорый суд и наказание осуществлялись передвижными военными судами. Приговор выносил один-единственный чиновник, который, обходя базары, решал, обсчитывают ли или обвешивают продавцы покупателей, хорошего ли качества товары. В Суккуре такой чиновник потребовал, чтобы наказали одного человека, любого, все равно кого.

— Нам надо кого-нибудь подвергнуть порке, — объяснил он.

Владельцы лавочек не знали, как выйти из положения, и наконец направили этого чиновника к тому, кого подозревали в торговле сахаром на черном рынке. Хотя такое «преступление» совершал на базаре почти каждый торговец, этот человек был немедленно публично выпорот.

Моя прошлая жизнь не подготовила меня к такому варварству. Вся структура общественной жизни, какой я ее знала в Америке и Англии, которая существовала в Пакистане во время действия конституции 1973 года, исчезала на глазах.

В день окончания срока нашего заключения ворота открылись, но не для того, чтобы выпустить нас, а чтобы впустить мирового судью. Вместо освобождения он вручил нам ордер о нашем задержании еще на пятнадцать дней. При гражданском правительстве моего отца ордера на предварительное заключение выдавались очень ограничено. Никто не мог быть задержан более чем на три месяца в год, причем не на три месяца подряд, а на этот срок в общей сложности. Жалобы рассматривались судами в течение двадцати четырех часов. Сейчас же рождалась новая и страшная история Пакистана.

Освобождены. Задержаны. Высланы. Задержаны. В течение всего процесса над моим отцом режим чинил произвол и злоупотреблял властью, то и дело задерживая и освобождая нас с матерью, чтобы мы полностью потеряли равновесие и были лишены возможности строить какие-то планы. В первые несколько месяцев 1978 года меня задерживали несколько раз. Казалось, даже власти не знали толком, в заключении я или на свободе.

В середине января мы с матерью были освобождены из нашего заточения в Лахоре. Я немедленно полетела в Карачи, где мне приказали явиться в налоговое управление. Что же мне предъявили в качестве обвинения? Я должна была составить список имущества и долгов моего деда, который умер, когда мне было четыре года. Я даже не

считалась его наследницей и ни по какому закону — гражданскому или военному — не обязана была отвечать на вопросы, касающиеся его имущественных дел. Но для властей это ничего не значило. В случае отказа подчиниться, говорилось в уведомлении, будет принято решение без учета моих интересов. Я приехала на Клифтон-Роуд, 70 в полночь.

Бэнг! Бэнг! Я выскочила из постели в 2 часа ночи.

— Кто там? — выкрикнула я в панике, которая почти не покидала меня с того момента, как командос ворвались в мою комнату четыре месяца назад.

— Полиция окружила дом, — крикнул мне Дост Мухаммед.

Я оделась и спустилась вниз.

— Мы заказали вам билет на семичасовой рейс в Лахор, — объяснил офицер. — Вас высылают из провинции Синд.

— Почему? — спросила я. — Я только что прилетела сюда, чтобы ответить на обвинения, которые власти предъявили нам.

— Генерал Зия хочет пригласить британского премьер-министра Каллагана на крикетный матч, — сообщил офицер.

На этот раз я просто потеряла дар речи.

— Какое отношение я имею к этому? Я даже не знала, что состоится крикетный матч.

— Главный администратор военного положения не хочет неприятностей. Вдруг вы решите пойти на матч, поэтому он приказал выслать вас, — сказал офицер. В 6 часов утра меня под стражей привезли в аэропорт и посадили в самолет на Лахор. Почему меня нельзя было продержать взаперти в этот день в Карачи?

Через два дня, когда я обедала у друзей в Лахоре, полиция окружила их дом.

— Вы задержаны на пять дней, — информировал меня офицер.

— Но за что? — опять удивилась я.

— Сегодня годовщина смерти Дата-сахиба, — сказал офицер. Это я и сама знала прекрасно, так как Дата-сахиб — один из наших самых почитаемых святых. — Вдруг вы решите пойти к его *мазару*.

И опять я в заточении вместе с матерью. Она раскладывает пасьянс, я меряю шагами комнату. Почту нам не доставляют. Телефон отключен. Когда в начале февраля меня выпустили, я сразу же помчалась на свидание с

отцом. Из-за всех этих наших арестов я пропустила три драгоценных свидания с ним. Но я не пропустила ни одного судебного заседания.

Хотя главный судья уверял мировую прессу, что процесс состоится «при свете дня», 25 января, как только отец начал давать показания, двери суда закрылись для всех наблюдателей. Весь мир пригласили послушать обвинительную речь. Но никого не допустили на выступление защиты. Возмущенный предвзятостью суда, отец уже отозвал своих адвокатов. Теперь он вообще отказался от показаний и сидел, не проронив ни слова, в течение всего процесса. Главный судья, родом из Пенджаба, воспользовавшись тем, что судебное заседание закрытое, продемонстрировал свою расовую ненависть против синдхов, жителей южной провинции Пакистана, к которым принадлежит и мой отец. И отец, и руководство ПНП требовали пересмотра дела на основании предвзятого отношения судьи — но бесполезно.

Пока я помогала отцу в суде, мать объездила несколько городов Пенджаба, включая Касур, где она молилась на *мазаре* мусульманского святого Баба Булла Шаха.

— Я хочу, чтобы ты поехала в Синд, — сказал мне отец в тюрьме Кот-Лакхпат. — Вы с мамой посвящаете все свое время Пенджабу. Пусть активисты ПНП организуют вам поездку.

Собираясь из Карачи в Даркану под предлогом посещения могил предков, я была полна дурных предчувствий. Мама послала мне в Карачи записку с предостережением.

«Не оскорбляй и не критикуй Зию. Лучше остановись на таких вопросах, как повышение цен. Ты должна быть на свободе, чтобы нести флаг партии и руководить ею», — писала она из Лахора после возвращения из тайного путешествия в Мултан, куда она ездила, чтобы поддержать семьи рабочих, погибших в бойне на текстильной фабрике. Она назвала мне фамилии семей арестованных, которые я должна буду посетить, и назначила суммы денежной помощи этим семьям в зависимости от количества детей.

«Если рабочий один содержал семью, возьми его адрес, чтобы мы могли высылать им ежемесячно деньги до тех пор, пока его освободят». В конце она приписала: «Поезжай на “мерседесе”. Это сильная и надежная машина с хорошим акселератором. С любовью, твоя мама».

«Мусават» объявила о моем отъезде и назвала города, которые я собиралась посетить. И вот 14 февраля я

отправилась в свою первую поездку по Синду. Со мной были составитель речей, репортер и фотограф из «Мусават». В качестве компаньонки со мной поехала Бегам Сумро, руководительница женского крыла ПНП в Синде.

Тхатта, где Александр Великий останавливался со своими войсками на отдых. Хайдарабад, где улавливатели ветра на древних крышах направляют прохладный воздух по дымоходу в нижние помещения. Толпы народа окружают наш автомобиль по всему пути. Зия запретил публичные политические собрания, поэтому мы проводим наши встречи в стенах самых больших частных зданий, которые мы можем найти. Стоя на крыше то одного, то другого частного владения, я смотрю вниз на людей, тесно набившихся во двор.

— Братья мои, уважаемые старейшины! — надрываюсь я изо всех сил моих легких, так как микрофоны и громкоговорители запрещены режимом. — Я передаю вам *салам* — приветствия от председателя Зульфикара Али Бхутто. Преступление против него — это преступление против народа.

Тхерпаркар. Сангхар. Всюду, где возможно, я обращаюсь к ассоциациям адвокатов и пресс-клубам, не переставая напоминать о незаконности режима и несправедливости, которым подвергаются мой отец и ПНП.

Неожиданно на пути из Сангхара армейские грузовики окружили нашу машину. В таком сопровождении мы прибыли в дом, где нас заставили заночевать.

— На этом ваше путешествие закончено, — заявил нам местный судья.

— Где приказ об этом? — спросила я. — Я хочу увидеть его.

Приказа не было.

— Власти просто послали судью запугать нас, — сказал Махдум Халик, один из лидеров ПНП, путешествующий с нами. — Будем продолжать поездку.

На следующий день мы направились в Навабшах, где намечался самый многолюдный митинг. Но когда автомобиль выехал на дорогу, ведущую от Хайрпура к Навабшаху, оказалось, что шоссе перекрыто силами безопасности. На этот раз у них был письменный приказ.

18 февраля меня выслали из Навабшаха в Карачи и запретили выезжать из города. И еще раз я вынуждена была пропустить свидание с отцом, которое нам полагалось раз в две недели.

Март, 1978.

— Я узнал из источников, связанных с Зией, что Высший суд Лахора намерен приговорить Бхутто-сахиба к смертной казни, — сказал мне один журналист в Карачи. Я машинально передала новость моей матери в Лахор и руководителям ПНП в Синд и Карачи, хотя сама никак не хотела в это верить. Но признаков, подтверждающих это, становилось все больше.

В начале марта в Лахоре трое уголовников — не политических заключенных — были приговорены к публичной казни через повешение. Публичная казнь через повешение! Газеты и телевидение широко освещали эту новость. Казнь должна была происходить на городской площади, и это событие рекламировалось как театральная премьера. 200 тысяч человек явились свидетелями этого чудовищного зрелища — мужчины в черных капюшонах, качающиеся на виселице. Теперь я понимаю, что таким образом режим психологически готовил страну к вынесению смертного приговора отцу. Но тогда я восприняла это просто как исключительно зловеющий признак. Все, что я могла вспомнить, — это только предвыборную кампанию Асгар Хана год назад, во время которой он вопрошал: «Где мне повесить Бхутто — на Аттокском мосту или на фонарном столбе?»

Неумолимо надвигался срок решения суда. Все правительственные учреждения и банки охранялись солдатами в штатском. Бронированные автомобили, набитые солдатами, начали патрулировать Равальпинди. В Синде по улицам разъезжали грузовики с установленными на них пулеметами. Из-за боязни, что могут начаться беспорядки после объявления приговора отцу, правительство начало массовые облавы на ни в чем не повинных членов ПНП. В ордерах на арест говорилось: «Поскольку вы (вписать имя) подозреваетесь в подстрекательстве к беспорядкам при объявлении решения суда по делу Бхутто, вы подлежите задержанию...» Интересно, как власти могли знать, какой будет приговор, если, как заявлял Зия, суды независимы и судебный процесс проводится справедливо?

80 тысяч арестованных в Пенджабе, 30 тысяч в Северо-Западной Пограничной провинции, 60 тысяч — в Синде. Невероятные цифры! Было арестовано так много людей, что режиму пришлось организовать лагеря для арестованных по всему Пакистану. Ипподромы были превращены в тюрьмы под открытым небом, открытые площадки были

огорожены колючей проволокой, за которой патрулировали вооруженные солдаты, спортивные стадионы использовались как временные тюрьмы. Подвергались аресту даже женщины, иногда с маленькими детьми.

15 марта 1978 года. Рассказывает Кишвар Каюм Низами, жена бывшего члена провинциального правительства:

— Нас с мужем арестовали в час ночи. Полиция окружила дом. Нашему ребенку было всего несколько месяцев, поэтому я вынуждена была взять его с собой в тюрьму, куда нас везли на открытом военном грузовике. В тюрьме Кот-Лакхпат сказали, что у них не предусмотрены удобства для политических заключенных-женщин. В конце концов они заперли меня в маленькую кладовую вместе с шестью другими женщинами, среди которых были Рехана Сарвар, сестра одного из адвокатов мистера Бхутто, и Бегам Хаквани, президент пенджабской женской организации ПНП.

— На каком основании нас арестовали? — спросила полицейских Бегам Хаквани.

— Потому что вот-вот будет вынесено решение по делу Бхутто, — последовал ответ.

— Как вы можете знать, что решение будет вынесено не в пользу Бхутто?

Полицейский ничего не ответил.

Надзирательницы, грубо обыскавшие нас, забрали мои часы и обручальное кольцо. Когда меня освободили, они заявили, что эти вещи утеряны. В помещении не было туалета, только загородка из нескольких кирпичей в углу, не было кроватей. Но мы все равно не смогли бы спать. В полночь полиция начала порку политических заключенных во дворе тюрьмы. На спинах мужчин были намечены линии, указывающие, какое количество ударов плетью они должны получить. Человек, который порол их, профессиональный борец в набедренной повязке, весь намазанный жиром, разбежался, чтобы удар был сильнее. Рядом сидел армейский офицер и считал удары. Каждый раз наказанию подвергалось от двадцати до тридцати мужчин. Всю ночь мы слышали их крики.

— *Джйе Бхутто!* — кричали они каждый раз, когда кнут опускался на их спины. — *Да здравствует Бхутто!*

Я затыкала уши и молила Аллаха, чтобы моего мужа не было среди них. Он уже был подвергнут порке в сентябре 1977 года.

На второе утро нашего заключения полиция неожиданно освободила нас. Как только мы поспешили к воротам, нас

тут же арестовали вновь, на этот раз по обвинению в нарушении закона и порядка. Видимо, режим осознал, что наш арест, опережавший решение суда, выглядел не очень прилично. Мы вернулись в кладовую.

Мистер Бхутто, чью камеру мы могли видеть из нашей, узнал, что мы находимся в тюрьме, и попросил своего адвоката принести нам корзину фруктов.

— Подумать только, как Зия обращается с женщинами из порядочных семей! — было написано в приложенной записке.

Через две недели меня отправили под домашний арест, так как ребенок тяжело заболел в тюрьме, а у меня не было лекарств. Другие женщины смогли выйти на свободу только через месяц.

Ордер на мой арест появился через три дня после того, как они были арестованы, рано утром 18 марта. В 4.30 утра я услышала уже слишком знакомые слова: «К вам пришли полицейские». Я знала, зачем, но я не хотела знать. Я хотела бежать к матери, но она уже была в заключении в Лахоре. Я хотела бежать к отцу. Я хотела бежать куда угодно — к Самие, к адвокатам, к Миру или Шах Навазу, к Санни. Я не могла вынести этого одна. Я просто не могла. Аллах всемогущий, помоги всем нам, повторяла про себя я снова и снова, меряя шагами пустой дом.

Причитания начались ближе к вечеру. Я услышала, как они раздаются в кухне, в саду, у ворот дома на Клифтон-Роуд, 70. Мое сердце забилося так сильно, что я думала, оно разорвется. Вдруг настежь открылась входная дверь, и в холл ворвалась моя кухня Фахри. «Убийцы! — пронзительно кричала она, катаясь по полу от горя. — Убийцы!»

Судьи Зии признали моего отца виновным и приговорили его к смертной казни. Фахри, которая прорвалась через растерявшихся вооруженных охранников у ворот, через час вручили ордер об аресте. Она пробудет под арестом вместе со мной в течение недели. Я буду находиться под арестом три месяца.

Железные ворота, одни, потом другие. Между ними длинные замусоренные проходы. Полицейские надзирательницы обыскивают меня, ощупывая волосы, руки, грудь, плечи. Еще одни железные ворота. Затем три маленькие камеры с железными решетками вместо дверей.

— Розанчик, это ты?

Я вгляделась в глубь камеры, но ничего не увидела, ослепленная темнотой. Тюремные служащие открывают дверь, и я вхожу в камеру смертников, где находится мой отец. Сырость и зловоние. Солнечный свет никогда не проникал за эти толстые цементные стены. Койка, прикованная к полу массивными железными цепями, занимает половину тесной камеры. Первые двадцать четыре часа, что отец провел в этой камере, он был прикован цепями к кровати. На щиколотках до сих пор остались рубцы. Возле койки открытая дыра в полу, единственное гигиеническое удобство, предусмотренное для обреченных людей. В камере тошнотворная вонь.

— Папа!

Я обнимаю его, мои руки легко охватывают его тело. Он ужасно похудел. Когда глаза привыкают к полутьме, я вижу, что его тело покрыто укусами насекомых. В жаркой и сырой камере полно moskitov. Он весь в красных воспаленных волдырях.

В моем горле стоит комок. Я проглатываю его. Я не могу себе позволить плакать при нем. Но он улыбается. Улыбается!

— Как ты попала сюда? — спрашивает он.

— Я подала заявление в администрацию провинции, где сообщила, что была лишена еженедельных свиданий, положенных мне по тюремным правилам как члену семьи. Министр внутренних дел дал мне разрешение повидаться с тобой.

Я рассказываю ему, как меня привезли в тюрьму Кот-Лакхпат в сопровождении армейских грузовиков, джипов и автомобилей.

— Режим очень встревожен, — говорю я и рассказываю о волнениях, которые произошли неделю назад после объявления о вынесении ему смертного приговора, в результате чего в деревнях Синда был введен комендантский час. В деревушке поблизости от Ларканы, в которой всего-то 146 глиняных хижин, было арестовано 120 человек. Полиция арестовала и хозяина лавочки за то, что у него на стене рядом с фотографией кинозвезды висел плакат с изображением отца.

— Ты не представляешь себе, сколько стран обратились к Зие с просьбой помиловать тебя, — говорю я ему. — Я слышала все это по Би-би-си. Брежнев послал письмо, Хуа Гофэн тоже, ссылаясь на тесное сотрудничество Пакистана с Китаем, которое ты начал. Из Сирии обратился Асад, Анвар Садат из Каира, президент Ирака, правительство Са-

удовской Аравии. Индира Ганди. Сенатор Макговерн. Практически все руководители, кроме президента Картера. В каннадской палате общин единогласно была принята резолюция с обращением к режиму, в которой они просят смягчить наказание. 150 членов британского парламента требуют от своего правительства принять меры. Греция. Польша. «Эмнести интернэшнл». Генеральный секретарь ООН. Франция. Папа, Зия не может не посчитаться с этим.

— Эти новости ободряют, — говорит он. — Но от нас просьбы не будет.

— Как же так, папа, ты должен подать апелляцию, — я просто в шоке.

— В суд Зии? Весь процесс — сплошной фарс. Зачем продлевать его?

Пока мы говорим, он знаками показывает мне приблизиться. Тюремщики стоят за дверью камеры, подглядывают, подслушивают. Я чувствую, как он вкладывает мне в руку бумажку.

— Папа, но ты не должен сдаваться, — громко говорю я, чтобы отвлечь надзирателей.

— Аллах знает, что я невиновен, — отвечает отец. — Я подам апелляцию в Его высший суд в Судный день. А теперь иди. Наше время уже кончается. Уходи по собственной воле, а не тогда — когда они тебя заставят.

Я крепко обнимаю его.

— Смотри, чтобы бумага не попала в руки властей, а то они запретят посещения, — быстро шепчет он мне на ухо.

— До встречи, папа.

Меня обыскали на выходе из тюрьмы. Ничего не нашли. Потом повезли на свидание с мамой в Лахор и опять обыскали два раза — до и после свидания. Не нашли ничего. Иногда те, кто обыскивал, проявляя сочувствие, лишь соблюдали формальность. Но никогда не знаешь заранее. В аэропорту, когда меня отправляли обратно в Карачи, мне пришлось провести под стражей три часа в автомобиле, окруженном военными машинами.

Наконец, самолет был готов. Из окна автомобиля я видела, что все пассажиры уже на борту. Моторы включены. Зажглись сигнальные огни на взлетной полосе. Полицейские вытащили меня из машины и заставили бежать к трапу, один впереди, один сзади, оружие наготове. Вдруг я услышала потрескивание радиопередатчика. И внезапно они развернулись и потащили меня обратно к машине.

До сих пор у меня перед глазами стоит толстуха, которая, переваливаясь, подбоченясь, подошла ко мне на гудронированном шоссе. Я уже хорошо знала ее, эту женщину, которая работала в службе безопасности аэропорта. Казалось, именно она всегда была на дежурстве, когда я прилетала или улетала из Лахора. Она была настолько недружелюбна, что я думала, власти специально подстраивали так, чтобы именно она обыскивала меня. И с виду она была подлая, из той породы, что при обыске забирают часы и кольца и никогда не возвращают их. Она не гнушалась ничем при обыске. Она вытаскивала губную помаду из футляра, изучала каждую страницу моего дневника с назначенными делами. Она получала удовольствие от своей работы.

— Я не дам себя обыскивать этой женщине. Я не позволю! — закричала я, пятась назад от автомобиля под автоматы. — Меня обыскивали, когда я входила в тюрьму на свидание с отцом. Меня обыскивали, когда я выходила оттуда. Меня обыскивали, когда привезли на свидание с матерью и при выходе тоже. С меня уже достаточно обысков!

Сопровождающие меня военные автомобили подтянулись ближе и остановились вокруг нас. Еще больше оружия. Еще больше полиции.

— Вас следует обыскать еще раз, — настаивал полицейский офицер. — Иначе вы не попадете вовремя на самолет.

— А мне все равно! — Я уже визжала. — Мне нечего терять! Вы приговорили моего отца к смерти. Вы разбили голову моей матери. Вы отправили меня одну в Карачи, мать одну, без меня, в Лахор, бросили отца в камеру смертников. Мы не можем даже поговорить и утешить друг друга. Мне уже все равно, жить или умереть. Делайте, что хотите!

Я была почти в истерике. Что еще мне оставалось! Я просто потеряла голову. Женщина из службы безопасности не знала, что делать, напуганная такой вспышкой. Но если бы она обыскала меня, она наверняка нашла бы записку отца.

— Ладно, ладно, пропустите ее, — заговорили мужчины.

— Проходите, — сказал офицер.

Во время полета в Карачи я была в полном изнеможении. К тому же в первый раз заболело ухо. Тук. Тук.

Этот шум настолько раздражал меня, что я не могла спать, когда вернулась домой на Клифтон-Роуд, 70. Властям в конце концов пришлось пригласить ко мне врача, и он начал обследование.

Я прочитала листок бумаги, который дал отец. Там содержались советы, как бороться в суде против моего незаконного задержания. Я попыталась набросать речь для суда, но не смогла, так как чувствовала себя совсем плохо.

Животные. Странные вещи случились с животными, которые были в нашем доме. В тот день, когда был оглашен смертный приговор отцу, умер один из его пуделей. Он прекрасно чувствовал себя и вдруг внезапно умер. На следующий день умерла сучка, тоже без всяких видимых причин. У меня в доме на Клифтон-Роуд, 70 жила сиамская кошка. И она умерла на третий день.

У некоторых мусульман есть такое поверье, что, когда хозяину дома угрожает опасность, животные иногда принимают удар на себя и умирают вместо него. Больная, я лежала в доме и могла думать лишь о том, насколько же велика опасность, угрожающая отцу, если она убила уже не одного, а трех наших любимцев. Эта мысль никак не успокаивала. Каждое утро, включая в 6 часов Би-би-си, я молилась о том, чтобы сообщили, что Зия умер. Но он был жив.

Я возбудила протест против моего содержания под арестом на Клифтон-Роуд, 70, используя советы отца. Суд отложил слушание моего дела в апреле, а затем и в мае. Каждый раз я должна была заново подавать заявление о слушании дела. 14 июня мой адвокат преподнес мне лучший подарок на мой день рождения, о котором только можно было мечтать. Судья Фахруд-Дин в первом слушании по делу о превентивном задержании решил, что для этого нет оснований. Я была свободна. Наконец-то я смогла заняться своим здоровьем.

Первая операция на ухе и пазухах носа была сделана в конце июня в Карачи в больнице Мид-Ист. Когда я пришла в себя после анестезии, страх, который я подавляла в себе, вырвался наружу.

— Они убивают моего отца! Они убивают моего отца! — услышала я собственный крик. В носу у меня были тампоны, я не могла дышать, но все равно я почувствовала себя гораздо спокойнее, когда маме, которая все еще была в заключении в Лахоре, наконец-то разрешили навестить меня, правда, в сопровождении полиции.

Каким же грустным оказался мир, когда я поправилась! Отделение нашей газеты «Мусават» в Карачи было закрыто властями в апреле, типография конфискована. И редактор, и владелец типографии арестованы за публикацию «предосудительных материалов» — термин, который использовали власти, когда дело касалось моего отца. В знак протеста объявили забастовку журналисты из других газет. Из них 90 человек были арестованы, четверо приговорены к наказанию плетьюми, среди них главный редактор «Пакистан таймс», человек, страдающий физическими недостатками, почти калека.

Наконец-то обратило свое внимание на наше дело международное сообщество. К лету 1978 года и редактор «Мусават», и владелец типографии были среди тех пяти сотен политических заключенных, чьими делами занялась «Эмнести интернэшнл», международная гуманитарная организация, которая контролирует статус политических узников. «Эмнести» также провела независимое, без всякой помощи от режима расследование дел еще 32 заключенных. Хотя Зия обещал сотрудничество двум посланцам «Эмнести», которые в начале года приехали проверять информацию, режим никак не прореагировал на их отчет, вышедший в марте.

Я сама встречалась с представителями «Эмнести» во время их визита в январе. Я сообщила им, что мы обеспокоены нарушением основных прав человека при военном режиме Зии, передачей в ведение военных судов дел гражданских и политических заключенных, применяемыми «жестокими наказаниями», включая отсечение левой руки у «правши» и правой руки у «левши», уличенных в воровстве. Я очень хотела, чтобы они поняли всю несправедливость суда над моим отцом. Я также рассказала им о тех нечеловеческих условиях, в которых он содержится в одиночной камере. Естественно, они захотели удостовериться в этом и попытались получить разрешение на посещение отца в тюрьме. Им было отказано.

28 апреля, 1978. Тюрьма Кот-Лакхпат.

Говорит доктор Зафар Ниязи, зубной врач отца:

— Когда я посетил мистера Бхутто в тюрьме Кот-Лакхпат в апреле, я обнаружил, что состояние его десен резко ухудшается. Санитарные условия и питание в тюрьме не отвечали элементарным требованиям. Ткани десен были воспалены и болезненны, но там не оказалось необходимых медикаментов и инструментов для проведения лечения.

Вообще-то, я не уверен, что лечение помогло бы в этих нечеловеческих условиях. После посещения я подал властям служебную записку, сообщая, что я как зубной врач не смогу оказать м-ру Бхутто эффективную помощь, если условия его заключения не будут улучшены. Я знал, что режим отрицательно отнесется к записке. Среди моих пациентов много иностранных дипломатов, и, я уверен, власти боялись, что я могу поделиться с ними своими впечатлениями. В порядке предосторожности я отдал копию жене. «Если военные арестуют меня, передай это иностранной прессе», — сказал я ей. Полиция пришла за мной через два дня.

Преследование доктора Ниязи и его семьи только началось. Его арестовывали дважды, причем один раз в тот момент, когда он лечил в своей клинике пациента, находившегося под анестезией.

— Дайте мне хотя бы час, чтобы закончить операцию, — попросил он полицейских.

Но они отказали ему, и пациент остался в кресле. Во время первого ареста полиция ворвалась в его дом в два часа ночи, перевернула постели, вытащила одежду из шкафов, стараясь найти хоть какую-нибудь зацепку для ареста. Все, что они нашли предосудительного, — это полбутылки вина, оставленной американским коллегой доктора Ниязи, врачом-ортодонтом, который принимал в клинике Ниязи раз в три месяца. Доктора Ниязи обвинили в том, что он держит в доме алкогольные напитки.

Доктора Ниязи, который не был членом ПНП и вообще был далек от политики, посадили в тюрьму на три месяца по обвинению в хранении в доме алкогольных напитков. К тому времени, как его освободили, отца перевели из тюрьмы Кот-Лакхпат в другую камеру смертников в Центральной тюрьме Равальпинди. Доктор Ниязи немедленно обратился за разрешением посетить отца. Ему было отказано.

21 июня, 1978. Центральная тюрьма Равальпинди. Мой 25-й день рождения.

Я сижу в маленькой комнате гостиницы «Флэшменз» в Равальпинди, собираясь на свидание с отцом. Я все время смотрю на часы. Где мама? Адвокаты получили разрешение суда для меня и матери на посещение отца по случаю моего дня рождения. Но уже полдень, я жду с 9 часов утра. Полиция должна переправить маму самолетом из Лахора. И опять они где-то задерживаются.

Я очень беспокоюсь о матери. У нее страшные головные боли, которые доводят ее до полного изнеможения. Напряжение сильно изматывает ее, и вдобавок у нее понижается давление. Дважды, когда мы летели из Лахора на свидание с отцом в Равальпинди, она теряла сознание. Адвокаты подали властям прошение о ее содержании в Исламабаде на таком расстоянии от тюрьмы, которое можно проехать на машине, но ее все еще держат в Лахоре. И опять она в одиночестве, компанию ей составляет лишь котенок, которого я незаметно пронесла для нее в кармане. Мама говорит, что Чу-Чу понимает ее настроение, успокаивает ее. Котенок кладет лапу на мамину руку, когда она раскладывает пасьянс.

Я разглаживаю на себе *шальвар-камиз*. Я хочу выглядеть нарядной перед родителями в день своего рождения, показать им, что не падаю духом. Час дня. Два часа дня. Это один из излюбленных трюков властей. Я не могу припомнить, сколько раз за время моего собственного задержания меня привозили на свидание к отцу в назначенное время, зато помню, как ждала час за часом без всяких известий. Власти знают, что эти визиты раз в две недели — единственное, что дает мне силы жить. Поэтому они либо оттягивают свидания, так что мне остается провести с ним лишь полчаса, либо совсем не приходят за мной. Почему они не приходят? Как могут они нарушать решение суда?

3 часа дня. 3.30. В соответствии с тюремными правилами все посетители должны покинуть тюрьму к заходу солнца. Я вспоминаю свой последний день рождения. Мне кажется, со времени вечеринки на оксфордских лужайках прошло больше десяти лет. Теперь мне не верится, что все это было на самом деле.

4 часа. Сообщают, что мать наконец привезли из аэропорта.

— С днем рождения, Розанчик, — обнимает она меня, когда мы встречаемся у входа в тюрьму. Вместе мы идем к отцовской камере.

— Тебе повезло, ты родилась в самый длинный день года, Розанчик, — говорит отец, когда мы приходим к нему. — Даже власти не смогут заставить солнце сесть раньше в день твоего рождения.

Его перевели в другую, такую же темную камеру во внутреннем дворе тюрьмы. По всему двору расставлены армейские палатки. Военная охрана стоит у закрытых на засовы ворот. Гражданский суд — это просто фарс. На

самом деле это настоящая военная операция. Мы находимся в военном сторожевом охранении.

Размер его мрачной, сырой камеры всего шесть на девять футов. На зарешеченной двери нет марлевой занавески, как в комнатах стражи. В камере еще темнее от мух и москитов. К потолку прилипла спящая летучая мышь, бесцветные ящерицы носятся вверх-вниз по стенам.

Мы смотрим на голую металлическую койку.

— Разве они не отдали тебе матрас, который я послала две недели назад? — спрашивает мать.

— Нет, — отвечает отец. На его спине синяки и ссадины оттого, что он спит на скудном тюремном белье без матраса. Два раза он тяжело переболел гриппом, и вдобавок у него очень плохо с желудком из-за сырой воды. Три раза его рвало кровью, кровь шла и из носа.

Хотя и невозможно в это поверить, но он вполне бодр, правда, очень истощен. Но мне он всегда кажется прекрасным. Возможно, я просто не хочу видеть ничего другого.

— Я хочу, чтобы на время *Ид* ты поехала в Ларкану и помолилась на могилах предков, — говорит он.

— Но, папа, тогда мне придется пропустить следующее свидание с тобой, — протестую я.

— Твоя мать все еще под арестом. Некому это сделать, кроме тебя.

Я глотаю комок в горле. Я никогда не была на нашем семейном кладбище во время *Ид*, никогда не принимала традиционных визитов от деревенских жителей и членов семьи в нашем доме близ Наудеро. Эти обязанности в семье всегда исполняли мужчины; мои братья сопровождали отца, если конец рамазана совпадал со школьными каникулами. Холодок одиночества заставил меня вздрогнуть. Я надеялась, что вскоре отец будет на свободе.

— Сходи и помолись к Лал Шахбаз Каландеру, — убеждает меня отец. — Я так и не попал туда в прошлый *Ид*.

Лал Шахбаз Каландер. Один из наших самых почитаемых святых. Когда мой отец был маленьким, он тяжело заболел и чуть не умер, и моя бабушка ездила в это святое место помолиться за сына. Услышит ли Аллах молитвы дочери за того же самого человека?

Этот драгоценный час мы проводим вместе в тюремном дворе. Мы разговариваем, так близко наклоняясь друг к другу, что трое тюремщиков, приставленных к нам, ничего

не слышат. Но на этот раз они относятся с сочувствием и не торопят.

— Тебе теперь уже исполнилось двадцать пять лет, и ты можешь выставить свою кандидатуру. Пожалуй, Зия никогда теперь не разрешит выборы, — шутит отец.

— Ох, папа, — говорю я.

Мы смеемся. Как нам это удастся? Где-то в глубине тюрьмы находится виселица палача, в тени которой мы сейчас живем. По словам отца, военные пытаются спровоцировать его на вспышку гнева. Каждую ночь солдаты забираются на крышу его камеры и топают тяжелыми ботинками. То же самое проделывали с Муджибом ур-Рахманом, когда во время гражданской войны в Бангладеш он сидел в тюрьме. Рассчитывают на то, что заключенный не сможет сдержаться, начнет ругаться с охраной и под этим предлогом какой-нибудь раздраженный солдат не выдержит и пристрелит его. Но отец знаком с подобными трюками и вместо этого считает это неудобство элементом своей юридической защиты.

Когда я возвращаюсь во «Флэшменз», за мной следует уже знакомый конвой, состоящий из двух или трех военных машин, который иногда разрастается до семи, восьми, иногда десяти разных видов военного транспорта. Люди на улицах смотрят на мое сопровождение с изумлением. Некоторые смотрят с сочувствием. Другие опускают глаза, как бы не желая верить тому, что происходит.

Жуткое молчание окутывает город, всю страну. Весь народ напряженно ждет. Говорят, арестовано более 100 тысяч человек.

— Зия не позволит вынести приговор против премьер-министра. Это невозможно, — шепчутся люди между собой.

Главная тема всех разговоров — процесс над отцом, смертный приговор, апелляция в Верховный суд.

Несмотря на возражение отца, мы подали апелляцию в Верховный суд Пакистана в Равальпинди. «Я обязан считаться с мнением моей жены и дочери не только из-за наших родственных отношений, но и по более уважительной причине», — написал отец Яхья Бахтияру, бывшему генеральному прокурору Пакистана, руководителю группы юристов, защищавших отца на суде. «Обе проявили себя как героические и доблестные борцы в это опасное время. Они имеют собственное мнение и политическую оценку моего решения».

Суд начал слушание дела в мае. Обычно обвиняемому дается месяц на подачу апелляции в Верховный суд, отцу же была отведена для этого одна неделя. Адвокаты отца остановились в гостинице «Флэшменз», где мы организовали офис, чтобы быть рядом и следить за судебным процессом. В работе нам помогали Ясмينا Ниязи, подросток, дочь доктора Ниязи, которая следила за расписанием всех моих встреч, и Амина Пирача, осуществлявшая связь между группой адвокатов и иностранными журналистами. И моя давняя подруга по Оксфорду, Виктория Шофилд, сменившая меня на посту президента клуба, приехала в Пакистан помогать мне.

Иногда по утрам мне приходилось заставлять себя вставать. Быстро. Встать. Одеться. Смело встретить день. Новые обвинения, которые надо опровергнуть. Увидеться с теми немногими партийными активистами, которые еще на свободе. Дать интервью представителям прессы, собравшимся в Равальпинди. Пресса, контролируемая властями, сообщала только об обвинениях, выдвинутых против отца. Лишь «Мусават» в Лахоре, еще не запрещенная, хотя ее отделение в Карачи уже было закрыто, и иностранная пресса были нашей единственной надеждой на получение правдивой информации. За это время лица корреспондента «Гардиан» Питера Низванда и Брюса Лаудона из «Дейли телеграф» стали знакомыми и близкими.

В конце июля власти выпустили первую часть «Белой книги», в которой на этот раз подвергалось критике проведение выборов в марте 1977 года. В отеле «Флэшменз» мы были заняты составлением ответа на ложные обвинения против отца, который он собирался представить в Верховный суд в свою защиту. Каждый день мы с Викторией расшифровывали странички, написанные отцовской рукой, которые адвокаты приносили нам из Центральной тюрьмы Равальпинди. Листки были исписаны неровным почерком отца с обеих сторон, их было очень трудно читать. Но насколько же труднее ему было их писать — во время поста по случаю рамазана в раскаленной рт августовской жары камере смертников. Адвокаты уносили от нас напечатанные странички отцу, он правил их и передавал обратно для перепечатки. Окончательный вариант ответа под кодовым названием «Реджи» мы послали в нелегальную типографию в Лахор.

Но прежде чем этот документ попал в Верховный суд, напечатанные экземпляры были арестованы. Чтобы представить материалы в Верховный суд и распространить их

среди иностранных корреспондентов, активисты ПНП в течение всей ночи снимали копии с трехсот страниц документа. Место, где мы хранили ксерокс, должно было оставаться в строгой тайне, так же как и имена людей, которые нам помогали.

Кольцо вокруг отеля «Флэшменз» сжималось. Однажды ночью полиция угрожающе расположилась вокруг гостиницы, арестовала одного из наших помощников, и моментально ему был вынесен приговор в военном суде. Мы работали под постоянной угрозой, не зная, что с нами случится через минуту.

Когда наш ответ в конце концов был подан в Верховный суд, главный судья запретил публиковать его. Однако к этому времени несколько экземпляров уже оказались за границей. Позднее в Индии наш ответ был выпущен отдельным изданием под названием «Если я буду убит», которое стало бестселлером.

Постоянно ходили слухи, что решение Верховного суда могут объявить в любую минуту. В начале слушания главный судья Анвар уль-Хак объявил, что рассмотрение апелляции будет завершено в ближайшее время, и адвокаты отца стали смотреть на дело с большим оптимизмом. Из девяти судей, участвовавших в процессе, пятеро задавали вопросы и обсуждали свидетельские показания в такой манере, что казалось, будто они опровергают решение Верховного суда. Но вдруг в июне Анвар уль-Хак объявил о перерыве в работе суда и уехал на конференцию в Джакарту. Мы поняли, что срок апелляции продлен и отложен до тех пор, пока не попросят уйти в отставку судью, настроенного, совершенно очевидно, в пользу вынесения оправдательного приговора и единственного, кто имеет обширный опыт судейства дел по обвинению в убийстве. Несмотря на нашу просьбу, главный судья Анвар уль-Хак отказался позволить ему завершить процесс. Другой достаточно независимый судья был вынужден прекратить свое участие в суде в сентябре, так как кровоизлияние в глаз временно вывело его из строя — он чувствовал слабость и приступы головокружения. Его просьба прервать работу суда на короткий срок до его выздоровления также была отклонена. Теперь соотношение получалось не в нашу пользу — четверо против трех.

Главный судья Верховного суда был также предубежден, как и его предшественник в Высшем суде Лахора. Как и главный судья Высшего суда в Лахоре, с которым он был в очень дружеских отношениях, Анвар уль-Хак

был земляком Зии — из города Джалландар в Индии. И опять не была соблюдена даже видимость разделения исполнительной и судебной власти. Когда Зия в сентябре 1978 года отправился на паломничество в Мекку, Анвар уль-Хак был приведен к присяге в качестве исполняющего обязанности президента. Была даже проведена «горячая линия» из кабинета главного судьи в кабинет главного администратора военного положения.

Годами позже, когда я была в ссылке, от другого судьи Верховного суда, Сафдар Шаха, я узнала, насколько предубежден был Анвар уль-Хак. Во время разбора апелляции он отвел судью Шаха в сторону.

— Мы знаем, что Бхутто невиновен. Но его надо уничтожить, если мы хотим спасти Пакистан, — сказал он.

Сафдар Шах голосовал за честное оправдание моего отца и после этого сам подвергался преследованиям со стороны Анвара уль-Хака и властей, пока, наконец, был вынужден покинуть страну. Несмотря на это, во время слушаний в Верховном суде и Зия, и Анвар уль-Хак продолжали утверждать, что отцовская апелляция рассматривается независимым судом.

— Мы рассматриваем все свидетельства без предубеждения, — настаивал Анвар уль-Хак.

Что мы могли сделать? Власти держали под контролем суды, армию, прессу, радио и телевидение. В удобный для суда момент властями на четырех языках был издан еще один выпуск «Белой книги» и разослан в иностранные посольства. Этот выпуск был заполнен фальшивыми обвинениями против отца, нацеленными на полную его дискредитацию. В это же время обвинитель отца Ахмед Раза Касури отправился в турне по Европе и Америке. Он останавливался в дорогих отелях и проводил пресс-конференции, рассказывая о «справедливом суде» над моим отцом в Пакистане. Касури утверждал, что оплачивал все счета сам, но финансовые проверки, которым должен был подвергаться каждый член ПНП по законам военного режима, установленным Зией, не подтвердили его слов. Откуда же он взял деньги, если не от властей?

— Я хочу, чтобы ты поехала в Пограничную провинцию, — сказал мне отец в сентябре. — Мы должны поддерживать дух народа. Возьми с собой кепку, которую мне подарил Мао. Она в моей гардеробной на Клифтон-Роуд, 70. Надень ее на себя, когда будешь произносить

речь, а затем сними и положи на землю. Скажи людям: «Мой отец сказал, что его шапка всегда должна быть у ног народа».

Я внимательно слушала отца, но я очень беспокоилась о его здоровье. С каждым разом, когда я навещала его в тюрьме, он выглядел все более изможденным. Его десны приобрели темно-красный цвет, местами были воспалены и инфицированы. У него часто была высокая температура. Обычно мы с мамой брали с собой сэндвичи с цыплятами и пытались заставить его поесть. Мы заворачивали их во влажную салфетку, чтобы сохранить свежими и мягкими.

Но во время наших сентябрьских посещений еда мало волновала отца. Он был сосредоточен на том, чтобы дать советы относительно моих выступлений.

— Вопрос об автономии встанет опять как последствие военного режима, — сказал он. — Напомни народу, что через демократию я дал им веру в объединенный Пакистан. И только возврат к демократии может обеспечить целостность страны.

Когда я уходила, он казался озабоченным.

— Розанчик, я с ужасом думаю о том, что подвергаю тебя опасности. Если они поймут безнадежность своего положения, они могут опять арестовать тебя. Я борюсь с собой из-за этого с самого начала. Но когда я думаю о тысячах других людей, которых порют плетью и пытаются во имя нашего дела...

— Папа, не надо, — быстро ответила я. — Я знаю, что ты беспокоишься обо мне, как отец о дочери. Но ты для меня больше, чем отец. Ты для меня политический лидер, так же как и для многих других людей, которые страдают сейчас.

— Будь осторожнее, Розанчик, — требовал он. — Ты поедешь в районы, населенные племенами. Не забудь, насколько они консервативны. Иногда, когда ты произносишь речь, шарф спадает у тебя с головы. Не забывай поправлять его.

— Я буду осторожной, папа, — уверяла я.

— Удачи тебе, Розанчик, — отозвался он вслед мне.

Виктория поехала вместе со мной в Северо-Западную Пограничную провинцию, а также в районы, граничащие на западе с Афганистаном и на севере с Китаем, где живут племена. Вместе с нами поехала и Ясмин; это был храбрый поступок для девочки, воспитанной в традиционной пакистанской семье, в тепличных условиях. Она не провела ни одной ночи вне дома до тех пор, пока я не попросила ее

однажды вечером остаться со мной в «Флэшменз». Ее бабушка согласилась на это очень неохотно, и не потому, что опасалась каких-то действий со стороны властей, но потому, что в соответствии с традициями незамужняя девушка должна ночевать только дома.

Но, как и многие другие, семья Ниязи стала более радикальной из-за зверств режима. И хотя им это дорого обошлось, семья Ниязи настояла, чтобы я жила не в гостинице, а в их доме, в семейной обстановке. В отместку за это они постоянно подвергались преследованиям. Против них был возбужден налоговый иск. Лужайка перед домом была забита грузовиками из разведки, которые следовали за миссис Ниязи на базар и за ее детьми в школу. Разведка установила слежку за всеми пациентами доктора Ниязи, так что его практика сократилась до минимума.

С местными лидерами ПНП мы ездили в Мардан, когда-то центр Гандхарской буддистской цивилизации; в Абботабад, бывший британский горный курорт; Пешавар, столицу Северо-Западной Пограничной провинции, где стены из коричневого кирпича веками были заслоном против нашествий из Центральной Азии. Слова сами лились из моего сердца на каждой остановке здесь, в Пограничной провинции и автономных племенных районах, в которых люди живут по строгим патанским законам: месть за любое оскорбление и гостеприимство для любого гостя.

— Патаны известны своей приверженностью законам чести. Мой отец борется не только за свою честь, но и за честь своей родины, — обращалась я к толпам людей, чьи лица были так же изрезаны морщинами, как близкие склоны гор Хайберского перевала. Дальше наш путь лежал в Сват, с его урожайными рисовыми полями-террасами, и Кохат, где в воздухе чувствовался вкус соли — недалеко лежала гряда зубчатых соляных холмов. Я говорила на урду, так как не знала местного языка пушту, но патаны все равно слушали меня внимательно. У них не вызывало протеста даже то, что я — женщина, хотя именно в этих местах женщин особенно охраняют. Страдания страны, страдания моей семьи, всех нас заставили людей перешагнуть через барьер пола.

— *Раша, Раша, Беназир раша!* — кричали мне люди на пушту. — Добро пожаловать, добро пожаловать, Беназир!

— Браво! — поздравлял меня отец на пороге своей камеры, аплодируя мне, когда я ненадолго заехала в Равальпинди перед отъездом в Пенджаб.

В Лахоре, в доме одного партийного функционера, сотни активистов ПНП собрались послушать меня. Несмотря на расправы, учиненные властями, самоотверженность партийных активистов не ослабла.

— Это несправедливый суд. Мы будем протестовать, и пускай Зия посадит всех нас в тюрьмы, — говорили мне сторонники ПНП. — Зие придется арестовать нас всех до одного, чтобы вынести Бхутто смертный приговор.

В Саргодхе, где большим влиянием еще пользовались феодальные землевладельцы, толпы были огромными. Накал митингов возрастал, и власти быстро вмешались, чтобы воспрепятствовать этому. После моего отъезда из Саргодхи были арестованы многие сторонники ПНП, включая и моего хозяина, чье преступление состояло единственно в том, что он позволил мне воспользоваться своим домом. За это он был приговорен к строгому заключению сроком на год и к штрафу в размере 100 тысяч рупий, или 10 тысяч долларов.

— Власти раздражены до крайности. Давайте отложим поездку в Мултан. — Когда я вернулась в Лахор, в партии разгорелись споры.

— Надо использовать наступательный порыв, — говорили одни.

— Нас могут арестовать, несмотря на активизацию общественного мнения, — возражали другие.

— Если мы немного переждем сейчас, потом мы сможем посетить больше мест и обратиться к большему количеству людей, — продолжался спор.

Победила вторая точка зрения, и я на короткое время вернулась в Карачи, чтобы ответить на очередное обвинение властей.

Тем временем стремление народа к демократии достигало новых вершин. Один за другим люди в разных городах подвергали себя самосожжению, уничтожали себя, протестуя против уже очевидной судьбы своего лидера. Разглядывая их фотографии в «Мусават», я с ужасом обнаружила, что встречалась, по крайней мере, с двумя из них. Один, Азиз, несколько месяцев назад пришел ко мне в гостиницу «Флэшменз» с простой просьбой: сфотографироваться вместе с ним. Я согласилась, хотя была очень утомлена. Сейчас, когда прочитала, что он сжег себя заживо, я была рада, что сделала это маленькое усилие над собой.

Другой человек, христианин по имени Первез Якуб, был первым, кто совершил это. Вскоре после ареста отца

в сентябре 1977 года он пришел ко мне с отчаянным предложением — угнать авиалайнер и держать пассажиров заложниками до тех пор, пока власти не освободят отца.

— Вы не должны делать этого, — ответила я ему. — Могут погибнуть невинные люди. И тогда вы не будете отличаться от необузданных головорезов, которые нами управляют.

Мы должны бороться в соответствии со своими принципами и не опускаться до их методов.

Теперь он принес самую большую жертву — сжег себя в Лахоре.

Жизнь Первеза могла бы быть спасена, потому что толпа людей бросилась сбивать пламя, но прислужники военного режима не позволили никому подойти к нему. Они хотели, чтобы люди видели его агонию, чтобы испугались сторонники Бхутто, которые могли совершить то же самое. Но страсти накалились еще сильнее. В течение следующих нескольких недель еще пять человек сожгут себя, пытаясь спасти жизнь избранного ими премьер-министра.

— Режим заявляет, что партия заплатила тем, кто сжег себя, — писала я, готовясь к выступлению в Мултани. — Такова ли цена человеческой жизни? Нет. Эти храбрецы были идеалистами, их приверженность демократии и благородству оказалась сильнее их собственной боли. Мы преклоняемся перед ними.

Но эту речь я так и не произнесла.

4 октября, 1978. Аэропорт в Мултани.

Мы продолжаем нашу поездку по Пакистану. Вылет из Карачи в Мултан уже несколько раз задерживается. Мы с Ямин приезжаем в аэропорт в 7 часов утра. Вылет откладывается до полудня. Причину мы узнали, как только прибыли в Мултан. Вместо того, чтобы подрулить к аэровокзалу, самолет направляется в дальний конец взлетной полосы, где его немедленно окружают военные грузовики и джипы.

— Где находится мисс Беназир Бхутто, где ее место? — войдя в салон самолета, спрашивают двое в штатском.

Стюард указывает на меня.

— Пройдемте с нами, — говорят они.

— На каком основании?

— Не задавайте вопросов.

Когда мы с Ямин спускаемся по трапу, рядом с самолетом мы видим маленький аэроплан.

— Вы сядете в «Сессну», — говорит мне офицер. — А она останется здесь.

Я смотрю на Ясмин. Глаза ее кажутся огромными. Она останется здесь, молоденькая девочка, одна в чужом городе. Бог знает, что может с ней случиться. Собаки — так называли фундаменталисты и представители военной власти всех пакистанских женщин, нарушивших освященное веками затворничество и впервые покинувших свои дома, чтобы протестовать против ареста моего отца, моей матери, их собственных мужей и сыновей, а сейчас уже и дочерей. Ясмин тоже обеспокоена тем, что будет со мной. Вдвоем, конечно, легче.

— Я никуда не поеду без нее, — говорю я полицейским.

— Пройдите в самолет, — настаивают они, угрожающе сузив глаза.

— Нет, — я крепко держу Ясмин за руку.

Невозможно в это поверить, но они подходят ко мне, хватают и тащат меня через взлетную полосу.

— Держись крепче, Ясмин, — кричу я, она пытается цепляться за меня.

Пассажиры самолета, из которого нас только что вытащили, с ужасом смотрят, как нас волокут по бетонному покрытию. Мой *шалвар* рвется. Ноги ободраны, садины кровоточат. Ясмин кричит. Но мы не выпускаем друг друга.

Полицейское переговорное устройство хрипит у трапа «Сессны». Как всегда, они толком не знают, что делать, и запрашивают инструкции. Пока полиция занята этим, нас с Ясмин вталкивают в маленький трехместный самолет. Пилот сообщает полицейским, что, если он не взлетит немедленно, он не сможет приземлиться в темноте. Где приземлиться? Командующий войсками Мултана приходит в ярость, когда ему передают по радио слова пилота. Он дает указание полиции, чтобы мы вылетели немедленно. Но самолет все стоит на взлетной полосе.

— Я без воды и еды с семи утра, — спокойно говорит пилот полицейским. Они быстро приносят ему коробку с едой. Когда мы взлетаем, он поворачивается к нам — он слышал, как я просила воды и что командующий ответил на это, — и передает еду.

— Я уже поел. Я попросил это для вас, — говорит он.

Через пять часов мы опять приземляемся в Равальпинди. Я поняла, что это Равальпинди только потому, что узнала одного из полицейских, который пришел за мной в самолет. Ну что ж, по крайней мере, хотя бы Ясмин окажется дома. Когда я пробираюсь к выходу из самолета,

пилот поворачивается ко мне. Я вижу беспокойство на его добром лице, слезы, навернувшиеся на глаза.

— Я из Синда, — говорит он.

И это все. И этого достаточно.

Когда я приезжаю в дом, где мою мать держат уже десятый месяц, она счастлива видеть меня.

— Какой приятный сюрприз! — восклицает она, думая, что я приехала навестить ее. Но тут она замечает мою разорванную одежду, окровавленные ноги, и ее глаза расширяются.

— А-а, я понимаю, — говорит она упавшим голосом. — Теперь мы опять под арестом вдвоем.

Я пишу письмо в Америку, куда уехал Мир, чтобы обратиться в ООН с просьбой воздействовать на режим. «Папа просил передать тебе некоторые наставления. Имей в виду, он *советует*, а не критикует. Итак, следующее:

1. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Здешние газеты пишут, что ты живешь в Лондоне на широкую ногу. Папа знает, что это не так, но он просит меня напомнить, что в личной жизни ты должен быть крайне осмотрителен. Никаких походов в кино, никакой расточительности, иначе люди будут говорить, что ты наслаждаешься жизнью, в то время как твой отец томится в камере смертников.

2. Никаких интервью, и держись подальше от представителей Индии и Израиля. Твое интервью индийской газете неверно истолковано здесь».

И так далее. Мне нелегко писать это Миру: я знаю, как усердно он трудится. Он продал мою маленькую машину и потратил деньги, чтобы опубликовать в Лондоне ответ отца на выдвинутые против него обвинения. Он встречается с каждым членом любого иностранного правительства, который готов выслушать его, организует демонстрации протеста против смертного приговора отцу среди пакистанцев, живущих в Лондоне. Я бы очень хотела, чтобы мы боролись вместе, но ни Шах, ни Мир — оба бросили занятия, чтобы вести борьбу за границу, — не могут вернуться в Пакистан. Их тут же арестуют. Каждый из нас вынужден сражаться в одиночку.

18 декабря, 1978. Верховный суд, Равальпинди.

Зал суда набит людьми, страстно желающими хотя бы взглянуть на своего премьер-министра. После длительных судебных баталий адвокаты отца добились для него права

выступить перед Верховным судом в свою защиту. В зале заседаний было всего 100 мест. Все четыре дня, когда выступал отец, в это помещение втискивалось от 300 до 400 человек. Они сидели на радиаторах, толпились в проходах между рядами, громоздились на грудах юридических томов на пяточке перед креслами судей. Тысячи людей, которые не смогли попасть внутрь, ждали на улице, за ограждениями, чтобы увидеть, как привозят отца в полицейском грузовике в 9 утра и отправляют обратно в тюрьму в полдень.

Я страстно хотела быть там, но я находилась под арестом. Просьбу разрешить мне присутствовать на суде отклонили. Правда, в ноябре, через год после ареста, суд освободил мою мать, и она смогла поехать на суд. Урс, слуга отца, тоже достал пропуск в суд. Удалось пройти туда и миссис Ниязи, и Ясмине, и Виктории, и Амине. Позже Виктория напишет книгу о тяжелых испытаниях, которые перенес мой отец, озаглавленную «Бхутто: суд и казнь». Ее следовало бы назвать «Убийство по приговору суда».

Как рассказывала мне мама, отец с блеском произнес свою речь. В течение четырех дней, отведенных ему, он опровергал обвинение в соучастии в убийстве, указывая на неточности и противоречия «свидетелей» в лахорском процессе; обвинение в том, что он только считается мусульманином; обвинение в том, что он лично фальсифицировал результаты выборов.

— Я не в состоянии отвечать за каждого человека, за каждую мысль и идею, родившуюся в умах официальных или неофициальных лиц в нашей плодородной долине Инда, — сказал он.

Произнося свою импровизированную, неподготовленную речь, отец еще раз обрушил всю мощь своего интеллекта и ораторского искусства на онемевшую аудиторию.

— Каждый, кто сотворен из плоти, должен когда-нибудь покинуть этот мир. Я не хочу жизни только ради самой жизни, мне нужна справедливость, — сказал он. — Вопрос не в том, что я должен доказывать свою невиновность, вопрос в том, что обвинение стремится доказать то, что находится за пределами разумного. Я хочу, чтобы моя невиновность была доказана не ради человека по имени Зульфикар Али Бхутто. Я хочу, чтобы она была доказана по более высоким соображениям — чтобы продемонстрировать эту чудовищную несправедливость, которая затмевает дело Дрейфуса.

Если учесть условия, в которых находился мой отец, то его выступление становится еще более выдающимся. По ночам военные не давали ему спать. Он не видел солнца больше полугода, и в течение последних двадцати пяти дней ему не давали свежей воды. Мама сказала, что он выглядел бледным и слабым, но по мере того, как он произносил речь, он будто бы набирался сил.

— У меня кружится голова, — признался он ей в зале суда. — Я отвык от движения и от такого количества людей. Он оглядел плотную толпу. — Да, приятно видеть людей, — улыбаясь, сказал он.

Каждый раз, когда он входил или выходил из зала суда, люди вставали в знак уважения. Он настоял на том, чтобы появиться перед публикой так же, как всегда, — безукоризненно одетым, элегантным премьер-министром Пакистана. Урс привез ему с Клифтон-Роуд, 70 одежду, которую он попросил, и в первый день он был в безупречно сшитом костюме, в шелковой рубашке, цветном галстуке, с платочком в нагрудном кармане. Только повисшие брюки выдавали его худобу.

Сначала власти разрешили ему свободно войти в зал через центральный проход. Но когда они увидели, как люди тянутся, чтобы пожать ему руку, а он улыбкой и рукопожатиями отвечает на первое за целый год проявление добрых чувств, стражники тут же обступили его, загородив от народа. Последние три дня процесса он появлялся в сопровождении шести охранников из службы безопасности, которые окружали его плотным кольцом.

Слушание апелляции закончилось 23 декабря. Мы с матерью подали заявление с просьбой разрешить нам посетить отца 25 декабря, в день рождения основателя Пакистана Мохаммеда Али Джинны. Разрешения мы не получили. Не получили мы и свидания ни на Новый год, ни в его 51-й день рождения.

6 февраля 1979 года Верховный суд принял решение. Четырьмя голосами против трех решение о смертной казни было подтверждено.

Мы с матерью услышали это решение в 11 часов дня, вскоре после его объявления. Мы все-таки надеялись, что в суде произойдет чудо. Но четверо судей из Пенджаба, родины пакистанской военщины, — причем двое были назначены на эту должность исключительно для этого случая, и назначение это было утверждено режимом уже после объявления приговора — голосовали за то, чтобы утвердить решение нижестояще-

го суда, а трое старших судей из провинций, где живут меньшинства, голосовали за то, чтобы отклонить этот вердикт. Мне стало физически плохо, когда я осознала реальность смертного приговора отцу.

Мать собиралась на свое еженедельное свидание с отцом по вторникам, когда чиновники военной администрации приехали в арендованный нами дом с ордером на ее арест. Но она нарушила их планы. Не успели они понять, что происходит, как мать выбежала из двери и вскочила в свой автомобиль — быстрый «ягуар».

— Откройте ворота, — скомандовала она полицейским стражам, поставленным у нашего дома со времени моего ареста в мултанском аэропорту.

Еще не зная, что получен ордер на ее арест, они повиновались. На большой скорости она промчалась к Центральной тюрьме Равильпинди, обогнав преследовавшие ее армейские джипы. Тюремное начальство ожидало ее, поэтому ее впустили в тюрьму. Она миновала одни стальные ворота. Затем другие. Она пыталась обогнать приказ об аресте, который автоматически отменял разрешение на посещение отца. Она торопилась. Прямо перед ней был внутренний двор тюрьмы. Твердой походкой она прошла мимо армейских палаток и складов с оружием, окружающих территорию, где находился отец. Наконец, открылись последние ворота.

Отец был в своей камере смертников.

— Апелляция отклонена, — успела она сказать ему, прежде чем тюремщики и полиция догнали ее. Когда она вернулась в дом, лицо ее было на удивление спокойным.

— Я сделала это сама. Я не хотела доставить им подлое удовольствие сообщить твоему отцу о смертном приговоре.

Опять мы обе оказались под замком. И нам оставалась всего неделя на подачу апелляции.

В отеле «Флэшменз» адвокаты непрерывно работали над прошением о пересмотре дела. Они запросили четыре экземпляра решения Верховного суда, состоящего из 1500 страниц, 800 из которых было написано Анвар уль-Хаком. Получили они только один экземпляр. Отправили секретаря сделать фотокопии. В середине работы его арестовали, и владельца копировального аппарата тоже.

Каким-то образом защите удалось достать свой собственный копировальный аппарат и перевезти его во «Флэшменз». Это было очень рискованно. С начала года власти наложили ограничения на продажу по коммерческим каналам пишущих машинок и копировальных аппаратов,

чтобы это оборудование не использовалось ПНП или другими политическими организациями для распространения подпольной литературы. Само по себе использование пишущей машинки или ксерокса считалось «антигосударственной акцией», и любой торговец, продавший нам это оборудование, рисковал быть арестованным. Адвокаты продолжали работать.

Сидя взаперти с матерью в Исламабаде, я чувствовала, что попала в какой-то непрекращающийся ночной кошмар. После решения Верховного суда последовала новая волна арестов. Закрылись школы и университеты. Зия был решительно настроен на подавление любого беспорядка еще до того, как он начнется. Он быстро ликвидировал малейшие вспышки протеста, прежде чем они успевали распространиться.

Репрессии, проводимые военными властями, заставили людей затихнуть. Когда возрастает опасность, люди начинают бояться за свою жизнь. Они отстраняются от всего. Молчание — это безопасность. Они ищут убежища в апатии. Они не хотят ни с чем связываться, опасаясь, что могут тоже стать жертвами.

Но я так не могла. Я не могла отстраниться от того, что время неумолимо движется к смерти отца. Когда я смотрела в зеркало, я не узнавала себя. Мое лицо было воспалено и покрыто пятнами из-за сыпи, вызванной стрессом. Я так похудела, что подбородок, надбровные дуги и челюсти резко выступали на лице. Впалые щеки, туго обтянутые кожей.

Я пыталась соблюдать режим, делать упражнения, бегать на месте в течение пятнадцати минут каждое утро. Но я продолжала терять способность сосредоточиться на чем-то. Если бы только я могла спать. Но я не могла. Мама дала мне валиум. Я приняла два миллиграмма, но так и не заснула, в голове шумело.

— Попробуй принимать ативан, — предложила мама.

От него я начала плакать. Потом я попробовала могадон. Не помогло.

12 апреля, 1979. Полицейский лагерь Сихала.

Утром пришли чиновники с сообщением, что нас с мамой переводят в полицейский учебный лагерь в Сихале, расположенный в нескольких милях от отцовской тюрьмы в Равальпинди. Нас отвели в отдаленное здание на вершине голого холма, огороженное колючей проволокой. Для нас ничего не было подготовлено, в доме не было ни одеял,

ни еды. Ничего. Двое наших слуг из Аль-Муртазы, Ибрагим и Башир, были вынуждены каждый день отправляться в долгое путешествие за продуктами.

13 февраля 1979 года адвокаты закончили подготовку нашей апелляции в 5 часов утра — в день, когда она должна быть подана. Суд пообещал отцу отсрочку исполнения приговора на период рассмотрения апелляции. 24 февраля началось слушание в суде. В это же время в Пакистан еще раз хлынул поток обращений с призывом к милосердию от глав правительств всех стран мира. «С просьбами спасти собрата-политика обращаются ко мне политические деятели, но не так много людей, далеких от политики, обратились ко мне с просьбой о милосердии», — насмехался Зия, называя обращения от глав правительств «профсоюзной деятельностью».

Я приехала из Сихалы навестить отца в начале марта. Я не знаю, как он держался. С момента подтверждения смертного приговора он отказался от медицинской помощи и перестал принимать лекарства. Он перестал есть — не только из-за больных десен и зубов, но и в знак протеста против жестокого обращения. Его держали теперь взаперти в камере, не позволяя пользоваться туалетом, который тюремное начальство установило для него в соседней камере.

Как обычно, я с нетерпением ждала встречи, в этот раз в особенности, так как у меня был сюрприз для него. Перед тем, как мать арестовали в последний раз, она успела съездить в Карачи и привезла отцовскую собаку, Хэппи, чтобы мне было не так одиноко под арестом. Я очень любила Хэппи. Мы все его любили, пушистую белую дворняжку, которую сестра подарила отцу.

— Теперь сиди тихо, — прошептала я Хэппи, которого прятала под пальто, когда приехала в Центральную тюрьму Равальпинди.

На мое счастье, у первого заграждения, где происходит обыск, надзирателя не оказалось. Не было поблизости и начальника армейских подразделений, расположенных на территории тюрьмы, полковника Рафи, который всегда был рядом, наблюдая за каждым моим движением. Мы с Хэппи благополучно прошли ко второму заграждению. Опять же, к счастью, женщина, производившая обыск, не возражала против собачки.

— У нас нет указания при обыске искать собак, — сказала она сочувственно.

Я вошла за последнее заграждение.

— А теперь найди его, — приказала я, отпустив собачку.

Хэппи уткнулся носом в землю и понесся от камеры к камере. Я услышала, как он заливается лаем от возбуждения, найдя удивленного отца.

— Насколько собаки более верные, чем люди, — сказал отец, когда я догнала Хэппи.

Тюремное начальство было в ярости, узнав про собаку. Хэппи больше ни разу не разрешили навестить отца. Но я смогла хоть на какой-то момент напомнить отцу о том времени, когда мы жили все вместе: отец, мать, четверо детей под одной крышей, с кошками и собаками в саду.

В первых неделях марта наши адвокаты представили в суд горы материалов для обоснования пересмотра дела. Они были совершенно измучены этой нелегкой работой. Когда однажды в начале марта мы с мамой включили вечерние новости Би-би-си, мы услышали, что Гулям Али Мемон, член группы адвокатов, защищавших отца, один из наиболее уважаемых в Пакистане юристов, умер за своим столом в отеле «Флэшменз» от сердечного приступа. Говорят, что посреди диктовки он произнес: *«Аллах, Йа Аллах»*, и это было его последним юридическим протестом против решения, принятого большинством Верховного суда. Еще одна жертва военного режима. Мы выключили радио. Ну что тут можно сказать?

23 марта была годовщина того дня, когда основатель Пакистана Мохаммед Али Джинна призвал к созданию независимого мусульманского государства. В этот день Зия заявил, что выборы состоятся осенью. На следующий день было объявлено решение Верховного суда. Хотя апелляция была отклонена, Верховный суд единогласно рекомендовал смягчение наказания и сохранение жизни. Еще раз вспыхнула надежда. Теперь решение целиком было в руках Зии.

Семь дней. Всего семь дней для кого-то, для любого человека, который смог бы убедить Зию не отправлять моего отца на виселицу. У Зии были все основания, чтобы спасти его. Решение, при котором голоса разделились, причем так, как в этом случае, — четырёхтрем, никогда в Пакистане не считалось достаточным для вынесения смертного приговора. Ни одно исполнительное правительство за всю историю правосудия не отказалось принять единогласную рекомендацию самого высокого суда страны — смягчить приговор и отказаться от смертного наказания. И в истории всего субконтин-

нента не было случая, чтобы подсудимый был приговорен к смерти за организацию заговора с целью совершения убийства.

На Зию оказывали давление и из-за границы. Опять главы государств атаковали его посланиями. Премьер-министр Великобритании Каллаген уже в третий раз обращался к Зие с призывом к милосердию. Вновь обратилась Саудовская Аравия, оплот исламского фундаментализма. На этот раз даже президент Картер присоединился к просьбам. Но ответа от Зии не было. Судьбу отца отсчитывали уже минуты.

Дата исполнения приговора не была объявлена, что давало людям ложную надежду. Никто не хотел поверить в то, что мой отец знал всегда. Все предпочитали надеяться на единодушную рекомендацию суда и на обещания Зии мусульманским правительствам смягчить наказание и отменить смертный приговор. Зия дал понять, что прошение о помиловании от моего отца или от его ближайших родственников позволит ему, не ущемляя своего достоинства, отменить смертный приговор. Но отец, задолго до этого приняв неизбежность смерти, продолжал отказываться подать прошение.

— Невинный человек не будет просить помилования за преступление, которого он не совершал, — настаивал отец, запрещая и нам подавать прошение. Тем не менее его старшая сестра, моя тетушка из Хайдарабада, по собственной инициативе подала прошение у ворот дома Зии за час до истечения последнего срока апелляции. Но ответа от Зии мы так и не дождались.

Однако зловещих признаков становилось все больше. Из камеры смертников Центральной тюрьмы Равальпинди, где содержался отец, убрали даже то жалкое подобие мебели, которое там было, не исключая и койки. Ему пришлось спать на полу на своем свернутом в рулон постельном белье. Они отняли даже бритву, и у отца, обычно чисто выбритого, отросла седая щетина. Он был болен и очень слаб.

В Сихале я отбывала очередной срок заключения — еще пятнадцать дней, на основании того, что могу «прибегнуть к организации волнений как к последней попытке обеспечить освобождение отца, тем самым представляя серьезную угрозу миру и спокойствию и эффективному осуществлению военного положения».

Никто не знал, что случится дальше. Неужели Зия действительно решится повесить моего отца, несмотря на

рекомендации суда и осуждение всего мира? И если так, то когда? Ответ, трагичный по своей ясности, мы получили 3 апреля, когда нас с матерью повезли на последнее свидание.

Ясмин! Ясмин! Они убьют его сегодня ночью!

Амина! Ты слышишь меня? Сегодня ночью! Сегодня!

Адвокаты составили еще одно прошение. Амина полетела в Карачи, где вместе с одним из адвокатов отца, Хафизом Лакхо, попыталась подать его в суд. Регистратор отказался принять петицию. Он предложил им передать прошение судьям, но судьи тоже не приняли его. Один из судей просто скрылся через задние двери, чтобы не встречаться с ними. Амина и мистер Лакхо отправились домой к старшему судье и умоляли у ворот принять их. Судья отказался. С разбитым сердцем Амина улетела назад в Исламабад.

3 апреля, 1979.

Тик. Так. Войска военного режима оцепили наше семейное кладбище, отрезав все дороги в Гархи Худа Бахш. Тик. Так. Амина из аэропорта едет напрямик в дом доктора Ниязи, не в силах оставаться в одиночестве. Тик. Так.

— Сегодня ночью, — тихо повторяет доктор Ниязи в телефонную трубку. Ясмин и Амина молча лежат без сна в темном доме. Тик. Так.

Рано утром военный грузовик быстро выезжает из Центральной тюрьмы Равальпинди. Чуть позже Ясмин видит маленький самолет в воздухе над Исламабадом. Она уверяет себя, что он принадлежит какому-нибудь арабскому лидеру, который проник в тюрьму, похитил моего отца и теперь везет его в безопасное место. Но самолет, который она видит, везет домой, в Ларкану, тело моего отца.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ АЛЬ-МУРТАЗЫ: ДЕМОКРАТИЯ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВОЕННОМУ РЕЖИМУ

Приближается первая годовщина казни моего отца, 4 апреля 1980 года, и люди толпами проходят мимо Аль-Муртазы к отцовской могиле в Гархи Худа Бахш. Идет шестой месяц нашего заключения. Мы с матерью обратились к властям с просьбой разрешить нам побывать на его могиле, но я знаю, что нам откажут. Власти так опасаются любого публичного проявления сочувствия к памяти отца и поддержки ПНП, что перекрывают дороги, ведущие к нашей родовой деревне, в радиусе ста километров.

Сколько бы ружей ни целилось в народ, призрак моего отца продолжает преследовать Зию. Когда отец был жив, он вызывал восхищение как государственный деятель и идеалист-мечтатель. После смерти в глазах его приверженцев он возвысился до положения мученика и даже святого. Нет сил более могущественных, чем эти две, в любой мусульманской стране.

Сообщают о чудесах, случившихся возле могилы отца, в десяти милях от Аль-Муртазы. Начинает ходить мальчик-калека. Бесплодная женщина рождает сына. В течение года со времени казни отца тысячи людей совершили паломничество на наше фамильное кладбище, чтобы взять лепесток розы или комочек глины с его могилы и положить на язык во время молитвы. Местные власти сорвали знак, указывающий направление на кладбище, затерянное среди пустыни. Но люди все равно идут.

Полиция и армейские патрули запугивают их, требуют называть имена, записывают номера, если они приехали на машине, или их адреса, если они пришли пешком. Часто у них отбирают пищу и разбивают кувшины с водой, которые дают им местные жители. Но все равно люди идут и заваливают могилу отца в пустыне его фотографиями в рамках и гирляндами из роз и бархатцев.

Наконец-то, через восемь дней после годовщины смерти отца, в Карачи начинается суд по поводу нашего необос-

нованного ареста. Когда адвокат упоминает о моем письменном протесте против непочтительного поведения капитана Ифтихара во время посещения Санам за месяц до этого, генеральный прокурор заявляет, что ничего не знает об этом. Но у меня есть расписка от тюремщика, и наш адвокат просит сделать перерыв на один день, чтобы мы могли представить ее. Попытка не пропустить письмо в суд рассматривается как неуважение к суду и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев. Они знают, что у меня есть доказательство. Власти должны предпринять что-то, чтобы предотвратить обвинение в неуважении к суду.

Этой ночью нас с матерью совершенно неожиданно отпустили на свободу. Этого тюремщика я никогда больше не видела. Позднее я слышала, что ему отказали в повышении и в наказание перевели на более низкую должность.

Свобода. Но никто не знает, надолго ли. После нашего освобождения из Аль-Муртазы мать осталась в Карачи, а я полетела в Равальпинди, чтобы узнать, как развивались события за шесть месяцев нашего заточения. Во время полета давление в ухе мучило нестерпимо, особенно при посадке. Когда утром я проснулась в доме Ясмینی, я увидела на наволочке следы зловонного гноя и крови. Друзья срочно отвезли меня в больницу.

— Вам очень повезло, — сказал доктор в кабинете неотложной помощи после того, как прочистил мое ухо. — Давление воздуха в самолете выдавило инфекцию наружу. Это могло бы прорваться внутрь, и тогда положение было бы более серьезным.

Я не знала, что подумать. Сначала доктор, присланный властями в Аль-Муртазу, обвинил меня в том, что я все придумываю про боли в ухе, затем в том, что я сама повредила его. Теперь этот врач, сначала сообщив, как мне повезло, просто рекомендует мне каждые две недели проверять ухо у моего врача в Карачи. Либо врачи некомпетентны, либо они намеренно не хотят принять во внимание мое состояние? Никто не сказал мне, что у меня серьезная инфекция мастоидной косточки, которая медленно разъедает тонкие косточки в среднем ухе. Это и вызывало мою частичную глухоту. Как я узнала позже, без операции хроническое воспаление могло привести к полной глухоте и к параличу лицевого нерва. Но мне ничего не сказали.

Когда я вернулась в Карачи, мать была очень обеспокоена.

— Обратись к властям и попроси у них разрешения выехать за границу для обследования, — уговаривала она меня. — Твое здоровье не имеет никакого отношения к политике.

Я обратилась к властям. Ответа мы не получили. Они хотели держать нас у себя на виду.

Все двадцать четыре часа в день дом на Клифтон-Роуд, 70 был окружен грузовиками военной разведки. Когда бы мать или я ни вышли из дома, они следовали за нами. Всех, кто приходил к нам, фотографировали и записывали номера машин. Наши телефонные разговоры прослушивались. Иногда мы слышали в трубке шелканье, иногда линию просто отключали.

Когда я почувствовала себя лучше, мать предложила мне:

— Почему бы тебе не поехать в Ларкану и не заняться нашими финансовыми делами? Уже два года никто в семье не может проверить счета.

Агенты разведки плотно сели мне на хвост, когда я поехала обратно в Аль-Муртазу повидаться с управляющими нашего имения и просмотреть отчеты о посевах и урожаях. У меня не было никакого представления о том, чего следовало ожидать или хотя бы чего искать в этих бумагах. Вопросами, связанными с землей, всегда занимались отец и братья.

Когда я просматривала отчеты, у меня все время было такое ощущение, что мне опять восемь лет и я сражаюсь с нашими домашними счетами на кухне вместе с Бабу. Но в общем-то это было облегчение — заняться чем-то конкретным и хотя бы на время остановить бесконечный вихрь мыслей в голове. Каждое утро, еще до того, как жара становилась невыносимой, я объезжала на джипе сады гуавы, рисовые и тростниковые поля, чтобы получить хоть какое-то представление о своих новых обязанностях. Я бродила по полям в спортивном костюме, закрывая голову от палящего солнца шарфом или соломенной шляпой. Я изучала нашу систему ирригационных каналов, которые питались из колодцев, заключенных в трубы, орошая летние посадки риса и хлопка, читала про возделывание сахарного тростника, задержание воды и засоление почвы. Физическое изнеможение оказалось целительным.

Фермеры-арендаторы, *камдары*, или управляющие, *мунши*, или бухгалтеры, чувствовали облегчение оттого, что кто-то из семьи Бхутто опять с ними.

— Шаги хозяина приносят богатство. Теперь, когда вы здесь, у нас все будет хорошо. Теперь мы больше не сироты, — сказал мне один из них.

Мне нравилось бывать на полях. Правда, я испытывала странные чувства, работая в Ларкане бок о бок с мужчинами. Женщины в сельской местности обычно придерживаются старых традиций: они не выходят из дома без покрывала и, уж конечно, не водят сами машину. Но у меня не было выбора. В Пакистане не осталось ни одного мужчины из моей семьи. Отец был мертв, а братья жили в Афганистане — если бы они вернулись в Пакистан, их бы арестовали немедленно. И поэтому каждое утро я объезжала поля. В моей жизни, в жизни всей нашей семьи для традиций осталось очень мало места.

В каком-то смысле я переступила через законы пола. Все до одного знали об обстоятельствах, заставивших меня нарушить традиции землевладельческих семей, где молодых женщин ревностно оберегают и редко, если вообще когда-нибудь, разрешают выйти из дома без сопровождения родственника-мужчины. По нашей традиции женщина — это честь семьи. Чтобы сберечь ее и свою честь, семья держит женщину в *парде* — за четырьмя стенами и под чадрой.

Мои четверо тетушек, дедушкины дочери от первого брака, неотступно следовали этим традициям. В семье Бхутто не оказалось двоюродных или троюродных братьев, за которых они могли бы выйти замуж, и они провели свою жизнь в *парде*, за стенами дома в Хайдарабаде. В семье они пользовались большим уважением, так как все понимали, из-за чего они так и не вышли замуж. Не зная другой жизни, они всегда казались очень радостными.

— На их лицах нет тревоги, — часто говорила моя мать с удивлением, возвращаясь от них.

Мне казалось, что это очень скучная жизнь, но тетушки выглядели вполне довольными. Они достаточно хорошо знали арабский язык, чтобы читать Коран, командовали поварами, делали восхитительные маринады из моркови и засахаренные фрукты, шили и вязали или гуляли по двору. Время от времени торговец материями потихоньку оставлял для них за воротами образцы тканей, чтобы они могли выбрать. Это было старое поколение. Я же принадлежала к новому.

По вечерам в Аль-Муртазе я встречалась со студенческими делегациями и другими посетителями, которые приносили новости о людях, еще томящихся в неволе, и рассказыва-

ли о сопротивлении военному режиму. Мы составляли списки людей, которых надо посетить в тюрьмах, и семей, нуждавшихся в утешении и помощи. В послеобеденное время у меня наконец-то находились свободные часы для устройства навеса над могилой отца, чтобы она была в тени, и выполнить просьбу матери заменить старые деревянные ставни-окна в Аль-Муртазе стеклянными.

— Лучше я буду видеть, чем чувствовать прохладу, — сказала она однажды, когда днем в очередной раз отключили электричество, что часто случалось в долгие месяцы нашего заточения в Аль-Муртазе. — Кто знает, когда нас опять запрут здесь? Мы должны быть ко всему готовы.

Кроме этого, я почувствовала груз еще одной незнакомой мне восточной традиции. Неожиданно местные деревенские жители стали считать меня «старшей», так как я была единственным представителем семьи Бхутто. Они приходили во двор глиняной хижины и просили решать их проблемы и споры. Наследие феодальных времен, когда глава клана самолично решал все вопросы, касающиеся жизни его людей, упрощенный вариант племенного правосудия, все еще было живо в сельской местности, как живы и сами племена. Конечно, я не была главой клана Бхутто, но люди упорно приходили ко мне. Правосудие в Пакистане было слишком неторопливое, слишком далекое, слишком дорогое и считалось слишком продажным, чтобы с ним связываться. Все знали, что полиция арестовывает людей за «карманные деньги», отпуская их только после получения взятки. Люди предпочитают принять *файслу* — приговор — от семьи, которую они знают. Но я обнаружила, что после восьми лет, проведенных на Западе, я плохо разбираюсь в тонкостях деревенской жизни.

— Сорок лет назад его двоюродный брат убил моего сына, — говорил мне беззубый старик однажды утром, когда я вершила суд, сидя на веревочной койке. — Решением твоего двоюродного дедушки было выдать за меня замуж первую же дочь, рожденную в этой семье. И вот она родилась. Посмотри на нее! Но они не отдадут ее мне.

Я взглянула на восьмилетнюю девочку, съездившую за спиной своего отца.

— Он не сказал ни слова, когда родилась моя дочь, — возражал отец девочки. — Я думал, он уже простил нас за преступление, совершенное так давно. Если бы я знал, что он собирается потребовать ее, я бы воспитывал свою дочь, зная, что она не принадлежит нам и что когда-то

мне придется отдать ее. Но теперь мы собираемся договориться о свадьбе в другой семье, они согласны взять ее. Мы уже дали слово другим. Как мы можем его нарушить?

Я содрогнулась, глядя, как торгуются из-за этой бедной маленькой девчушки. Судьба деревенской женщины не всегда счастливая. Редкая из них может сама делать выбор в своей жизни, и нечасто их спрашивают, чего они хотят.

— Ты не получишь девочку, но тебе дадут корову и 2 тысячи рупий в возмещение ущерба, — сказала я старику. — Это мое решение. Ты должен был заявить о своих претензиях раньше, чем ее обручили с другим.

Корову за девочку — вряд ли такое уравнение могло получиться во время дискуссий о женском движении в Рэдклиффе. Но это был Пакистан. И старик был в ярости; уходя, он громко ворчал.

На следующий день моя очередная *файсла* обернулась бедой.

— Мою жену похитили, — кричал передо мной мужчина.

Его тесть подлил масла в огонь:

— Небо пало на наши головы. Конец нашей жизни! Весь день дети моей дочери плачут и зовут свою мать. Ты должна нам помочь и вернуть ее.

— Кого вы подозреваете? — спросила я, беспокоясь за женщину.

Когда они мне сказали, я отправила в деревню посланца, чтобы он переговорил со старейшинами. Молодую женщину благополучно вернули. Но она была в ярости.

— Я не хочу жить с мужем. Я люблю другого, — передала она мне. — Я уже в третий раз убегаю, и меня возвращают. Я думала, что вы как женщина поймете меня и посочувствуете.

Я была потрясена. Похоже, только я одна не знала, что по суровым законам племенных традиций единственный способ для женщины уйти от своего мужа — это быть «похищенной». Несчастливая жена не может покинуть мужа по своей воле. Как я узнала позже, этой бедной молодой женщине больше не удалось бежать. Уже не в первый раз я сталкивалась с глубоким противоречием между традициями племени и человеческими ценностями равенства и свободного выбора.

Расширялась пропасть и между демократическим Пакистаном и Пакистаном при военной диктатуре. В то время как я вершила суд и выносила решения в полях Ларканы, военные суды,

которые Зия учредил в каждой провинции, возглавляемые одним судьей и двумя офицерами без юридической подготовки, раздавали все больше и больше приговоров к смерти и пожизненному заключению.

Несправедливость процветала и в сотнях скорых военных судов, где один-единственный офицер без профессиональной подготовки выслушивал свидетельства и тут же приговаривал к строгому тюремному заключению на год и пятнадцати плетям на месте. Решения, которые я выносила, не были обязательными, конфликты можно было передать в суд, но обвиняемым в военных судах не разрешалось пользоваться услугами адвокатов, и они не имели права на апелляцию. Избежать наказания плетями на месте можно было только ценой взятки старшему офицеру — 10 тысяч рупий за один удар, или по тогдашним ценам около 100 долларов. Петля военного режима затягивалась.

Указ № 77 военного положения от 27 мая 1980 года: В сферу полномочий военных судов из гражданских переходят такие виды преступлений, как предательство и попытка свержения режима со стороны служащих в вооруженных силах. Наказание варьируется от смерти через повешение до порки и пожизненного заключения.

Указ № 78 военного положения: Подтверждается двенадцатимесячный срок заключения без суда для политических заключенных, но с уточнениями.

Теперь нет необходимости вдаваться в объяснения с людьми, арестованными на улицах или в своих домах. «Причины или основания для задержания... не подлежат сообщению ни одному лицу», — гласит указ. «Ордер на задержание теперь может быть продлен ровно настолько, насколько властям военного положения диктуют обстоятельства».

Теперь любой человек может быть задержан в любом месте без права на апелляцию, на основании неизвестно какого обвинения и на любой срок. 19 июня в Лахоре состоялась демонстрация юристов, требующих отмены этих новых указов и проведения всеобщих выборов, возврата к гражданскому правлению. Восемьдесят шесть человек были арестованы и избиты, как и двенадцать других среди арестованных в августе в Карачи, за призывы к восстанию конституции 1973 года. Волна террора обрушилась на студентов и профсоюзных лидеров.

Когда летом я вернулась в Карачи, мать предупредила меня, чтобы я была очень осторожна. Но режим рисковать

не хотел. Когда в августе мы поехали в Лахор на свадьбу к друзьям нашей семьи, гостиница, где мы остановились, была окружена полицией, и мы были высланы из провинции Пенджаб. Полицейский эскорт сопровождал нас в аэропорт, мы сели в самолет, следующий в Карачи.

Было ясно, что и через три года после переворота и введения военного положения Зия не смог ни добиться покорности, ни обеспечить себе поддержку народа. Наоборот, он терял почву под ногами. У него практически не было политической поддержки, только военный контроль. Даже члены НАП, политической коалиции, которая выступала на выборах 1977 года против моего отца и ПНП, часть из которых стали министрами в правительстве Зии, предавали его. Когда через шесть месяцев после смерти отца Зия освободил их от министерских постов и запретил все политические партии, НАП оказался в политической изоляции.

В результате в октябре 1979 года, вскоре после того, как нас с матерью опять заточили в Аль-Муртазе, некоторые члены НАП обратились к ПНП с предложением сотрудничества, чтобы нанести поражение Зие. Тогда мы восприняли эти предложения как политический маневр с целью оказать давление на военный режим. «Если вы не хотите, чтобы мы были министрами, мы перейдем в ПНП», — угрожали они Зие. Теперь же, осенью 1980 года, вновь НАП, наш старый соперник, предлагал нам переговоры. На этот раз нам пришлось отнестись к ним серьезно.

В отчаянных попытках обеспечить себе политическую поддержку Зия вместе с немногочисленными оставшимися сторонниками решил использовать метод подкупов. Каждый день приносил новые сведения о кампании подкупа, которую проводил Зия. Так, Дхоки, сыну одного из неимущих лидеров ПНП, который работал в мастерской по ремонту велосипедов и зарабатывал две рупии в день, была предложена тысяча рупий, если он выйдет из ПНП и вступит в Мусульманскую лигу, фракцию НАП, которая еще поддерживала Зию. Такому влиятельному члену ПНП, как Гулам Мустафа Джатой, президент провинции Синд и бывший главный министр, сам Зия предложил пост премьер-министра военного режима, и похоже, что это предложение будет принято. Возникла большая опасность новой расстановки политических сил под руководством Зии, направленной на то, чтобы одурачить народ и убедить его в том, что ненавистный военный режим приобрел гражданский облик.

— Мы должны переиграть Зию, прежде чем он переиграт нас, — сказала мне мать в сентябре после того, как Джатою был предложен пост премьер-министра. — Как бы мне ни была ненавистна эта идея, возможно, нам придется принять лазутчиков из НАП. Глупо раскалывать силы, выступающие против Зии.

Сначала я была в ужасе.

— Это вызовет бурю среди лидеров нашей партии, — протестовала я.

— Как мы можем забыть, что именно НАП обвинил нашу партию в махинациях во время проведения выборов, что именно НАП расчистил путь для военного переворота? Они были министрами Зии в то время, когда он обрек папу на смерть.

— Но ведь у нас нет выбора, — сказала мама. — Сейчас это Джатой. Завтра будут другие. Когда мы находимся не в идеальных условиях, приходится считаться с уродливой действительностью.

Она собрала на нелегальную встречу более тридцати членов Центрального исполнительного комитета ПНП. Мы понимали, что сильно рискуем — политические собрания были запрещены, но, если бы мы сидели, сложа руки, значит, мы действительно покорились бы режиму. Это собрание, как и все остальные, проходило на Клифтон-Роуд, 70. Партийные лидеры приехали даже из таких далеких провинций, как Белуджистан и Северо-Западная Пограничная. Как и следовало ожидать, начались ожесточенные споры.

— Они же убийцы в НАП, все убийцы, — говорит один член партии из Синда. — Если сегодня мы будем иметь дело с ними, что же остановит нас, чтобы завтра не сотрудничать прямо с генералом Зией?

— Но ведь Мао Цзэдун сотрудничал с Чан Кайши, когда японцы вторглись в Китай, — возразил ему престарелый Шейх Рашид, приверженец Маркса в нашей партии. — Если они могли сотрудничать в интересах нации, тогда я считаю, мы должны сотрудничать с НАП.

Отчаянный спор продолжался.

— Мы согласны с тем, что они оппортунисты и ищут свою выгоду, — предложила я. — Но что нам делать? Либо мы будем ждать, пока инициативу не выхватят из наших рук, либо мы должны проглотить горькую пилюлю, приняв НАП, и сами захватить инициативу. Я предлагаю пойти на компромисс и вступить в союз с НАП, сохранив самостоятельность нашей партии.

Через семь часов прагматизм наконец-то победил, и каждый из нас был готов вступить в переговоры с НАП. Основа для Движения за восстановление демократии была создана.

— Бессмысленно оказываться нам с тобой в тюрьме одновременно, так что ты умерь свою политическую деятельность, — сказала мне мать. — Таким образом, хотя бы одна из нас останется на свободе и сможет руководить партией.

Я неохотно согласилась. Но в то же время я почувствовала некоторое облегчение. Хотя с политической точки зрения формирование ДВД было разумным решением, мне все еще трудно было смириться с союзом с недавними врагами отца. Очевидно, для лидеров бывших оппозиционных партий также нелегко было сотрудничать с ПНП и друг с другом. Не доверяя друг другу, лидеры отчаянно противоборствующих партий не хотели даже разговаривать напрямую во время предварительных встреч — они общались только через посланцев.

И дальше процесс объединения был осложнен резкостью обмена мнениями, который вел к образованию хрупкой новой коалиции, особенно когда дело подошло к формулированию предполагаемого устава ДВД: были ли нет фальсифицированы результаты выборов 1977 года, какое слово должно употребляться применительно к смерти моего отца — «казнь» или «убийство»? Понадобилось четыре месяца, с октября 1980 по февраль 1981 года, чтобы выйти из тупика и выработать проект соглашения между всеми десятью партиями, и это была нелегкая работа.

Партия Мусульманская лига под руководством Мухаммеда Хана Джунеджо, который продолжал оставаться на посту премьер-министра, на который его назначил сам Зия, уклонилась в последнюю минуту. Руководители и представители других партий встретились наконец лицом к лицу в первый раз за все это время вечером 5 февраля на Клифтон-Роуд, 70.

Я смотрела на бывших противников отца, пришедших в его дом, чтобы заключить политическую сделку с его вдовой, ныне председателем ПНП, и его дочерью. Все-таки странное это дело — политика. Насрулла Хан, лидер Пакистанской демократической партии, в феске, сидел справа от моей матери. Напротив меня сидел человек с мясистым лицом, Касури, представляющий более умеренную партию Техрик-и-истикляль под руководством Асгар Хана. По одну сторону комнаты сидели

бородатые лидеры религиозной партии Джамаат-уль-улема-и-ислам, по другую — глава небольшой Рабочей партии левого направления Фатехияб, одетый в *чури-дар-курта* — свободную рубашку с узкими брюками. Всего собралось около двадцати человек, большинство из бывшей коалиции НАП. Мне все время приходилось напоминать себе, что наша цель — сместить Зию, что главное, несмотря на наши расходящиеся политические взгляды, создать крепкую политическую коалицию и заставить Зию провести выборы. Но это было нелегко.

В обитой бархатом гостиной среди канделябров клубится сигаретный дым. Собрание так затянулось, что пришлось перенести его на утро. В какой-то момент дискуссии бывший лидер НАП попытался оправдать действия своей партии во время волнений 1977 года. Я была поражена тем, что здесь, в нашем доме, звучит подспудная критика ПНП.

— Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить создание коалиции за демократию, а не то, что вы думаете о нас или мы о вас, — заявила я ледяным тоном.

— Да, мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое, — Насрулла Хан пытается успокоить нас обеих.

И все равно для меня невыносимо было смотреть, как эти политики пьют кофе из отцовских фарфоровых чашек, сидят на его диване, пользуются его телефоном, обзванивая своих друзей по всей стране и сообщая: «Я на Клифтон-Роуд, 70. Да-да, на самом деле. Да, в доме мистера Бхутто!»

Ясмин, Амина и Самия пытаются успокоить меня.

— Ведь они пришли к вам. Это признание силы ПНП, — сказала Самия.

— Вы сами хотели сформировать эту коалицию, — добавляет Амина. — Она необходима в политике, поэтому постарайся ради успеха преодолеть все трудности.

Я проглотила свои возражения, то же самое сделали и другие руководители, и в конце концов, один за другим, мы подписали устав, объединяющий все партии. Итак, 5 февраля 1981 года родилось Движение за восстановление демократии.

Новость о подписании устава ДВД, которую многие слышали по Би-би-си, взбудоражила весь Пакистан — от севера до юга, от востока до запада. Многие люди восприняли это событие как психологическую поддержку и поняли его как сигнал к кампании протеста против

несправедливости военного режима. Первыми вышли на улицы студенты в Пограничной провинции. Немедленно Зия обеспечил нас с матерью ордерами на высылку, с тем чтобы мы не могли поехать туда навестить раненых.

Недовольство скоро распространилось на Синд и Пенджаб, где к растущему движению протеста примкнули профессоры, юристы, врачи. Вспыхнули студенческие волнения в Мултани, Бахвалпуре, Шейкупуре, Кветте. «Благослови Аллах ДВД, — шептали друг другу водители такси, владельцы лавок и мелкие торговцы. — Зие приходит конец». Наш повар вернулся с базара Эмпресс в Карачи с сообщением, что по призыву ДВД даже мясники готовы объявить забастовку.

Зия понимал, что его загнали в угол. Он закрыл университеты во всем Пакистане и запретил собираться в группы более пяти человек. Но продолжались демонстрации, которые журнал «Тайм» охарактеризовал как самую серьезную волну протеста, с которой сталкивался генерал Зия.

Тайная встреча членов ДВД была назначена на 27 февраля в Лахоре. Зия среагировал быстро, арестовав многих лидеров ДВД уже 21 февраля. Были также выданы ордера о высылке из Пенджаба другим членам ДВД и ПНП.

— Ваш въезд в Пенджаб будет расцениваться как угроза общественной безопасности и поддержанию порядка, противоречащая интересам общества, — говорилось в моем ордере, подписанном губернатором Пенджаба.

Моя мать стала еще решительнее настаивать на ограничении моей политической деятельности.

— Не занимайся политикой какое-то время. Если меня арестуют, ты должна быть на свободе, чтобы руководить партией, — твердо сказала она мне.

Ситуация становилась взрывоопасной, грозящей поражением Зие, и я очень нервничала из-за этих ограничений. Не мне, а моей матери пришлось пробираться на тайную встречу ДВД в Лахор. Полиция перекрыла все дороги в город, каждый автомобиль подвергался обыску. Почти всем членам ДВД пришлось добираться к месту встречи окольными путями. Моя мать, изображая бабушку, закутанную в покрывало, поехала на поезде. Ее сопровождал «внук» — тринадцатилетний сын одного из наших слуг.

Полиция устроила облаву на месте встречи и арестовала всех ее участников, включая и мою мать, которую выслали

обратно в Карачи. Но ДВД успело распространить свой ультиматум, призывавший покончить с военным режимом, и назначить выборы в ближайшие три месяца.

— Мы требуем, чтобы Зия немедленно подал в отставку, в противном случае режим военного положения будет сметен непреклонной волей народа, — заявило ДВД в Лахоре.

ДВД назначило на 23 марта массовые забастовки и демонстрации по всему Пакистану. Некоторые из советников ПНП, избранные в 1979 году в местные органы власти, решили во время забастовки подать в отставку и потребовать того же от Зии. Начался отсчет времени перед падением Зии и возвращением гражданского правительства в Пакистане.

2 марта, 1981.

Я сижу в гостиной в доме на Клифтон-Роуд, 70 с группой партийных активистов, когда звонит телефон. Это Ибрагим Хан, представитель «Рейтер» в Карачи.

— Как вы относитесь к этой новости? — спрашивает он меня.

— Какой новости?

— Захвачен самолет пакистанской международной авиалинии.

— Кем захвачен? — я поражена этим известием. На этой авиалинии еще никогда не захватывали самолетов.

— Никто еще не знает, — говорит он. — Никто не знает, кто захватил самолет, куда они летят и чего они требуют. Я постараюсь узнать и буду держать вас в курсе. Но все же, что вы об этом думаете?

— Плох любой захват, касается это самолета или нации, — я отвечаю автоматически. Когда я вешаю трубку, члены ПНП вопросительно смотрят на меня.

— Захвачен один из наших самолетов, — объясняю я. — Больше я ничего не знаю.

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ТЮРЬМЕ СУККУРА

Суккурская центральная тюрьма. 13 марта, 1981.

Почему я здесь? Я не могу понять. Сейчас, в тюрьме. В отдаленной тюрьме в пустыне Синда. Холодно. Я слышу, как тюремные часы бьют сначала час, потом два. Я не могу заснуть. Холодный ветер из пустыни насквозь продувает решетки моей камеры, четыре решетчатые стены. Камера больше похожа на громадную клетку, внутри которой стоит только койка с веревками вместо пружин.

Я вся извертелась на этой койке, зубы стучат от холода. У меня нет ничего теплого, ни свитера, ни одеяла. Только *шальвар-камиз*, в котором я была, когда меня арестовали в Карачи пять дней назад. Одна из тюремщиц пожалела меня и украдкой сунула пару носков. Но она так боялась быть пойманной на этой благотворительности, что сегодня утром попросила их вернуть. Кости болят. Если бы хоть что-нибудь было видно, я смогла бы по крайней мере походить по камере. Но на ночь электричество в моей камере выключается. С семи часов вечера — ничего, кроме холодной тьмы.

7 марта полиция явилась за мной на Клифтон-Роуд, 70. Меня там не было. Я ночевала у Самии, чтобы не участвовать в политической встрече, которую проводила моя мать на Клифтон-Роуд, 70 с лидерами ДВД. Полиция из кожи вон лезла, стараясь найти меня. Они ворвались в дом моей двоюродной сестры Факхи, затем на Клифтон-Роуд, 70, где сначала арестовали мать, а потом перевернули вверх дном весь дом, разыскивая меня.

— Она что же, жук, по-вашему? — спросила у полицейских моя сестра Санни, когда они опустошали спичечные коробки.

Прочесывая весь Карачи, полиция продолжала врываться в дома моих школьных подруг, в том числе и в дом Пантаки, в семью зороастрийцев. 25-летнюю Пари забрали в полицейский участок, где допрашивали в течение семи

часов. Пари и ее семья принадлежали к религиозному меньшинству, а в соответствии с политикой исламизации, которую проводил Зия, любой немусульманин имел значительно больше шансов подвергнуться наказанию.

— Мы знаем, как иметь дело с религиозными меньшинствами в этой стране, — предупредили полицейские родственников Пари, когда они обратились к властям с протестом против ее ареста. — В политике этой страны вам нет места. И нечего вам лезть в нее.

После обысков в домах еще двух моих друзей, Патчи и Хумо, полиция на следующий день разыскала меня и доктора Ашраф Аббаси — заместителя спикера Национальной ассамблеи и врача моей матери в Карачи.

— Пришли полицейские, они хотят обыскать дом, — сказал Сафдар, сын доктора Аббаси.

В этот момент я как раз собиралась воспользоваться их прямым телефоном и позвонить моим друзьям в Исламабад. Мы посмотрели на него с изумлением. Поскольку я старательно воздерживалась от всякой политической деятельности, избегала встреч с деятелями ДВД и ничего не знала о полицейских облавах, я подумала, что полиция пришла либо за доктором Аббаси, либо за ее сыном Мунаваром.

— Скажи им, что нет необходимости обыскивать дом. Спроси, кто им нужен, — сказала я Сафдару. Он вернулся через минуту.

— Они пришли за вами.

В этот аресте было что-то новое и ужасное. Я почувствовала это, когда мне велели взобраться на заднее сиденье открытого джипа, переполненного полицейскими, а не в одну из машин, как раньше, когда меня отвозили на место заключения. Я отказалась лезть туда, и в конце концов мне разрешили сесть на переднее сиденье. Численность военного конвоя, сопровождавшего меня по пустынным улицам, увеличилась, а место, куда меня привезли, было зловещим — полицейский участок. Раньше меня сюда не привозили. Что происходит? Никто мне ничего не объяснял в течение пяти часов, которые я провела там, глядя на непрерывно курящих полицейских и сплевывающих бетель на уже заплыванную стену. На их лицах застыло выражение страха. На этот раз, как я потом выяснила, Зия решил превзойти самого себя в жестокости и зверствах.

Что уже было известно властям и неизвестно мне, так это то, что тысячи людей в Пакистане были арестованы

в период самых широких за все время облав. По приведенным в «Эмнести интернэшнл» заниженным данным, только в марте 1981 года было арестовано более 6 тысяч человек. Через пять дней после захвата самолета, 2 марта, Зия решил использовать это событие как предлог, чтобы лишить ДВД поддержки. В тюрьму бросали каждого, кто был заподозрен в малейших связях с ДВД или ПНП.

В Исламабаде арестовали семью доктора Ниязи. За Аминой полиция тоже пришла, но, когда они увидели, что она на девятом месяце беременности, они забрали вместо нее ее мужа Салима. От шока у нее начались схватки. В Белуджистане был арестован Яхья Бахтияр, генеральный прокурор Пакистана, который возглавлял группу адвокатов, защищавших моего отца. В Лахоре кроме Файзала Хайята, бывшего члена Национальной ассамблеи, племянника Халида Ахмеда, заместителя комиссара Ларканы, изгнанного в ссылку, арестовали многих женщин — членов ПНП. Уже в третий раз в Равальпинди был арестован Кази Султан Махмуд, помощник управляющего отеля «Флэшменз». Арестованы были и Иршад Рао, редактор отделения «Мусават» в Карачи, и Перевез Али Шах, один из руководителей отделения ПНП в Синде. Список имен становился все длиннее. А обращение с нами достигло нового уровня варварства.

— Где моя мать? — спросила я полицейских в участке.

— В Центральной тюрьме Карачи, — ответили они.

— В «гостинице»? — спросила я. «Гостиница» была относительно комфортабельным помещением, предназначенным для чиновников, посещающих тюрьму. Вначале отца держали в этом помещении.

— В камере, — ответили они.

У меня остановилось дыхание. Моя мать, вдова премьер-министра, в камере класса С — без водопровода, без воздуха, без постельных принадлежностей?

— Куда вы везете меня?

— К вашей матери.

Но они солгали.

В течение пяти дней меня держали одну взаперти в «гостинице» Центральной тюрьмы Карачи. Из комнаты сейчас была вынесена почти вся мебель. Официальные лица уверяли меня, что они не знают, где моя мать, и отрицали даже то, что ее держат в тюрьме в Карачи. Мне не разрешили встретиться с моим адвокатом. У меня не было с собой одежды, кроме той, в которой меня арестовали. У меня не было щетки для волос или гребенки,

зубной щетки и зубной пасты, вообще ничего с собой не было. К этому прибавилась и нехватка медицинских средств для чисто женских проблем, вызванных общим стрессовым состоянием. Мне нужны были лекарства, но около меня не было ни врача, ни женщины, которой бы я могла сказать, что мне необходимо.

— Вас увезут отсюда в 2.30 ночи, — сообщил мне начальник тюрьмы, входя в мою камеру вечером 12-го. У него был испуганный вид. — Будьте готовы к этому времени.

— Куда вы меня везете? — спросила я. Ответа не последовало.

— Где моя мать? — опять нет ответа.

И вот тут я испугалась в первый раз. Я слышала разговоры о том, что тюремщики иногда отвозят незаконно задержанных заключенных ночью в пустыню и просто убивают их. И прежде чем семьи уведомляют, что их родственники либо были убиты при попытке к бегству, либо умерли от внезапного загадочного сердечного приступа, тела убитых быстро хоронят. Сразу, как только меня привезли в «гостиницу», я написала письмо в Высший суд Синда с протестом по поводу моего ареста и с просьбой либо позволить мне вести самой свою защиту в суде, либо прислать мне адвоката. Теперь я отчаянно надеялась, что письмо придет по назначению.

— Ты должен послать это письмо в суд, — рано утром, пока я ждала приезда представителей властей, я уговорила тюремщика. Он потихоньку взял мое письмо и засунул в карман. Благодарение Аллаху за это. Если он отправил письмо, там хотя бы будет какая-то информация о моем пребывании здесь и откуда меня увезли.

Фургон, в котором сидели женщины-полицейские, пришел за мной в 2.30 ночи. Еще приехали грузовики, набитые полицейскими и солдатами. Мы неслись по пустым улицам в автомобиле с затемненными окнами с такой бешеной скоростью, что можно было предположить, будто нас ожидала засада. Вдруг автомобиль резко затормозил, и начались переговоры шепотом по рации.

— Смотрите, чтобы на взлетной полосе кроме нее никого не было, — услышала я приказ. И тут же почувствовала облегчение. По крайней мере, я находилась в аэропорту. Но куда они везут меня? Расписание полетов к этому времени я уже знала наизусть, и в этот час не было рейсов ни в один город Пакистана. Может быть, Ларкана, утешала я себя. Может быть, пытаюсь действовать

скрытно, они устроили специальный рейс? Я все ждала самолета, но ни один не появился на полосе. А я все сидела и сидела долгих четыре часа, пока не занялся рассвет.

В 6.30 на взлетной полосе появился обычный рейсовый самолет. Меня посадили в него — одна женщина-полицейский рядом со мной, две сзади, две через проход.

— Куда мы летим? — спросила я стюардессу.

Полицейская не дала ей ответить.

— Вы находитесь под арестом и не должны вступать в разговоры.

Что происходит? За пять дней, что я была в тюрьме в Карачи, я не видела газет и не понимала, почему со мной и матерью так сурово обращаются. Я была уверена, что последняя волна арестов была вызвана исключительно формированием Движения за восстановление демократии и нашим вызовом Зие. В последнюю неделю перед моим арестом в газетах почти не было другой информации, кроме этой. Но что дает право властям так жестоко с нами обращаться? И почему такой страх на лицах пассажиров и даже на лицах полицейских?

Стюардесса протянула мне газету. Главной новостью в ней было не ДВД, а захват самолета. Захватчики потребовали освобождения пятидесяти пяти политических заключенных в Пакистане, затем они направили захваченный самолет в Афганистан, в Кабул, где застрелили одного из пассажиров, армейского офицера, майора по имени Тарик Рахим, который когда-то был адъютантом моего отца. Затем пилота заставили лететь в Дамаск, в Сирию.

У меня перехватило дыхание, когда я читала, одновременно отказываясь верить газетному сообщению и боясь, что это правда. Захватчики объявили себя членами группы сопротивления под названием «Аль-Зульфикар». Говорилось, что она была основана в Кабуле, где жили мои братья. Как утверждалось в статье, руководил группой мой брат Мир.

Тридцать один, тридцать два, тридцать три. Еще семь раз провести щеткой по волосам. Девяносто семь, девяносто восемь. Когда чистишь зубы, досчитать до ста. Теперь пятнадцатиминутная прогулка. Дисциплина. Заведенный порядок. Я не должна нарушать его. Вперед и назад вдоль открытой канализационной канавы, проходящей через пыльный тюремный двор, мимо пустых зарешеченных камер напротив моей собственной камеры в замкнутом пространстве. Сосед-

ние тюремные помещения, как сказали мне мои стражи, были полностью освобождены из-за меня. Власти обеспечили мне полную изоляцию.

Я не вижу никого, за исключением тюремщиков, которые по утрам отпирают мою клетку, больше похожую на пещеру, приносят мне чашку разбавленного чая и кусок хлеба на завтрак, потом жидкий чечевичный суп, вареную тыкву и дважды в неделю крохотный кусок рыбы на обед или ужин и затем опять запирают меня. В тех редких случаях, когда я слышу человеческий голос в течение пяти месяцев моего одиночного заключения в Суккуре, он приносит мне тягостные новости.

— Сегодня арестовали еще пятьдесят человек, — иногда сообщали мне тюремные начальники во время еженедельных обходов. — Сегодня будут пороть плетью политического заключенного.

Как и советское вторжение в Афганистан, захват самолета произошел в критический для Зии момент. Находясь на грани отстранения от власти народным движением, Зия использовал это событие для того, чтобы выдвинуть ложное обвинение ПНП в связях с терроризмом. Столь невероятное совпадение этих событий во времени навело многих на мысль о том, что Зия сам подстроил захват самолета. Если так, сделано это было очень мастерски и произвело нужный эффект. Через тринадцать дней после захвата и за несколько минут до конечного срока, назначенного захватчиками для взрыва самолета, власти согласились на их требование освободить пятьдесят пять политических заключенных. Но что значили пятьдесят пять человек теперь, когда власти отправили в тюрьмы тысячи своих политических противников, обвинив многих из них в террористических действиях? О целях и действиях ДВД в газетах даже не упоминалось. Основными темами, заполнявшими газеты, были захват самолета и организация «Аль-Зульфикар».

Находясь взаперти в своей камере в Суккуре, я еще не знала о попытках Зии связать деятельность ПНП, и именно нашу с матерью, с деятельностью «Аль-Зульфикар». Я прилагала все усилия к освобождению. Я почувствовала облегчение, когда мой адвокат м-р Лакхо посетил меня в Суккуре, чтобы подготовить протест против моего задержания. И опять мне помог честный тюремщик. Письмо, которое я написала в Высший суд Синда, все-таки попало по назначению. Но усилия тюремщика и м-ра Лакхо окажутся бесплодными.

23 марта, через три или четыре дня после визита м-ра Лакхо, военный режим издал «Указ о временных конституционных правилах». Он гласил: «Генерал Зия имеет и в случае необходимости всегда будет иметь право вносить поправки в конституцию». Воспользовавшись новым указом, Зия тут же лишил гражданские суды права принимать протесты против приговоров военных судов. Апелляция, которую я представила с помощью м-ра Лакхо, так же как и апелляции любого другого политического заключенного, была теперь бесполезной. Военные суды могли арестовывать нас, пытаться, выносить нам приговоры и приводить их в исполнение, а мы были лишены права на любую юридическую помощь.

Зия использовал также новый временный указ с тем, чтобы очистить суды от любой юридической оппозиции. Все судьи должны были принести клятву признания главенства военного положения и Зии как главного администратора военного положения. Судей, которые отказывались от клятвы, просто увольняли. Некоторых увольняли до того, как они должны были произнести эту клятву. Таким образом, по новому указу режима четверть пакистанского правосудия была изгнана, включая всех судей, которые отклонили смертные приговоры и строгое заключение для политических узников. «Если это вопрос разделения власти с судом, то я не собираюсь делить власть, — цитировала газета «Гардиан» слова Зии. — Они там для того, чтобы толковать закон». Международные юридические ассоциации и «Эмнести интернэшнл» выступили с резким протестом против режима, но и это не помогло. Гражданское право в Пакистане благополучно прекратило свое существование. А м-ру Лакхо больше не разрешили вступать со мной в контакт.

Время идет — монотонное, безжалостное. Чтобы занять чем-то свой мозг, я записываю все, что со мной происходит, в маленький блокнотик, который сочувствующий мне тюремщик потихоньку принес в камеру. Это занимает хотя бы часть времени. Мне разрешена одна газета в день, это новое издание — «Рассвет», распространяемое в пределах Синда. Я все время напоминаю себе: читай медленно, слово за словом. Рассказы о рыбалке. Головоломки для детей по пятницам, в мусульманский выходной день. Рецепты. Но газеты мне хватает только на час.

— Можете вы приносить мне «Тайм» или «Ньюсуик»? — спрашиваю я начальника тюрьмы во время его еженедельного визита.

— Это коммунистические публикации, а они запрещены, — отвечает он.

— Вряд ли они коммунистические, они из центра капитализма, — спору я.

— Они коммунистические.

— Какие книги есть в вашей библиотеке? — я делаю еще одну попытку.

— У нас здесь нет библиотеки.

Март переходит в апрель, и я начинаю бояться прихода газет. Захват продолжает оставаться главной темой, как участие в нем моего брата Мира. Я прочитала в одном интервью, что Мир взял на себя ответственность за захват самолета. В другом он отрицал это. Однако все правительственные газеты внушали, что «Аль-Зульфикар» — это вооруженное крыло ПНП.

Лживое обвинение! Вся деятельность ПНП основывалась на достижении перемены мирным путем, путем политических средств, разрешенных законом. Зачем же иначе мы так настаивали на проведении выборов, участвовали в них, несмотря на все ловушки, расставленные Зией, и продолжаем добиваться выборов даже сейчас, под пулями военного режима? Доверие и преданность людей не завоевать силой. Даже Зия должен был бы знать это. И все равно власти продолжали искажать ту малую правду, известную об «Аль-Зульфикар», чтобы покончить с ДВД, ПНП и всей семьей Бхутто.

Сидя в своей одиночке в Суккуре, я приходила к мысли, что власти готовят мое убийство. Один тюремный чиновник, нервничая, сказал, что меня предадут закрытому военному суду прямо здесь, в тюрьме, и я буду приговорена к смерти. Другой сообщил, что в соседнем дворе тюрьмы освобождают камеру смертников, чтобы перевести туда меня. Охрана в Суккуре была усилена, доложил он, так как разнесся слух, что мои братья попытаются спасти меня, если будет вынесен смертный приговор. Были и другие слухи: например, что меня собираются перевести в камеру пыток в Белуджистан, где из меня вытянут «признание» о моей причастности к захвату самолета.

— Вас ждут страшные дни, — прошептал мне с сочувствием один из них. — Вы должны молиться о спасении.

В Суккур приехал генеральный инспектор тюрем и подтвердил эти слухи.

— Они пытаются людей, чтобы они оговорили вас и сообщили о вашей связи с «Аль-Зульфикар», — сказал мне этот добрый седой человек, стараясь предупредить меня о надвигающейся опасности.

— Но я не виновата. Они не могут впутать меня в это преступление, — наивно возразила я.

Генеральный инспектор покачал головой.

— Я видел мальчика из вашего дома в Ларкане, у него были вырваны ногти. Я не знаю, многие ли смогут выдержать это и не сломаться, — слезы появились у него на глазах.

Я не хотела верить ему и тюремщикам. Чтобы выжить, важно было отстраниться от реальности. Смириться с реальностью — значит, смириться с угрозой. Однако напряжение сказалось на моем здоровье — оно ухудшилось. Надзирательница вскоре после того, как меня привезли в Суккур, узнала о моих гинекологических проблемах и вызвала доктора. Но диагноза мне не сообщили.

Я начала отказываться от еды, которую мне приносили тюремщики, так как мне было трудно глотать. Я почти ничего не ела, но мне казалось, что я толстею, живот раздулся и грудная клетка стала больше.

Теперь я понимаю, что у меня начиналась анорексия.

По мере того, как я все больше и больше теряла вес, тюремное начальство, регулярно сообщавшее мне о намерении властей приговорить меня к смертной казни, стало беспокоиться, что я могу умереть раньше времени без их помощи.

— Запакуйте свои вещи. Вас переводят в Карачи, — сказала мне тюремная надсмотрщица рано утром 16 апреля, спустя пять недель после моего прибытия в Суккур.

— Зачем? — спросила я.

— Ваше здоровье ухудшилось. Мы увозим вас в Карачи.

В аэропорту Карачи полицейские сказали мне, что они отвезут меня домой.

Я была в восторге. Клифтон-Роуд, 70. Чистая, прохладная вода вместо ржавой тюремной. Моя собственная кровать вместо тюремной койки. Четыре крепкие стены вместо решеток. Я думала, что мои испытания закончились. Однако это было не так.

— Это не мой дом, — протестовала я, когда меня, изнуренную путешествием, привезли в дом, который я никогда раньше не видела.

— Мы хотим, чтобы вас посмотрел еще один врач, — сказал мне сопровождавший меня полицейский. — Потом отвезем вас домой.

Я увидела незнакомую женщину, приближающуюся ко мне.

— Почему вы не отвезете меня домой, где меня осмотрит мой доктор? — возмутилась я. Полицейский ничего не ответил.

По крайней мере, у этого врача было доброе лицо.

— Врачи в Суккуре решили, что у вас рак матки, — тихо сказала она мне, осмотрев меня. — Я не уверена. Для обследования надо провести небольшую операцию.

Рак? В двадцать восемь лет? Я недоверчиво посмотрела на нее. Была ли это реальная угроза рака? Или они опять пытаются сбить меня с толку? Как и все приходившие ко мне врачи, она была назначена властями.

Пока мы разговаривали, она царапала что-то на листке из блокнота. В записке, которую она передала мне, было написано: «Не бойтесь. Я ваш друг и сторонник. Вы можете доверять мне». Но как я могла не бояться? У меня не было ни малейшей причины верить хоть кому-нибудь.

— Вы же сказали, что везете меня на Клифтон-Роуд, 70. — Мы продолжали путь по Карачи на джипе. — Это не та дорога.

— Вы поедете домой попозже, — ответили мне. — Сначала мы отвезем вас в Центральную тюрьму Карачи навестить вашу мать.

Я была ужасно взволнована. Я не видела свою мать и не имела от нее известий с момента ареста, то есть уже целый месяц. Мне очень надо было поговорить с ней о состоянии моего здоровья, о положении в ДВД, об обвинениях в предательстве, которые режим, я уверена, собирался предъявить нам.

— Мамочка! Мамочка! — закричала я, ворвавшись в «гостиницу». — Мамочка! Это я — Розанчик! Я здесь!

Ответа нет. Очередная ложь. Потихоньку один из тюремщиков сообщил мне, что мою мать держат в другой камере. Я обратилась с просьбой как можно скорее повидать ее. Ответа я так и не получила. На следующий день вместо того, чтобы отвезти меня на Клифтон-Роуд, 70, полицейские доставили меня в большую государственную больницу. В коридорах было пусто, хотя обычно там толпятся родственники больных, сопровождая их чуть ли не до дверей операционной. Я чувствовала себя такой одинокой, рядом не было никого из моей семьи. Когда я очнулась

после операции, я почувствовала большое облегчение, увидев мою сестру Санам. Хорошо, что власти разрешили хоть ей приехать сюда. Но она была очень огорчена.

Санам:

Больница была огромная. Я не знала, куда мне идти или хотя бы у кого-нибудь узнать про сестру. Как только я называла ее имя, все застывали и начинали таращить на меня глаза. Я ужасно испугалась. Я месяцами не выходила из дома. В это время Пакистан был страшным местом, особенно для человека, носящего фамилию Бхутто, но мне некуда было уехать.

— Пожалуйста, не могли бы вы помочь мне? — спрашивала я то одного, то другого в бесконечных коридорах. «Идите сюда, идите туда», — говорили мне. Вдруг я услышала женский крик.

— Господи, это моя сестра, — сказала я женщине, которая была рядом со мной.

— Это не ваша сестра. Ей здесь должны сделать всего лишь маленькую операцию, — ответила женщина, по всей видимости, агент разведки. — У женщины, которая кричит, начались родовые схватки.

Я все равно знала, что это Розанчик. Я просто была уверена в этом. Я побежала на этот крик и увидела, что ее быстро вывозят из операционной на больничной каталке, в окружении полицейских. У нее в носу и в вене были катетеры. Она была еще в полубессознательном состоянии после наркоза и кричала: «Они хотят убить меня! Они хотят убить папу! Остановите их, пожалуйста, кто-нибудь, остановите их!»

На ее голове я увидела один седой волос. Для меня это был предел, последняя капля. Она провела взаперти столько дней рождения, взаперти, без единой человеческой души рядом. И что она получила за это? Один седой волосок.

Я сидела в палате около ее кровати, пока она не пришла в себя. Я надеялась, они разрешат мне провести с ней хотя бы полдня. Но мне разрешили остаться всего на час. Выходя из больницы, я встретила ее доктора.

— Скажите сестре, что все в порядке, — попросила она меня. Но я не смогла сделать этого. Во второй половине того же дня ее отвезли обратно в Центральную тюрьму Карачи.

В ушах шумит. Темнота то надвигается, то отступает. Я открываю глаза в Центральной тюрьме Карачи и вижу, что

надзирательница, порывшись в моей сумочке, вытаскивает из нее мой маленький блокнот с записями из Суккура.

— Что вы делаете? — спрашиваю я ее заплетающимся языком. Вздрогнув, она глядит на меня.

— Ладно, — говорит она, кладя блокнот обратно в сумку.

Когда она выходит, шестое чувство буквально выталкивает меня из кровати. Я еще в полубессознательном состоянии, меня лихорадит, но я тащусь в ванную и сжигаю там блокнот. Через час она возвращается вместе с полицейским.

— Ваша сестра что-то передала вам. Где это? — требуют они. Так вот что ей показалось!

— Я не знаю, о чем вы говорите, — отвечаю я.

— Вы лжете, — кричат они вдвоем, обыскивая мою сумочку и мои немногочисленные туалеты. Когда они не находят ничего, они злятся еще больше.

— Вставайте. Быстрее, — две надзирательницы кричат на меня утром следующего дня. Я чувствую себя слишком слабой, чтобы вставать.

— Доктор велел мне не двигаться сорок восемь часов, — пытаюсь возразить я. Полицейские, бросая мои вещи в сумку, не обращают внимания на мои слова. Они быстро ведут меня в автомобиль, затем в самолет. Я чувствую, что теряю сознание. Их голоса доносятся до меня издали. Волны темноты накатываются на меня. Пожалуйста, не дайте мне утонуть в них. Я не хочу падать в обморок. Но я проваливаюсь в черноту. Когда через несколько часов сознание возвращается ко мне в моей камере в Суккуре, я слышу голоса.

«Она жива», — говорит кто-то. Вмешивается другой голос: «Ее нельзя было перевозить так быстро после операции». Я опять проваливаюсь в темноту, но на этот раз более спокойно. Я выжила.

Я тогда еще не понимала, насколько мне повезло. Через несколько лет Джам Садык Али, бывший министр в правительстве ПНП, живший в политической ссылке в Лондоне, рассказал мне, что получил полную отчаяния телеграмму из Пакистана, когда меня положили в больницу. «Сделайте что-нибудь, — говорилось в ней. — Они хотят убить ее на операционном столе». Он организовал пресс-конференцию и рассказал об угрозе, нависшей над моей жизнью, таким образом нарушив все планы режима, намеревавшегося убить меня.

В Суккуре через четыре недели после операции я все еще была очень усталой, слабой и слишком изможденной,

чтобы выходить на прогулку. Младший тюремный персонал стал более явно выражать свое сочувствие. С большим риском для себя они потихоньку принесли мне ручку, новый блокнот и несколько номеров «Ньюсуик». Один даже принес мне свежих фруктов. Я старалась потратить как можно больше времени, записывая все события, происходящие за стенами Суккура, делая заметки в моем блокноте, на полях газеты, на любом попавшемся мне клочке бумаги. Надзиратели по вечерам уносили с собой все эти бумажки на случай неожиданной проверки. Если бы в моей камере что-нибудь нашли, они бы потеряли свою работу. По утрам я с нетерпением ждала возвращения моих бумаг.

Заметки из тюремного дневника:

20 апреля, 1981. Поддерживаемая властями газета «Джанг», выходящая на урду, на первой полосе опубликовала интервью Би-би-си с Миром Муртазой Бхутто, который заявил, что во время захвата самолета он находился в Кабуле, но ничего не знал об этом событии до того, как оно произошло. Мир Муртаза сказал, что его мать и сестра, находящиеся в Пакистане, не давали своего согласия на деятельность «Аль-Зульфикар». Он не работал для Пакистанской народной партии и не имеет никаких контактов со своей матерью и сестрой.

21 апреля. Рассвет. Радио Австралии вчера вечером ссылалось на Мира, который якобы сказал недавно в Бомбее, что возглавляемая им организация «Аль-Зульфикар», известная также как «Армия освобождения Пакистана», может перевернуть Пакистан сверху донизу» и намерена прибегнуть к насилию, чтобы сместить нынешнюю власть. По словам Мира, «Аль-Зульфикар» провела по меньшей мере пятьдесят четыре операции в самом Пакистане, включая взрыв бомбы на стадионе в Карачи перед приездом туда Папы Римского. На вопрос, действительно ли штаб организации находится в Кабуле, Мир ответил: «Мы присутствуем здесь, но наш штаб находится в Пакистане».

У меня щемило сердце, когда я записывала эти новости. Если бы только я могла повидаться с Миром, поговорить с ним. Прошло уже пять лет. Я знала, как выглядят он и Шах Наваз, только по фотографиям в газетах. Я лучше других понимала гнев и растерянность Мира, и, тем не менее, его заявления, подлинные или фальсифицированные, делали еще более опас-

ными мою жизнь и жизнь других членов ПНП. Зия мог использовать их как предлог, чтобы расправиться с ПНП. Он не мог добраться до моих братьев, но добраться до нас ему ничего не стоило.

28 апреля Мир был занесен в список «самых опасных» в Пакистане преступников. И вдруг неожиданно во время инспекционной поездки по тюрьмам ко мне приехал заместитель администратора военного положения. Он зашел в мою камеру в сопровождении начальника тюрьмы и каких-то других чиновников. Мы сели.

— Почему меня задержали? — спросила я его.

— Из-за «Аль-Зульфикар», — был ответ.

— Я не имею ничего общего с «Аль-Зульфикар».

— Мы нашли в вашей комнате планы «Аль-Зульфикар», которые полностью раскрывают их намерения и цели. — Я не понимала, о чем он говорит.

— До захвата самолета я даже не слышала об «Аль-Зульфикар», — я стояла на своем.

— Вопрос о вашей причастности к «Аль-Зульфикар», к взрыву бомбы на стадионе и к Лала Асаду будет решать суд.

Лала Асад? Вице-президент студенческого крыла ПНП в Синде? Я знала Лала Асада. Он учился на инженерном факультете в Хайрапуре. Я не могла поверить, что он связан с «Аль-Зульфикар», если вообще такая группа существовала. Было совершенно очевидно, что, используя «Аль-Зульфикар» как повод, власти хотят избавиться от возможно большего количества сторонников ПНП. Заместитель администратора военного положения сказал мне, что еще один человек — Насер Балоч арестован как сообщник захватчиков. Его я знала тоже. Он был профсоюзным представителем ПНП на огромном сталелитейном заводе в Карачи.

После того, как он ушел, я записала в своем дневнике: «Из сегодняшних разговоров я прихожу к выводу, что власти считают, что я связана с Лала Асадом и другими в деле со взрывом на стадионе, который был частью планов «Аль-Зульфикар». Мне с трудом верится в это. Это выглядит так жутко и нереально. Невинowych преследуют, а преступники управляют страной. Что за мир!»

Через два дня этот мир стал еще более зловещим. *«Документы доказывают, что женщины из семьи Бхутто знали о приготовлениях»,* — гласили заголовки в «Джанг».

Мое сердце остановилось на секунду, а по спине пополз холодок. Должно быть, они имеют в виду тот «план», который, по словам заместителя Главного администратора военного положения, якобы был найден в моей комнате. Очевидно, власти готовили почву для очередного судебного процесса над семьей Бхутто.

«Мне кажется, что мы живем в страшном сне», — писала я в своем дневнике 30 апреля. «Сначала шок от известия об «Аль-Зульфикар» и Мире. Потом попытки властей обвинить нас в том, чего не было. Это все кажется нереальным. А впрочем, почему бы и нет? Они сделали то же самое с отцом. Теперь они хотят повторить этот обман, хотя весь мир знает, что это именно обман. Или, может быть, они полагают, что мир не знает этого? В конечном счете главное — это истина. Но какие возможности может предоставить военный суд в поисках этой истины? Зия не смог победить нас политическими средствами, теперь он постарается уничтожить нас физически». Тогда я еще и не подозревала, до какой степени жестокости может прийти режим в своих стараниях уничтожить нас.

Центр Балдия и отдел 555 в Карачи. Лахорский форт и казармы Бердвуд в Лахоре. Форт Атток на севере Пенджаба. Военно-воздушная база Чаклала в окрестностях Равальпинди. Тюрьма Мач и лагерь Хали, Белуджистан. Названия этих центров пыток постепенно вошли и в жизнь сторонников ПНП, в проникнутые беспокойством доклады «Эмнести интернэшнл» и других гуманитарных организаций. И все для того, чтобы доказать причастность ПНП и нас с матерью к «Аль-Зульфикар».

Пройдут годы, прежде чем я узнаю подробности происходивших в этих центрах пыток. Цепи. Глыбы льда. Жгучий перец, который вставляли узникам в задний проход. Мне становилось дурно, когда я слышала, что творили над моими друзьями и коллегами, когда приходилось осознать, на какую жестокость способно человеческое существо. Но страдания, которым подвергались люди при жестоком военном режиме Зии уль-Хака, должны быть зафиксированы.

Файзал Хайят, юрист, землевладелец, бывший член Национальной ассамблеи из Пенджаба:

12 апреля 1981 года в 3.30 утра четверста полицейских во главе со старшим полицейским и полковником военной

разведки окружили мой дом в Лахоре. Избив слуг, они ворвались в дом. Они вытащили из спальни мою сестру, которая выздоравливала после операции на печени. Они выволокли мою мать из ее спальни и сломали дверь в моей.

— Здесь находится штаб «Аль-Зульфикар», — сказали они, схватив меня за шею. — Мы должны конфисковать установки для запуска ракет, базуки, пулеметы и боеприпасы, которые спрятаны в подвале вашего дома. — Я смотрел на них, потеряв дар речи.

— Обыщите все, что угодно, — ответил я. — Это семейный дом, а не штаб. Да и подвала в нашем доме нет. — Все равно они меня арестовали.

Первые двадцать четыре часа в тюрьме они мне не давали ни воды, ни еды. Потом мне завязали глаза и отвезли в Лахорский форт, старую крепость с кирпичными стенами, построенную 450 лет назад во времена Великих Моголов. Шах Джахан, создатель Тадж Махала, построил в Лахорском форте прелестный Дворец зеркал. Мы с семьей любили прогуливаться в тени летнего павильона, где еще при могольских императорах были пруды с водяными лилиями. Но после захвата самолета Лахорский форт прославился проводившимися там пытками. Он стал пакистанским аналогом французской Бастилии. Нас, арестованных в одно и то же время, было там двадцать пять — тридцать человек: Джахангир Бадар, помощник генерального секретаря ПНП в Пенджабе, Шаукат Махмуд, генеральный секретарь, Назим Шах, наш финансовый секретарь, Мухтар Аван, бывший министр, правительственные чиновники высоких рангов. Дела наши были плохи, очень плохи.

Раз в два дня меня водили на допрос. Я никогда не знал точно, когда они придут. Они приходили и в 6 утра, и вечером, и глубокой ночью. Невозможно угадать. Хотя мы уже находились в тюрьме, на нас надевали наручники и вели к мучителям — бригадиру Рахибу Куреши, начальнику штаба администратора военного положения Пенджаба, и Абдулу Кайому, руководителю отдела разведки провинции. На всю жизнь я запомнил имена и лица этих людей.

— Мы даем тебе возможность, которая представляется только раз в жизни, — говорили они мне, когда я был вынужден стоять перед ними час за часом. — Ты еще молод. Ты из хорошей семьи. У тебя все впереди. Ты должен сделать только одну вещь — дать показания, что Бегам Нусрат Бхутто и мисс Беназир Бхутто замешаны в дело с захватом самолета.

Я отказался. Они повышали ставки.

— Ты ведь интересуешься политикой, — говорили они. — Мы сделаем тебя министром.

— Ты связан с текстильной промышленностью. Мы отменили разрешение на открытие новой фабрики из-за твоей политической деятельности, теперь мы восстановим это разрешение. Ты разбогатеешь.

Я продолжал стоять на своем, и они сменили тактику.

— Мы можем загнать тебя за решетку на двадцать пять лет, — угрожали они. — Мы — правительство военного положения. Мы не нуждаемся в доказательствах. Мы можем вынести приговор тебе прямо здесь и сейчас же.

Три месяца я провел взаперти в камере размером пять на четыре фута. Мой рост — шесть футов, и я не мог вытянуться во всю длину ни днем, ни ночью. В моем блоке было четыре одинаковые камеры, выходящие открытыми зарешеченными стенами на запад. Начиная с полудня солнце безжалостно поджаривало нас, температура в камере превышала 45 градусов. От жары не было спасения. Вентиляторы на подставках были установлены в коридорах таким образом, что, пока воздух доходил до нас, казалось, он уже горит.

Губы у меня распухли и так болели, что я не мог проглотить глоток воды. Кожа покрылась волдырями, и по всему телу, от лица до пяток, пошли черные пятна. Я весь был в болячках и язвах. Однажды после полудня я в отчаянии попытался натянуть рубашку на решетку, чтобы хоть как-то укрыться от солнца. Стража забрала ее, и я получил свою рубашку только на третий день.

В нашем блоке камер один за другим заключенные начали умирать от тепловых ударов. Я слышал, как они в бессознательном состоянии выкрикивали что-то в бреду. Мне было тогда всего двадцать семь лет, я был самый молодой из них и продержался дольше всех. Но через два месяца это случилось и со мной. Очнувшись через два дня, я оказался в подвальной камере, которую тюремные власти превратили во временный госпиталь. Когда врачи решили, что я полностью пришел в себя, меня вернули опять в ту же камеру.

Вскоре ночи стали еще большей мукой, чем дни. Ни у кого из нас не было постельных принадлежностей, даже простыней. Нам приходилось спать, скорчившись на выщербленном цементном полу рядом с открытой зловонной дырой, которая служила нам туалетом. Мы подвергались

набегам муравьев, тараканов, ящериц, крыс, в общем, всех насекомых и грызунов, существующих на земле. И не было передышки от жары. Тюремные начальники вмонтировали 500-ваттные лампы в потолок семифутовой высоты и оставляли их гореть всю ночь. Они позаботились о том, чтобы розетки были глубоко утоплены в потолке и мы не могли покончить самоубийством, схватив руками провода. Я думаю, если бы оказалось возможным, я бы решился на это.

Мое здоровье стремительно ухудшалось. Мы жили в условиях полного отсутствия санитарии, так что удивительно, что вообще кто-то выжил. Жалкая еда, которую нам приносили и которую мы за десять секунд должны были схватить с подноса через решетку камеры, состояла из хлеба вперемешку с камушками и песком и жидкого карри, покрытого слоем мух. Я постоянно страдал от бесконечных приступов дизентерии, малярии, холеры. Как-то температура у меня поднялась почти до 41 градуса. Голова раскалывалась от боли, свет ночной лампы вызывал резь в глазах, мучаясь, я не мог сдерживать себя от криков. Я то горел в жару, то трясясь от холода, постоянно меня рвало. Целыми днями я лежал в своих рвотных массах.

— Посмотри, кто пришел навестить тебя, — сказали мне однажды бригадир Куреши и генерал-майор Кайюм. Передо мной в камере для допросов смутно виднелась знакомая фигура. Оказывается, они привели мою мать.

— Двадцать пять лет он проведет в тюрьме, — пообещали матери администраторы военного положения. — Двадцать пять лет, если он не согласится дать показания против семьи Бхутто.

Лицо матери было залито слезами. Они уже разбили жизнь этой женщины; ее зятя после пыток отправили в ссылку, почти расправились с сыном, а земля на наших фамильных угодьях пересохла и порыжела, так как власти отрезали нас от источника водоснабжения. Но, несмотря на то, что она была очень доброй и мягкосердечной, моя мать проявила такую внутреннюю силу, о которой я до той поры и не подозревал.

— Не позволяй им запугать тебя, Файзал, — сказала она мне в их присутствии. — Не позволяй им заставить тебя идти против собственной воли. Ты должен делать то, что тебе подсказывает совесть.

— Вы моя надежда на Аллаха, — ответил я ей. — Этих людей вряд ли можно назвать человеческими существами,

Если по воле Аллаха я должен буду провести двадцать пять лет в тюрьме — что ж, я ничего не могу с этим поделать. Но я не предам доверия семьи Бхутто.

Я не мог их предать. И никто из политических заключенных, запертых в Лахорском форте, не сделал этого. Мы все происходили из хороших семей, которые в течение многих поколений служили либо религии, либо государству. Мы все были образованными людьми. Мы пользовались уважением в обществе. Мы просто не могли солгать и жить дальше обесчещенными, несмотря на все подкупы и угрозы властей.

Ни один из бывших государственных служащих не согласился дать показания против семьи Бхутто. Через три месяца власти отступились от нас и перевели в местные тюрьмы. Я попал в тюрьму в Гуджранвале, в сорока милях к северу от Лахора, где я провел еще два месяца. Власти не осмелились освободить нас и вернуть в общество прямо из Лахорского форта. Даже их смущало наше состояние.

Кази Султан Махмуд, бывший работник отеля «Флэшменз» в Равальпинди, генеральный секретарь отделения ПНП в Равальпинди:

Я уже отбыл один год строгого тюремного заключения в Центральной тюрьме Мианвали за организацию демонстраций протеста против смертного приговора председателю Бхутто. Кроме того, меня уволили без компенсации из гостиницы за то, что я связан с ПНП. После захвата самолета меня опять арестовали и увезли сначала в тюрьму Равальпинди, затем Гуджранвала, а потом в Лахорский форт. Это было страшное место.

— Расскажи о связи мисс Бхутто с «Аль-Зульфикар», — опять и опять тюремщики задавали мне один и тот же вопрос. Когда я сказал, что она никогда не говорила со мной об этом и что я ничего не знал о захвате самолета, они выпороли меня кожаной плетью и избили бамбуковыми дубинками по голове. Но это было всего лишь начало.

Я очень маленького роста, всего три фута, и вешу сорок восемь фунтов. Поэтому им легко было издеваться надо мной. Когда я отказался поддержать их лживые обвинения, они надели на меня тяжелые наручники и заставили поднять руки над головой. Руки у меня короткие, и я упал от усилий, они же начали топтать меня, задыхаясь от хохота. А еще им нравилось схватить меня за кожу на животе, а потом либо швырнуть меня на землю, либо

толкать от одного к другому, перебрасываясь мной, как мячом.

Они завязали мне глаза и увели в неизвестном направлении, я не знаю, куда.

— Ты умрешь сейчас же, если не подтвердишь, что женщины Бхутто были связаны с «Аль-Зульфикар», — сказали они мне. Когда я отказался, они схватили меня за одну ногу и повесили за нее на высокую тюремную стену.

— Зачем тебе умирать? — спрашивали они. — Ты только подпиши признание, и все.

Я им ответил:

— Давайте, убивайте меня. Я не могу сказать вам то, чего не знаю.

Они меня постоянно пытали таким образом в течение тридцати пяти дней. Одной из их любимых шуток была такая: они заставляли меня стоять раздетым перед ними, потом начинали размахивать палкой между моими ногами и требовали держаться за нее. Я не мог оставаться в таком положении даже две-три минуты и падал лицом на пол. Кровь текла из носа и изо рта, а они смеялись.

— О, ты очень важный начальник, — дразнили они меня. — Что же мистеру Бхутто понравилось в тебе? Может, это что-нибудь особенное? Ты из тех людей, которых все должны ненавидеть. Ты вовсе не красавчик. А что-нибудь особенное — это, наверное, то, что ты тайно был связан с «Аль-Зульфикар». — Они пинали меня ногами и избивали. Раны на спине, на ногах и руках воспалились, но они не разрешали мне обратиться к врачу.

Следующие тридцать пять дней я провел в одиночном заключении, запертый в полной темноте. Меня бросили в грязь, как будто живым в могилу. Мне почти не давали еды, только ломтик хлеба и иногда лепешку чапати с жидким чечевичным соусом. Они швыряли мне еду через маленькое отверстие в двери камеры. Я не мог дотянуться до этого отверстия, и мне приходилось выгребать еду из грязи на полу. Они точно так же швыряли мне единственную чашку чая в день. Я пытался поймать чашку, но почти всегда чай разливался. Если мне везло, там оставался один или два глотка. Голова и руки были покрыты коростой.

Когда через два месяца меня освободили, я выступил на собрании с речью в пользу других политических в Равальпинди. В основном я говорил об ужасных условиях и жестоким обращении с политическими заключенными при генерале Зие. «Гардиан» передала мой рассказ в Англию, а Ассо-

шиэйтед Пресс распространило его по всему миру. Меня же опять арестовали и держали в одиночке в тюрьме Кот-Лакхпат два года и четыре месяца. Затем военный дисциплинарный суд приговорил меня к трем годам каторжных работ в Центральной тюрьме Мултана, затем в тюрьме Атток. Я вышел из тюрьмы только 15 июня 1985 года.

Правительство занесло меня в «черный список», поэтому с тех пор я жил только благодаря помощи моих племянников. Но я продолжал работать для ПНП. Пока я жив, я не сдамся. Я никогда не оставлю Беназир Бхутто в беде.

Первез Али Шах, в настоящее время возглавляющий отделение ПНП в Синде, тогда один из активистов, руководящих членов ПНП в Синде и бывший издатель и главный редактор еженедельного журнала «Джавед»:

24 марта 1981 года я играл в крикет с моими сыновьями, когда к дому подъехал автомобиль без номеров и одетые в штатское мужчины велели мне сесть в него. Они сказали, что они из полиции, но ордера на арест у них не было. Они забрали меня, не сказав моей семье, куда меня повезут.

Меня до этого арестовывали уже три раза, причем первый раз вместе с моим 62-летним отцом в тот день 1 октября 1977 года, когда Зия отменил выборы. Тогда машины и джипы, набитые полицейскими, подъехали к нашему дому в Хайрапуре, во внутреннем Синде, где я выставил свою кандидатуру на выборах в Провинциальную ассамблею от ПНП. «Идите», — приказали нам полицейские, присоединив наручниками руку отца к моей руке, и заставили нас так пройти по улицам, а джипы и автомобили ехали вслед за нами. Люди на тротуарах останавливались, с изумлением глядя на нас. Даже с обычными преступниками не принято так обращаться, не говоря уже о людях из порядочных семей. Сначала мне было так стыдно, что я вытащил носовой платок и попытался прикрыть наручники. Но когда я увидел слезы на глазах людей, я убрал этот платок. После того, как мы провели двадцать пять дней в полицейском участке, причем спать нам пришлось на полу, майор освободил меня, но отца приговорили к году заключения в Суккурской тюрьме.

Через год, когда людей в Хайрапуре арестовывали тысячами за то, что они требовали освобождения м-ра Бхутто, они пришли за мной опять. На этот раз меня не было дома, и они обыскали весь дом, зайдя даже на

женскую половину, куда еще ни разу не входил ни один посторонний мужчина. Они вытащили одежду из шкафов, выбросили содержимое ящиков на пол. Наконец, меня арестовали на свадьбе моего друга и вместе с еще двадцатью одним человеком посадили в камеру размером десять на семь футов. Меня обвинили в поджоге. Когда же они не смогли найти свидетелей, они приговорили меня к году тюремного заключения за подстрекательство толпы.

Но самым худшим был арест в 1981 году. Мне завязали глаза и в течение шести часов везли из Карачи в Центральную тюрьму Хайрапура, где три дня держали без еды. Затем меня перевезли опять, сначала в Хайдарабад, а посреди ночи отвезли в полицейский участок Фрер в Карачи.

— Дайте мне хоть чашку чая, — умолял я полицейских.

— Вы получите все, что захотите, в 555-м, — отвечали мне.

555-й был известным местом, пользующимся дурной славой, — штабом Центрального разведывательного управления в Карачи.

Опять меня затащили в полицейский фургон. На этот раз меня втолкнули в крошечную тьму, в камеру, потолка которой я касался головой.

— Осторожнее, — услышал я голоса, когда нечаянно наступил на других арестованных.

Я не знаю, сколько времени мы все, сгрудившись, сидели там в крошечной тьме.

Меня отвели к полковнику Салиму, начальнику межвойсковой разведки. Он подал мне листок бумаги и карандаш.

— Напишите, что мисс Беназир руководила операцией на стадионе, когда взорвалась бомба, а Бегам Бхутто связана с захватом самолета, — сказал он.

— Как я могу писать то, о чем ничего не знаю? — ответил я.

Он настаивал. Я отказывался. Тогда он позвал Лала Хана, известного в 555-м палача, который привязал мои ноги к деревянной стойке и начал бить меня по коленным чашечкам длинной деревянной палкой. Боль становилась сильнее и сильнее, пока слезы, наконец, не потекли по моим щекам.

— Но я действительно ничего не знаю ни про взрыв, ни про захват самолета, — молил я.

Лала продолжал бить меня. Когда он перестал, я не мог двинуть ногами.

— Если ты не встанешь, ты никогда больше не сможешь ходить, — холодно предупредил он.

Меня перевели в другую камеру. Часто меня приходили допрашивать сотрудники четырех разных отделов разведки. Но все они хотели, чтобы я сказал, что Беназир и Бегам-сахиб замешаны в преступлениях. Я отказывался, и тогда они звали Лала.

Иногда они заставляли меня смотреть, как он вешает других вверх ногами и бьет до тех пор, пока они не начинают кричать. Иногда он меня подвешивал к потолку так, что я только кончиками пальцев ног мог достать до пола, и оставлял в таком положении на много часов. Часто по ночам стражники, караулившие мою камеру, не давали мне спать, задавая глупые вопросы, вроде того, как меня зовут, а если я не отвечал, тыкали в меня палками. Когда от моего ежедневного рациона, состоявшего из двух стаканов воды и жидкой чечевицы, я был уже полностью истощен, меня приглашали на обед со следователем.

— Посмотрите на себя. Вы образованный человек из приличной семьи, — говорил он мне, когда я сидел в своей вонючей тюремной одежде у стола, уставленного обильным обедом и чашками горячего чая. — Зачем вам осложнять жизнь? Вы только скажите, что Беназир и Бегам Бхутто были связаны с угонщиками самолета, и все будет кончено. — Когда я отказывался, меня уводили, и пытки продолжались.

Через три месяца меня перевели в Центральную тюрьму Карачи, а затем в Хайрапур, где моей семье позволили навещать меня раз в месяц. За все семь раз, что меня таскали в военный суд, власти не смогли ни представить свидетелей, ни сформулировать обвинение. Наконец, в феврале 1985 года режим приговорил меня к тюремному заключению сроком на год за «распространение политических взглядов, наносящих ущерб идеологии, целостности и безопасности Пакистана». Никакой компенсации за почти четыре года, уже проведенных в тюрьме, я не получил. У моей жены был нервный срыв от переутомления после того, как она пыталась сохранить наше небольшое предприятие в Карачи, причем на ней были еще дети.

«Эмнести интернэшнл» признала Первеза Али Шаха «узником совести», как и многих других, пострадавших в то ужасное время после образования ДВД и захвата самолета. По сведениям «Эмнести», в 1981 году количество политических узников в Пакистане, подвергающихся пыткам, невероятно воз-

росло. В большинстве своем жертвами оказывались студенты, активисты политических партий, профсоюзные работники и юристы, принадлежавшие к разным партиям. Но после захвата самолета появилась новая категория узников. «В 1981 году впервые «Эмнести» получила сообщения прессы о том, что пыткам подвергаются четверо женщин — политических заключенных, — говорилось в отчете «Эмнести» за этот период. — Назира Рана и Бегам Ариф Бхатти, жены деятелей ПНП; Фархануа Бухари, член ПНП, и миссис Сафуран, мать шестерых детей». Я всех их знала.

Назира Рана, 13 апреля, Лахор:

В начале апреля, когда мой муж, член ДВД, находился в Карачи, в мою гостиную вдруг ворвались полицейские.

— Кто вы? — спросила я в испуге человека, приставившего дуло к моей голове. На нем не было формы, он был одет в белую рубашку с отложным воротником и черные брюки. У меня перед глазами до сих пор его золотая цепочка на шее.

— Я скажу вам, кто я, — грозно сказал он. — Я майор пакистанской армии.

Он надавил дулом на лоб, мне было больно. Я попыталась отвести оружие. Тогда он ударил меня прикладом. Он сломал мне руку и палец. Моя двенадцатилетняя дочь кричала от ужаса.

— Где твой муж? — требовал он ответа, а остальные в это время обшаривали дом.

— Его здесь нет, — ответила я. Он опять замахнулся прикладом.

— Где дверь в секретный ход?

— Здесь нет никаких секретных ходов.

Он запер нас с дочерью в комнате, и они наконец ушли.

Через пятнадцать дней они явились опять.

— Пойдемте с нами. Вы арестованы, — объявили помощник начальника полиции и местный судья.

— Где ордера на арест? — спросила я их.

— Мы сами и есть ордера, — был ответ.

Они забрали меня в тюрьму, где мне пришлось простоять на ногах всю ночь. Каждый час следователи менялись.

— Ваш муж — член «Аль-Зульфикар», так же как и Беназир Бхутто и Бегам Бхутто. Мы знаем это наверняка. Подтвердите. Подтвердите. Часы проходили. Но я не сдавалась. Чтобы они ни говорили, я стояла на своем.

У меня начали подкашиваться ноги. Я оперлась на стул, стоящий около меня.

— Убирайся! — заорали они.

Через два дня меня перевели в Лахорский форт и поместили в крохотную камеру с другой политической узницей, Бегам Бхатти, чей муж в свое время был министром в правительстве одной провинции и возглавлял налоговое ведомство в Пенджабе.

Бегам Бхатти:

Нас допрашивали представители одиннадцати государственных служб.

— Где ваши мужья? — орали они. — Они террористы, они работают вместе с обеими Бхутто.

Тюремщики не давали нам заснуть три ночи подряд.

— Не спать, миссис Рана, — кричали они, стуча дубинками по решеткам. — Проснуться, Бегам Бхатти.

На следующий день нас отвезли к генерал-майору Каюму, начальнику разведки. Те же самые вопросы. Те же самые ответы. В какой-то момент генерал-майор Каюм схватил меня за волосы и стукнул головой о стену.

— Где твой муж? — орал он.

— Я не знаю.

Он прижигал нам руки горящими сигаретами до тех пор, пока не начинало пахнуть горелым мясом.

— Где ваши мужья?

Я начала терять сознание. До меня донесся крик Назиры.

— Мы ломаем вас! — закричал генерал-майор, и это было последним, что я слышала, перед тем как провалиться в темноту.

Назира:

Мы просидели в Лахорском форте пять недель в самое жаркое время года. Солнце пекло безжалостно. «Теперь вы расскажете нам то, чего мы добиваемся», — сказали они, оставив нас в полдень под стражей посреди тюремного двора. Мы стояли там в течение нескольких часов; черные круги, пляшущие перед глазами, нестерпимая головная боль, распухший язык. Стражники, хохоча, пили воду перед нами. Прошел час. Другой. Кто знает, сколько мы простояли там. Стража менялась каждые три часа.

Три раза нас приводили в специальную комнату, оборачивали вокруг запястий мокрые губки и присоединяли

к ним провода. Через каждые несколько секунд включали ток, и один электрический удар следовал за другим. Тело дергалось, сводило судорогой. Особенно чувствительной была моя сломанная рука в гипсе. Наконец я закричала, я не могла больше сдерживаться. «Мы будем пытаться вашего отца, — угрожали они. — Мы приведем сюда вашу дочь». пытка продолжалась два часа.

Бегам Бхатти:

В камере не было ни кровати, ни постельных принадлежностей. Нам дали мешки из рогожи. Когда я хотела постелить мешок на пол, из него выползла трехфутовая змея. «Не кричи», — прошептала я Назире, а больше самой себе. Почему-то змея меня ужасно разозлила. Я схватила ее в мешок, ударила о стену, а затем свернула ей голову. Когда надзирательница увидела это, она завизжала.

Тюремное начальство попыталось заставить нас подписать заявление, что они не несут ответственности за змею, что она сама заползла в камеру. Мы отказались подписывать его.

Дайте показания на Беназир. На Бегам Бхутто. На своих мужей. Допросы продолжались. «Если бы ваша жена оказалась в моем положении, донесла бы она на вас?» — спросила я следователя. «Да», — ответил он. «Значит, у нее нет совести», — сказала я.

Назира:

Мне потихоньку сказал один из охранников, что моего мужа схватили и привезли в форт. Я не знаю, что они делали с ним. Не знаю и не хочу знать. После пыток у него был сердечный приступ. Он посинел и начал задыхаться. Они положили его в госпиталь — не хотели, чтобы люди говорили, что он умер под пытками. Это просто чудо, что он выжил.

Находясь в заточении в Суккуре, я ничего не знала о пытках. Я не знала и того, что доктор Ниязи по настоянию своей жены и родственников после захвата самолета бежал из Пакистана буквально за минуту до того, как полиция пришла арестовать его. В Кабуле с ним произошел почти смертельный сердечный приступ, он выжил только благодаря операции шунтирования, которую ему сделали в Лондоне, где он и оставался до 1988 года.

Ясмин тоже лишь чудом избежала ареста. Полицейские спросили у ворот их дома: «Ясмин Ниязи дома?» И у нее хватило духа сказать: «Нет». Когда полиция решила арестовать ее мать вместо нее, между Ясмин и миссис Ниязи произошел короткий и тихий, но решительный спор. Так, чтобы не слышали полицейские, Ясмин сказала матери: «Я скажу им, кто я». «Ясмин, если ты сделаешь это, я умру. Я окажусь либо за решеткой, либо в гробу. Выбирай, что для тебя лучше», — ответила она. Поэтому Ясмин спряталась, когда миссис Ниязи забрали в Центральную тюрьму Равальпинди, где ее поместили вместе с тремя другими женщинами в камеру, расположенную как раз напротив камеры смертников, где сидел мой отец. За пять дней, что миссис Ниязи провела в тюрьме, камеру заполнили арестованными женщинами так плотно, что им приходилось спать по очереди.

Ясмин скрывалась три месяца, полиция продолжала искать ее. Ей угрожала большая опасность. Доктор Ниязи был очень болен и беспокоился за дочь. Он купил ей билет на самолет пакистанской авиалинии до Лондона. Но как она сможет выбраться из страны? После освобождения из тюрьмы миссис Ниязи позвонила в посольство Великобритании. К счастью, Ясмин родилась в Англии, и посольство согласилось выдать ей британский паспорт в течение сорока восьми часов при условии, что миссис Ниязи найдет тот паспорт, по которому Ясмин путешествовала с ней, будучи несовершеннолетней. Миссис Ниязи нашла паспорт восемнадцатилетней давности на дне какой-то коробки в подвале дома.

— Я не могла поехать в аэропорт с Ясмин, так как боялась, что меня узнают. Я одела на нее покрывало и отправила ее с моей сестрой. — Даже годы спустя, когда миссис Ниязи рассказывала мне эту историю, ее голос дрожал. — Ясмин разыскивали по личному указанию Зии. В Исламабаде тоже был подписан ордер на ее арест. Ее разыскивали во всех провинциях. Не было ни одного списка, в котором не было бы ее имени. Она спаслась только милостью Аллаха.

— В вашем паспорте нет въездной визы, — сказал Ясмин в аэропорту офицер паспортного контроля.

— Это очень странно, — спокойно, — не теряя уверенности, ответила Ясмин. — Должно быть, ошибка.

Она отошла в сторону, чтобы найти свое имя в списке, и в это время внезапно во всем аэропорту погас свет. Более минуты все было погружено во тьму, среди пассажиров, пы-

тающихся найти свои рейсы, началась паника. Когда опять включили свет, этот чиновник стал так спешить, что просто поставил штамп в паспорт и пропустил ее.

Ясмин благополучно прилетела в Лондон, где позднее вышла замуж за моего двоюродного брата Тарика, тоже политического иммигранта. Они с двумя маленькими детьми все еще живут там.

Жара добралась до Суккура в мае: иссушающая, обжигающая жара, превращавшая камеру в пекло. Моя открытая всем ветрам камера постоянно продувалась потоками воздуха, нагретого до 45—50 градусов, из окружающей нас пустыни во внутреннем Синде. В камере кружились песчаные вихри. Тело, влажное от пота, было облеплено песком.

Кожа потрескалась и шелушилась, слезая с рук клочьями. На лице появились нарывы. Пот попадал на них, и тогда начиналось жжение, как от кислоты. Мои волосы, прежде всегда очень густые, выпадали. У меня не было зеркала, но я чувствовала, ощупывая голову кончиками пальцев, — влажная, липкая и лысоватая. Каждое утро на подушке я обнаруживала пучки волос.

Армады насекомых вторгались в мою камеру. Саранча. Москиты. Жалящие мухи. Осы. Они все время жужжали у лица и ползали по ногам. Я размахивала руками, чтобы отпугнуть их, но их было так много, что все было бесполезно. Насекомые проникали через трещины в полу и через решетчатые стены со двора. Большие черные муравьи. Тараканы. Полчища маленьких красных муравьев. Пауки. Ночью я натягивала простыню на голову, чтобы спастись от их укусов, но было нечем дышать, и я опять отбрасывала ее.

Вода. Мне снилась прохладная, чистая вода. Вода, которую мне давали для питья в тюрьме, была светло-коричневого или желтого цвета. Она, воняла протухшими яйцами, даже на вкус не казалась водой и не утоляла жажду. Но свежую воду, которую мне пытался передать Муджиб, юрист, живущий неподалеку, тюремное начальство ко мне не пропустило.

— Это для вашего же блага, — сказал мне тюремный офицер. — Эти люди — ваши враги. Ваши собственные партийные лидеры хотят убрать вас с дороги.

В другой раз он сказал мне, что апельсины, которые Муджиб принес мне, он съел сам.

— Это для того, чтобы спасти вашу жизнь. Он мог нашить их ядом, — добавил он. Это был просто театр абсурда.

— Пожалуйста, дайте мне какое-нибудь средство от насекомых, — попросила я тюремных начальников.

— О, нет, — отвечали они. — Это ядовитые средства. Мы не хотели бы, чтобы с вами что-нибудь случилось.

Почему разговор все время крутился вокруг яда? Я вдруг поняла, что они пытаются внушить мне мысль о самоубийстве. Для режима не было бы лучшего выхода из положения, чем объявить, что Беназир Бхутто покончила жизнь самоубийством. И проблема решена. Доказательство явилось мне в виде бутылочки с фенилом, сильно действующим моющим средством, которое все время оставляли в моей камере. На этикетке было изображение черепа и скрещенных костей.

— Не вздумайте оставить это в ее камере, — каждый раз громко говорил начальник тюрьмы женщине, убиравшей в камере. — Не выпускайте фенил из виду. Она может захотеть покончить со своим жалким существованием. — Но бутылочка с ядом все время была на своем месте.

Пытались ли они заморочить мне голову? Меня опять начало беспокоить ухо. Хроническое недомогание ухудшилось из-за пыли и пота, струящегося все время по моему лицу. Но тюремный доктор твердил мне, что все в порядке.

— Вы находитесь в одиночном заключении и испытываете сильный стресс, — успокаивал он меня. — Многие люди в вашем положении испытывают воображаемые боли и недомогания, хотя на самом деле ничего нет.

Я уже почти поверила ему. Может быть, и вправду я придумала это шелканье в ухе, которое беспокоило меня днем и ночью. Если бы только не было так жарко.

«Мой дорогой Розанчик, — в письме от 23 мая из Центральной тюрьмы Карачи мама делилась со мной советами, как избавиться от жары. — Три или четыре раза в день я обливаюсь водой. Попробуй делать то же самое. Сначала я наклоняю голову и выливаю несколько кружек воды на затылок и на макушку, а затем обливаюсь целиком, причем в одежде. Потом я сажусь на кровать под вентилятор, и, пока одежда высыхает, я чувствую прохладу. Даже после того, как одежда уже высохла, это ощущение сохраняется некоторое время. Таким способом ты спасешься от потницы. Это замечательное средство. Я очень рекомендую тебе попробовать его... С любовью, твоя мама».

Я воспользовалась ее советом и начала каждое утро опрокидывать целое ведро воды себе на голову. В Суккуре

было гораздо жарче, чем в Карачи, и у меня в камере не было вентилятора. Но в тот час, когда моя одежда высыхала на горячем ветру, я чувствовала себя прилично и совершенно не понимала, что, чем больше воды попадает мне в ухо, тем больше распространяется инфекция.

— Вам все это кажется, — продолжал меня успокаивать тюремный врач. Он не был специалистом в этой области. Я так и не узнала, нарочно он делал все это или из-за своего невежества.

Считаю до 250 — бег на месте, сорок наклонов. Взмахи руками. Двадцать глубоких вдохов. Прочитать газеты. Не обращать внимания на продолжающиеся попытки обвинить нас с матерью в участии в захвате самолета. Вместо этого заняться набором для вышивания — ткань, нитки и образцы вышивки, — который мне прислали Муджиб и его жена Алмас.

«Я закончила вышивать скатерть для столика на колесиках и четыре салфетки, — отметила я в своем дневнике в середине мая. — Когда я буду на свободе, я смогу всем надоедать, показывая и рассказывая: «Вот это я сделала в тюрьме». А если говорить серьезно, то работа с иглой требует сосредоточенности, которая не позволяет мыслям разбредаться. Более того, в вакууме одиночного заключения она помогает концентрировать внимание, является хоть каким-то занятием, чем-то заполняющим день, и поэтому имеет целительное воздействие».

Я заставляла себя вести записи в дневнике по крайней мере в течение часа в день. «Франсуа Миттеран, избранный Францией, стал первым президентом-социалистом в послевоенной Франции», — записывала я в дневнике 11 мая. «Англо-американские средства массовой информации ведут совершенно разнузданную кампанию против Жискара. Эти выборы имеют далеко идущие последствия для политики в Европе. Франция, избрав социалистическую политику, может запутаться во внутренних противоречиях. Это подорвет опору агрессивной внешней политики Франции. Кто заменит теперь французское влияние в арабских странах и придет на место Франции в Африке? Как будут складываться отношения Франции с Федеративной Республикой Германией теперь, когда нарушилось партнерство «технократов» и «друзей», Жискара и Шмидта? Каким окажется эффект провала в Италии?»

В тот же день я отметила и смерть Бобби Сэндза, ирландского политического диссидента. «После шестидесяти шести дней голодовки протеста Бобби Сэндз погиб в

британской тюрьме... Для британцев Бобби Сэндз был террористом. Но для своей страны Бобби Сэндз был борцом за свободу. Такова мировая история». Однако довольно часто я ничего не записывала по несколько дней подряд. «Я не веду регулярные записи в течение некоторого времени», — упрекала я в дневнике сама себя 8 июня. «Не нужно задавать себе вопрос, есть ли такие события, о которых стоит писать. Всегда можно подвести итоги газетных сообщений. Без письма теряешь нить мысли, навык использования слов и предложений и в итоге лишаешься способности выражать свои мысли».

Медленно, но верно моя жизнь вошла в какую-то колею. «Каждый час тянется дольше, чем день или неделя, и, несмотря ни на что, я держусь, — писала я 11 июня. — Нельзя сказать «приспособилась». Я не могу приспособиться к ситуации, которая просто чудовищна. Приспособиться — значит сдаться. Я же сопротивлялась. Каждая минута тянулась невыносимо долго, но и она наконец проходила. Только Аллах помог мне вынести это испытание. Без Него я бы погибла».

Срок моего заключения в Суккуре истекал в полдень 12 мая. Но я не знала, освободят меня или будут держать и дальше, чтобы привлечь к суду и казнить. «В конце концов приходит смерть, и я не боюсь ее», — писала я в дневнике. «Звери, управляющие сейчас страной, могут уничтожить людей. Они не могут уничтожить идею. Идея демократии будет жить. И в неизбежной победе демократии мы оживем вновь. По крайней мере, я избавлюсь от однообразной тоски одиночного заключения, где человек влачит существование, но не живет».

В 11 часов того дня, когда должно было закончиться мое заключение, пришел ордер от заместителя администратора военного положения. Он писал, что «с удовольствием» представляет мне новый ордер на арест. Мое заточение в Суккуре продлевается до 12 сентября.

21 июня, 1981. Мой 28-й день рождения. Центральная тюрьма Суккура.

Моя сестра Санам:

Мне было разрешено свидание с сестрой в ее день рождения, уже третий день рождения, который она проводит в заключении. Мой рейс из Карачи задержался, и у меня оставался только час на свидание. Когда я наконец добралась до ее камеры, я была вся в слезах, так я была расстроена. Меня обыскали несколько раз. Тюремные

надзирательницы разворошили мою прическу, хотя в то время у меня была короткая стрижка, вывернули мою сумку, пролистали каждую страницу журнала «Космополитэн», который я привезла сестре. Они даже заставили меня попробовать еду, которую я неслась ей, чтобы убедиться, что она не отравлена. «У меня совсем не остается времени на свидание», — протестовала я, когда тюремщики неспешно отпирали и запирали четверо ворот, через которые надо было пройти к ней от тюремной стены. Они просто хотели досадить ей, даже в день рождения.

Она приняла меня так, как будто она была любезная хозяйка, а я — почетная гостья. В этот день какой-то друг из Суккура прислал ей апельсины, и она предложила мне один, извинившись, что у нее нет тарелки, на которую его надо положить, и ножа, чтобы его почистить. «Они боятся, что я вскрою себе вены», — улыбнулась она. Мне стало так стыдно. Я сидела тут, плача, жалуясь и огорчаясь из-за такого неудачного путешествия. А она жила здесь, в жарком аду Суккура, и ни на что не жаловалась. Она выглядела ужасно больной и худой. Я с ужасом заметила, как поредели ее волосы, кожа просвечивала сквозь них.

— Расскажи мне последние сплетни, — попросила она, как будто мы были дома в своих спальнях. Мне нужно было сообщить ей кое-что очень важное, но снаружи, прямо у решетки, сидел здоровенный полицейский и в камере с нами была надзирательница, они вслушивались в каждое наше слово. Сидеть было негде, только на койке. Я прижалась к ней.

— Нассер хочет жениться на мне, — прошептала я.

— Не позволяй им шептаться! — крикнул полицейский, хватаясь за решетку камеры.

Женщина подвинулась ближе к нам.

— Ах, Санни, это прекрасная новость. Я так рада за тебя, — сказала сестра. Женщина подвинулась еще ближе, почти всунув свою голову между мной и сестрой.

— Я не хочу выходить замуж, когда и ты, и мама в тюрьме, — сказала я тихо сестре. — Я сказала Нассеру, что мы должны подождать, пока моя семья опять будет со мной.

— Но именно поэтому ты не должна откладывать, — сказала Розанчик. — Кто знает, когда мы выйдем? Мы обе беспокоимся из-за того, что ты живешь одна. Тебе будет гораздо лучше под защитой мужа. И мы будем спокойнее за тебя.

— Ах, Розанчик, почему все это должно быть так? — сказала я, обнимая ее.

— Нельзя! Нельзя! — закричал полицейский. Женщина бросилась растаскивать нас, причем для этого ей пришлось встать с ногами на койку.

— Ради бога, — сказала Розанчик. — Мы не говорим о политике, мы обсуждаем семейные новости. Я не видела сестру несколько месяцев, и сегодня мой день рождения. Можете вы оставить нас вдвоем?

Полицейский даже не ответил ей. Он был занят, записывая наш разговор в своей записной книжке. Все оставшееся время женщина стояла между нами. Мне стоило больших усилий не заплакать опять, когда я оставляла ее одну, в этой пустой обшарпанной камере, с этими жуткими людьми.

— Я желаю вам с Нассером счастья, — сказала она вслед мне.

— С днем рождения, Розанчик, — удалось мне ответить, хотя полицейский уже выгонял меня.

*Мисс Беназир Бхутто
Центральная тюрьма
Суккура*

*От Бегам Нусрат Бхутто
Центральная тюрьма Карачи
9 июня 1981 года*

Моя дорогая девочка!

Это письмо, второе по счету, дойдет до тебя накануне твоего дня рождения. Воспоминания уносят меня к тем дням, когда я была счастлива, узнав от английского доктора (твой отец учился в Англии в то время), что я жду ребенка. О! Мы были так взволнованы и счастливы! Ты была нашим первым ребенком, нашей любовью. Как мы радовались этой прекрасной новости! Потом, в больнице Пинто в Карачи, когда ты уже родилась, я не могла спать ночами, так мне хотелось держать тебя в руках, бесконечно смотреть на твои прелестные золотые локоны, твое розовое личико, твои чудные ручки с длинными пальчиками. Мое сердце трепетало при виде тебя.

Тебе было уже три месяца, когда папа приехал из Англии. При своих родителях он немного стеснялся, но, когда мы оставались одни, он часами смотрел на тебя, дотрагивался до твоего личика и ручек, восхищенно глядел на это чудо — такого красивого ребенка. Он хотел научиться держать тебя на руках, и я брала тебя и отдавала ему, говоря: «Одну руку под головку, другую вокруг тельца». Он считал, что ты очень похожа на него. Он был так взволнован. Он все ходил и ходил по комнате, держа тебя на руках, — я больше не могу писать об этом, слезы

застылают глаза, когда я думаю об ушедших прекрасных днях.

Я помню тот день, когда тебе было всего десять месяцев и ты сделала свой первый шаг. Я помню тот день, за неделю до твоего первого дня рождения, это было в Кветте, когда ты вдруг вполне осмысленно заговорила; день, когда я отвела тебя в детский сад, а тебе было всего три с половиной года; я помню прелестные маленькие платьица, которые я шила и вышивала для тебя с такой любовью и нежностью. Я беспрестанно молилась, прося Аллаха дать тебе счастье, здоровье и долгую жизнь.

И вот опять пришло 21 июня, и я желаю тебе очень счастливого дня рождения и долгих, долгих, долгих лет жизни. Я не могу тебе сделать и маленького подарка, не могу даже поцеловать тебя. Мы будем взаперти, вдали друг от друга, еще целых девяносто дней.

... Я надеюсь, моя дорогая, что ты правильно питаешься и пьешь много воды. Не забывай есть побольше фруктов и овощей. Желаю тебе самого счастливого будущего.

Всегда любящая тебя мама.

Фрукты и овощи. Вода. Нежная материнская забота. Мне было страшно за нее. Новый ордер на очередной срок. Сколько же они будут мучить ее?

Мой новый ордер на арест повышал мое содержание до класса «А». Мне разрешалось иметь радио, телевизор, холодильник, который я мечтала наполнить чистой водой, и кондиционер. На какое-то время это подняло мне настроение, хотя я не очень хорошо представляла себе, как можно установить кондиционер в открытой всем ветрам камере. Но мне не стоило беспокоиться об этом. Навязанное мне повышение до класса «А» принесло единственную привилегию — гулять по ночам в тюремном дворе. словно подарок начальник тюрьмы принес мне сообщение, что ночью меня больше не будут запирают в камере. «Я отказываюсь от вашего класса «А», — написала я тюремному начальству. — Я не желаю принимать участие в вашей лжи».

Мне снилась свобода. Мне снилось, что я ем бифштекс с грибами в ресторане «Сорбонна» в Оксфорде. Мне снилось, как я пью яблочный сидр в Новой Англии и ем мятное мороженое в «Бригхэм». Мой отец, находясь в камере смертников, чтобы быстрее проходило время, представлял себе какого-нибудь знакомого человека и вспоминал о нем все до мелочей. Я думала о Иоланде

Кодржиски, моей соседке по комнате в Рэдклиффе, которая, насколько я знала, работала экономистом в Массачусетсе. Я думала о Питере Гэлбрейте, работающем теперь в сенатской комиссии по иностранным делам, который женился на своей давней подруге и моей сверстнице Энн О'Лири. Я познакомила их в Гарварде. Время уходило впустую. Отец в тюрьме говорил мне: «Эти дни пройдут. Важно то, что мы проживем их с достоинством».

Я не была так терпелива, как он. Я должна была выбраться отсюда. Мне просто необходимо это сделать. По словам Санни, генерал Аббаси, администратор военного положения Синда, сказал, что режим намерен раздавить нас физически, морально и материально. Они занялись последним, возбудив дело о продаже на публичном аукционе дома на Клифтон-Роуд, 70, Аль-Муртазы, всех наших земель и вообще всей нашей собственности. Я не могла представить себе, чем это может кончиться. Будет ли у меня дом, в который я смогу вернуться, если останусь жива, буду ли еще спать в моей собственной кровати? С приходом летней жары я задалась целью добиться перевода под домашний арест на Клифтон-Роуд, 70 или в Аль-Муртазу. Почему-то мне казалось, что мое физическое присутствие в любом из наших домов не даст властям занять их. Мои неоднократные просьбы отклонялись, что в общем-то было неудивительно. «Мы не можем выделить для вас такое количество охранников», — отвечали мне, как будто нужен целый батальон, чтобы содержать под стражей одну молодую женщину в ее собственном доме.

Начальник тюрьмы шел на новые ухищрения, чтобы сломить меня. «Ваши партийные активисты отказываются от вас», — и рассказывал мне истории о встречах членов ПНП с членами оппозиционных партий или даже с представителями режима. «Они все бросают вас. На что вы тратите свою жизнь? Если вы покончите с политикой, все ваши беды останутся позади».

Я молила Аллаха дать мне силы.

— Пусть я останусь единственным человеком, сопротивляющимся тирании режима, — сказала я. — Я не верю вашим выдумкам. Даже если все сдадутся, от меня вы этого не дождетесь.

Я не верила, что руководители ПНП, многие из которых были уже на свободе, предадут партию. Я не позволяла себе поверить в это.

Я начала произносить особую молитву за свое освобождение, которой меня научила одна тюремная надзирательница. «Куль Хувва Аллаху Ахад. — Скажи: «Он — Аллах — един»». Я начинала читать суру 112 Корана и повторяла ее сорок один раз, затем дышала над кружкой с водой и разбрызгивала немного воды во все четыре угла камеры. Я молилась за всех узников. Я молилась за мою мать. Я молилась за себя. Как надзирательница обещала мне, к четвертой по счету среде с тех пор, как я начала молиться, тюремная дверь должна открыться. И она открылась!

В четвертую среду четвертого месяца моего заключения в Суккуре дверь моей камеры открылась, и меня повезли на короткое свидание к маме в Карачи. Еще четыре среды я совершала ритуал после этого — и открылась дверь камеры моей матери. Ее освободили в июле, после того как у нее началась рвота с кровью. Тюремные врачи подозревали у нее язву. Кроме этого, у нее был очень нехороший кашель, и они предполагали у нее туберкулез.

Я ничего не знала о состоянии здоровья мамы и даже о ее освобождении узнала только от надзирательницы. Я была счастлива, что мои молитвы помогли, и удвоила свои усилия в Суккуре, разбрызгивая еще больше воды и читая еще больше молитв. Я молилась за всех заключенных, в том числе и за себя. «Аллаху Самад». — «Аллах вечный». В четвертую среду августа дверь камеры открылась опять.

— Вы уезжаете отсюда, — сообщила мне надзирательница.

Я быстро собрала свои вещи. «Господи, пожалуйста, — молила я, — сделай так, чтобы они отвезли меня на Клифтон-Роуд, 70».

Военный и полицейский конвой даже не приблизился к Клифтон-Роуд, 70. Вместо этого они отвезли меня в Центральную тюрьму Карачи и поместили в камеру, которую до этого занимала моя мать.

В КАМЕРЕ МОЕЙ МАТЕРИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ КАРАЧИ

Центральная тюрьма Карачи, 15 августа, 1981.

Выщербленный цементный пол. Железные решетки. И тишина. Мертвая тишина. Я опять в полной изоляции, все камеры, расположенные вокруг моей, пусты. Я напрягаюсь, чтобы услышать звук человеческого голоса. Только тишина.

Во влажном, сыром климате Карачи жарко, не спасает даже вентилятор на потолке. Опять нет электричества. Каждый день отключается свет, иногда на три часа, иногда на более длительное время. Тюремное начальство говорит, что это из-за неполадок на центральной электростанции. Но я знаю, что это неправда. По ночам я вижу небо, освещенное светом из других блоков тюрьмы. Только тот блок, где расположена моя камера, находится в полной темноте.

Меня поместили в камеру класса «А», предназначенную для политических заключенных высшего ранга, но, как и прежде, я лишена полагающихся мне льгот. Камеры справа и слева от моей, обычно служащие кухней и гостиной, сейчас пусты и заперты. Меня же держат в тесной и грязной камере. В туалете, кишашем мухами и тараканами, нет смыва. Вонь оттуда усиливается зловонием канализационного стока, проходящего по тюремному двору. Единственное ведро для воды облеплено дохлыми насекомыми.

По утрам я слышу звяканье ключей и щелканье замков — мне привезли еду. Не говоря ни слова, надзирательница в серой униформе, которая обычно спит ночью в тюремном дворе, приносит коробочки с едой с Клифтон-Роуд, 70 по разрешению начальства. Когда я первый раз открыла коробку, у меня перехватило дыхание — там был домашний цыпленок с грибами, куриный кебаб. У меня был плохой аппетит, я могла съесть всего несколько ложек, но я все время думала о том, с какой заботой готовила мама эту еду на нашей кухне дома.

Я очень беспокоилась о маме. На вторую неделю моего пребывания в Центральной тюрьме Карачи ей было разрешено посетить меня, и, хотя я почувствовала облегчение, увидев ее, меня поразила ее внешность. Бледная, осунувшаяся женщина с седыми волосами, разделенными прямым пробором и заплетенными в косичку, так не была похожа на мою элегантную и уверенную в себе мать.

На глазах матери выступили слезы, когда она увидела, что меня поместили в ее бывшую камеру. Но мы обе мужественно пытались улыбаться, не обращая внимания на тюремщиков, обступивших нас, чтобы послушать новости, которые она нерешительно рассказывала мне. Она сказала, что в тюрьме у нее начался кашель. Сначала она думала, что это вызвано пылью, но потом начала кашлять кровью. После нескольких осмотров тюремный врач сообщил, что подозревает туберкулез. Диагноз не вызвал удивления. Эта болезнь очень распространена в Пакистане, так как легкие постоянно раздражены пылью, а общее состояние организма ослаблено недоеданием. Плохое санитарное состояние тюрьмы делает ее обитателей особенно восприимчивыми к туберкулезу, как, впрочем, и к любой другой болезни. Вдобавок заключенные часто сплевывают на пол, разнося таким образом вирус.

Мама сказала мне, что врачи подозревают худшее. Хотя она была еще очень слаба для бронхоскопии, необходимой для установления диагноза, доктор не исключал рака легких. Рак легких. Я обняла ее, стараясь не показать, как потрясло меня это предположение, стараясь быть сильной не только для мамы, но и для агентов разведки, которые находились среди тюремщиков и, конечно, доносили все генералу Зие.

— Может быть, это не рак. Подождем бронхоскопии, — я утешала ее как можно увереннее.

— Он считает, что это можно вылечить, если начать лечение вовремя, — продолжала она. — Если будет такая необходимость, я могу поехать для лечения за границу.

— Ты должна уехать при первой же возможности, — слышала я свой собственный голос, хотя мое сердце разрывалось при мысли, что ей придется уехать из Пакистана.

— Но как же ты, дорогая моя? Как же я могу оставить тебя здесь одну?

Я уверяла ее, что со мной все в порядке. Но это было вовсе не так. Три дня после ее посещения я неподвижно пролежала на койке, уставясь в потолок, подавленная чувством всепоглощающей, необъяснимой тоски. У меня

не было желания делать зарядку, умываться, сменить одежду. Я не могла ни есть, ни пить. Господи, думала я, я потеряла отца, теперь я теряю мать. Я понимала, что жалела сама себя, но я не могла преодолеть ощущения заброшенности, одиночества. Даже хорошие новости, которые принесла мать, о том, что в сентябре Санам выходит замуж и Шах женится, углубляли мое отчаяние. Когда отец сидел в тюрьме, он предостерегал нас от того, чтобы выглядеть людьми, наслаждающимися жизнью.

— Если идешь в кино, надевай покрывало, — советовал он мне.

Похоже было, что моя семья примирилась с тем, что я все время в тюрьме. Они продолжают жить своей жизнью, теперь вот собираются праздновать свадьбы, как будто меня уже и нет.

После трех дней, проведенных без воды, я чувствовала себя слабой и разбитой. Не играй на руку Зие, не позволяй себе разваливаться, говорил внутренний голос. После того, как я заставила себя выпить кружку воды и решить головоломку в одной из пакистанских газет, которые мать присылала мне каждый день и до которых я несколько дней не дотрагивалась, я почувствовала себя лучше. Но буквы стали расплываться перед глазами — начиналась мигрень, от которой я периодически страдала со времени перевода в Центральную тюрьму Карачи. Зубы и десны болели, ухо тоже. Волосы продолжали выпадать.

Как я узнала потом от врача, главной причиной моих проблем со здоровьем было нарушение равновесия в организме. Как он объяснял мне, в нормальном состоянии каждая из систем — кардиоваскулярная, мышечная, пищеварительная, дыхательная и нервная — поглощает положенную ей долю энергии и пищи. Но в периоды стресса нервная система работает на полную мощность, забирая у организма больше своей нормальной порции и тем самым ослабляя другие системы. Особенно уязвимым становится сердце, чем и объясняются частые сердечные приступы у политических заключенных. Наша воля может оставаться непреклонной, но платим мы за это здоровьем. Так много было неопределенности в жизни.

Приближалось 13 сентября, последний день срока моего заключения. Несколько раз надзирательница шептала мне, что она слышала, будто выпускают политических узников. Если власти начали освобождать людей, арестованных после захвата самолета, почему бы не освободить и меня?

В прессе больше не упоминалось о предполагаемой нашей с матерью связи с «Аль-Зульфикар». Несмотря на все попытки и подстроенные «свидетельства», власти так и не смогли состряпать против нас дело, которое бы выдержало суд общественного мнения всего мира. А Зия не мог рисковать помощью Запада, в особенности Соединенных Штатов.

Пакистан не получал помощи от Соединенных Штатов с 1979 года. Тогда, заподозрив, что Пакистан разрабатывает или уже имеет ядерную технологию, администрация Картера, проводя политику нераспространения ядерной технологии, лишила своей помощи Пакистан. Но это произошло до того, как Советский Союз вторгся в Афганистан. Теперь Зия успешно спекулировал на советском присутствии непосредственно у границ Пакистана, что пересиливало беспокойство Америки по поводу пакистанской ядерной программы.

Администрация Рейгана предложила Пакистану пакет экономической и военной помощи сроком на шесть лет в размере 3,2 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышало отвергнутое Зией предложение администрации Картера. США добавили также и то, чего больше всего добивался Зия: 40 самолетов F-16. Пакет мер, который должен быть представлен на обсуждение конгресса осенью 1981 года, был более чем приемлемым для Зии, но оказался большим разочарованием для тех из нас, кто считал, что стремление Америки поддержать Пакистан против советской угрозы должно быть уравновешено заботой о правах человека и восстановлении демократии.

Положение Зии еще больше подкрепилось сотнями миллионов помощи в фонд беженцев, которые Пакистан получал от США, Саудовской Аравии и Китая, как и от верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы и других международных организаций и фондов помощи. Количество афганских беженцев, пробирающихся через перевалы Гиндукуша по древним торговым и контрабандистским тропам, чтобы переждать войну в Пакистане или присоединиться к повстанцам — муджахеддинам, исчислялось уже миллионами. Лагерь беженцев, больницы, школы и центры услуг были организованы вдоль всей границы, давая возможность режиму Зии снимать пенки с международной помощи, потоками устремившейся в Пакистан. Позднее из книги Ричарда Ривза «Путь в Пешавар» я узнала, что, по подсчетам одного ооновского чиновника, только треть

помощи действительно доходила до беженцев. Оружие, предназначенное для муджахеddeинов, тоже шло через Пакистан, давая режиму возможность перекачивать его в арсеналы пакистанской армии и затем брать крупные взятки, наживаясь на продаже оружия. Кроме того, другой американский журналист сказал мне впоследствии, что вашингтонские чиновники так и рассчитывали, что не больше трети дойдет по назначению.

Я подозревала, что ЦРУ крепко связано с ролью Пакистана в афганской войне. Но я не могла себе представить степень участия ЦРУ в поддержке Зии и его режима, пока через несколько лет не прочитала книгу американского журналиста Боба Вудворда «Чадра: секретные войны ЦРУ». «Ни один руководитель не управлял страной, находясь в таком ненадежном положении, — писал Вудворд. — Решающим фактором стало разрешение Зии направлять увеличивающуюся военную помощь афганским повстанцам через Пакистан. И директор ЦРУ Кейси, и ЦРУ, и администрация Рейгана — все они хотели, чтобы Зия остался у власти, и поэтому им было необходимо знать, что происходит внутри его правительства. Отделение ЦРУ в Исламабаде было самым многочисленным в мире».

Я также не представляла, насколько глубоки связи директора ЦРУ Кейси и Зии. «Конгресс законодательно запретил американскому бизнесу осуществлять выплаты или давать взятки за границей в коммерческих интересах, — писал Вудворд. — Однако исключение составляли выплаты или оказание помощи иностранным лидерам или источникам разведывательной информации, то есть легальные взятки, как это делал Кейси. Например, он регулярно наносил визиты в Пакистан один или два раза в год. Вскоре с его помощью были установлены самые тесные отношения между Зией и всеми членами администрации Рейгана».

Все это помогало Зие изменять свой образ — бывший палач и жестокий диктатор теперь выглядел «политиком мирового масштаба». Его известные высказывания, вроде того, что он сообщил за чашкой чая корреспонденту «Дейли мейл» в 1978 году: «Мы будем вешать людей. Некоторых», — теперь сменились характеристиками Пакистана как «страны, находящейся на линии фронта», помогающей вести «джихад» — священную войну — против безбожных коммунистов. Особенно охотно верили его басням американцы. В первый раз я увидела в

местной прессе перепечатку статьи из «Интернэшнл геральд трибюн», где Зию называли «благожелательным диктатором».

Я старалась отвлечься от обескураживающих газетных новостей, возобновив свой режим физических упражнений. Каждый день в течение часа я шагала взад-вперед по узкому коридору перед камерами. Аппетит у меня так и не появился, но я заставляла себя съедать пищу, присланную мне с Клифтон-Роуд, 70. Август переходил в сентябрь, и я позволила себе некоторое ощущение оптимизма. Свадьба Санам была назначена на 8 сентября, и я подала заявление с просьбой разрешить присутствовать на церемонии. Может быть, меня даже отпустят на свободу.

Я воображала, что шаги, приближающиеся к моей камере, несут мне весть о свободе. Я мечтала, когда мою камеру открывали, чтобы передать мне корзиночки с едой, потом опять, когда приходила ночная надзирательница. Я фантазировала, услышав шаги, приближавшиеся каждый понедельник с утра, легкие шаги маленького нервного человечка. Они принадлежали начальнику тюрьмы. Иногда он приходил со своим заместителем, иногда один. Но слова его были всегда одни и те же.

— Почему вы хотите загубить свою жизнь за тюремными стенами? — спрашивал он меня каждую неделю. — Ведь все члены вашей партии на свободе и радуются жизни. Если вы согласитесь хотя бы на время оставить политику, вы будете на свободе.

К чему они клонили? Я была уверена, что начальник тюрьмы никогда не скажет таких вещей без официального одобрения. Однако, если бы Зия хотел освободить меня, он бы сделал это. Если не хочет — не сделает. Какой же смысл в том, чтобы шантажировать и компрометировать меня? Неужели они на самом деле думали, что я соглашусь? Или они пытались просто сломить меня, как Айюб Хан пытался сломить моего отца?

— Вы уже завтра могли бы быть на свободе, — это были обычные слова начальника тюрьмы. — Вы сами себя держите в камере. Разве вы не хотите съездить в Лондон или Париж? Вы, молодая женщина, растрачиваете свою молодость в тюрьме. И чего ради? Вы ведь можете подождать, пока не придет ваше время, оно ведь обязательно придет.

Я всегда чувствовала себя очень растревоженной после того, как он уходил. Хотя у меня и мысли не было поддаться соблазнам, которые он предлагал мне, я не понимала его намерений. Добра он мне хотел или зла? Я

ненавидела появившуюся у меня новую привычку подозревать всех и каждого. Но как же иначе я могу выжить? Я подозревала, что власти пытаются лишить меня душевного равновесия. Еще мне казалось, что они хотят расшатать мои нервы, производя ночью вокруг моей камеры какие-то таинственные звуки.

Шепот. Двое мужчин и женщина разговаривают приглушенными голосами. Иногда я просыпаюсь перед рассветом от этих голосов. В мою камеру вход запрещен всем, кроме полицейских. Я жалуюсь тюремным властям, что они намеренно нарушают мой сон. «В вашем дворе никого нет, — уверял меня заместитель начальника тюрьмы. — Вам все это кажется».

Шаги. Тяжелые мужские шаги, приближающиеся к моей камере.

— Кто там? — спрашиваю я, вглядываясь в темноту из-под простыни.

Молчание.

— Вы слышите шаги? — спрашиваю я надзирательницу.

— Я не слышу ничего, — говорит она.

Я еще раз подаю жалобу.

— Вы просто придумываете все это, — отвечают они.

День-день... Новый звук, похожий на звяканье колокольчиков на женском ножном браслете. Потом шепот. Я просыпаюсь с каждым разом все раньше и раньше и, наконец, не могу заснуть совсем. Когда вместо прежней надзирательницы появляется новая, я делаю еще одну попытку.

— Вы не слышите никакого шума ночью? — спрашиваю я беззубую, сморщенную старую патанку, которая теперь спит во дворе возле моей камеры.

— Ш-ш-ш. Притворяйтесь, что вы ничего не слышите, — отвечает она, оглядываясь по сторонам, нервно разглаживая руками тонкую серую ткань униформы.

— Но кто это? — я возбуждена тем, что наконец-то услышала какое-то подтверждение.

— Это *чурайль*, — шепчет она.

Чурайль — дух женщины, у которой ноги повернуты пятками вперед.

— *Чурайль* не существует, — говорю я надзирательнице, стараясь не терять здравого смысла.

— Обязательно существует, — настаивает она. — Все в женском отделении тюрьмы слышали ее. Притворитесь, что вы не слышите ее, и она не причинит вам вреда.

День-день... Но с этой ночи здравый смысл покинул меня. Почему она не остается в женском отделении, зачем

она приходит в мой двор, тряслась я в постели. А звуки продолжались.

Бряк-бряк... Кто-то или что-то гремит снаружи чем-то, похожим на металлические контейнеры для мусора, будто кто-то копается в отбросах внутри них. Опять к моей камере приближаются шаги, хотя я не слышала звука отпираемых ворот. *Йя Алла*, что же это? *Йя Алла*, помоги мне! Я слышу, как кто-то подбирает пустую коробку из-под еды прямо у моей двери, открывает крышку и затем швыряет ее об стену. *Алла!* Я собираюсь с силами и подбегаю к двери камеры. Коробка из-под еды валяется вверх дном в грязи. Рядом никого нет.

— У вас сильный стресс, — говорит мне во время посещения начальник тюрьмы. В конце концов он сообщает, что мой тюремный блок был построен на месте бывшей площадки для виселицы, которую использовали англичане.

— Может быть, это чья-нибудь душа, не нашедшая успокоения, — предполагает тюремщик.

Эта мысль не очень утешала. Не больше утешало и объяснение, предложенное надзирательницей-патанкой.

— Мой муж был ночным сторожем, и его убили воры, — сказала она мне, сверкая глазами. — Его убийцу так и не нашли. Должно быть, это его душа ищет покоя.

Я не суеверна, и у меня появилось подозрение, что власти пытаются расстроить мои нервы, как они делали с отцом в тюрьме в Равальпинди. Но на всякий случай я начала молиться за пропащие души. Через несколько месяцев голоса смолкли. Я до сих пор не знаю, что это было.

Я возобновила свой молитвенный ритуал, которому меня научила надзирательница в Суккуре. Я шептала суры Корана над ведром воды и разбрызгивала немного по углам моей камеры. Камера была странной конфигурации, в ней не было нормальных четырех углов, и я боялась, что ритуал не сработает. Дадут ли мне возможность хотя бы присутствовать на свадьбе Санам? На мое обращение не было ответа.

— *Куль хувва Аллаху Ахад*. — Скажи: «Он — Аллах — один», — молила я.

Между второй и третьей средой патанка-надзирательница пришла в мою камеру рано утром.

— Я слышала голоса около моей койки, — сказала она. — Они говорили: «Она сегодня уходит».

Ненормальная старуха, думала я. Через два часа пришли тюремные начальники.

— Вы должны выехать немедленно. Вам разрешено поехать на свадьбу вашей сестры.

Клифтон-Роуд, 70. Медная табличка все еще сверкает у ворот. «Сэр Шах Наваз Хан Бхутто. Зульфикар Али Бхутто, адвокат». Напряжение последних шести месяцев немного ослабло, когда полицейский конвой, сопровождавший меня, остановился у ворот. Я была уверена, что никогда уже не увижу этот дом, что либо он будет конфискован властями, либо меня потихоньку убьют в тюрьме, не дав больше взглянуть на него. Но вот я, живая, здесь. И вот он, мой дом. Стены, окружающие двор, украшены гирляндами лампочек по случаю свадьбы моей сестры. Мы оба выжили.

Я почувствовала новый прилив сил, когда настежь отворились знакомые ворота. Когда сторож приветствовал меня и конвой вошел во двор, я почувствовала, что Аллах подарил мне вторую жизнь. С Его помощью я устояла перед врагами. Меня охватило новое ощущение силы и решимости. В этот момент я родилась второй раз.

Бой барабанов. Танцы. Гирлянды из жасмина и роз. Весь наш обслуживающий персонал собрался у порога парадного входа, они били в барабаны и плясали народные танцы, делая волнообразные движения руками в такт барабанам. Сторожа. Носильщики. Секретари. Я увидела Доста Мохаммеда, нашего управляющего, который бежал быстрее, чем стража, чтобы первым добежать до отца в тюрьме; Урса, отцовского камердинера, которому угрожали пистолетом и избили, когда военные ворвались в наш дом, чтобы арестовать отца; Башира и Ибрахима, которые вместе со мной и матерью были в Сихале, когда казнили отца; Назира Мохаммеда из Ларканы, который принял тело отца и похоронил его.

Сейчас они пели и танцевали, лица их расплывались в улыбках. Какая прекрасная свадебная атмосфера, подумала я, выходя из автомобиля. Они все бросились ко мне и стали одевать на меня гирлянды.

— Оставьте их для гостей, — отбивалась я, когда меня завалили гирляндами выше головы.

— Нет, нет, это цветы для вас. Мы так счастливы, что вы дома, — радовались они.

Дома. Я не могла поверить в это. Мои родственники один за другим появлялись из резной деревянной парадной двери. Здесь были сестры матери, тетюшка

Беджат, прибывшая из Лондона, кузина Зинат из Лос-Анджелеса, моя кузина Фахри, которую арестовали вместе со мной после объявления смертного приговора отцу. Меня обнимали отцовские сестры — тетушка Манна, его сводные сестры из Хайдарабада, которые безрезультатно подавали Зие прошение о помиловании отца. Приехали и из Индии, Америки, Англии, Ирана, Франции. Были заполнены все спальные места в нашем доме, так же как и отдельные помещения, принадлежащие моим братьям, пустовавшие уже четыре года. Лейла! Нашили! Мы обнимали друг друга, смеялись и плакали. Я уже не надеялась увидеть их, так же как и они меня. Никто не упоминал об опасении, мучившем всех нас, — что я не выйду живой из тюрьмы.

Роскошь горячей ванны. Ковры под ногами. Чистая, прохладная вода для питья. Семейное торжество. Две ночи и два дня я не смыкала глаз, не желая тратить зря ни единого мига свободы. Мама легла спать рано, а мы с Санам разговаривали до рассвета. Потом Санам ушла спать, а мама встала. Я никак не могла наговориться с ними и другими близкими родственниками.

Когда я оставалась одна, я с жадностью набрасывалась на предыдущие номера «Эйша уик», «Фар Истерн экономик ревью», «Тайм» и «Ньюсуик». Еще я отскребала стены моей спальни. Во время последнего вторжения, как я обнаружила, власти украли многие письма отца, которые он писал мне, когда я училась за границей; и еще одна невосполнимая потеря — они украли фотографии моих братьев, сестер и мои тоже, а также все мои драгоценности, включая и мое любимое кольцо, подаренное мне мамой, и золотую коробочку для сурьмы — *коль* — подарок бабушки. Но больше всего меня беспокоило не это, а ощущение какого-то осквернения моей комнаты. Я терла и терла стены, пытаюсь соскрести с них какие-то невидимые глазу психологические отпечатки. Благодарю Аллаха, что он оставил тебе эту комнату и этот дом, напоминала я себе все время. Всего только несколько месяцев назад ты не знала, останется ли у тебя все это.

— Они ведь не заберут тебя обратно в тюрьму, — сказал мне двоюродный брат Абдул Хуссейн, забыв, видимо, что он в Пакистане, а не в Сан-Франциско. Я не позволяла себе разделять эту надежду, хотя было трудно удержаться.

Все на Клифтон-Роуд, 70 казалось таким обычным, таким успокаивающе традиционным. Слуги бегали взад и вперед, накрывая столы под пестрым навесом в саду,

расставляя для гостей кресла, обитые драпировкой. Мастерница по раскрашиванию хной ладоней и ступней расписывала Санни ладони. Это часть свадебной процедуры — расчертить, обозначить и раскрасить тончайший и запутанный узор на женской ладони. Сначала она зубочисткой намечала прекрасные узоры и арабески на ладони, а потом закрепляла этот рисунок хной, смешанной с лимонным соком и сахаром.

По пакистанским меркам свадьба была небольшой — всего пятьсот гостей. И не все традиции были соблюдены. Например, на мне не было нового *шальвар-камиза*, какие были на всех женщинах, заполнивших дом, сшитых специально для обряда хны или для свадебной церемонии. Но я не расстраивалась. Я так долго не видела одежды в своем шкафу, так долго не носила чего-нибудь нарядного, что мой старый *шальвар-камиз* из розового шелка казался мне совершенно новым.

— Мама заставляет меня накрасить лицо, — сказала Санни, врываясь в мою спальню. — И мне придется надеть сари. А я больше всего хотела бы быть на свадьбе просто в джинсах. Сделай же что-нибудь.

— Ты выходишь замуж только раз в жизни. А мама так намучилась. Послушайся ее, и она будет счастлива.

«Эта невеста светлее луны, да, да, светлее луны», — в первую ночь, которую я провела в семье, дом был наполнен звуками песни. «Эта невеста светлее луны». Наши родственницы и подруги Санам пели традиционные песни, принятые на обряде хны, и хлопали в такт в ладоши. Мне не хотелось упускать даже минуту свободы, тем более что я не знала, сколько мне ее отпущено, поэтому вместо участия в обряде я разговаривала с друзьями и родственниками. Я жила в совершенно другом мире. Но какой мир был настоящий? Дважды я поймала себя на том, что, говоря о своей тюремной камере, я называла ее «домом».

Во время обряда хны Санни выглядела прекрасно, сидя вместе со своим будущим мужем Нассером Хуссейном на зеленой подушке, украшенной маленькими зеркальцами. Поскольку этот брак был не по сватовству, а по любви, между ними не чувствовалось никакого напряжения. Но все равно есть определенные традиции, которые следует соблюдать. Санни тщательно закрывала лицо шарфом, чтобы жених даже мельком не увидел его до церемонии бракосочетания, хотя, когда она разговаривала, сидя рядом со мной, она поднимала шарф.

«Нассер-джи, Нассер-джи, ты уже почти наш брат. Семь условий должен ты принять, чтобы Санам стала твоей невестой, — пели перед нами друзья и родственники Санам. — Первое условие — Санам не должна готовить еду сама». «Я найму повара», — также песней отвечал Нассер. «Санам не должна стирать сама», — спела сторона невесты. «Я отнесу белье прачке», — отозвался Нассер, таким образом ответив на каждое условие, чем дал своей стороне возможность, в свою очередь, продолжить эту игру.

Затем родственники с обеих сторон внесли деревянные подносы, на которых горкой была насыпана хна, украшенная зажженными свечами и серебряной фольгой. Один за другим родственники Нассера вкладывали щепотку хны в ладонь беготы на ладони Санам, затем немножко сладостей в рот и размахивали деньгами над ее головой, чтобы отогнать злых духов. Все родственники со стороны невесты вслед за моей матерью проделывали то же самое с Нассером.

Праздничное настроение резко оборвалось, когда один из наших служащих неожиданно подошел к нам.

— Там полиция у ворот, — сказал он, повергнув всю комнату в страшную тишину. Я предполагала, что полиция явилась за мной, но наш управляющий сообщил, что им нужна мама. У гостей перехватило дыхание. Маме не пережить еще одного заключения.

— Позови их сюда, Дост Мохаммед. Я не хочу, чтобы они ломали ворота, когда у нас в доме гости, — спокойно сказала мать.

Полицейские вошли, явно чувствуя себя неловко.

— Что вам от меня нужно? — голос матери был тверд, несмотря на болезнь.

Они робко подали ей приказ военного положения. Слава Аллаху, он был не на ее арест, но вместо этого мать уведомляли, что ее высылают из Пенджаба. Она и не собиралась в Пенджаб, и Зия знал это. Он хотел просто потревожить нас и испортить нам настроение, лишить семью Бхутто счастья, которое вдруг пришло в нее.

Ощущение тревоги не покидало нас. На следующее утро музыканты, которых наняла мать, неожиданно сообщили, что они не придут. Они сказали, что не смогли получить разрешение на использование микрофона: по законам военного положения употребление громкоговорителей запрещалось. Мы не знали, то ли вмешались власти, то ли струсил музыканты.

Неприятности коснулись и гостей, приглашенных на свадьбу: агенты разведки, расположившиеся в фургонах

напротив наших ворот, записывали номера всех машин. Власти уже попытались получить список гостей. Секретарь матери признался ей со слезами на глазах, что власти угрожали ему ужасными последствиями, если он не передаст им список.

Однако в стране ничего не знали о бракосочетании. Фамилию Бхутто разрешали упоминать в газетах только в связи с какими-то порочащими нас новостями, хотя пакистанские журналисты уже научились обходить запреты. Объявляя о помолвке Санни, в первую очередь они упомянули о том, что дедушка Нассера, так же как и наш, был в свое время премьер-министром княжества Джанагадх. «Вступают в брак внуки двух бывших премьер-министров княжества Джанагадх» — таким был заголовок. Сообщение о свадьбе Санам и о моем временном освобождении из тюрьмы Карачи выглядело так: «Сестра приехала на свадьбу сестры».

А за воротами дома на Клифтон-Роуд, 70 продолжалось наше семейное торжество — празднование свадьбы Санам. Моя сестра и так достаточно настрадалась, будучи втянутой только потому, что носила фамилию Бхутто, в мир политики, к которой у нее не было никакого интереса. Она закончила Гарвард спустя два месяца после убийства нашего отца. Ее приняли в Оксфорд, но она не могла сосредоточиться на учебе и вернулась в Пакистан. А что ее ждало здесь? Она сама стала узницей, живя в уединении на Клифтон-Роуд, 70, а ее мать и сестра то в тюрьме, то на свободе, братья в изгнании. Она всегда старалась ограничивать круг своих друзей, ненавидя внимание, которое она привлекала как член семьи Бхутто, и постоянные расспросы об отце. Она общалась лишь со старыми знакомыми и с Нассером, который учился в школе вместе с Шах Навазом и Миром.

— Не женись на Санам. Режим разорит тебя, сломает твою жизнь, — предупреждали Нассера его родственники, когда он спросил у них разрешения сделать предложение Санам.

— Это не ваше дело, а мое, — ответил он. — Я люблю эту девушку. Какова бы ни была цена счастья, я заплачу.

И он заплатил. У властей было много способов наказать тех, кто оказался не в фаворе: начать налоговое расследование, не давать разрешений, прекратить подачу воды на земельные владения. У Нассера было процветающее дело в области телекоммуникации в Пакистане, но слабым местом оказалось то, что он продавал оборудование прежде

всего правительству. Вскоре его предложения на заключение контрактов перестали принимать, его бизнес сократился более чем на 75 процентов. Сейчас они с Санам живут в Лондоне, где Нассеру пришлось начинать все практически с нуля. И все равно их свадьба была прекрасна.

Мы с матерью сопровождали Санам вниз по лестнице, к возвышению в большом холле, держа Коран над ее головой. Для этой церемонии Санам надела сари зеленого цвета, цвета счастья.

— Согласна ли ты взять в мужа Нассера Хуссейна, сына Назима Абдула Кадира? — спросил наш двоюродный брат Ашик Али Бхутто. Санам улыбнулась нам с матерью и ничего не ответила, потому что знала, что Ашик Али, чтобы быть уверенным в ее согласии, должен задать этот вопрос три раза в присутствии двух других свидетелей. Еще раз он задал этот вопрос. И опять Санам промолчала. Ислам требует, чтобы женщина понимала, на что она идет, и давала добровольное согласие на брак. После того, как вопрос был повторен в третий раз, Санам, наконец, дала свое согласие и подписала брачный контракт. Ашик Али пошел сообщить хорошую весть мужчинам, собравшимся в соседней комнате. *Маулеви* прочел свадебные молитвы для Нассера. И так моя сестра Санам стала первой в семье Бхутто женщиной, вышедшей замуж по собственному выбору.

Двое близких друзей Нассера привели его на помост, на котором уже сидела невеста. Двоюродные сестры и друзья Нассера держали над головами невесты и жениха шелковую шаль, как балдахин, и поставили между ними зеркало. Я еле сдерживала слезы, когда Санам и Нассер взглянули друг на друга в зеркало. По традиции именно в этот момент жених и невеста впервые видят лица друг друга.

Помост был украшен гирляндами из роз, бархатцев и жасмина, благоухающими в ночном воздухе. Санам и Нассер сидели на низенькой скамеечке, обитой голубым бархатом, вокруг них стояли блюда с засахаренным миндалем, крашеными золотом яйцами, грецкими орехами и фисташками, покрытыми серебряной фольгой. Около жениха и невесты горели свечи в серебряных подсвечниках, чтобы их жизнь была полна света. Счастливые в браке двоюродные сестры и братья Санам крошили сахарные головы над невестой и женихом, чтобы жизнь их была сладкой. Торжество началось.

Мы с мамой сидели рядом с Санам и Нассером, когда гости начали поочередно подходить с поздравлениями.

Многие из них прошли через тюрьмы, и по некоторым это было очень заметно — худые, изможденные люди. «Ты прекрасно выглядишь», — говорили они мне. Я надеялась, что это было искренне, потому что хотела выглядеть несломленной, как выглядел мой отец перед Верховным судом. «Я очень рада видеть вас», — автоматически повторяла я вновь и вновь. Хотя я высоко держала голову, внутри у меня все тряслось.

Неужели мне придется возвращаться в тюрьму? От властей никаких известий не было. В толпе я увидела моего адвоката Муджиба, у которого на следующее утро была назначена встреча с министром внутренних дел Синда. Поскольку срок моего заключения истекал через неделю, Муджиб намеревался попросить начальство, чтобы оставшееся время мне разрешили провести на Клифтон-Роуд, 70.

После того, как разъехались гости, я стала собирать газеты и журналы, которые вместе с салфетками и жидкостью от насекомых я хотела потихоньку пронести в тюрьму, на тот случай, если полиция все же явится за мной. Всю ночь я разговаривала со своими родственниками, с Самией и в последнюю минуту написала письмо Питеру Гэлбрейту, моему старому другу по Гарварду и Оксфорду. Как сообщила мне мать, Питер занимался вопросами Южной Азии в сенатской комиссии по иностранным делам и недавно приезжал в Пакистан в связи с проблемами, касающимися американской безопасности. Она сказала мне также, что он попытался добиться свидания со мной в Центральной тюрьме Карачи, но не получил от властей ответа на свою просьбу. Позже он рассказал мне, что произошло.

Питер Гэлбрейт, август 1981 года:

Я привез с собой в Пакистан письмо от сенатора Клейборна Пелла, лидера меньшинства в сенатской комиссии по иностранным делам, с просьбой к властям дать мне разрешение на посещение Беназир. Тем самым я создал некоторые сложности министерству иностранных дел Пакистана, так же как и посольству США, поскольку в это время они были настроены довольно враждебно по отношению к Бхутто.

Власти не прореагировали ни на письмо сенатора Пелла, ни на мою просьбу. Хотя в посольстве США не поощряли контакты с семьей Бхутто, я все равно отправился на Клифтон-Роуд, 70 повидаться с Бегам Бхутто. Она была бледна и выглядела очень усталой. Она очень беспокоилась

о Беназир, которая уже в течение пяти месяцев находилась в заключении то в Суккуре, то в Карачи.

Бегам Бхутто с Санам и Фахри собирались в яхт-клуб Карачи и предложили мне присоединиться к ним. Когда мы выходили с Клифтон-Роуд, 70, она посоветовала мне изобразить улыбку для сотрудников безопасности, которые из машины, стоящей через дорогу, делали снимки с помощью телефотолинз. Я продемонстрировал им одну из своих самых лучших улыбок политического деятеля.

В течение всего обеда я не переставал думать о том, что Розанчик в тюрьме. Последний раз я видел ее в январе 1977 года в Оксфорде. Ее только что избрали президентом Студенческого союза Оксфорда, и она приветствовала своих сторонников, студентов последних курсов, в президентском кабинете.

Как круто, почти неправдоподобно изменилась с тех пор ее жизнь. Я все время думал о том, что она возвращается домой только для того, чтобы увидеть, что ее отец свергнут, отдан под суд и казнен. И потом, что это значит для Розанчика — провести столько времени в тюрьме да еще в таких ужасающих условиях. Поскольку я много занимался вопросами прав человека, я знал, что такие вещи случаются, но все равно тяжело думать о том, что это происходит с твоим другом. Когда мы уходили из гребного клуба, я передал Бегам Бхутто длинное письмо с массой новостей для Беназир, которое я написал накануне вечером на страничках из блокнота.

Вернувшись в Соединенные Штаты, я подготовил доклад для комиссии по иностранным делам о перспективах продолжения помощи Пакистану. В докладе говорилось, что эта помощь может привести к отождествлению Соединенных Штатов с непопулярной военной диктатурой, к повторению иранского опыта. Я настаивал на проведении действенной политики по вопросам гуманитарных прав, которая бы означала, что наша помощь направлена на благополучие всей страны, а не только ее правителей. Я сообщил сенатору Пеллу и главе комиссии сенатору Чарльзу Перси о том, какому обращению подвергаются женщины из семьи Бхутто. Оба были готовы помочь. Пусть Беназир знает, что ее не забыли.

Едва взойшло солнце над Карачи, а я уже с наслаждением читала и перечитывала письмо Питера с кучей новостей о его жене Анне, о рождении их ребенка. Я написала ему ответ.

10 сентября 1981 года

Дорогой Питер,

Вчера вечером была свадьба Санам. Сейчас весь дом спит. Шесть часов утра, мне осталось еще несколько часов свободы. Я хотела быстренько написать тебе, как обрадовало меня твое письмо, как приятно узнать о тебе, о наших друзьях, о том, что у тебя все в порядке. Я всегда буду молиться за твой успех и успех твоего брата Джейми.

Вообще-то это в каком-то отношении так выбивает из колеи — узнать новости из Гарварда, услышать голос прошлого, возвращающий нас к дням, когда мы были еще так неопытны. Разве кто-нибудь учил нас, что жизнь может быть полна страшных опасностей и трагедий? Было ли это в словах, которые мы читали или не прочли, смысла которых, как я по крайней мере теперь могу сказать, не поняла? Свобода, независимость — мы писали эссе об этом, готовили доклады *на оценку*, но понимали ли мы цену слов, которыми перебрасывались, как мячиками, знали ли, что они дороги как воздух, которым мы дышим, как вода, которую мы пьем. Но, конечно, в снегах Вермонта и во дворах Гарварда суровая реальность кажется такой далекой...

Потом я принесла чай в мамину спальню.

— Посиди со мной, — сказала она. — Может быть, сегодня мы вместе услышим хорошие новости от Муджиба.

Вскоре после этого приехал мой адвокат. Он сказал, что министр внутренних дел отказал. Ему сообщили, что я буду сидеть в тюрьме до тех пор, пока не подпишу обещание не нарушать запрет на политическую деятельность.

В 10 часов утра прибыла полиция. Мои родственники и наши слуги, собравшиеся во дворе проводить меня, бежали за машиной, которая выехала с улицы Клифтон и теперь миновала иранское посольство, парк Клифтон, где дети запускали воздушных змеев, советское посольство, ливийское посольство, итальянское посольство. Как всегда, меня везли в тюрьму на полной скорости по полупустым окраинным улочкам.

В тюрьме Карачи меня приветствовал знакомый звук ключей, открывающих один висячий замок за другим. Я быстро прошла через маленькую железную дверь в высокой кирпичной стене и, гордо выпрямив спину, проследовала по темному грязному коридору к своей камере. Я не хотела, чтобы они подумали, что два дня свободы на Клифтон-

Роуд, 70 расслабили меня. Я также надеялась, что они не будут меня обыскивать. Перед отъездом с Клифтон-Роуд я напихала в свою сумку газеты и журналы.

Когда я благополучно добралась до своей камеры, электричество было, как обычно, отключено. Я автоматически подала жалобу. Следующие два дня я болела, изрыгая из себя желчь и коричневый желудочный сок. Я не знаю, было ли это психологическим явлением либо я что-то не то съела, но чувствовала я себя очень плохо.

На третий день, 13 сентября, к счастью, мне стало лучше. Пришел тюремщик и принес угнетающую, но не неожиданную новость — ордер от окружного администратора военного положения. Мое заключение в Центральной тюрьме Карачи продлено еще на три месяца.

Вместо того, чтобы читать мою специальную молитву только по средам, я начала молиться каждый день. Раньше она мне помогала. Может быть, если я буду читать ее ежедневно, двери моей камеры будут все время открываться между второй и третьей средой. Я наметила свой срок для осуществления действия молитвы на 30 сентября, на третью среду. Если с этим днем ничего не получится, следующий намеченный день совпадал с началом визита Маргарет Тэтчер в Пакистан в начале октября.

Когда-нибудь Зие все же придется освободить меня, и я все время подбирала даты, на которые можно было возлагать надежды на освобождение. Я была знакома с Маргарет Тэтчер, в первый раз мы встретились, когда она посетила в Равальпинди резиденцию премьер-министра, будучи в то время еще лидером оппозиции. Затем мы встречались в Лондоне за чашкой чая в ее кабинете в Палате общин, когда я была президентом Студенческого союза Оксфорда. Если меня не освободят в связи с визитом Тэтчер, возможно, меня выпустят в праздник *Ид*, который в этом году выпадает на 9 октября. Режим всегда выпускал нескольких узников под конец рамазана — в знак уважения к религиозному празднику.

Ни в один из этих дней меня не освободили. 25 сентября 1981 года в Лахоре было устроено покушение на Чоудхри Захур Илахи, одного из министров военного кабинета Зии, который принял в подарок ручку Зии после того, как тот подписал смертный приговор отцу, и который раздавал сладости на улицах, когда отец был повешен. Он был убит. Вместе с ним в том же автомобиле был ранен во время

нападения *маулеви* Муштак Хуссейн, бывший главный судья Высшего суда Лахора, который приговорил отца к смерти. В этой же машине остался невредимым М. А. Рехман, специальный общественный обвинитель в деле моего отца.

Когда я прочла заголовки в газетах об убийстве Илахи, я решила, что его настигла кара божья. «Теперь его жена, дочь, семья узнают, что такое горе, — писала я в дневнике. — Я не радуюсь, ибо мусульмане не должны радоваться смерти. И жизнь, и смерть в руках Аллаха. Утешает то, что дурных людей все же настигает возмездие».

Мое удовлетворение было недолгим. Власти решили, что за это событие опять несет ответственность «Аль-Зульфикар», и начались аресты. Признание Мира, когда на следующий день после покушения он в интервью Би-би-си возложил ответственность на «Аль-Зульфикар», не помогло. Дискуссии вокруг покушения могли бы вскрыть ту неприглядную роль, которую сыграл Илахи в смерти моего отца, но вместо этого все внимание оказалось прикованным к поискам предполагаемых членов «Аль-Зульфикар».

«Террористы!», «Наемные убийцы!», «Политические убийцы!» — кричали заголовки газет. И опять власти воспользовались «Аль-Зульфикар» для расправы над политической оппозицией. Один за другим были арестованы многие молодые лидеры ПНП, подписаны ордера на аресты сотен других. Четверых юношей увезли в тюрьму Хайрапура, где их подвергли жестоким пыткам. Как я узнала позднее, отец одного из них, Ахмед Али Сумро, пришел в ужасном состоянии к одному члену ПНП. Оказывается, он заплатил огромную сумму полицейским за то, чтобы хотя бы издалека увидеть сына, чтобы знать, жив он или нет. Судя по сообщениям прессы, только в тюрьме Хайрапура находилось 103 молодых человека и еще 200 в другом городе неподалеку.

Опять взялись за женщин, включая Назиру Рана Шаукат, которую снова заточили в Лахорский форт. Опять эту женщину, жену генерального секретаря ПНП, пытали током и допрашивали, не давая спать, в течение двадцати трех дней. «Признайтесь, что ваш муж был замешан в покушении, — приказывали ей. — И Беназир была замешана. И Бегам Бхутто». Невозможно представить себе, что перенесла эта бесстрашная женщина. Следующие семь месяцев ее держали в камере, где вместо туалета был лоток, который меняли два раза в неделю. После зимы,

когда ей пришлось спать на цементном полу без свитера, без постельных принадлежностей, без одеяла, она чуть не умерла от воспаления легких. Когда ее наконец перевели под домашний арест, она не могла ни ходить, ни говорить.

В разгар этой новой волны жестокости начался визит Маргарет Тэтчер. В сообщении Би-би-си, опубликованном в прессе, говорилось, что два года назад невозможно было себе представить, что глава какого-нибудь западного правительства посетит Пакистан, — это после того, как Зия отклонил обращения со всего мира о помиловании моего отца. Но эти соображения уже не принимались во внимание на Западе после советского вторжения в Афганистан. Вместо этого, как сообщала Би-би-си, Британия теперь делала все возможное, чтобы создать Зие репутацию. Несмотря на это, судя по сообщениям, мировая пресса осознавала, что Зия остается все тем же омерзительным убийцей, каким он был всегда, и удерживает власть только с помощью внешних сил. И все же я была потрясена, когда прочитала в газете о том, как после посещения лагеря афганских беженцев Маргарет Тэтчер засвидетельствовала, что «Зия является последним бастионом свободного мира».

Я была еще больше огорчена, прочитав, что рейгановская администрация во время кампании за возобновление американской помощи преподносит политическую ситуацию в Пакистане в искаженном виде. «Возможно, против помощи может возражать бхуттовская ПНП, но не массы простого народа, которые понимают, что Пакистан находится перед огромной серьезной угрозой его безопасности, имея в своем распоряжении лишь устаревшее оружие», — утверждал, как сообщали, перед сенатской комиссией по иностранным делам Рональд Спирс, только что назначенный, но еще не вступивший в должность посол США в Пакистане. Он полностью заблуждался. Во-первых, ПНП была единственным представителем «широких народных масс». Во-вторых, мы ни тогда, ни сейчас не были против иностранной помощи как таковой, а только против помощи, предназначенной для сохранения военного режима в Пакистане. Однако аргументация так и оставалась искаженной. Заместитель министра Джеймс Бакли, ответственный за организацию пакета помощи, даже засвидетельствовал, что выборы не отвечают «интересам безопасности Пакистана», как будто не диктатор, а мы, демократическая партия, были врагами народных масс!

Тогда я еще не понимала, что за заголовками газетных статей скрываются попытки некоторых американских политиков опровергнуть выводы мистера Бакли. Вернувшись в Вашингтон, Питер Гэлбрейт был твердо намерен поднять вопрос о нарушении прав человека в Пакистане и добиться моего освобождения. В сотрудничестве с сенатором Пеллом Питер разработал очень простую тактику. Каждый раз, когда в сенате возникал вопрос о Пакистане, тут же ставился вопрос о нарушении прав человека и моем аресте. Таким образом, ни американской администрации, ни режиму Зии не давали позабыть о политических заключенных в Пакистане. Они надеялись, что под таким давлением режим предпочтет освободить меня, чем постоянно оправдываться за незаконные политические аресты.

Позже я прочитаю, как сенатор Пелл, противник возобновления помощи Пакистану, проводил свою линию. «Самолеты F-16 — самый яркий пример поддержки режима Зии Соединенными Штатами», — цитировала «Индия тудей» обращение сенатора Пелла к заместителю министра Бакли. «“Эмнести интернэшнл” считает, что нарушения прав человека в Пакистане становятся закономерностью... как вы считаете, правы ли они?» Когда же Бакли пытался давать уклончивые ответы, сенатор Пелл конкретизировал свои высказывания. «Похоже на то, что президент Зия осуществляет кровную месть по отношению к дочери и вдове казненного — убитого — бывшего премьер-министра Бхутто», — заявлял сенатор. «Хотелось бы знать, высказала ли администрация свое мнение правительству Пакистана по поводу ареста, тюремного заключения и дурного обращения с семьей Бхутто?» В ответ заместитель министра Бакли обещал предпринять шаги через «частные каналы», что означало, что он ничего не сделает. Но, по крайней мере, сенатор Пелл высказал свое отношение.

Традиционное уважение американского конгресса к просьбам новой администрации, так же как и обеспокоенность по поводу Афганистана, оказалось сильнее возражений сенатора Пелла и других о случаях нарушений прав человека режимом Зии и о ядерной программе Пакистана. Конгресс одобрил предлагаемый на рассмотрение пакет помощи, но сенатору Пеллу удалось внести поправку о том, что, «оказывая помощь Пакистану, конгресс способствует скорейшему восстановлению всех демократических свобод и представительного правительства в Пакистане». И хотя поправка Пелла не имела большого практического

значения, она оказалась удачным ударом по диктатуре Зии.

Праздник *Ид* начался и кончился, а я все еще находилась в Центральной тюрьме Карачи. Надзирательница-патанка сказала мне, что среди заключенных, освобожденных на время праздника, были и политические, я порадовалась за них и за их семьи. По случаю праздника многие тюремные служащие проявили свое доброе отношение ко мне. Жена одного из тюремщиков попросила мой *камиз*, чтобы к празднику *Ид* сшить для меня новый, другой тюремщик сказал мне, что останется в конторе и попытается заставить начальство починить электросеть в моей камере. «Я надеюсь, что в хорошие времена мы не забудем этих людей», — записала я в своем дневнике.

Однако вместо каждого политического заключенного, освобожденного на праздники *Ид*, было арестовано десять других. Теперь, как я прочитала в газетах, шла настоящая охота на студенческого лидера Лала Асада. Лала Асад был верным сторонником нашей партии, и я молилась, чтобы полиция не нашла его. В последние дни моего пребывания на свободе, в 1981 году, когда я ездила в Хайрапур, чтобы раздать свидетельства студентам, арестованным за организацию демонстрации протеста против военного положения, я использовала как прикрытие празднование рождения сына у Лала Асада, которого в честь моего отца называли Зульфикаром. Сам Лала Асад за поддержку моего отца провел два года в тюрьме. Его собственный отец, бывший министр в Западном Пакистане, выступавший против Мохаммеда Али Джинны, во время моего приезда попросил устроить встречу со мной. Этот больной, прикованный к постели старик умолял меня убедить его сына отказаться от политической деятельности.

— Мне недолго осталось жить, — сказал он мне. — Я никогда не препятствовал тому, чтобы сын занимался политикой, когда мистер Бхутто сидел в тюрьме. Но теперь, когда он погиб, мне надо, чтобы сын заботился обо мне, о своей жене и детях. Когда я умру, пусть он работает для вас и вашей партии. Но сейчас, когда я на пороге смерти, он нужен мне.

Я обещала ему поговорить с Лала Асадом и свое обещание сдержала. Я не знала, что происходило после того, как я уехала, потому что через месяц меня арестовали и отправили в Суккур. Теперь, когда прошел год, Лала

Асада разыскивают как лидера «Аль-Зульфикар». Я понятия не имела, было ли это обвинение правдой.

Терроризм. Насилие. Разорвется ли когда-нибудь этот круг? Только за последние несколько месяцев были совершены покушения на жизнь трех президентов — президента Зия ур-Рахмана в Бангладеш, президента Раджани в Иране и совсем недавно, 6 октября, на президента Анвара Садата в Египте. Мне было жаль президента Садата, его семью за такой жестокий конец жизни. Еще ребенком я была ярым сторонником его предшественника, Гамалья Абдель Насера, восхищаясь его борьбой против британского и американского империализма во время суэцкого кризиса. Насер казался мне гигантом, обещающим построить новый мир равенства из пепла и камней вчерашних одряхлевших королевств и монархий. Я часами сидела в библиотеке отца в доме на Клифтон-Роуд, 70, читая все книги о нем, которые я могла найти, включая и его собственную — «Философию революции».

Я не была поклонницей Садата, который пошел против своего наставника и, заняв пост президента Египта в 1973 году, изменил его политику. Но сообщение в газете о смерти Садата неожиданно для самой себя глубоко задело. Хотя папа критически относился к сепаратному миру Садата с Израилем, Садат обращался к Зие с просьбой помиловать отца. Египетский президент также предоставил убежище иранскому шаху с семьей, хотя этот шаг угрожал ему потерей популярности. И когда Шах умер от рака, Садат устроил пышные похороны, демонстрируя благородство духа, редкое в мире «реальной политики». Он не считал, что политические разногласия и споры должны препятствовать выполнению того, что он считал правильным. Теперь и он был мертв.

Меня охватило уныние. Каждый вечер, когда я сидела над своим вышиванием, у меня начинала раскалываться голова. Вечером 21 ноября — это был день рождения моего брата Шаха — у меня сжалось горло и к глазам подступили слезы. Я легла на койку, но слезы все равно текли по лицу. Где мои братья? Что с ними? И Мир, и Шах женились сразу же после праздника *Ид*. Они женились в Кабуле, на двух сестрах-афганках по имени Фавзия и Рехана, дочерях бывшего правительственного служащего. Больше я ничего о них не знала. Я была рада, что братья нашли любовь, теплоту и душевный покой в эти тяжелые времена. Почему же мне было так тяжело?

Я заснула тревожным сном. Мне вновь и вновь снилось, что Мир вернулся в Пакистан. Он пробрался по горным тропам из Афганистана, перешел вброд Инд и теперь прятался в шкафу в доме на Клифтон-Роуд, 70. Военные захватили дом. Как только они открыли шкаф и обнаружили его, я проснулась.

Мои предчувствия оказались не совсем верными. Жертвой пал другой. На следующее утро я прочитала в газетах, что полицейские застрелили Лала Асада. Боль в голове стала еще сильнее. Лала Асад был убит в перестрелке с полицией в районе Федерал «Б» в Карачи после того, как он сам выстрелом убил полицейского. В течение нескольких месяцев я не знала правду. На самом деле оказалось, что у Лала Асада во время перестрелки не было оружия. Полицейский был убит другим полицейским в перекрестном огне. Когда Лала Асад пытался бежать из засады, его просто хладнокровно пристрелили.

Лала Асад мертв. Теперь и его кровь на мундире Зии. Что чувствует отец Лала Асада? Вместо сыновней помощи в конце жизни он получает его тело. Когда же все это кончится?

«Поиск террористов из «Аль-Зульфикар» продолжается по всей стране, полиция арестовала несколько сот человек», — сообщали газеты 26 ноября. Полицейские заполнили дома, молодежные общежития, аэропорты по всей стране. Полицейские посты были установлены на всех путях, ведущих из Карачи, — по земле, воде и воздуху. По сообщениям газет, использовались специальные бинокли, через которые было видно даже сквозь затемненные стекла автомобильных окон. Загримированные актеры помогали полиции распознавать «тех, кто скрывается».

Мое беспокойство росло. Меня мучили угрызения совести из-за смерти Лала Асада. Я молилась, чтобы он простил меня за то, что иногда я была с ним резка. Я терзалась, что дома на Клифтон-Роуд, 70 хранила фотографии его и других студенческих лидеров, фотографии, которые полиция забрала во время последнего обыска. Вдруг они воспользовались именно этими снимками, чтобы найти его?

Я взглянула на свои руки, как бы покрытые паутинкой, на морщины около глаз, на щеках, на лбу. Мне казалось, что это реакция на жаркий сухой климат и ветры Суккура. Но похоже, что это уже навсегда. Я постарела слишком быстро.

11 декабря, когда заканчивался мой очередной срок заключения, я была готова к тому, что получу новый ордер. Я знала, что сейчас меня не освободят. Еду принесли на час раньше — вместе с новым ордером. Но все же послание сенатора Пелла, видимо, нашло дорогу в Пакистан. Через две недели неожиданно, ближе к вечеру, ко мне пришел заместитель начальника тюрьмы. «Собирайте свои вещи, — коротко сказал он. — Завтра утром в 5.45 в сопровождении полиции вас отвезут в Ларкану».

Дневная надзирательница плакала, когда мы расставались. Патанка тоже плакала и просила простить ее, если ее глупость меня раздражала. Я сама не могла удержаться от слез. Хотя я все время думала и мечтала о том, чтобы меня перевели под домашний арест, мне вдруг стало страшно расставаться с налаженным бытом в Центральной тюрьме Карачи, где я прятала разрозненные экземпляры «Интернэшнл геральд трибюн», «Тайм» или «Ньюсуик», которые иногда сочувствующие мне тюремщики пропускали в камеру. В Карачи я все же была недалеко от матери и сестры. Теперь я буду отрезана от них в сельской глуши Аль-Муртазы.

27 декабря 1981 года вскоре после восхода солнца полиция пришла за мной. Я бросила последний взгляд на свою омерзительную сырую камеру. Как я могла огорчаться, покидая ее? Тем не менее могла, так же было со мной, когда я уходила из моей камеры в Суккуре. Годы заточения сделали свое. Я стала бояться неизвестности.

ЕЩЕ ДВА ГОДА ОДИНОЧЕСТВА ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Знакомая обстановка. Удобства. Дом. Если не замечать того, что солдаты из вспомогательных формирований пограничной провинции опять расположились во дворе нашего дома и что тюремные служащие ежедневно появляются в Аль-Муртазе, чтобы следить, как проходит мое заточение, я наслаждаюсь своей, можно сказать, сладкой жизнью. Как сообщили мне представители военного режима, некоторым лицам из обслуживающего персонала будет разрешено приходить в Аль-Муртазу в течение дня. Мне сказано, что я могу пользоваться телефоном и, самое главное, принимать трех посетителей каждые две недели. После десяти месяцев одиночного заключения эти привилегии равнозначны проживанию в пятизвездочном отеле. Мой первый вечер дома я отпраздновала тем, что, не торопясь, приняла горячую ванну и сделала маникюр.

Но я слишком рано начала радоваться. Мои телефонные звонки были ограничены разговорами с родственниками, и мне не разрешалось говорить о политических делах. Работал же телефон очень редко. Часто разговор прерывался или просто отключалась линия. Позднее я выяснила причину. Все телефонные линии проходили через военный пост связи, находившийся рядом с нашим домом.

Разрешение на трех посетителей в две недели тоже вскоре стало мифом. В списке тех, кому это было разрешено, значились только моя мать, Санам и тетушка Манна. Все они жили в Карачи, откуда надо было лететь час, причем поездка была затруднена еще и тем, что рейсы сюда, во внутренний Синд, были редкими и в неудобное время. Санам, которой теперь надо было заботиться о муже и доме, приезжала один или два раза. Моя мать плохо себя чувствовала и тоже не могла часто навещать меня. У меня были знакомые по политической работе в Ларкане, которые могли бы приезжать, но полиция не позволила. Так что я снова была в одиночном заключении. Поэтому

после ухода посетителей, причем чаще всего это был тюремный чиновник, у меня долго потом болели челюсти от непривычных движений. Наверное, мне надо было бы разговаривать самой с собой в этой бесконечной тишине, хотя бы чтобы услышать звук человеческого голоса, но тогда я об этом не думала.

Ордера на продление заключения приходили регулярно, каждые три месяца. Текст я уже знала наизусть. «Поскольку заместитель администратора военного положения считает, что в целях удержания мисс Беназир Бхутто от действий, наносящих ущерб целям, ради которых объявлено военное положение, равно как и безопасности Пакистана, общественному спокойствию и интересам или действительному проведению военного положения, необходимо задержать вышеупомянутую мисс Беназир Бхутто...»

Время шло еще медленнее, чем когда-либо. Не было ежедневных газет, не было «Интернэшнл геральд трибюн». По телевизору почти ничего не передавали, кроме учебной программы по арабскому языку, выступлений генерала Зии на синди, урду и английском, или каких-нибудь документальных фильмов о политической деятельности режима для «промывки мозгов», или нескольких полчасовых пьес. Периоды жалости к себе у меня чередовались с приступами угрызений совести. «Ты не должна быть такой неблагодарной Аллаху, — упрекала я себя. — У тебя есть свой дом. У тебя есть еда и одежда. Подумай о тех, кому повезло меньше». Мое душевное состояние колебалось, как маятник.

Для того чтобы скорее проходило время, я училась готовить по маминым рецептам из старой поваренной книги на кухне. Печи не работали, было очень мало кухонной посуды, нечем было даже взбить яйца. Но зато каждое блюдо, которое мне удавалось приготовить, — карри, дал, рис — было триумфом. Как «дамские пальчики» и чилли, которые выращивала мать в Аль-Муртазе три года назад во время нашего заключения, еда, которую я сама теперь готовила, приобретала особое значение. Я смотрела на миску риса и видела в нем доказательство того, что я существую. Я смогла сделать его съедобным продуктом. *Cogito, ergo sum*. Я стряпаю, следовательно, существую.

Я все время волновалась о маме. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как она приходила ко мне в Центральную тюрьму Карачи и сказала, что врачи подозревают у нее рак легкого. Если у нее действительно был рак, то время теперь работало против нее. Раннее обнаружение и лечение

рака легких может приостановить болезнь. Для того чтобы она набралась сил для дальнейших обследований, врач прописал ей специальную диету. Если же оставить болезнь без лечения, рак легких очень быстро приводит к смерти. Последняя серия анализов была еще более убедительной. Врачи решили, что тень на левом легком — скорее всего злокачественное образование. Они сообщили властям, что мать нуждается в проведении компьютерной томографии и лечении, которое в Пакистане невозможно. Однако на просьбу матери о возвращении ей паспорта, чтобы она могла поехать за границу для лечения, ответа не было. Ходили слухи, что министр внутренних дел не может ничего сделать, потому что Зия забрал папку с делом моей матери с собой в поездку в Пекин.

Прошел еще месяц, а власти так и не дали матери разрешение на выезд из Пакистана. Еще один месяц. Потеряв надежду, мамин врач из Карачи начал химиотерапию. Мое огорчение, когда мама впервые сообщила об этом по телефону, после ее следующих звонков переросло в отчаяние. Ее волосы поредели, она очень похудела, как она сама призналась, сожалея, что не может навестить меня. Я огорчалась из-за того, что не могу исполнить свой дочерний долг и помочь ей или хотя бы побыть с нею.

Несмотря на цензуру печати, новости о ее болезни распространились по стране. «Люди не забыли маму, — успокаивала меня Санам по телефону. — Нам постоянно звонят и спрашивают о ее здоровье, и Фахри тоже. Похоже, что состояние ее здоровья стало главной темой на дипломатических приемах и вечеринках, у автобусных остановок и в кинотеатрах».

— Зия будет вынужден отпустить ее за границу, — сказала я с надеждой, пытаясь убедить сама себя. Но даже когда на Зию начали оказывать давление, он не позволил ей уехать. Вместо этого через три месяца после того, как врачи сообщили о подозрении на рак, Зия созвал федеральный медицинский совет, чтобы определить, действительно ли она так больна, что требуется лечение за границей.

Федеральный медицинский совет. Очередное мелкое унижение. Только во времена Айюб Хана, когда поездки за рубеж были ограничены, гражданам Пакистана требовалось решение медицинского совета для получения паспорта. При моем отце право иметь паспорт, а следовательно, и свободно выезжать стало неотъемлемым правом каждого пакистанца. Для приспешников Зии было обычной

практикой ездить за государственный счет за границу для лечения незначительных заболеваний, которые можно вылечить и в Пакистане. Но для своих политических противников Зия восстановил медицинский совет. Теперь он решил им воспользоваться, чтобы оттянуть выезд моей матери на лечение.

Когда наконец совет собрался, оказалось, что там в основном люди Зии. Решение Верховного суда, подтверждающее смертный приговор отцу, было осуществлено путем сокращения положенного количества судей. Теперь же вместо обычных трех в медицинский совет было назначено семь врачей, чтобы Зия наверняка получил то решение, которое он хотел. Все семеро были на службе у режима. Председателем совета был генерал-майор, находящийся на действительной службе.

— Мне кажется, что Бегам-сахиба вполне прилично себя чувствует, — совершенно безответственно заявил этот генерал после первой встречи совета. Другие члены совета потребовали, чтобы мать прошла еще четырнадцать рентгеноскопий легкого и сделала еще анализы крови. Эти процедуры настолько измотали ее, что у нее поднялась температура, она начала кашлять кровью и потеряла сознание тут же, после окончания обследования. Хотя обследование показало, что тень в легком увеличилась и гемоглобин понизился, председатель совета потребовал, чтобы ей сделали еще одну бронхоскопию, что было не только не обязательно, но и могло способствовать быстрому развитию злокачественного новообразования. Терапевт моей матери в Карачи, доктор Саид, который сам являлся членом совета, был совершенно разъярен и наотрез отказался подтвердить решение совета. Его поддержали анестезиологи из больницы, настаивавшие на том, что моя мать может не перенести анестезию, необходимую для введения диагностических трубок в легкие.

В Аль-Муртазе я молилась за маму. Больше я ничего не могла сделать. Но по всей стране люди, опасавшиеся, что Зия действительно может приблизить смерть матери, начали действовать. «Мы не смогли спасти мистера Бхутто, — шептались люди между собой. — Теперь, когда Бегам Бхутто может умереть, мы не должны стоять в стороне». Возмущение бессердечным отношением властей к моей матери нарушило традиционное политическое размежевание, и многие военные семьи и представители высокопоставленной бюрократии режима поддержали ПНП.

— Ты только подумай! Жена и сестра администратора военного положения Синда приняли участие в женской демонстрации за спасение жизни тетушки, — возбужденно кричала Фахри по телефону.

— Их арестовали? — я почти взвизгнула, не веря тому, что слышу. После генерала Зии четверо администраторов военного положения в провинциях были самыми могущественными людьми.

— Они не посмели. Когда появилась полиция, все вбежали в дом администратора и заперли ворота, — сказала Фахри.

Как я выяснила позже, мучения моей матери вызвали протест и за рубежом. В Англии группа моих старых друзей из Оксфорда вместе с доктором Ниязи, Аминой Пирача и некоторыми активистами движения за права человека начали кампанию «Спасите женщин семьи Бхутто». Для выполнения ближайшей задачи — освобождения моей матери — они попытались воздействовать на парламент с помощью лорда Эйвбери, члена палаты лордов. Двое членов парламента, Джоан Лестер и Джонатан Эйткен, быстро откликнулись на призыв, организовав срочный запрос в палате общин: «Лечение Бегам Бхутто: палата общин призывает правительство Пакистана разрешить Бегам Бхутто выезд за границу для лечения от ракового заболевания». 4 ноября лорд Эйвбери организовал в палате лордов пресс-конференцию, на которой британский доктор обрисовал всю тяжесть состояния матери.

Члены правительства Соединенных Штатов также обращались с ходатайствами за мою мать. «Дорогой господин посол, — писал 8 ноября сенатор Джон Гленн, член сенатской комиссии по иностранным делам, Эджазу Азиму, пакистанскому послу в Вашингтоне. — Более двух месяцев назад миссис Нусрат Бхутто, вдова покойного премьер-министра, обратилась с просьбой разрешить ей выехать за границу для лечения возможного злокачественного образования в легком... Из самых гуманных побуждений я призываю ваше правительство незамедлительно ответить положительно на просьбу миссис Бхутто. Быстрое положительное решение этого вопроса будет воспринято здесь как акт сострадания и поможет укреплению отношений между нашими двумя странами».

Однако Зия давно уже привык игнорировать призывы западных правительств к состраданию. В это время он был в поездке по Юго-Восточной Азии и был абсолютно уверен в том, что совет будет действовать в соответствии с его

волей и примет нужное решение. «С Бегам Бхутто ничего страшного, — цитировала его высказывания в Куала-Лумпуре пресса 11 ноября, то есть в тот день, на который было назначено окончательное заседание совета. — Если она хочет съездить за границу развлечься или на экскурсию, она может обратиться с этой просьбой, и я подумаю о решении».

Но генерал Зия не принял в расчет терапевта моей матери, доктора Саида.

— Я не подпишу ваш доклад, — сказал доктор Саид генерал-майору, возглавлявшему медицинский совет, созванный позже в этот же день. — Совесть врача просто не позволит мне ставить под угрозу жизнь моей пациентки.

— И моя тоже, — вдруг откликнулся один из врачей в совете, тем самым нарушая неписаное правило, что все члены федерального совета согласны с мнением руководителя.

— И моя тоже, — добавил второй, затем третий. Генерал-майор в шоке смотрел, как один за другим бунтуют врачи: в конце концов они все подписали заявление доктора Саида, требующее немедленного разрешения моей матери выехать из Пакистана.

— Вы тоже должны подписать это, — сказал воодушевленный доктор Саид генералу. — Как может генерал отказаться, когда все члены комиссии согласны?

Без сомнения, шок генерала усилился, когда вскоре после того, как он поставил свою подпись под документом, генерал Зия одним махом лишил его и гражданской, и военной должностей.

Власти дали разрешение на выезд моей матери на следующий день после неожиданного заявления медицинского совета. Я была в восторге, прочитав это сообщение в утренних газетах, и тут же подала властям просьбу разрешить мне повидаться с ней перед отъездом. После почти годичного заточения в Аль-Муртазе мне неожиданно приказали собрать вещи. Под конвоем из двенадцати полицейских автомобилей, грузовиков и джипов меня повезли в аэропорт Мохенджо-Даро. Там полиция конфисковала камеры у фотографов, запечатлевших мое первое за одиннадцать месяцев появление на публике. Полицейские, вооруженные автоматами, проследовали за мной в самолет. Когда я прилетела в Карачи, вертолет сопровождал машину, которая меня везла на Клифтон-Роуд, 70. И все это для того, чтобы дочь попрощалась с матерью.

Мама, бледная и слабая, на постели. Мама, состарившаяся раньше времени. И опять меня раздирали внутренние противоречия. Больше всего я хотела, чтобы она поехала за границу, где ее могут вылечить. Но я с ужасом думала о том, что останусь совсем одна. В то время как Фахри бегала взад и вперед из спальни с последними посланиями от генерального секретаря ДВД и других членов партии, я боролась с собой, стараясь не думать о чувстве одиночества, надвигавшемся на меня. «Что же будет, если Бегам Бхутто уедет из страны?» — такой вопрос был во всех сообщениях. Но у мамы уже не было выбора.

«С тяжелым сердцем, лишь подчиняясь медицинской необходимости, я на время покидаю нашу землю и наш народ», — писала мама в своем прощальном заявлении. «Мои мысли будут постоянно с вами, с борющимся народом, с голодными и угнетенными, с эксплуатируемыми и обиженными, со всеми, кто мечтает о прогрессивном и процветающем Пакистане...»

Власти объявляли в газетах неверные даты маминого отъезда, стараясь не допустить скопления людей. Не доверяя властям, сторонники ПНП регулярно проезжали мимо дома на Клифтон-Роуд, пытаясь определить признаки приближающегося отъезда. Мы слышали их выкрики. «Джийе Бхутто! — кричали они. — Бегам Бхутто, *зиндабад!* Да здравствует Бегам Бхутто!»

На прощанье я поцеловала маму и дала ей медальоны с землей с отцовской могилы, чтобы она передала их братьям, и кулоны с выгравированными на них оберегающими сурами из Корана для моих новорожденных племянниц. Мы обе плакали, не зная, что ждет каждую из нас. «Будь осторожна», — сказала мне мама. Вместе мы вышли из резной деревянной парадной двери, откуда 13 лет назад она провожала меня в Гарвард, держа Коран над моей головой, и она шагнула в толпу людей, ждавших ее у ворот.

Самия Вахид:

Дост Мохаммед привез Бегам Бхутто в аэропорт, Санам и Фахри сидели на задних сиденьях. Когда мы отъезжали от Клифтон-Роуд, 70, собралась огромная толпа. Не подчинившись властям, которые пытались держать ее отъезд в тайне, Бегам Бхутто включила свет в автомобиле, чтобы люди могли видеть ее. Миссис Ниязи, Амина, моя сестра Салма и я ехали в другом автомобиле вслед за ней.

На каждом перекрестке к нам присоединялись машины, пока все ее приверженцы не выстроились в длиннейшую кавалькаду. Когда мы въезжали на мост, ведущий в аэропорт, я оглянулась. Автомобили, провожающие Бегам Бхутто, заняли семь полос шоссе. Машинам, ехавшим в противоположном направлении, приходилось жаться на одной оставшейся полосе.

Толпа, ждущая нас в аэропорту, оказалась еще больше. Когда мы подъехали к аэровокзалу, люди окружили наши машины. Через ветровое стекло я увидела босую ногу человека, забиравшегося на крышу нашей машины. «Да будет с тобой Аллах», — кричал он, а в это время члены партии пытались перенести ее в инвалидном кресле в здание аэровокзала. Наконец, они смогли передать кресло с ней на руках через головы толпы. Экипаж самолета Эр-Франс, который должен был скоро вылетать, с трудом смог пробраться через толпу. Им пришлось перебрасывать свои сумки друг другу. Когда в конце стометрового пути они выбрались из толпы, их одежда была в беспорядке, головные уборы сорваны, волосы растрепаны. Более волнующих проводов Пакистан еще не видел. Люди не знали, доведется ли им увидеть опять вдову их премьер-министра и любимого лидера ПНП.

В Западной Германии маме сделали томографию и назначили соответствующее лечение. Лечение пошло хорошо, и, к счастью, процесс был остановлен. А я все еще была под стражей на Клифтон-Роуд, 70. Внутри дома располагались одиннадцать тюремщиков. Снаружи на расстоянии двух футов друг от друга вокруг всего дома стояли солдаты из вспомогательных формирований Пограничной провинции. Агенты разведки со своих постов у парадных ворот и служебного входа не сводили глаз с дома. Мне пришлось провести под стражей на Клифтон-Роуд, 70 еще четырнадцать долгих месяцев.

С большим интересом я прочитала книгу Джакобо Тимермана «Узник без имени, камера без номера», хронику двух с половиной лет, проведенных издателем аргентинской газеты в заключении в качестве политического узника. «Это зеркало наших душ, отражение наполненных болью глаз в таких же глазах, — писала я в своем дневнике. — Когда он говорит о пытках на электрическом стуле, слова на странице нацелены прямо на меня. «Тело разрывалось на части, — пишет Тимерман, — однако, как ни странно, на нем не было ни следов, ни шрамов. Политических заключенных после пыток на некото-

рое время оставляли в покое, чтобы они могли прийти в себя, а затем пытки начинались вновь». Интересно, он рассказывает об Аргентине или о камере допросов времен военного режима в Пакистане?»

Приказ президента № 4 от 24 марта 1982 года: теперь специальные военные суды могут проводиться закрытым судебным заседанием. Нет необходимости информировать, когда состоится суд, кто обвиняемые, какие выдвинуты обвинения, какой вынесен приговор. Чтобы предотвратить утечку информации, юристов или любых лиц, связанных с таким судом, сообщивших какие-то сведения общественности, наказывали в уголовном порядке.

Указ № 54 военного положения от 23 сентября 1982 года, имеющий обратную силу до дня низвержения моего отца, 5 июля 1977 года: теперь для лица, совершающего преступление, «грозящее нестабильностью, паникой или отчаянием среди народа», предусмотрена смертная казнь. Смертная казнь предусмотрена и для лица, знавшего о таком преступлении и не информировавшего о нем власти военного положения. Далее, обвиняемый теперь считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. «Военный суд... может в случае, если не доказано обратное, считать, что обвиняемый совершил преступление, которое ему предъявляется», — говорилось в указе.

В октябре в Карачи собрались две тысячи юристов с требованием восстановить гражданские свободы. Организаторы были арестованы и приговорены к году строгого тюремного заключения. Через две недели были арестованы Хафиз Лакхо, один из адвокатов моего отца, а с ним вместе секретарь ассоциации юристов Карачи.

В декабре я прочла в газетах, что Зия находится в Вашингтоне для встречи с президентом Рейганом и членами конгресса. Только в декабре в Пакистане казнили более двадцати заключенных. Интересно, знали ли члены конгресса о нарушениях прав человека в Пакистане? Волновала ли их эта проблема? Было ли им дело до этого?

Я не найду ответа на эти вопросы еще три года. Зия ожидал, что его визит в Вашингтон будет большим торжеством его новоприобретенной значимости, но вместо этого во время встречи с сенатской комиссией по иностранным делам на него обрушился залп критики. «Присутствующие вспоминают, что генерал был спокоен и уверен, пока сенатор Пелл не вручил ему письмо, выражающее озабоченность комитета по поводу количества политических заключенных в Пакистане, — писал Джек Андерсон

в «Вашингтон пост». — Список начинался с имени Беназир Бхутто».

Говорят, что Зия просто взорвался, когда сенатор Пелл вынудил его говорить о моем заключении. «Я вот что могу сказать вам, сенатор, — огрызнулся Зия, утверждая, что я нарушила «закон». — Она живет в доме, лучшем, чем у любого вашего сенатора». Затем он продолжал утверждать, что мне разрешены посещения друзей и родственников и что даже «я имею право пользоваться телефоном».

Услышав заверения Зии, Питер Гэлбрейт решить проверить их и позвонил мне домой, на Клифтон-Роуд, 70. Ответил мужской голос, и Питер попросил меня к телефону.

— Вы не сможете поговорить с ней. Она в тюрьме, — ответил человек.

— Я звоню из американского сената, — сделал еще одну попытку Питер. — Ваш президент только что был здесь и утверждал, что она может пользоваться телефоном.

— С ней разговаривать нельзя. Это запрещено, — твердо сказал человек и швырнул трубку.

25 декабря, день рождения основателя Пакистана, я провела в заточении на Клифтон-Роуд, 70. В Новый год и в день рождения моего отца я тоже была одна. Когда наступил 1983 год, я подумала, что с 1977 года только один Новый год я провела на свободе. Я стала скрежетать зубами во сне. Часто, просыпаясь утром, я обнаруживала, что суставы распухли, а пальцы стиснуты так, что невозможно разжать их.

«Я действительно благодарна Аллаху за все милости, которыми он благословил меня, — писала я в дневнике. — За мое имя, мою честь, мою жизнь, моих мать, отца, братьев, сестру, за образование, возможность говорить, за то, что у меня целы руки и ноги, что я сохранила зрение, слух, за то, что я не обезображена шрамами...» Список благославлений, составленный для того, чтобы уничтожить чувство жалости к себе, все рос и ширился. Другим политическим узникам зимой, в стылых камерах, было несравнимо хуже, чем мне.

Однажды кто-то из нашей домашней прислуги принес мне новый шерстяной шарф. Он сказал мне, что такие шарфы очень недорого продают на «черном» рынке афганские беженцы. Я тайком передала записку одному партийному активисту с просьбой закупить такие шарфы, но с красной, зеленой и черной полосами на концах — цветами ПНП. Мы рассылали их вместе с носками и свитерами тысячам заключенных в тюрьмы по всему Синду.

Опять начало болеть ухо, а потом зубы, десны, суставы.

— С вашим ухом ничего страшного, — говорил мне в больнице в Навале отоларинголог, нанятый властями. Таким же малоквалифицированным был и зубной врач, спросивший меня, какому зубу требуется рентген.

— Я не знаю точно, какой зуб, — ответила я. — Вы зубной врач, а не я. Болит в этом месте.

— Мы не можем понапрасну расходовать рентгеновские пленки, — был ответ.

В британской прессе начали появляться сообщения о моем здоровье, на которые отвечал представитель министерства информации при пакистанском посольстве. «При малейших жалобах на любое заболевание ее отвозят в лучшую больницу Карачи, — написал Кутубуддин Азиз в «Гардиан». — Из-за того, что она заядлый курильщик, у нее развилась болезнь десен. Ее лечил известный дантист, которого она сама выбрала». А я вообще не курила.

Я изголодалась по разговорам, по общению, обмену мнениями. К счастью, со мной на Клифтон-Роуд, 70 были мои кошки, но они не заменяли людей. Власти хотели, чтобы я полностью была отрезана от внешнего мира. Поэтому я была удивлена, когда получила просьбу явиться в суд в марте 1983 года для того, чтобы выступить свидетелем на процессе какого-то Джама Саки, коммуниста, который привлекался по разным обвинениям, в том числе обвинялся в деятельности, направленной против «идеологии Пакистана», и распространении недовольства среди вооруженных сил.

Я никогда не видела Джама Саки. Вообще-то он был противником моего отца. Но, как выяснилось, Джам Саки назвал в качестве свидетелей многих известных политических деятелей для того, чтобы уточнить сущность предмета и определить таким образом, действительно ли имеют силу обвинения, выдвинутые против него. Я была более чем готова обсудить незаконность военного положения, хотя и не была уверена в мотивах, побудивших власти разрешить мне появиться на людях. Возможно, они хотели заклеить меня как «сторонницу коммунистов». Но для меня важнее было право каждого обвиняемого на открытый и свободный суд. Кроме того, суд даст мне возможность выступить публично с изложением моих политических взглядов впервые за почти два года.

Когда пришла первая судебная повестка, вызывающая меня в военный суд, назначенный на 25 марта, я ответила

через тюремное начальство, что я нахожусь под арестом и не могу просто прийти. Если суд хочет, чтобы я выступила свидетелем, он должен оформить мне вызов.

Немедленно пришел ответ из министерства внутренних дел, в котором говорилось, чтобы я была готова к 7 часам утра на следующий день. Я была готова. В 11 часов пришло новое сообщение. Мое выступление переносилось на то же время на следующий день. Опять я была готова в 7 утра 27 марта. И опять я ждала четыре часа. И опять они отложили мое выступление на двадцать четыре часа. Я успокаивала себя мыслью о том, что власти хотели сбить с толку моих сторонников, которые могли собраться, чтобы увидеть меня. Когда они наконец пришли за мной, были приняты все возможные меры предосторожности, чтобы изолировать меня от публики.

Улицы, по которым мы ехали, были совершенно пусты, дороги были блокированы полицией. Многочисленные усиленные полицейские отряды были выставлены на всех въездах на Кашмир-Роуд, все пешеходные переходы были перегорожены колючей проволокой. Когда я приехала в военный суд, расположившийся в спортивном комплексе, я обнаружила, что и там был наведен порядок. Родственникам Джама Саки и других обвиняемых было разрешено сидеть в комнате ожидания только при условии, что они не будут разговаривать со мной. Мне было все равно... Я была так счастлива видеть некоторых адвокатов, собравшихся здесь, Самию, Салму, мою двоюродную сестру Фахри, которые каким-то образом ухитрились добиться специального разрешения прорваться сюда. Больше всего я радовалась возможности выговориться.

В тесной комнате суда за столом сидел полковник, по сторонам — майор и мировой судья. Мы занимали три ряда стульев перед ними, причем в течение всего процесса Дхам Саки был в кандалах. Мне грустно стало при мысли о том, что даже в этой маленькой комнатке армия считает необходимым держать людей в оковах. Дхам Саки сам задавал вопросы, поскольку в военном суде обвиняемому не полагалось иметь адвоката.

Предполагалось, что я должна была дать свидетельства в течение одного дня, но я так пространно отвечала на вопросы, которые мне задавал Дхам Саки, что вся процедура растянулась на целых два дня. На его вопросы не так легко было ответить коротко и точно: «Нас обвиняют в действиях, направленных против идеологии

Пакистана, — существует ли такое понятие, как идеология Пакистана? Каково ваше мнение об иранской революции? Соответствует ли военное положение исламским традициям?»

Я знала, что на воле стала появляться подпольная литература в виде листовок и плохо отпечатанных брошюр, которая распространялась среди интеллигенции трех крупнейших городов Пакистана тайком, из рук в руки. Некоторые владельцы типографий за определенную цену работают на печатных машинах всю ночь при свете фонариков, а затем рассыпают набор. Это была моя единственная возможность показать линию партии и обличить военное положение. Я не собиралась упускать ее.

— Пытаясь четко определить, есть ли место военному положению в исламе, мы должны осознать концепцию военного положения, — отвечала я на третий вопрос. — Ислам — это повиновение воле Аллаха, в то время как военное положение — это подчинение армейскому командованию. Любой мусульманин обязан подчиняться только воле Аллаха.

— Термин «военное положение», насколько я помню, родился в дни Бисмарка в прусской империи. Присоединяя завоеванные территории, Бисмарк заменил законы, действующие на этих территориях, на свои собственные, основанные на его прихотях и внедренные под дулами ружей. Перед второй мировой войной термин «военное положение» применялся по отношению к власти оккупирующей армии. Слово командующего оккупационных войск заменяло существовавший закон.

— При колониализме к местному населению относились как к гражданам второго сорта. Они были лишены права определять свою собственную судьбу в соответствии со своими чаяниями и устремлениями и в соответствии с тем, что было бы экономически выгодно для них. Вскоре после окончания второй мировой войны и ухода колониальных держав из большинства колоний народ освободившихся стран на короткий период получил свободу и независимость. Именно в это время такие лидеры национально-освободительного движения, как Насер, Нкрума, Неру и Сукарно, добивались социального равенства и справедливости для своих народов. Но бывшие колониальные державы, вынужденные изменить свою структуру, хотели благополучия для своих собственных народов и, независимо от того, сознательно или нет, но они в конце концов переставали поддерживать союз военно-религиозных сил.

Этот союз отказывал народу в праве решать свою собственную судьбу и пользоваться плодами принятого в своих интересах решения. Ситуацию еще больше усложняло соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

— Во многих освободившихся странах теперь у власти находятся военные режимы в той или иной форме. Однако власть, основанная на применении силы, а не на консенсусе, не может соответствовать основным принципам ислама, который делает главный упор именно на консенсус. Во-вторых, военные режимы всегда овладевают властью под угрозой оружия или угрозой использования силы, в то время как в исламе вообще нет концепции узурпации власти. Поэтому мы видим, что концепции военного положения нет места в исламе.

Впоследствии эти мои слова, размноженные в тысячах копий, дойдут до кабинетов журналистов, ассоциаций юристов и даже до тюремных камер политических деятелей.

Зал суда был закрыт для прессы, но один британский корреспондент, видимо, ухитрился пробраться туда. Никто не знал, что он присутствует в зале, пока какой-то вошедший человек не зашептал на ухо полковнику.

— Где? — спросил полковник. Человек движением головы указал на последние ряды.

— Мне кажется, вы журналист, — загремел голос полковника. — Журналистам не разрешен вход сюда. Вы должны немедленно покинуть зал.

Я мельком увидела, как человека, одетого в *шальвар-каميز*, которого все принимали за светлогожего патана, под охраной выводят из зала. Что ж, по крайней мере часть процедуры он видел. «Мисс Бхутто была очень собранной, в хорошей форме, чем доказала, что она не утратила ни своего красноречия, ни остроты ума», — писал потом корреспондент «Гардиан».

Однако я была не так здорова, как могло показаться. В апреле 1983 года мое и так угнетенное состояние было ухудшено предательством некоторых лидеров ПНП. Опять Зия развил бурную деятельность, пытаясь создать политическую базу, которую он потерял после переворота. Намереваясь в августе объявить о новых мерах по «исламизации» страны, Зия воспользовался возможностью проехать по Синду, где он показался впервые с того момента, как отстранил от власти отца и похоронил конституцию 1973 года. Ничего удивительного не было в том, что его поездка вызвала гнев и негодование людей.

При правительстве моего отца синдхи добились больших успехов. Они получали посты на государственной службе в таможне, в полиции, в пакистанских международных авиалиниях. Для них выделялись квоты в университетах, они получали земельные участки и зарабатывали хорошие деньги в заново построенных больницах, на сахарных фабриках и цементных заводах. При Зие эта политика была пересмотрена. Опять началась дискриминация Синда. Государство владело лучшими участками земли в Синде. При Зие она была разделена на мелкие наделы и роздана не безземельным фермерам, а армейским офицерам. Синдхов, дослужившихся до высоких постов в сфере управления, в промышленности, стали заменять отставными армейскими офицерами. Несмотря на то, что 65 процентов доходов государства давал порт Карачи, расположенный в провинции Синд, очень небольшая часть средств возвращалась обратно в провинцию. Экономические беды Синда лишь подлили масла в огонь негодования, охвативший провинцию после убийства моего отца. Многие местные жители считали, что, если бы отец не был синдхом, его бы не повесили.

В 1979 году после выборов в местные органы власти члены советов ПНП в Бадине и Хайдарабаде приняли резолюции, осуждавшие казнь моего отца и высоко оценившие его заслуги. В отместку Зия начал процедуры лишения прав членов советов ПНП по всему Синду. Теперь же Зия хотел добиться признания от немногих оставшихся советников — членов ПНП и просил оказать ему прием во время его поездки по провинции. К моему ужасу, по газетным публикациям я поняла, что они склоняются к тому, чтобы молчаливо и неохотно, но все же пойти навстречу его пожеланиям.

Как мне передать послание на свободу? Слуг обыскивали при входе и выходе на Клифтон-Роуд, 70, агенты разведки следовали за ними на мотоциклах, когда они выходили из дома по делам. Наконец я попросила одного из слуг притвориться больным на виду у охраны и сделать вид, что он едет в отпуск в свой дом в Ларкану.

— Я надеюсь, ваш сын не собирается оказать прием Зие, — таким было мое устное послание руководителю отделения ПНП в Синде, сын которого был одним из советников. — Как вы знаете, это идет вразрез с политикой партии. Пожалуйста, передайте мое мнение другим.

Я передала послание также и советникам — членам ПНП в Ларкане.

— Вы, так же как и другие, можете лечь на это время в больницу или уехать из Ларканы, так чтобы вас не могли найти, — передавала я им. — Но не устраивайте встречу Зие.

Я была в ярости от своей беспомощности, когда я включила телевизор и увидела, что некоторые из них все-таки встретились с Зией. Очевидно, они решили, что партия не может предпринять действия против каждого из них. Мое огорчение было слишком тяжелым. Я была глубоко разочарована. Опять политики пошли на поводу своих собственных амбиций, ставя под угрозу единство партии. Возможно, я слишком идеализировала ситуацию, но я ожидала от них большего. Мне не оставалось другого выхода, кроме как позвонить по телефону президенту ПНП и вести запрещенный мне политический разговор.

— Я хочу, чтобы вы исключили из ПНП советников, имевших встречи с Зией. Они нарушили партийную дисциплину, — быстро проговорила я, зная, что за телефоном следят и что у меня нет лишнего времени. Телефон немедленно был отключен. И больше его так и не включили.

Прекратились звонки и от моих родственников. Тем немногим, которым были разрешены посещения, отказали. Стража у ворот набрасывалась на слуг с обыском. Когда они входили во двор и выходили из него, им приходилось снимать даже обувь и носки. Копались даже в их волосах. Разрезали пакеты с мясом и овощами, которые повар приносил с базара. Просматривали мусор.

Когда я опять оказалась в полной изоляции, я почувствовала, что болезнь обостряется. Усилились боли в ухе. Когда я терла левую щеку, я почти ничего не чувствовала. И шум в ушах становился все сильнее.

Однажды вечером в апреле, когда я шла через приемную на Клифтон-Роуд, 70, мне показалось, что пол поднимается к потолку. Я ухватила за спинку дивана, чтобы не упасть, переживая, когда прекратится приступ головокружения. Вместо этого на меня надвинулась стена тьмы. Я упала вперед лицом на диван и потеряла сознание.

К счастью, это видел один из наших слуг.

— Быстро. Скорее. Бхутто-сахибе нужен врач, — с этим он побежал к тюремщикам.

И опять, кажется, Аллах охранял меня. Вместо обычной бюрократической процедуры, требующей специального разрешения министерства внутренних дел на лечение, которая может отнять от нескольких дней до двух недель, не

прошло и нескольких часов, как полицейские привезли доктора из отделения неотложной помощи больницы Мид-Ист. И еще раз повезло — инфекция из уха прорвалась наружу, а не внутрь.

— Ваше состояние очень серьезно, — сказал доктор, осмотрев ухо. — Вы должны проконсультироваться со специалистом.

— Если вы не отметите специально, что мне нужна консультация специалиста, власти будут по-прежнему настаивать на том, что с ухом у меня все в порядке, — ответила я.

Молодой врач оказался достаточно мужественным человеком для того, чтобы, употребляя специальные термины, сделать запись для властей о том, что я нуждаюсь в консультации. Власти прислали для осмотра врача-отоларинголога, который делал мне операцию на пазухах носа три года назад. Он не захотел, чтобы я называла в этой книге его имя. Но именно он укрепил мое здоровье и даже, возможно, спас мне жизнь.

— У вас перфорация уха, — сказал он, подтверждая мои подозрения о враче, присланном мне властями в Аль-Муртазу четыре года назад. — Из-за перфорации возникло инфекционное воспаление среднего уха и мастоидной косточки.

Сейчас надо было регулярно осушать ухо, чтобы уменьшить давление на лицевой нерв, которое вызывает онемение левой части лица. Когда прекратится инфекционный процесс, мне надо будет делать операцию.

— Вам придется ехать за границу для микрохирургической операции, — сказал он. — Здесь у нас нет необходимого оборудования. Надо вскрывать черепную коробку. Это очень опасно. Вам будет намного, гораздо лучше, если вы поедете за границу.

Я, оцепенев, смотрела на него. Что он имеет в виду, кроме обычного риска, связанного с такими операциями в Пакистане? Я знала, что власти в 1980 году уговаривали одного из моих врачей сказать, что у меня не воспаление среднего уха, а осложнение с внутренним ухом и что мне нужна психиатрическая помощь. «Мы организуем десять медицинских советов, которые подтвердят ваш диагноз», — обещали ему. Для властей это был бы прекрасный способ разделаться со мной, объявив меня психически больной. Но доктор отказался. Теперь другой доктор решительно настаивает на том, чтобы я уехала из Пакистана. «Я могу сделать операцию здесь, но я боюсь, что они будут требовать от меня сделать

что-нибудь с вами, когда вы будете под наркозом, — сказал он. — Даже если я откажусь, они найдут кого-нибудь, кто сделает это. В любом случае для вас будет лучше, если вы уедете за границу».

Я обратилась к властям за разрешением выехать из страны по медицинским показаниям. Сначала ответа не было. Но мне все равно требовалось время.

— У вас еще несколько месяцев не будет достаточно сил, чтобы перенести общий наркоз, — сказал врач. — Вам надо укрепить здоровье.

И так же как моей матери, мне прописали диету, состоящую из продуктов с высоким содержанием белка — молоко, бифштекс, цыплята и яйца.

Но состояние уха не улучшалось. Левая сторона лица теряла чувствительность. В голове гудело, из-за шелканья в ухе я почти ничего, кроме этого звука, не слышала. Врач добился от властей разрешения приходить раз в неделю на Клифтон-Роуд, 70, чтобы делать необходимые процедуры. И ему пришлось расплатиться за то, что он оказывал медицинскую помощь одной из семьи Бхутто.

— Вы ведь часто ездите на машине в Хайдарабад? — спросил его сосед, офицер полиции, вскоре после того, как начались его еженедельные визиты. — Вы видели фильм «Смертельное желание»?

На следующий день некто неизвестный прислал ему домой видеокопию этого фильма. Начались телефонные звонки с угрозами, пришло извещение из налогового управления, что производится ревизия с подозрением в уклонении от уплаты налогов. Даже его добросовестность была поставлена под сомнение властями, которые прислали ему объяснительную записку относительно того, почему он должен быть уволен из больницы. Однако доктор оказался мужественным человеком и продолжил мое лечение, за что я ему глубоко благодарна. Он был практически единственным человеческим существом из внешнего мира, с которым я общалась, хотя власти, как я узнала позже от Питера Гэлбрейта, утверждали совсем другое.

Питер Гэлбрейт:

Пакистанское правительство только в конце июня ответило на письмо, которое в декабре сенатор Пелл и другие сенаторы подали Зие относительно особых политических заключенных, содержащихся в Пакистане. Подтверждая заявление Зии, сделанное в то время, письмо сообщало о тюремном заключении Беназир:

«В настоящее время она содержится под арестом в собственном доме в Карачи, с тем чтобы лишить ее возможности заниматься запрещенной политической деятельностью. Однако она пользуется всеми возможными услугами, в ее распоряжении врачи, которых она выбирает сама для обследования и, когда необходимо, для лечения. Ей разрешены беседы с друзьями и родственниками. Восьми близким родственникам разрешается жить с ней, но не более трех человек в одно время. Она имеет возможность пользоваться телефоном, и ей разрешено использовать в личных целях двадцать четыре слуги, выбранных ею».

Вскоре после этого мне позвонила двоюродная сестра Беназир.

Я спросил ее о фактах, приведенных в письме.

— Это все неправда, — взорвалась она. — Друзьям не разрешено посещать ее. Ее сестра Санам смогла повидаться с ней только один раз в последние три месяца. Ее двоюродная сестра Фахри с большим трудом добилась свидания. Ей не разрешается выходить даже в сад. Она одинока и больна. Я очень тревожусь за нее.

Я послал докладную записку сенатору Пеллу. Оказалось, что время выбрано очень удачно. В этот момент в городе находился Якуб Хан, министр иностранных дел Пакистана, бывший посол Пакистана в Вашингтоне. У Якуба в Вашингтоне было много друзей, среди них он имел репутацию прямого человека. Я не думаю, что Якуб участвовал в этой двойной игре относительно обращения с Беназир. Когда сенатор Пелл задал министру иностранных дел вопрос о явном противоречии между официальной версией об обращении с Беназир и этими новыми фактами, Якуб словно окаменел. Он казался действительно потрясенным и обещал по возвращении в Пакистан разобраться в этом деле.

21 июня, 1983. Самый длинный день в году и тридцатый день моего рождения.

Будучи оптимистом, несмотря ни на что, я обратилась к министру внутренних дел с просьбой. Я объяснила, что месяцами у меня не было посетителей и мне хотелось бы, чтобы по случаю моего дня рождения мои школьные друзья получили разрешение посетить меня. К несказанному удивлению и восторгу, власти дали такое разрешение.

Вечером Самия, ее сестра и Пари предстали передо мной с шоколадным тортом, на приготовление которого

Пари потратила немало часов. Под бдительным оком надзирательницы мы обнялись и расцеловались.

— Слава Аллаху, торт уцелел, — сказала Самия. — Они очень старательно нас обыскивали, и мы испугались, что они разрежут торт на куски раньше, чем это сделаешь ты.

Не забыли меня и Виктория Шофилд и другие мои друзья в Англии. Как я потом выяснила, накануне моего дня рождения Виктория написала письмо тогдашнему президенту Оксфордского союза, сообщая, что уже третий день рождения я провожу под арестом. 21 июня Оксфордский союз объявил по поводу меня минуту молчания — почесть, которой обычно удостоиваются бывшие президенты клуба только по случаю смерти. Другой мой старый друг, бывший президент Кембриджского союза Дэвид Джонсон, в это время находился в зале заседаний Оксфордского союза. После этого он попросил, чтобы в Вестминстерском аббатстве и в соборе Св. Павла в Лондоне в следующее воскресенье на всех публичных службах произносили молитву за меня. Эти действия были очень дорогими для меня проявлениями заботы и дружбы.

Но забота, проявленная режимом ко мне накануне дня рождения, была довольно подозрительна.

— Пожалуйста, будьте готовы сегодня к 7 часам вечера, — сказал мне один из тюремных чиновников. — Мы повезем вас в правительственную гостиницу.

— Зачем? — спросила я.

— Администратор военного положения хочет повидаться с вами, — почти торжественно произнес он.

— Администратор военного положения? Я не собираюсь встречаться с генералом, — заявила я.

Тюремщик был поражен.

— Но вам придется ехать. Вы находитесь под арестом, — сказал он.

— Мне все равно, — ответила я. — Я не буду встречаться с ним. Вам придется тащить меня туда силой, и все равно я буду кричать, визжать и устрою там сцену. Я не буду встречаться с человеком, который засадил меня в тюрьму.

Тюремщик поторопился уйти от меня, бормоча, что я веду себя неразумно, что мой отказ повидаться с генералом Аббаси плохо кончится для меня. Но мне было все равно. Для нас, боровшихся против Зии, любой контакт с ненавистными военными правителями был равносильен пре-

дательству. Пойти к ним означало принять их власть и молчаливо подчиниться им.

В эту ночь я начала упаковывать в чемодан свои вещи в полной уверенности, что меня настигнет месть и власти отправят меня обратно в тюрьму. Я собрала уже знакомый набор вещей для тюрьмы, ручки, блокноты, репеллент от насекомых, туалетную бумагу, но никто не пришел забирать меня в тюрьму. Вместо этого, к моему крайнему удивлению, администратор военного положения сам явился с визитом ко мне на Клифтон-Роуд, 70.

Это было неслыханно, чтобы надменный военный правитель, привыкший требовать и повелевать, сам пришел навестить лидера оппозиции. Не веря своим глазам, я установилась на седовласого генерала в форме хаки. Это был первый из нескольких его визитов. Но говорил он каждый раз одно и то же.

— Я знаю, что вы больны, — повторял он. — То, что я служу в армии, не означает, что я не беспокоюсь о вас. Вспомните, ведь наши семьи дружили в течение жизни нескольких поколений. Для меня было бы лучше всего, если бы вы уехали на лечение за границу. Но мы не можем допустить никаких политических беспорядков.

Оставайся вежливой, твердила я себе. Не стоит раскрывать свои карты. Я догадывалась, что генерал Аббаси приехал, чтобы оценить мое настроение и позондировать почву на счет того, что я сделаю, если мне разрешат выехать за границу. Я пыталась внушить ему, что я хочу лишь получить медицинскую помощь и затем немедленно вернуться домой. В каком-то смысле так оно и было, потому что в то время у меня не было намерения остаться в изгнании. Однако я не упустила бы возможности навредить властям.

В то время я не знала еще, в каком положении оказался режим. Мой доктор записал, что я нуждаюсь в медицинской помощи и что, если что-то случится со мной в период тюремного заключения, властям придется взять на себя ответственность за это. Плюс к этому нажим со стороны сенатора Пелла, сенатской комиссии по иностранным делам и, возможно, со стороны Якуб Хана. И пока тянулось лето 1983 года, мое пребывание под арестом становилось не только неудобным, но и наносящим вред режиму. В моем уединении на Клифтон-Роуд, 70 я еще ничего этого не знала. И вдобавок я поставила под угрозу свое возможное освобождение тем, что опять вмешалась в политику.

Беспорядки в Синде не утихли, когда туда приехал Зия. С приближением 14 августа, Дня независимости Пакистана, на который Зия якобы назначил в очередной раз выборы, ДВД начало вторую массовую кампанию за восстановление демократии. Я внимательно следила за призывом ДВД к выступлениям, читая газеты и слушая новости по Би-би-си. С большим риском я обменивалась записками с лидерами ПНП, организовывавшими подпольную группу в расположенной недалеко от меня больнице Мид-Ист, и с моей родной Ларканой, рассылая политические инструкции и помогая организовать фонды.

Движение за восстановление демократии развивалось не так, как другие движения. В прошлом простое упоминание слов «движение протеста» вызвало бы повальные аресты тысяч политических лидеров, что дало бы властям возможность затормозить все движения, оставив их без руководства. Теперь лидерам ДВД предоставили свободу идти самим навстречу арестам, что они и делали. Полиция не мешала людям собираться в толпы и приветствовать руководителей ДВД. В Синде в движение устремились землевладельцы. Они предоставляли тракторы и грузовики для перевозки сторонников партии, обеспечивали с помощью своих управляющих более надежную связь.

Однако некоторые лидеры ПНП вначале колебались. Многие считали, например, что лидер ПНП Джатой встречался с американскими официальными лицами и армейскими офицерами и заручился их поддержкой для отстранения Зии: в результате Джатой останется у власти, а ПНП будет отстранена. Я убеждала лидеров ПНП присоединиться к движению независимо от этого, подчеркивая, что сейчас гораздо важнее объединиться в движении, направленном против Зии, а беспокоиться о расколах, если будет такая необходимость, надо будет уже потом.

По мере того, как движение постепенно набирало силу, я тайком передавала послания партийным деятелям, инструктируя их, что следует сказать иностранным дипломатам, что сообщить прессе. Я убеждала их в том, что надо всячески поддерживать развитие этого процесса и не давать времени властям разделаться с нами. Я знала, что если бы эти послания были обнаружены, то вместо того, чтобы выпустить меня за границу, власти отправили бы меня обратно в тюрьму. Но для меня важнее всего было политическое освобождение народа Пакистана. Для того, чтобы рассеять подозрения тюремщиков, во время их

посещений я притворялась более слабой, чем была на самом деле. Обычно во время этих еженедельных визитов, как бы я ни была больна, гнев и ненависть к ним придавали мне силы, хотя бы на время. Но в период Синдского движения 1983 года я упорно не сводила глаз с ковра на полу, чтобы они не поняли моего настроения и ушли от меня в полной уверенности, что я слишком больна и не думаю ни о чем, кроме своего здоровья.

В это время Джатой пытался убедить меня получить послание к народу от моей матери. С большими трудностями кто-то связался с ней по телефону.

— Скажите Беназир, чтобы она обратилась с посланием от моего имени, — передала она. Я сидела перед электрической пишущей машинкой и в перерывах между отключениями электричества печатала, как ненормальная. Слова вылетали из-под моих пальцев, быстро заполняя страницы.

«Мои героические соотечественники-патриоты, мои благородные братья и сестры, мои мужественные сыновья и дочери, — так начала я призыв матери к нации, который был переведен на урду и синди и тайно распространялся по всей провинции... — Цель нашего движения — гражданское неповиновение. Шесть долгих лет мы подвергаемся преследованиям и угнетению. Наши требования восстановить демократию игнорируются, наших рабочих бросают в тюрьмы и приговаривают к смерти. Но всему есть предел. Мы обращаемся ко всем владельцам автобусов — уберите автобусы с дороги; ко всем железнодорожникам — остановите движение поездов. Мы обращаемся к полицейским — последуйте примеру ваших братьев из Даду и не стреляйте в невинных людей, ваших братьев. Пусть это движение не испугает вас. Мы боремся за наш народ, за наших обездоленных, за наших детей, чтобы они не жили в нищете, голоде и болезнях. Боритесь за ваш парламент, за ваше правительство, за вашу конституцию, чтобы решения принимались во благо бедных, а не на благо хунты и ее приспешников...»

Движение разрослось в мощное и широкомасштабное выражение недовольства против Зии уль-Хака. На железнодорожных вокзалах производили обыски. Прекратили движение грузовики и автобусы. Поджигались полицейские участки. Погибли сотни людей. Самого Зию чуть не убили в толпе людей, которые вроде бы были его доброжелателями. Толпа в Даду атаковала вертолет, в котором он должен был лететь. На самом деле Зия был во втором вертолете, который быстро развернулся и

приземлился в другом месте. Когда Зию нашли в какой-то гостинице, его чуть было не линчевали.

Волнения в Синде вскоре перебросились и в другие провинции. Ассоциации адвокатов в Кветте, Белуджистане и Пешаваре, в Пограничной провинции, игнорируя запрет на политические заявления, призывали к выборам. В Лахоре специальные полицейские части по борьбе с беспорядками оцепили все выходы из здания Высшего суда, пытаясь помешать юристам организовать шествие протеста, и потом забрасали их камнями. Тем не менее юристы вышли на улицы, возглавляла же демонстрацию Талаат Якуб, одна из команды юристов на процессе отца.

— Те, кто хочет остаться дома, могут взять мои браслеты, — кричала Талаат Якуб в толпу адвокатов, состоявшую в основном из мужчин. Она сорвала с запястий свои стеклянные браслеты и размахивала пакистанским флагом. — Я призываю к свободе. — Сотни юристов присоединились к ней, выкрикивая призывы к демократии и отчаянно маршируя прямо в объятия полиции.

Широкое национальное движение удалось подавить лишь на второй неделе октября с помощью оружия и танков. Особая горечь осталась в сердцах синдхов. По сообщениям, погибли 800 человек. Целые деревни были разрушены до основания, урожай сожжен. Военные надругались над женщинами, что напоминало мрачные страницы буйства армии во время событий в Бангладеш двенадцать лет назад. И в пепле ярости зарождался национализм синдхов. Движение за отделение распространилось и на другие провинции, где основную часть населения составляли меньшинства. Жестокость Зии и шесть лет военного положения довели до критического состояния хрупкий союз — федерацию Пакистана.

Однако администрация Рейгана поддерживала «своего человека».

«По сообщениям «Ньюсуик», Вашингтон считает Зию козырной картой в своей глобальной стратегии, — отметила я в дневнике 22 октября. — Из источников западной разведки известно, что ЦРУ «значительно» расширяет свои операции в Пакистане. На прошлой неделе «Ньюсуик» заявляла, что ЦРУ замешано в оказании поддержки пошатнувшемуся режиму Зии. Они хотят знать наверняка, что Зия не станет еще одним иранским шахом. За последние полтора года большое число американских «привидений», действующих в Египте, переместилось из Каира в Исламабад. Сообщение заканчивалось следующим обра-

зом: “Сейчас уже стало ясно, что Зия уступит власть только под напором силы”». А я все еще была взаперти на Клифтон-Роуд, 70, и шел уже пятый год моего заточения.

Тьма. В голове гудит. Темнота накатывается волнами. Вскоре после событий в Синде я просыпаюсь в своей спальне и вижу, что доктор нащупывает мой пульс и на его лице появляется выражение облегчения. У меня была плохая реакция на местный анестетик, который доктор использовал, чтобы осушить мое ухо, сказал он мне, и не было возможности вызвать врача неотложной помощи. Телефоны на Клифтон-Роуд, 70 были отключены. Еще через месяц у меня случился очень сильный приступ головокружения, я совершенно потеряла чувство равновесия, и меня мучили приступы тошноты. И опять доктору не удалось вызвать скорую помощь.

Каждый раз после манипуляций с моим ухом несколько дней держалась температура, у меня был кашель, пот лил с меня градом. После проведения аудиограммы оказалось, что мой слух понизился почти на 40 децибел.

«Я не могу нести ответственность за здоровье пациентки, если мне приходится лечить ее в условиях заточения, — информировал мой доктор министра внутренних дел в ноябре, подавая прошение разрешить выполнять дальнейшие процедуры в больнице. — С приходом зимы малейшая инфекция носа или горла вызовет дальнейшее ухудшение слуха. Если не будет срочно применено хирургическое лечение, возникнет возможность серьезных осложнений, таких как паралич лицевого нерва и расстройство механизма равновесия».

В конце концов было получено разрешение на мою госпитализацию, и дальнейшее лечение проходило более спокойно. Но все-таки мне нужно было и морально, и физически подготовиться к возможному выезду за границу для операции.

Я уже так долго находилась под арестом, что начала подозревать всех и все. Дурные предчувствия мучили меня уже при мысли о том, что мне придется доверить свою жизнь чужим рукам, пусть это даже будут руки британского хирурга. Для того, чтобы перепроверить, действительно ли мне нужна операция, я потихоньку переправила свои медицинские записи доктору Ниязи в Лондон. Он согласился с поставленным диагнозом.

Однако меня все равно раздирали противоречия. Тысячи политических узников оставались в своих тюрьмах по всему

Пакистану в немыслимых условиях, многим из них угрожал смертный приговор. Я чувствовала, что, пока я нахожусь в заточении тоже, я являюсь как бы источником вдохновения и поддержки для них. Я разделяла их страдания, их боль, их мужество. Там они мучились за меня, здесь я мучилась за них. Вдруг они почувствуют себя сиротами, когда я уеду от них? Вдруг им покажется, что я их бросила?

Подходил к концу декабрь, и я чувствовала, что властям скоро придется освободить меня. Во время волнений в Синде у меня не было никаких сообщений от властей. Я знала, что они не освободят меня в разгар событий, опасаясь, что я передам информацию об этом за границу. Но теперь мятеж практически утих. Больше у них не было причин задерживать меня.

Я уже достаточно окрепла для того, чтобы перенести путешествие. Сначала доктор хотел ввести дренажную трубку в ухо, чтобы я могла выдержать перелет, но теперь он сказал, что будет достаточно принять лекарство и жевать жевательную резинку во время взлета и посадки. Напряжение и волнения, которые ухудшили мое здоровье в начале лечения, несколько ослабли, когда власти разрешили Санам навещать меня ежедневно. Доктор настаивал перед властями, что невозможно будет восстановить мое здоровье, если режим по-прежнему будет лишать меня контактов с людьми.

К концу декабря власти запросили от нас с Санам наши паспорта, визовые формы, формы на обмен иностранной валюты.

— Заказывайте билеты, — было сказано нам.

Но настал день нашего отъезда, и никто не пришел за нами. Я проводила время, улаживая личные дела, обеспечивала присмотр за домом на время нашего отсутствия, разбиралась с налогами. Еще один самолет улетел без нас.

Следующий намеченный рейс должен был состояться рано утром 10 января 1984 года. Без предупреждения начальство явилось на Клифтон-Роуд, 70 в 11.30 вечера.

— Вы улетаете сегодня ночью, — сообщили они. — У вас есть несколько часов на сборы.

Я слушала их с недоверием. Поспешно я напечатала свое последнее обращение к народу.

«Мужественные члены партии, дорогие соотечественники, — начала я. — Прежде чем пуститься в это путешествие, вынужденное из-за состояния моего здоровья, я жду вашего позволения, ваших молитв и вашего благословения...»

В полном оцепенении я собрала вещи и посадила мою кошку в корзинку для путешествий. После всего, что случилось со мной за последние семь лет, не очень верилось в хорошее.

Санам ждала меня во дворе в машине без номеров. Когда мы ехали в аэропорт, дороги были пусты, в аэропорту нас отвели в комнату, где кроме нас никого не было. Я не позволяла себе ни малейшего волнения. Я только что закончила читать «Человек» Орианы Фаллачи. За главным героем этого романа послали самолеты военно-воздушных сил сразу же после того, как вылетел его самолет.

Полицейские привели нас на самолет Суисс-Эр. Поднимаясь по пассажирскому трапу, я увидела, что стюардесса улыбается. Я никогда не забуду эту улыбку. Это не была ухмылка полицейского, или тюремного чиновника, или представителя военного режима. Это была улыбка гражданского человека, другого человеческого создания. Дверь самолета закрылась. В 2.30 ночи мы с Санам вылетели в Швейцарию. Никакой самолет за нами не летел. Пока я не поговорила с Питером Гэлбрейтом, я не понимала, почему Зия после семи лет военного положения выбрал именно этот момент, чтобы выпустить меня.

Питер Гэлбрейт:

В конце декабря комиссия по иностранным делам попросила меня поехать в Южную Азию для подготовки доклада по вопросам региональной безопасности. Я взял с собой письмо к Якуб Хану, подписанное председателем комиссии Чарльзом Перси и сенатором Пеллом, с напоминанием заявления его правительства о том, что Беназир разрешают посещение друзей. «Мистер Гэлбрейт — личный друг мисс Беназир Бхутто еще со времени их совместной учебы в Гарвардском университете», — указывалось в письме. Сенаторы просили дать мне разрешение посетить ее.

Я планировал свою поездку по Пакистану так, чтобы Карачи был последним пунктом. На этот раз посольство США очень помогло. Решение о том, разрешать мне или нет посещение Беназир, как мне сообщили, принимал лично сам генерал Зия.

Я прибыл в Карачи поздно вечером 9 января. Не получив никакого ответа на просьбу разрешить мне посещение Беназир, я договорился о встрече с Санам на

следующий день. Я был очень огорчен, и еще раз написал Беназир длинное письмо.

Рано утром мне позвонили из посольства США и просили срочно приехать. Когда я приехал, заместитель генерального консула сообщил мне, что вскоре после полуночи Беназир увезли в аэропорт и посадили на рейс Суисс-Эр. Санам улетела вместе с ней.

Я не мог поверить этому. Я попросил, чтобы консульский автомобиль отвез меня на Клифтон-Роуд, 70. Постоянно присутствующей полицейской охраны не было. Дом был закрыт. Беназир была на свободе.

Наступление на диктатора



ГОДЫ ИЗГНАНИЯ

— Мама!

— Розанчик! Ты на свободе. Как я мечтала об этом дне!

Мы выходим из женевского аэропорта, и я смотрю на горизонт и бесконечное пространство. После того, как я три года была от всего отгорожена стенами, моим глазам нужно время, чтобы привыкнуть. Не могу поверить, что я свободна.

Когда мы приезжаем к маме на квартиру, телефон уже звонит.

— Да, да, честное слово, она уже здесь, — отвечает мама по телефону Миру и Шаху. — То, что Би-би-си передавала о ее освобождении, — правда.

Мир. Шах Наваз. Я и мои братья от волнения не даем друг другу слова сказать.

— Как ты? — кричу я, прижимая трубку к здоровому уху, которое слышит.

— Слава Аллаху, ты жива! — выкрикивает Мир. — Я завтра приеду тебя проведать.

— Останься на недельку, чтобы я тоже смог приехать, — добавляет Шах.

— Шах, не могу, — отвечаю я. — Мне нужно в Лондон, к врачу.

Мы обещаем друг другу увидеться, как только появится возможность.

Бесперывные звонки — из Лос-Анджелеса, Лондона, Парижа — друзья и родственники мамы стремятся поздравить ее с моим освобождением. Я еще не была готова говорить с кем бы то ни было, позвонила только Ясмин и доктору Ниязи в Лондон. Друг моих родителей и бывший посол Ирана в Соединенных Штатах Ардешир Захеди приехал, привез икру. Мама, я и Санни проговорили всю ночь. Все казалось настолько невероятным. Еще вчера я сидела в тюрьме. Сегодня я на свободе, со мной моя мама и сестра. Мы вместе. Мы живы.

Мир! Маленькая темноволосая девчушка тянет меня за пальто.

— Фати, познакомься со своей племянницей, — сказал мне Мир, появившись у мамы в квартире на второй день моего освобождения. Неужели передо мной действительно стоит мой брат? Я вижу, как двигаются его губы, слышу, как звучит в ответ мой голос. Наша встреча, по всей вероятности, была оглушительно бурной, но я не помню ни слова из того, о чем мы говорили. Брат был очень красив в свои двадцать девять лет, его темные глаза то вспыхивали огнем, то вдруг светились нежностью, когда он брал на руки свою полуторогодовалую дочь и целовал меня.

— Погоди, еще увидишь Шаха, — засмеялся Мир. В последний раз, когда я видела Шаха, ему было всего восемнадцать, совсем еще мальчишка. Теперь ему было двадцать пять и он носил длинные усы.

Я смотрела, как над Альпами восходит солнце, и чистый свежий ветер овеивал мое лицо. Я чувствовала себя прекрасно, хотя мое больное ухо совсем оглохло. Начали появляться первые машины, и я внимательно смотрела вниз на улицу. Около здания не стояли полицейские фургоны, и не видно было, что в дверях прячутся агенты. Неужели все это на самом деле? Я действительно свободна? Я потеряла ухо. Болезнь напомнила мне о том, зачем я приехала за границу.

А тем временем известие о моем освобождении распространилось среди пакистанских эмигрантов, живущих по всей Европе, и особенно в Англии, где их насчитывалось около 378 тысяч. Когда мы с Санни прилетели в Лондон, в аэропорту в Хитроу нас приветствовала толпа пакистанцев. Услышав политические лозунги, мне показалось, будто я снова возвратилась в Карачи.

Ясмин Ниязи, аэропорт Хитроу:

Вы себе не можете представить, сколько народа, включая английских корреспондентов, собралось в аэропорту, чтобы увидеть Беназир. Словно она восстала из мертвых. Ведь никто и не думал, что снова увидит ее.

— Она что, кинозвезда или еще кто? — спросил меня полицейский, который вместе с другими пытался сдержать толпу.

— Это наш политический лидер, — ответила я.

— Политик? — изумленно сказал он.

— Вы приехали, чтобы жить в эмиграции? — спросили ее журналисты, когда Беназир, наконец, вышла. Ее ответ

был воспринят с большим облегчением и теми пакистанцами, что толпились в аэропорту, и теми миллионами, что позже услышали его по радио или прочитали об этом в газетах.

— Эмиграция? Почему я должна жить в эмиграции? — сказала она. — Я приехала в Англию только для лечения. Я родилась в Пакистане, там и умру. Мой дед похоронен там. Мой отец похоронен там. Я никогда не покину свою страну.

Слова эти вселили огромную надежду в ее сограждан, особенно в бедных. «Я не бросаю вас, — говорила она. — Я останусь с вами до последнего вздоха. Бхутто всегда выполняют свои обещания».

Маленькая лондонская квартирка тети Беджат в районе Найтс-бриджа, где мы с Санни поселились в комнате для гостей, была завалена цветами и корзинами с фруктами. Звонили с просьбой о встрече со мной журналисты и старые друзья из Оксфорда, а также партийные лидеры и мои сторонники. Лондон был центром политической активности для членов ПНП, которые жили в эмиграции: здесь остались оба моих брата, и город стал прибежищем для многих лидеров ПНП, которые после переворота бежали из Пакистана. Телефон не умолкал — все хотели со мной увидеться.

— Я отниму у вас всего лишь несколько минут, — говорил каждый, кто входил в квартиру. Другие члены большой общины пакистанцев, живущих в Англии, просто приходили к моему парадному, звонили в дверь или толпились на улице. Тетя Беджат и дядя Карим были очень любезны, но положение становилось невозможным. Оно еще больше усложнилось, когда тетя Беджат заметила битком набитую пакистанцами машину, которая весь день простояла у дома.

— Это свободная страна. Ты не должна это терпеть, — сказала мне тетя Беджат, когда машина стала следовать за мной, куда бы я ни отправлялась. Она позвонила в Скотланд-Ярд, и — чудо! — машина исчезла. Это была маленькая победа — мы смогли заставить агентов Зии оставить меня в покое. Но чувство тревоги осталось.

Несмотря на то, что я была свободна, я ужасно боялась выходить на улицу. Каждый раз, когда я ступала из дома на мостовую, я вся напрягалась — живот, шея, плечи. Я двух шагов не могла пройти, чтобы не обернуться и не посмотреть, не идет ли кто за мной. После всех лет жизни за тюремными стенами даже людные улицы Лондона таили в себе угрозу для меня.

Я отвыкла от людей, голосов, от шума. Вместо того, чтобы ехать к доктору на метро, я прыгала в первое же попавшееся такси. Когда я приезжала на место и мне нужно было снова идти по улице, даже если и пройти-то нужно было всего ничего, сердце мое начинало колотиться, а дыхание перехватывало. Приспосабливаться к новой жизни было очень тяжело.

Но я спрятала от всех свои тревоги под маской самоуверенности. Мне пришлось это сделать. Годы ареста и то, как военный режим обращался с моей семьей, — вот что стало причиной моего превращения в сверхчеловека в глазах многих пакистанцев. Шумиха вокруг моего освобождения и мой приезд в Англию сделали меня и там общественным деятелем.

Человеку, бросившему вызов военному режиму, вряд ли было бы пристойно вдруг поддаться страху на Гайд-Парк-Корнер. Дыши глубже, говорила я себе, когда мне нужно было куда-нибудь выходить. Иди твердым шагом. Без паники.

Через несколько дней после того, как я приехала в Лондон, ко мне зашел неожиданный посетитель. Тетя Беджат сообщила, что только что из Карачи приехал Питер Гэлбрейт и хочет со мной пообедать. Я ничего не знала о роли, которую он сыграл в моем освобождении, и была просто взволнована тем, что смогу увидеть старого друга. Призвав на помощь всю свою смелость, я вышла из квартиры и поехала на такси в гостиницу «Ритц».

Питер Гэлбрейт:

Я чувствовал себя не в своей тарелке, когда позвонил ей. Ситуация была не совсем обычной, ведь мы не виделись целых семь лет, и все усложнялось тем, что Беназир испытала больше, чем я. Я, немного нервничая, ждал ее в холле «Ритц», где люди собираются к чаю.

Она выглядела на удивление хорошо. Мы пошли обедать. Ничего особенного я не ожидал увидеть, но она все-таки изменилась. Она была какой-то по-новому самоуверенной и намного спокойнее, чем в 1977 году, когда мы последний раз встречались с ней в Оксфорде.

Она всегда была привлекательной, но теперь показалась мне очень красивой. И очень сосредоточенной. Она не выглядела так, будто думала: «Я и поверить не могу, что все это происходит со мной». Она все схватывала с лета. Я посвятил ее в последние события в Вашингтоне и рассказал о борьбе за нее сенатора Пелла и других. Еще

я договорился с ней о встрече с одним из наших общих друзей и показал фотографии моего сына.

Пообедав, мы пошли к дому, где жила ее тетя, и я как друга умолял Беназир бросить опасную для нее политическую деятельность.

— В Пакистане ты рискуешь сесть за решетку, тебя могут просто убить, — сказал я ей. — Почему бы не отправиться в Америку и не начать нормальную жизнь? Может, в Центре международных отношений в Гарварде ты смогла бы получить стипендию.

— Если бы была возможность, я бы с удовольствием читала лекции о правлении Бхутто и военном режиме, чтобы посмотреть, как представляют себе это другие люди, — ответила она мне. — Но мой основной долг — долг по отношению к партии. С политической точки зрения сейчас мне намного разумнее быть здесь, где пакистанская община более многочисленна и не так разобщена.

Показалось, однако, что ее заинтересовало мое предложение приехать в Америку с рабочим визитом. Она понимала, что иностранное давление и гласность могли бы стать важным фактором в освобождении политических заключенных, находящихся в Пакистане. Пока мы шли и разговаривали, для меня главной проблемой было ее больное ухо. Я все время забывал, на какое ухо она не слышит. И все время говорил именно в него.

Микрохирургическая операция, которую мне сделали в последнюю неделю января, длилась пять часов. Когда я пришла в себя после наркоза в Университетской больнице, мой хирург, мистер Грэхем, был уже около меня.

— Улыбнитесь, — сказал он мне.

Я подумала, что он старается подбодрить меня, и слабо улыбнулась. Потом он дал мне выпить глоток сока.

— Вкусно? — спросил он.

— Замечательно, — ответила я.

Он записал что-то в моей карте.

— Вы прекрасно перенесли операцию; — сказал он. — Лицевой нерв на левой стороне не поврежден, и вы не потеряли ощущение вкуса.

Я медленно выздоравливала, рядом со мной была мама. Мы временно жили на квартире, которую она сняла в красивом зеленом районе Коллингэм-Гарденс. Неделями я лежала пластом и не могла сидеть больше десяти минут — у меня пульсировало в голове и начинались приступы тошноты и головокружения. Когда

я наконец-то смогла сидеть, мне трудно было наклонить голову, чтобы читать или писать, — в голове снова начинало бухать. Часто было такое ощущение, что голова вот-вот разорвется.

— Ничего необычного в этом нет, — заверил меня мистер Грэхем во время одного из визитов к нему, когда он осматривал мое ухо и проверял слух.

Однако я была встревожена тем, что сообщил мне врач через шесть недель после операции.

— Возможно, вам потребуется еще одна операция через месяцев девять — год, — сказал он мне.

Через девять месяцев — год? Я не собиралась так долго быть в Лондоне. Я уже поговаривала о том, чтобы вернуться домой в Пакистан, хотя все — мама, теща Беджат, Санни и Ясмин — умоляли меня остаться в Европе.

— Отвлекись от своей политики и поживи немножко со мной. В следующий раз, когда ты вернешься, Зия посадит тебя в тюрьму, и живой тебе оттуда, может, уже и не выйти, — доказывала мама.

— Даже из тюрьмы я смогу воздействовать на движение против Зии, — возражала я.

— А почему бы тебе здесь этим не заняться? — говорили все. Слова доктора окончательно решили спор. Но я неохотно шла на это. Девять длинных месяцев. Как мне лучше провести это время?

Я, пока выздоравливала, решила начать международную кампанию против жестокого обращения режима с 40 тысячами политических заключенных в тюрьмах Пакистана. Хотя Пакистан получал финансовую помощь из стран Западной Европы и Соединенных Штатов, демократические страны или вообще не обращали внимания, или почти не реагировали на нарушение режимом Зии прав человека. Я была на виду, и все знали, что я нахожусь в изгнании после недавнего политического заключения. Я могла подробно рассказать о том, что происходит в Пакистане. Может, тогда демократические страны использовали бы свое влияние, чтобы не позволять Зие проводить повальные аресты, годами держать в тюрьме политических заключенных без допросов и предъявления обвинений и приговаривать людей к смертной казни лишь за то, что они принадлежат к политической оппозиции.

Восемнадцать политических заключенных должны были предстать перед военным трибуналом в Равальпинди по обвинению в подготовке государственного переворота. Еще

пятьдесят четыре находились в Лахоре в тюрьме Кот-Лакхпат по обвинению в преступном заговоре и антиправительственной агитации вместе с «Аль-Зульфикар». Профсоюзному лидеру ПНП металлургического завода в Карачи Нассеру Балочу и четверем его соответчикам было предъявлено ложное обвинение в соучастии в ограблении — обвинение, которое могло привести к смертному приговору. Это типично для военного «правосудия» Зии — всего лишь несколько человек в самом Пакистане и за его пределами знают, что идет процесс и каковы улики против обвиняемого, если таковые вообще существуют.

Я узнала об аресте Нассера Балоча от надзирателя тюрьмы Суккура лишь в 1981 году. Потребовалось два года, чтобы Нассер Балоч и его соответчики предстали перед трибуналом. В секретном президентском указе № 4 говорилось, что человек является виновным до тех пор, пока не доказана его невиновность, а также запрещалось раскрытие судебной процедуры по закону о неразглашении государственной тайны, поэтому о том, что идет суд, я узнала из записки от Нассера Балоча, которую мне в Центральную тюрьму Карачи тайно принес один из сочувствующих тюремных охранников.

«Военный суд так против нас настроен, что нам сказали: “Считайте, что вы уже мертвее тех, кто давно лежит в могиле”, — написал он мне в мае 1983 года. Во время восьмичасовых судебных заседаний нам не разрешалось вести записи, пить, отправлять естественные надобности и молиться. Мы были в кандалах и наручниках. Когда наш защитник не мог присутствовать, судьи продолжали заседание, говоря: “Нам не нужен никто, кроме обвиняемых и обвинителей”».

К февралю 1984 года их судебное разбирательство еще не было завершено.

Меня беспокоила судьба еще одного профсоюзного деятеля — Аяза Саму, которого арестовали в декабре 1983 года за то, что он якобы был замешан в убийстве политического сторонника генерала Зии. В военном трибунале в это время как раз шло разбирательство его дела. В том, что арестовали Балоча и Саму, ПНП видела попытку режима Зии раздавить профсоюзное движение в промышленном городе Карачи. Как и в случае с делом Балоча, Саму также ожидала смертная казнь. Нам нужно было действовать, и действовать быстро.

Когда я уже могла сидеть, я начала составлять список других случаев политических преследований по своим

тюремным записям и сообщениям от сторонников из Пакистана. Я поняла, как важно предоставлять информацию в «Эмнести интернэшнл», когда эта организация по защите прав человека смогла мобилизовать общественное мнение в случае с Раза Казимом, пакистанским адвокатом, которого арестовали дома в Лахоре в январе. С тех пор о нем не слышали. В западной прессе был распространен «срочный призыв к действию» «Эмнести» в защиту Раза Казима.

«Недавнее исчезновение Раза Казима в Лахоре — случай весьма тревожный», — было написано в статье мартовской «Нейшн», рассказывающей об ошеломляющем числе случаев нарушения прав человека по всему миру. «...Соединенные Штаты, которые ежегодно оказывают Пакистану финансовую помощь в сумме 525 миллионов долларов на военные и экономические расходы, проявили бессердечное равнодушие в этом деле... Государственный секретарь, очевидно, забыл американский закон о предоставлении помощи другим странам, в котором говорится: "Помощь не может быть предоставлена... правительству любой страны, которое постоянно нарушает международно признанные права человека, применяя пытки, ...длительное заключение без предъявления обвинения, а также нарушая другие права на жизнь, свободу и личную безопасность"».

Статья вышла как раз вовремя. В марте меня пригласили в Вашингтон выступить в международном фонде Карнеги. Вооруженные огромным количеством материалов и моей старой записной книжкой, мы с Ясмин полетели в Америку.

И снова я оказалась в длинных коридорах конгресса. Будучи студенткой Гарварда, я пользовалась преимуществом демократического строя Америки и приезжала в Вашингтон, чтобы протестовать против войны во Вьетнаме. Теперь же я была здесь, чтобы выступить за демократию, погубленную в моей собственной стране. Во время первой поездки я не выступала из-за боязни, что меня, иностранку, за участие в политической деятельности могут выслать из страны. На этот раз мне казалось, что я никогда не выговорюсь.

Целую неделю я не переставала повторять, что необходимо положить конец нарушениям прав человека и восстановить демократию в Пакистане, — об этом я беседовала с сенатором Эдвардом Кеннеди; сенатора Клэборна Пелла я поблагодарила за помощь в моем освобождении; я говорила с каждым, кто мог меня

выслушать. Питер Гэлбрейт помог мне договориться в конгрессе о других деловых встречах. Я виделась с сенатором Аланом Крэнстоном из Калифорнии, конгрессменом Стивеном Соларзом из Нью-Йорка, сотрудником госдепартамента и рядом сотрудников из Национального комитета по безопасности. Я встречалась с бывшим генеральным прокурором Рамсеем Кларком, который приезжал в Пакистан, чтобы наблюдать за судебным процессом моего отца, и с сенатором Макговерном, которого я поддерживала, еще учась в Гарварде. Теперь я надеялась, что он не оставит меня в моих попытках восстановить в Пакистане права человека.

В Вашингтоне Пакистан был уже притчей во языцех. Предоставление Пакистану 3,2 миллиарда долларов в 1981 году находилось под угрозой срыва, так как невозможно было проверить направленность ядерной программы. Сенат и раньше обсуждал вопрос о помощи, суть заключалась не в том, имеет ли Пакистан «бомбу», а в том, проводил ли он ее испытания. Во время моего приезда в 1984 году эта лазейка была закрыта поправкой сенаторов Джона Гленна и Алана Крэнстона, согласно которой помощь Пакистану прекращалась до тех пор, пока президент Соединенных Штатов не засвидетельствует письменно, что Пакистан не располагает «ядерным взрывным устройством» и не приобретает сырье для изготовления или взрыва бомбы. 28 марта комиссия по иностранным делам единогласно приняла поправку.

Я приехала в Вашингтон не для того, чтобы обсуждать вопрос о ядерном оружии. Поэтому во время встречи с главой комиссии по иностранным делам сенатором Чарльзом Перси я была застигнута врасплох, когда он спросил меня, не поддерживаю ли я решение о прекращении помощи из-за ядерного вопроса.

— Сенатор, прекращение помощи может внести только непонимание между нашими двумя странами, — сказала я после минуты колебания. — Общим нашим странам было бы выгоднее, если бы помощь была направлена на восстановление прав человека и демократии в Пакистане.

Сенатор Перси, который был знаком с моим отцом, улыбнулся и поблагодарил меня за мои взгляды. А я отправилась на следующую встречу.

В перерывах между встречами я шла по длинным коридорам в кабинет Питера Гэлбрейта в комиссии по иностранным делам.

— Ты очень быстро говоришь, — натаскивал он меня, помогая извлечь наибольшую пользу из коротких встреч на Капитолийском холме. — Говори медленнее и выделяй один аспект.

Я старалась следовать его совету, хотя после лет одиночества те слова, которые накопились за все эти годы молчания, так и сыпались из меня. «Беназир Бхутто говорит так, будто наверстывает упущенное время, — написала Карла Холл в кратком очерке «Вашингтон пост» в начале апреля. — Хорошо сформулированные и стремительные предложения с едва угадывающимся английским акцентом срываются с ее языка, во время разговора она жестикулирует, трет лоб, поправляет волосы».

Карла Холл была права. Я наверстывала упущенное время. И очень нервничала. Память, которая до тюрьмы была превосходной, сейчас стала меня подводить. Я часто пыталась вспомнить даты и имена — иногда это удавалось, иногда нет. И мне все еще было неуютно среди людей. Хотя я заставляла себя встречаться с максимальным количеством государственных деятелей и корреспондентов, я поняла, что жутко боюсь интервью. Однажды, беседуя с сенатором Крэнстоном, вдруг почувствовала, что у меня пылают щеки. Стало гореть все лицо, пока, наконец, на лбу не выступили капли пота.

— Что с вами? — спросил он участливо.

— Ничего, все нормально, — ответила я ему как можно спокойнее.

Вечером перед тем, как произнести речь в фонде Карнеги, я очень волновалась. Среди публики были сотрудники госдепартамента и министерства обороны, члены конгресса, бывшие послы и корреспонденты. Западная пресса теперь постоянно изображала Зию в виде «милостивого диктатора», который принес Пакистану стабильность. Я решила показать, как нарушаются права человека, и указать на то, что централизованное военное правление представляет большую опасность стабильности Пакистана. Влиятельные люди среди слушающих могли бы надавить на Зию и заставить его освободить наших политических заключенных, провести свободные выборы и восстановить демократию в Пакистане. Их поддержка имела большое значение.

— Спокойнее, — умоляла я себя, вступая на трибуну. — Представь себе, что ты в Оксфордском союзе.

Но я не могла. Споры в союзе были лишь интеллектуальными играми. Теперь я ощущала ответственность за

тысячи жизней политических заключенных и политическое будущее моей страны.

— Мы в Пакистане удивлены и разочарованы поддержкой, оказываемой незаконному режиму Зии, — сказала я высокой публике. — ...Мы понимаем ваши стратегические интересы, но просим не поворачиваться спиной к народу Пакистана.

В середине речи я взглянула в зал — и забыла, о чем говорила. Пока я искала, откуда продолжить, в зале стояла тишина. Как я могла? Я хотела, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Я нашла место, на котором остановилась, и с достоинством, на которое только была способна, продолжила, прося присутствующих членов правительства направить помощь США на защиту прав человека. Я почувствовала себя лучше, когда мне стали задавать вопросы, и закончила выступление под аплодисменты. Я уже была не то, что прежде. Но мне нужно было торопиться.

Из Вашингтона мы с Ясмин отправились в Нью-Йорк. К ужасу пакистанского посольства, мне разрешили встречу с главными редакторами журнала «Тайм» в Нью-Йорке, чего, вероятно, лидер пакистанской оппозиции удостоился впервые. Но у меня было преимущество. Я поехала в Гарвард с Уолтером Изаксоном, который теперь работает редактором в «Тайм», и позвонила ему из Вашингтона, чтобы узнать, не смог бы он организовать встречу. Наше с Ясмин появление в редакции журнала вызвало целый переполох.

Когда мы поднялись на лифте на 47-й этаж и вошли в столовую, редакторы, которые уже собрались там, взглянули на нас, не веря своим глазам. Я не знала, что делать, и решила, что мы, наверное, ошиблись залом.

— Разве Уолтер не встретил вас в вестибюле? — кто-то наконец произнес в полной тишине. — Он ждет вас внизу.

— Я не видела его, — ответила я.

— Но как вам удалось пройти мимо охранников?

— В Пакистане у Зии можно этому научиться, — улыбнулась я.

Редакторы задали мне столько вопросов за обедом, что я не успела съесть вкусный фруктовый салат и прессованный творог — любимое блюдо, к которому привыкла за время учебы в Гарварде.

— Американская помощь Пакистану воспринимается многими пакистанцами как американская помощь Зие, — сказала я. — Все вы можете помочь прояснить это

недоразумение, если сосредоточите внимание средств массовой информации на правах человека. Для политических заключенных в Пакистане гласность буквально означает разницу между жизнью и смертью.

Результат встречи оказался совершенно неожиданным, когда мы с Ясмин уже заканчивали двухнедельную поездку по Америке и готовились вернуться в Лондон. 3 апреля сенатская комиссия по иностранным делам изменила свою единогласную позицию в отношении жестких антиядерных требований для получения американской помощи. Вместо этого была принята новая поправка, разрешающая оказание помощи Пакистану при наличии президентского свидетельства, что у Пакистана нет ядерной бомбы и что американская помощь «значительно снизит риск того, что Пакистан будет располагать ядерным взрывным устройством». Хотя я подозревала, что настоящей причиной перемен было мощное давление со стороны администрации Рейгана, сенатор Перси публично признался, что изменил свое первоначальное мнение благодаря мне.

Вернувшись в Лондон, я сняла квартиру в Барбикане, в похожем на крепость здании недалеко от собора Св. Павла. Здесь я чувствовала себя в безопасности. В вестибюле здания был консьерж, который знал обо всех посетителях, и моя квартира на десятом этаже, как я отметила благодаря своему инстинкту самосохранения, находилась слишком высоко, чтобы в нее могли проникнуть пакистанские агенты или чтобы там установили подслушивающую аппаратуру. Это здание было также прибежищем в изгнании для доктора Ниязи и Ясмин, и целыми днями мы курсировали между нашими квартирами.

Очень скоро Барбикан стал де-факто центром управления ПНП как для Англии, так и для групп за границей. Квартира была завалена папками с информацией об отделениях ПНП в США, Франции, Канаде, Германии, Дании, Швеции и Австрии, а также в Австралии, Саудовской Аравии, Бахрейне и Абу-Даби. Из преданных людей — пакистанских добровольцев — сформировался штаб. Самблина, молодая девушка, которая жила в Англии, печатала на машинке. Нахид, студентка-активистка, живущая в эмиграции, отвечала на телефонные звонки и помогала Сафдару Аббаси, студенту юридического факультета, сыну члена Центрального исполнительного комитета ПНП доктора Ашраф Аббаси, отвечать на письма из Пакистана. Башир Рияз,

журналист, который помог моим братьям организовать кампанию против казни моего отца, отвечал на вопросы корреспондентов и организовывал интервью. Доктор Ниязи держал связь с общинами за границей, Сафдаром Хамдани и с бывшим министром информации мистером Насимом Ахмадом, чтобы быть уверенным, что нашу информацию получают члены английского парламента. И, как обычно, Ясмин делала все, чтобы хоть чем-то помочь. Из спальни для гостей, которую мы переоборудовали в кабинет, мы вместе рассылали письма и сообщения о нарушении прав человека в Пакистане.

Мы посылали фотографии политических заключенных, их судебные дела и письма в их защиту Генеральному секретарю ООН, помощнику государственного секретаря США по вопросам прав человека Эллиоту Абрамсу, в иностранные посольства, объединения юристов и международные торговые организации. У нас были встречи с членами британского парламента, «Эмнести интернэшнл» и с представителями политических деятелей всего мира через их посольства. Жизнь Нассера Балоча висела на волоске. Так же, как и жизни многих других. Но в этой гонке мы проиграли.

Несмотря на протесты Ассоциации адвокатов после тайного разбирательства специального военного трибунала три молодых человека были повешены по ложному обвинению в убийстве полицейского. «Недавнее убийство трех молодых людей, которых в течение трех лет держали в цепях, можно было бы предотвратить, если бы политические круги и средства массовой информации Европы и Северной Америки проявили заинтересованность в их судьбе и судьбах тысяч других заключенных», — все чаще писала я членам правительства и журналистам. «Западные страны должны заявить о своем влиянии и поднять голос, чтобы спасти жизни политических заключенных, стоящих перед виселицей... Пожалуйста, примите срочные и эффективные меры в ответ на этот серьезный призыв».

Тони Бенн, член парламента от лейбористской партии, написал письмо протеста в посольство Пакистана в Лондоне. Он прислал мне копию своего письма, а также ответ представителя режима, министра информации Кутубуддина Азиза:

«Голословное утверждение мисс Бхутто, что в пакистанских тюрьмах более 40 тысяч заключенных и что все они содержатся в ужасных условиях, не имеет под собой оснований», — писал Кутубуддин Азиз. «Без сомнения, в

пакистанских тюрьмах, как и в тюрьмах других стран, есть заключенные, но эти заключенные или уже осуждены, или подозреваются в совершении преступления. Условия, в которых содержатся заключенные в наших тюрьмах, совсем не хуже, чем в других развивающихся странах... Несмотря на то, что правительство Пакистана сурово карает всех, кто совершает акты терроризма и насилия, оно во всех случаях придерживается закона». Представитель режима не упомянул о постоянных протестах со стороны пакистанской ассоциации адвокатов, выступающих по поводу отсутствия должной юридической процедуры.

Как только мы узнавали об очередном смертном приговоре одного из военных судов Зии, то работали без остановки. Конверты, марки и письма передавались из кабинета в гостиную, по мере того, как мы день и ночь клеили, запечатывали и отправляли. К тем, кто работал постоянно, присоединялись другие, включая живущего теперь в эмиграции бывшего майора пакистанской армии и полицейского надзирателя. Чтобы поддержать себя в рабочем состоянии, мы бесконечно пили чай и кофе. Зия хотел скрыть свои зверства от мира, просто не допуская наблюдателей со стороны. Мы изо всех сил старались сорвать с него маску и воззвать от имени заключенных к совести мировой общественности.

Было очень важно иметь точную информацию и документы об обстоятельствах ареста политзаключенного и условиях, в которых его содержали и судили. В Пакистане, где уровень грамотности низок, а цензура крайне жесткая, подобную информацию часто было очень трудно раздобыть. В большинстве случаев единственными, кто располагал подробными и достоверными деталями, были сами заключенные.

С большими трудностями мы тайно организовали группу людей, которые регулярно посылали из тюрем донесения и анкеты, заполненные заключенными, — все это потом тайно переправлялось обратно в Лондон. Мы прибегали к помощи сочувствующих нам тюремных охранников, родственников эмигрантов, которые часто летали из Пакистана и обратно, благожелательно настроенных к нам членов авиаэкипажей, а также отправляли почту из Абу-Даби и Саудовской Аравии, где наши письма проштемпелевывались другой печатью, которая не привлекала внимания цензуры. И информация начала поступать. Написанный от руки ответ Сайфуллы Халида из Центральной тюрьмы Карачи, двадцатитрехлетнего студента и соратника Нассера

Балоча, удостоверил, что его арестовали в 1981 году за «политические взгляды» и подвергли «жестокому» допросу, чтобы он показал, что в разбое принимал участие «глава Пакистанской народной партии». Его, как и всех политических заключенных, переводили из тюрьмы в тюрьму и месяцами не выпускали из одиночной камеры.

«Два дня меня держали в форте Аразвали, в течение недели я был в трех неизвестных мне местах, четыре дня в форте Балаисар, десять дней в военном лагере Барсак, день в пешаварской Центральной тюрьме, потом в центре ФСУ (Федеральное следственное управление) в Карачи — шесть дней, месяц в ЦРУ (Центральное разведывательное управление) в Карачи, месяц в камере пыток в Балиде в Карачи», — писал студент-политолог, который спустя три года после ареста все еще находился в тюрьме и ожидал смертного приговора. Теперь, заключенный в Центральную тюрьму Карачи, он писал, что его «десять дней держали в карцере и били три раза в день. Во время допросов включались очень яркие лампы, из-за чего у меня ухудшилось зрение и стали сильно болеть голова и глаза. Меня держали в железных кандалах, что стало причиной сильных болей в половых органах. Тюремный врач направил меня в гражданский госпиталь на лечение. Через три месяца мне предстоит операция по поводу грыжи».

Как и многие другие политические заключенные, Сайфулла Халид находился во власти режима. «Моя жизнь и жизнь тех, кто осужден вместе со мной, в опасности, поскольку обвинение требует высшей меры наказания, — добавил студент. — Я призываю «Эмнести» вмешаться и спасти наши жизни».

Ноттингем. Глазго. Манчестер. Брэдфорд. Я ездила по Англии, разговаривала с членами пакистанской общины и завоевывала все больше сторонников. Германия. Дания. Раз месяц — в Швейцарию, чтобы увидеться с мамой. Я всюду возила с собой список заключенных; в Дании я встречалась с бывшим премьер-министром Анкуром Джордженсеном, который был знаком с моим отцом; во Франции — с голлистами; в Германии — с партией «зеленых». С тяжелым сердцем рядом с именами трех молодых людей, повешенных в августе, я написала слово «замучен».

Каждый раз с опасением возвращалась в Англию, боясь, что иммиграционные власти меня не впустят. В то время визы для пакистанцев выдавала британская иммиграционная служба в аэропорту, и они были

действительны только на один присезд. Когда я впервые приехала в Англию, представители иммиграционных властей в течение сорока пяти минут задавали мне вопросы, где я остановлюсь и что я собираюсь делать. «Я всего лишь туристка», — уверяла я их и тогда, и в каждый свой последующий приезд, чувствуя огромное облегчение, когда штамп с визой был, наконец, поставлен в мой паспорт. Но вскоре в моем паспорте было проставлено так много виз, что в нем уже не хватало страничек. Я знала, что другого паспорта мне от Зии не видать. Каждый раз, когда отвечала на вопросы представителей иммиграционных властей и следила, как они ищут мое имя в огромной черной книге, я молилась, чтобы они не услышали биения моего сердца. Мы слишком хорошо продвигались в нашей кампании по спасению политических заключенных, чтобы что-нибудь сорвалось.

«Я намереваюсь использовать каждого члена парламента, любую возможность, чтобы надавить на британское правительство и заставить его призвать правительство Пакистана прекратить убийственную кампанию уничтожения политической оппозиции, главным образом политических оппонентов из Пакистанской народной партии», — написал мне в ноябре член палаты общин Макс Мадлен. Я получила также ответ от Эллиота Абрамса, помощника секретаря по вопросам прав человека в Америке, которому я сообщила о Нассере Балоча и Сайфулле Халиде. «Я разделяю ваше беспокойство о том, что судебным процессам против гражданских лиц, которые проводятся военными трибуналами, присуща несправедливость, и в этом случае утверждения, что признания получены с применением пыток, наводят на тревожную мысль, — писал мистер Абрамс. — ...Примите, пожалуйста, уверения в том, что наши дипломаты в Пакистане будут продолжать пристально следить за этими судебными делами».

Каждое утро в Барбикане я вставала в 7 часов, убирала квартиру, мыла посуду, готовила на день еду, делая простые блюда. Башир Рияз приносил мясо и кур, зарезанных в соответствии с мусульманскими канонами в пакистанском районе недалеко от Лондона. А после — за работу. Переписка стоила дорого. Я планировала расходы как только могла, две трети всех денег шли на оплату квартиры, остальные — на телефонные счета, переписку и доставку. Мама дала мне немного денег, чтобы украсить квартиру. Я купила подержанный ковер, несколько

горшков и сковородок, лампы без абажуров. Я предпочитала тратить деньги на политическую работу, которая кипела у нас в квартире.

Мы стали выпускать свой журнал на урду — «Амал» — «Действие», в котором несколько страниц было напечатано на английском, и рассылали его в международные организации, иностранные посольства и эмигрантские общины, чтобы держать людей в курсе событий, происходящих в Пакистане. Бюджет журнала был очень небольшим, и редактором и распространителем стал Башир Рияз, а Нахид ловила каждого, кто мог подписаться на журнал. Его тайком провозили в Пакистан, где активисты распространяли среди сторонников партии фотокопии статей. Копии попадали также и в тюрьмы, и политические заключенные знали, что они не забыты. «Амал» сыграл неоценимую роль в поднятии боевого духа. Заключенные любили его. Чего нельзя было сказать о режиме.

— Я не приду сегодня на работу, — неожиданно позвонил наш каллиграф Баширу.

— Почему? — спросил Башир в смятении. Без каллиграфа «Амал» издаваться не мог. Печатание на урду все еще делается по старинке, каллиграфы должны выписывать текст от руки на вощеной бумаге.

— В посольстве мне предложили больше денег, только чтобы я на вас не работал, — признался каллиграф.

Когда позвонил хозяин типографии и сказал, что на него тоже оказывают давление, мы решили, что «Амал» обречен. Но хозяин типографии оказался приверженцем партии, он отказался подчиняться давлению режима и даже согласился держать для нас типографию наготове в ночное время. Башир убедил также каллиграфов, которые работали на пакистанские газеты в Лондоне, по ночам уделять время и нам. Каждый раз, когда режим откупал одного из каллиграфов, Башир настойчиво искал другого. И «Амал» жил.

В Пакистане Зия снова стал поигрывать мускулами военного режима, чтобы напомнить народу о своем кулаке. Пока мы писали статьи о несправедливом и жестоком отношении к Нассеру Балочу, из Пакистана стали приходить зловещие сообщения, что он и его соратники будут приговорены к смертной казни. Наши худшие предположения подтвердились холодным и ветреным утром 5 ноября 1984 года, когда военный трибунал Карачи публично вынес окончательный приговор. Нассера Балоча и других приговорили к «повешению за шею до признаков смерти».

Мы снова стали работать в Барбикане в чрезвычайно напряженном ритме, распространяя среди международной общественности призыв за призывом спасти осужденных. Наше возмущение углубилось еще после того, как одному стороннику партии в Пакистане чудом удалось передать нам секретные документы, в которых высказывалось предположение, что в вынесении смертных приговоров прямо замешан Зия. Из документов было ясно, что первоначально военный суд приговорил к смертной казни только Нассера Балоча и что об этом проинформировали администратора военного положения Синда и он не возражал. Но вдруг он резко изменил свое мнение и приказал военному суду «доследовать и пересмотреть» первоначальное решение. Только Зия, его непосредственный начальник, мог заставить его так поступить.

Более того, мы располагали подписью Зии, которая стояла на распоряжении главного администратора военного положения и удостоверяла, что четыре смертных приговора будут вынесены 26 октября, то есть за целых десять дней до того, как марионеточный суд публично зачитает обвинения. Единственным способом обжалования приговора осужденных могло стать ходатайство о помиловании, обращенное к Зие как к президенту. Что за фарс! Они вынуждены были обратиться к человеку, который уже подписал их смертные приговоры.

У многих были слезы на глазах, когда они просматривали эти документы, но меня переполняла ярость. Впервые мы имели на руках факты, подтверждающие то, о чем мы уже неоднократно слышали: приговоры политических заключенных в военных судах проходят непосредственно через самого Зию. Мы принялись за работу, редактируя и компануя документы так, чтобы их напечатали как можно скорее. Уж если что и могло объединить международное сообщество и выявить сущность военных судов как организаций, механически утверждающих приговоры Зии, так именно эти документы. Лорд Эйвбери, который так помог в освобождении моей матери, организовал теперь для нас пресс-конференцию, чтобы мы могли показать эти документы в британском парламенте. И мы удвоили наши усилия.

Снова нам стали отвечать честные люди — из организаций по правам человека, профсоюзные деятели.

«В то время, как мы в этой стране все больше и больше осознаем угрозу, нацеленную на права наших собственных профсоюзов, нам также необходимо помнить, что и в

других странах борются наши братья и сестры», — писал Лоуренс Платт, профсоюзный лидер из Ноттингема редактору крупного профсоюзного журнала «Т. и Дж. Рекорд». «Может, есть еще время спасти жизни профсоюзного лидера Нассера Балоча и трех его соратников, которых ждет казнь? Нужно направить протест правительству Пакистана и пакистанскому посольству в Англии».

Повсюду приступили к действию адвокаты. «Этих четырех человек судил и приговорил специальный военный суд, сформированный в Пакистане военным режимом, — отмечалось в заявлении, подписанном группой видных английских юристов. — В судах этих председательствуют военные офицеры, у которых нет юридической практики, и заседания проводятся при закрытых дверях. Тяжесть доказательства перенесена на самих обвиняемых, и именно они должны доказывать свою невиновность. Более того, у них нет возможности нанять адвоката, который стал бы вести их дело.

Мы призываем правительство Пакистана остановить подобные суды и казни. В частности, мы просим генерала Зию уль-Хака не утверждать смертные приговоры, вынесенные этим четверем людям, и спасти их жизни. Мы также взываем к британскому правительству, которое оказывает экономическую и военную помощь режиму Зии, чтобы оно использовало свое влияние на правительство Пакистана и помешало привести в исполнение приговор в отношении этих четырех человек, а также содействовало запрещению подобных судов».

Нас не оставляло желание спасти политических заключенных. В то время как мы боролись за спасение их жизней, среди руководства ПНП находились люди, которых куда больше занимали их собственные интересы и борьба за власть. Телефон в Барбикане не смолкал — звонили эти лидеры, в основном бывшие министры правительства моего отца, с просьбой встретиться со мной. К счастью, в Барбикане можно было приглашать не более пятнадцати посетителей в день, хотя мне иногда удавалось проводить и больше, когда я встречала группы из пяти-шести человек. Во время этих встреч я беспокоилась и нервничала, думая о той серьезной работе, которую нужно было сделать.

ПНП всегда была многоклассовой партией, коалицией различных социально-экономических слоев: марксистов, феодальных землевладельцев, бизнесменов, религиозных меньшинств, женщин, бедноты. До смерти моего отца различные интересы всех этих слоев объединялись сильной

личностью отца и народной поддержкой. Но в Лондоне, в условиях эмиграции, опасения политических лидеров оказаться забытыми на родине взяли верх над общими целями. Главным была необъявленная война за власть. Старая гвардия в Лондоне понимала, что, признав меня хоть раз, она признает меня навсегда.

«Это не по мне — сначала следовать за отцом, потом за матерью, а теперь и за дочерью» — так, по слухам, сказал один из них, когда я впервые приехала в Лондон.

— Вы должны решить, на чьей вы стороне, — наставляли меня разные деятели, и каждая фракция боролась за лидерство в ПНП и готовилась в конечном счете к победе.

— Я ни на чьей стороне, — настаивала я. — Если бы партия выступала единым фронтом, а не фракциями, ослабляющими друг друга, нам бы удалось сделать больше.

Я старалась говорить как можно разумнее и спокойнее, чтобы не оттолкнуть старых «дядюшек», и хорошо сознавала всю шаткость моей политической позиции, хотя когда я приехала в Англию, Центральный исполнительный комитет партии снова одобрил мою кандидатуру на место председателя. Но эти люди были опытными политиками. Я, молодая женщина, по возрасту годилась им в дочери. Они руководили ПНП в Лондоне со времен переворота. А я только недавно приехала из Пакистана. Они потратили годы на то, чтобы построить для себя основу власти. Я верила, что бывшие разногласия можно сейчас примирить и подчинить личные амбиции интересам партии. Когда я вернулась из поездки по Америке, наиболее шумная группа — марксисты — атаковала меня.

— Вы не должны были ездить в Америку, — упрекал меня лидер марксистов, хотя перед поездкой и слова мне не сказал. — Американцы дружат с Зией. Мы должны объединиться с русскими, чтобы покончить с ним.

— На основании чего вы решаете, что американцы или русские чьи-то друзья? — заспорила я. — Американцы поддерживают Зию на основе своих стратегических соображений. Советы могут захотеть сегодня поддержать нас, а завтра, если изменятся их стратегические интересы, пошлют нас. Нам надо не вмешиваться в соперничество сверхдержав, а бороться за наши собственные национальные интересы. Мы не можем позволить себе выходить на уровень мировой политики.

Вскоре в драку вступили регионалисты.

— Вы из Синда. Вы должны выступать за то, чтобы Синд пользовался приоритетом над другими провинциями,

иначе он никогда вам этого не простит, — предупредили меня.

— Зачем играть на руку военному режиму, который использует угрозу раскола, чтобы выдвинуть армию в качестве объединяющей силы в Пакистане? — возражала я. — Есть люди во всех четырех провинциях, которые верят в демократию. Тирания не знает, что такое границы провинций. Не лучше ли направить наши усилия против общего врага, чем бороться друг против друга?

Шовинисты, члены ПНП, ориентированные на органы власти и занятые только поисками компромиссов с Зией, тоже подняли голос в защиту своих собственных интересов. По мере того, как споры продолжались, я все больше и больше расстраивалась. В соседней комнате были люди, которые добровольно выполняли всю основную черную работу партии, чтобы спасти жизнь нашим сторонникам в Пакистане. А у меня отнимали время политики старой гвардии, которые настаивали на том, что их личные интересы должны быть поставлены выше интересов народа.

И в конце концов я потеряла терпение, когда ко мне в Барбикан явился один из таких «дядюшек»-эмигрантов, уселся на диван и заявил, чтобы я дала ему пост руководителя ПНП Пенджаба, а команду себе он уже подобрал.

— Я просто не могу вас назначить, — с изумлением сказала я этому человеку, который не только не был популярен среди пенджабских политиков на родине, но все время после переворота провел в Лондоне, в полной безопасности. — Это разозлит партию и подорвет нашу политику назначений по достоинству и консенсусу.

— У вас не такой большой выбор, — сказал он мне покровительственно. — Марксисты против вас. Регионалисты уже сформировали свою организацию. Вы не можете позволить себе выступить против меня.

— Но это против принципов ПНП, — запнулась я, все еще пораженная его требованием.

— Принципы, — усмехнулся он. — Принципы — это прекрасно. Но люди идут в политику за властью. Если вы не назначите меня президентом и не утвердите мою команду, боюсь, мне придется сделать другой выбор. Может, я даже организую свою партию. Я стану вашей крупнейшей оппозицией.

Во мне росла ярость, когда я считала часы, потраченные на пререкания с этими группами, отстаивающими свои собственные интересы. А теперь это. Передо мной встало

новое препятствие. Это был испытанный способ пакистанских политиков. Одеять на себя. Ходить — нос кверху. Хвататься за любую должность, которая только подвернется. Шантажировать. Угрожать. Я уже проходила это с другими. А теперь с ним.

— Дядюшка, — сказала я, сделав глубокий вдох и наклонившись вперед на стуле. — Знаете, если вы выйдете из партии, вам будет трудно даже получить место в парламенте.

— Правда? Правда? — сказал он, удивившись моему грубоватому ответу. И зашагал из комнаты, а в конце концов и из партии. Еще неприятности, подумала я, решив больше об этом не вспоминать. Я никогда не радовалась, когда кто-то выходил из партии, но пришла к заключению, что в политике нет ничего постоянного. Люди уходят, приходят, договариваются. Важно то, что политическая партия — яркое выражение настроений поколения. Наша работа в Лондоне поднимала дух людей и побуждала к действию партию в Пакистане. А с этим считались. Особенно к декабрю 1984 года, когда стало ясно, что ПНП необходимо собрать все имевшиеся силы.

Под давлением со стороны Соединенных Штатов Зия решил в марте 1985 года провести выборы. Было объявлено, что перед этим 20 декабря будет проведен национальный референдум. Если бы формулировка исламского референдума, как его называли, не была такой хитроумной, то над ней вполне можно было бы посмеяться.

«Одобрит ли народ Пакистана начатый президентом Пакистана генералом Зией уль-Хаком процесс приведения законов Пакистана в соответствие с предписаниями Ислама, как записано в Священном Коране и Сунне Святого Пророка?» — говорилось там. Как в стране, на 95 процентов состоящей из мусульман, мог кто-то проголосовать против этого? Это было бы равнозначно голосованию против ислама. Но в политическом отношении голосование «за» было бы просто ужасным. Это, как объявил Зия, означало, что он «выбран» президентом еще на пять лет.

Все это было просто дымовой завесой, дававшей Зие мандат, в котором он так нуждался. Ни один военный диктатор в истории субконтинента не правил так долго без такого мандата. И Зия не собирался рисковать. Он же, перестраховываясь, объявил, что голосование «против» будет рассматриваться как преступление, наказывающееся тремя годами лишения свободы в тюрьмах строго режима

и штрафом в 35 тысяч долларов. Более того, военные сами тайно подсчитывают результаты голосования, которые нельзя будет опротестовать в гражданских судах. Неужели Зия действительно думал, что это будут справедливые и объективные выборы?

— Бойкот! — требовали мы в «Амал», в интервью, в выступлениях, пресс-выпусках.

— Бойкот! — требовали члены ДВД в Пакистане, где две религиозные партии разоблачили референдум как «политическую фальшивку во имя ислама».

— Голосуйте! Вам даже не понадобится удостоверения личности, — выкрикивали громкоговорители, установленные режимом на каждом углу улиц Карачи, в то время, как агенты загоняли афганских беженцев в автобусы, направляющиеся в избирательные пункты в Белуджистане, и сгоняли целые деревни на другие избирательные участки.

По предварительным данным, сообщила пакистанская пресса, находящаяся под контролем режима, в голосовании приняли участие 64 процента всех избирателей, то есть более 20 миллионов человек, и 96 процентов из них проголосовали «за». Но корреспондент «Гардиан» в Исламабаде подсчитал, что в голосовании приняли участие лишь 10 процентов всего населения, к такому же выводу пришло и агентство Рейтер. Сработал наш призыв бойкотировать этот фарс.

«Если генерал Зия честно и смело подвергся бы этому испытанию, не прикрываясь «религией», он, по всей вероятности, проиграл бы», — было написано в передовой статье «Таймс» (Лондон) от 12 декабря. «И нет сомнения, что именно поэтому он прошел».

Я ждала подходящего момента, чтобы вернуться в Пакистан с лидерами ПНП, которые были в эмиграции. Может, этот момент и был подходящим.

— Настало время заявить протест против Зии уль-Хака, — согласился кто-то из партийной знати на собрании в доме бывшего министра ПНП в северном Лондоне. — Референдум показал всему миру непопулярность Зии.

Другие не соглашались. Был выдвинут контраргумент.

— В стране может не быть ответной реакции.

— Люди слишком долго находились в состоянии инерции. Мы должны добиваться открытой пробы сил.

Дискуссия не продвигалась, пока один из «дядюшек» не повернулся ко мне.

— Я знаю, что делать, — сказал он. — Мы должны послать обратно мисс Беназир Бхутто. Это взбудоражит всех.

— Хорошо, — согласилась я. — Но если с моей стороны политически правильным будет ехать, то мы должны составить план поездок для всех. Почему бы нам не установить график приездов, скажем, раз в десять дней, и так по нарастающей?

В комнате воцарилась тишина.

— Вернуться? Я не могу вернуться, — один за другим они стали протестовать и перечислять обвинения, тюремные и смертные приговоры, которые грозят им в Пакистане. Я была поражена. То, что они хотели меня отослать, было очевидно, однако скорее всего они вообще не хотели занимать наступательную позицию.

— Или мы делаем это по всем правилам, или мы этого не делаем вовсе, — сказала я.

Молчание.

Но всех нас, однако, объединяло чувство удовлетворения по поводу неудачи Зии на референдуме. Митинги свободы, организованные ПНП, прошли по всему миру в День демократии, 5 января 1985 года, в день рождения моего отца. На митинге в Лондоне я говорила на синди, урду и английском. Тут же мы организовали семинар и *мушаиру*, вечер поэзии. Атмосфера была наэлектризована, в арендованном нами зале толпилось огромное количество людей. Я закончила свое выступление стихами поэта-революционера. Размахивая знаменами ПНП, все люди в зале вместе со мной выкрикивали строки стихотворения: «Я мятежник. Я мятежник. Делай со мной, что желаешь».

В середине семинара мне позвонила мама. У Санам только что родилась девочка. По коду, который мы когда-то использовали в Симле, слова «это девочка», означали неудачу. Сегодня эти слова принесли нам радость — моя сестра родила в день рождения павшего смертью мученика Бхутто. Имя моей маленькой племянницы — Азаде, что на персидском языке означает «свобода».

Раздались аплодисменты. Семинар был записан на видеомагнитофон, и десятки видеокассеты были тайком провезены в Пакистан.

Три дня спустя я была с мамой и Санам, когда Зия объявил, что выборы в Национальную и Провинциальные ассамблеи назначены на конец февраля. Вопрос о том, бойкотировать ли эти выборы, был не так ясен, как вопрос о бойкоте референдума. Военный режим был все еще в

силе, и политические партии под запретом. Нашим приходилось выступать во вновь сформированной Национальной ассамблее в качестве независимых кандидатов, а не представителей партии. И все же это были первые национальные выборы, которые проводил Зия со времени переворота в 1977 году. Должны ли мы участвовать?

— Бойкот! — требовали члены ПНП в Лондоне и Пакистане в ожидании объявления Зии. Я разрывалась между двумя решениями. Никогда не воздерживайся от вмешательства, всегда повторял мой отец. Я не знала, что делать, как не знала и что готовят члены ДВД в Пакистане. Мне было тяжело сидеть в Европе, когда на родине так много происходило. А Зия, как обычно, изменял правила выборов. 12 января он объявил по национальному радио, что ведущие члены ПНП и ДВД будут отстранены от участия в выборах. Три дня спустя он сменил пластинку и заявил, что, вообще-то, большинство из них участие в выборах принять смогут. Больше я терпеть не могла.

— Я думаю, мне нужно вернуться домой, — сказала я маме под крик ребенка Санни. — Мне надо поговорить о выборах с Центральным исполнительным комитетом. Необходимо решить, как легче достичь политической победы — участвуя в них или нет.

Я ожидала, что мать будет против моего решения вернуться. Кто знал, что Зия готовит для меня. Но она подумала минуту, потом согласилась.

— Ты права, — сказала она. — Настало время обговорить этот вопрос с партийными лидерами в Пакистане.

Мы с мамой по очереди заказывали и перезакзывали разговор с заместителем председателя партии, на это ушли часы. Мы не могли до него добраться. Но я, однако, дозвонилась до своей двоюродной сестры Фахри.

— Передай, что заседание должно проходить на Клифтон-Роуд, 70, — сказала я ей. — Я буду там через три-четыре дня.

Только я вернулась, наведя справки о рейсах самолета, как зазвонил телефон.

— Клифтон-Роуд, 70 окружен военными, — сказал доктор Ниязи. — Мне только что передали из Карачи, что есть приказ арестовать вас и вашу маму. Аэропорты заблокированы по всей стране, проверяется каждая женщина в покрывале, прилетающая из Лондона или Франции.

Не было смысла возвращаться назад, поскольку меня сразу же взяли бы под арест, и я не смогла бы принять

участие в дискуссиях по поводу выборов. По крайней мере, из Европы я могла звонить.

Я продолжала пробиваться в Пакистан. Я пришла к убеждению, что на выборах мы должны создать Зие оппозицию, и хотела предложить это решение на встречах с ДВД.

— Это говорит мисс Беназир Бхутто? — прозвучал удивленный голос в Абботабаде, когда мне, наконец, удалось дозвониться.

— Да, да, да, — нетерпеливо сказала я. — Приняло ли ДВД какое-нибудь решение относительно выборов?

— Да, — сказал он.

— Какое? — спросила я, затаив дыхание.

— Бойкот, — ответил он.

Это было единогласное решение партии и объединенной оппозиции. Что ж, так тому и быть. Я вернулась в Лондон и записала еще одну пленку на синди и урду с призывом к народу бойкотировать выборы. Она тоже была тайно переправлена в Пакистан и разошлась тысячей экземпляров в Синде, Пенджабе и других частях страны.

25 февраля я сидела, не в силах отойти от телевизора в Лондоне, и ждала объявления о результатах голосования в Национальную ассамблею, а три дня спустя — в Провинциальные ассамблеи. Выборы в Пакистане обычно проходят очень бурно и проводятся почти как карнавал. Улицы запружены людьми, уличные торговцы проталкивают сквозь толпы свои тележки с прохладительными напитками, льдом, сладостями, самосами и пакорой. Люди огромными толпами собираются перед избирательными участками и отталкивают друг друга, чтобы войти внутрь: пакистанцы никогда не утруждают себя стоянием в очереди. Но избиратели, которых я видела по телевизору, — скорее всего государственные служащие, выстроившиеся перед телекамерами, — стояли гуськом, жиденькими очередями, само внимание, а уличных торговцев не было и следа.

И вообще было смешно, что Зия назвал это выборами. «При отсутствии политических партий, — сообщал журнал «Тайм» для стран Азии и Океании, — не было ни программ, ни платформ, ни дебатов по национальным вопросам. Кандидатам не разрешалось выступать на уличных митингах и демонстрациях, использовать громкоговорители или микрофоны, а также выступать по радио и телевидению. Самое большое, что разрешалось кандидату режимом, — ходить из дома в дом и говорить с людьми, которые могли поместиться только в одной комнате. Несколько человек

попытались выступить в мечетях — и их тотчас же дисквалифицировали».

Режим объявил, что общее число принявших участие в голосовании — 53 процента. По нашим подсчетам — от 10 до 24, в зависимости от религии. Призыв ДВД к бойкоту снова сработал, хотя и не так успешно, как во время референдума. На этот раз Зия подстраховался: чтобы бойкот не удался, было принято распоряжение военного режима, по которому призыв к бойкоту грозил строгим заключением. И, в конце концов, ни один политический лидер уже не призывал к бойкоту. «В дни, предшествующие выборам, — сообщал «Тайм», — власти собрали около 3 тысяч политических противников, включая фактически всех видных политических деятелей страны, и, пока голосование не кончилось, держали их в тюрьме или под домашним арестом».

Более того, голосование явилось потрясающей демонстрацией неприятия военного режима Зии и его политики исламизации. Шесть из девяти министров кабинета, баллотировавшиеся в Национальную ассамблею, потерпели поражение, как и многие другие его сторонники. Кандидаты, которых поддерживали основные религиозные партии, также не получили большинства во время выборов в Провинциальные ассамблеи — лишь шесть из шестидесяти одного кандидата Джамаат-е-ислами заняли места в ассамблеях. И наоборот: кандидаты, которые заявили о своей поддержке ПНП, несмотря на наш бойкот, получили много мест — пятьдесят из пятидесяти двух. «ПНП, во главе которой стоит дочь Бхутто Беназир, 31 год, эмигрантка, проживающая теперь в Лондоне, остается самой сильной партией в стране, несмотря на то, что эта партия вот уже восемь лет находится вне закона», — писал «Тайм».

Любые надежды на то, что Зия действительно шел по пути к демократии, рухнули через неделю после выборов. Перед тем, как вновь избранная Национальная ассамблея собралась, Зия объявил о крупных изменениях в конституции. В поправках утверждалось его президентство сроком на пять лет. Поправки давали ему не только огромную власть — самому назначать премьер-министра, командующих вооруженными силами и губернаторов всех четырех провинций, но также право распускать Национальную и Провинциальные ассамблеи.

Чем отличалось новое правительство? Ничем. И хотя под давлением правительств стран Запада Зия создавал видимость «гражданского» правительства, военный режим

удерживал власть. Несмотря на то, что Зия взял себе более приемлемое звание — «президент», он все еще оставался главным администратором военного положения и начальником генштаба армии, что обеспечивало подчинение Национальной ассамблеи армии. Зия снимет военное положение, как сказал он в интервью журналу «Тайм», через «несколько месяцев» после принятия президентства и одновременно с этим уйдет с поста начальника генштаба армии.

— Когда 23 марта я буду принимать присягу президента, я думаю, мне нужно быть в штатском, — сказал он, будто мог обмануть людей своим переодеванием. Он не смог. И на следующий год военное положение отменено не было. А то, что иногда Зия надевает национальную одежду вместо военной формы, не меняет его лица.

1 марта, через четыре дня после выборов, Аяза Саму приговорили к смертной казни.

5 марта Нассер Балоч был повешен.

Мы все были крайне расстроены, когда узнали о смерти Нассера Балоча. Зия даже внимания не обратил на просьбы о помиловании, поданные ему девятью только что избранными членами Национальной и Провинциальных ассамблей. Нескольким другим политическим заключенным в Центральной тюрьме Карачи удалось тайком переправить прошение о помиловании Нассера Балоча, но Зия вместо ответа перевел их в другие тюрьмы. После того, как мы предали секретные документы гласности, ему пришлось под давлением международной общественности заменить трем оставшимся обвиняемым смертную казнь другими наказаниями. Но Нассеру Балочу выдали «черный ордер». Профсоюзный лидер шел на виселицу, сообщала «Гардиан» из Исламабада, «выкрикивая антимилиитаристские лозунги, включая “Да здравствует Бхутто!”».

Я с грустью пролистала толстую папку с письмами, которые мы рассылали и получали по делу Нассера Балоча, читая и перечитывая письмо, которое он написал мне на внутренней стороне сигаретной обертки и тайком переправил из камеры смертников в Центральной тюрьме Карачи. «Пусть Бог даст вам и Бегам-сахибе здоровье и долгую жизнь, чтобы вы могли вести за собой бедный народ Пакистана, — так начиналась его записка. — Мы проводим дни в камерах, не теряя мужества и смелости, как председатель Бхутто, который не склонил голову перед военной хунтой. Мы никогда не будем просить о помиловании у военного режима... Честь партии для нас важнее

наших собственных жизней. Мы молимся за ваш успех. Да поможет вам Бог».

Я месяцами молилась за Нассера Балоча. Теперь с глубокой болью я молилась за его душу в уединении и во время религиозной церемонии, которую мы провели в память о нем в доме одного из партийных лидеров, живущих в эмиграции. Мне казалось, что я потеряла брата. Балоч жил в Малире, в самом бедном районе Карачи, с женой, детьми и родителями, братом и его семьей. Нассер Балоч очень гордился своими дочерьми и часто о них говорил. Одна выходила замуж, когда я была под домашним арестом на Клифтон-Роуд, 70 в 1983 году, и я старалась помочь, чем только могла, попросив Фахри дать семье немного денег, чтобы частично покрыть расходы на свадьбу. Когда я села писать письмо соболезнования его семье, то приняла их боль как свою собственную. То же чувствовали и многие другие люди. Я прочитала в английских газетах, что пришлось вызвать дополнительные наряды полиции, чтобы сдерживать толпы, которые собрались перед Центральной тюрьмой Карачи в ночь казни. Когда семья забирала тело для погребения, собралась такая толпа, что полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, пришедших проститься. Новое гражданское правительство Зии начало с того, что обагрило руки кровью. Станет ли Аяз Саму их следующей жертвой?

«Я пишу вам в надежде на вашу помощь в спасении жизни Аяза Саму, представителя профсоюзной организации в «Найя Даур Моторс», которого военный суд после слушания дела при закрытых дверях приговорил 1 марта 1985 года к смертной казни», — начиналось письмо, подписанное доктором Ниязи членам комитета по правам человека при ПНП.

«Дорогие члены партии, — писал Сафдар Хамдани, наш координатор, который жил в центральном отделении Христианского союза молодежи и переписывался с общинами, живущими за океаном. — В свете важных последних событий по делу Аяза Саму удвойте, пожалуйста, ваши усилия в отношении: а) встреч с местными членами парламента; б) организации делегаций для встречи со своими членами парламента; в) получения подписей под петицией; г) связей с организациями по правам человека; д) связей с прессой».

Подробности по сфабрикованному против Аяза Саму делу прояснились, когда один человек тайно переправил из Пакистана полицейский протокол о деле. Саму

обвинили и приговорили к смерти за убийство сторонника режима Заура уль-Хасана Бхопали в его рабочем кабинете в Карачи в 1982 году. Один из нападавших был убит на месте. По донесениям полиции, свидетели сообщили, что второй был высоким, крепким, с желтоватым цветом лица, на вид ему было около двадцати пяти — тридцати лет. Когда он уезжал с места происшествия на машине, сообщили свидетели, рана на его руке сильно кровоточила.

Аяз Саму не подходил ни под одно из этих описаний. Он был очень смуглый, худощавый, ста шестидесяти сантиметров роста. Ему было двадцать два года, и, когда его арестовали, он ранен не был. Но власти не вдавались в такие подробности. Они так горели желанием осудить убийцу Бхопали, что не один, а целых три военных суда слушали дело трех разных обвиняемых, и всех признали виновными в совершении одного и того же преступления.

Но нам нужно было доказательство невиновности Саму. Неопровержимое доказательство. И оно пришло на клочке материи, пронесенном из камеры смертников адвокатом Саму. На нем были следы крови Саму. Полиция Пакистана очень широко демонстрировала следы крови в оставленной машине, которую нашли после убийства. Следы крови, найденные в машине, были подвергнуты анализу неким доктором Шервани, и результат включен в полицейский протокол. Кровь Саму ни разу не проверяли, чтобы посмотреть, соответствует ли она следам крови нападавшего. Мы нашли в Лондоне патолога, который смог бы определить группу крови Саму. У нас было доказательство, которое мы разослали по всем адресам: группа крови Саму не соответствовала той, следы которой нашли в машине. Но смертный приговор отменен не был.

«Моя дорогая сестра, — написал Аяз Саму из Центральной тюрьмы Карачи 23 марта. — Я очень рад возможности написать вам. Наша решимость крепче гранита и выше Гималаев. Революционеры никогда, никогда не уступают диктаторам. Жизнь дана Аллахом, а не Зией.

Лучше быть повешенным, чем жить при тоталитарном режиме. Сдаться — это не наш принцип. Мы не можем назвать осла лошадью, а черное — белым из страха перед военным режимом. Моя дорогая сестра, ваш брат, Аяз Саму, заверяет вас, что террорист Зия уль-Хак может отрубить ему голову, но не может заставить склонить ее... Мы, мученики, будем проливать свою кровь. Однажды рассвет принесет нашему народу весть о нашей смерти,

Бог даст. Мы будем жить и жить вечно. Ваш брат Аяз Саму».

Я брала с собой повсюду сведения по делу Аяза Саму — в Америку, когда в апреле была приглашена прочитать лекцию в Гарварде о Раме Мехте и выступить в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям, затем в Страсбург в июне, когда обратилась к членам Европейского парламента.

— Аяз Саму, профсоюзный лидер и сторонник партии, страдает сегодня в камере смертников. Он обвинен в преступлении, которого не совершал, и не уверен в своей судьбе. Он знает, что группа его крови не соответствует той, что найдена на месте преступления, в котором его обвиняют, — сказала я на пресс-конференции в Страсбурге. — Когда мир справедливо негодует против апартеида и любых нарушений прав человека, нельзя закрывать глаза на убийство, которое совершается военными судами в стране, получающей значительную помощь от Запада.

Перед тем, как я уехала в Америку весной 1985 года, всех пятьдесят четырех заключенных, которых держали в Лахоре якобы за их участие в деле «Аль-Зульфикар», приговорили к пожизненному заключению, как и сорок других, включая моих братьев Мира и Шаха. Снова для своих политических целей режим использовал специальное словечко «терроризм». «Эмнести интернэшнл» уже несколько лет беспокоит тот факт, что обвинение в связи с «Аль-Зульфикар» может служить причиной заключения людей в тюрьму по политическим мотивам», — говорилось в докладе «Эмнести» в 1985 году. Приговорили более семидесяти заключенных, больше сотни человек ждала смертная казнь.

*Пакистанская народная партия
111, Лодердейл Тауэрс
Барбикан
Лондон EC 2
18 июня*

Спасти жизнь Аязу Саму

Уважаемый член партии, вы должны действовать быстро и сделать все необходимое, чтобы спасти жизнь невинному двадцатидвухлетнему сыну Пакистана... Свяжитесь со всеми, с кем можете. Прощение о помиловании Аяза Саму необходимо подать сегодня. Пожалуйста, действуйте быстро, поскольку времени осталось мало.

На имя Зии были посланы письма. Телеграммы. Дипломатические официальные заявления. Пытались повлиять иностранные государства. Аяз Саму был повешен 26 июня 1985 года.

Бам! Что происходит на кухне? Наверное, кто-то оставил окно открытым, подумала я, идя на свою кухню в Барбикане, чтобы собрать вещи, сбитые со стены ветром. Но все было на месте.

Может, это дух Аяза Саму, думала я. Я помолилась, чтобы благословить его душу.

И следующее утро я снова за работой с Нахидой, Баширом Риязом, Сафдаром, Самблиной, Ясмин и миссис Ниязи — мы пишем письма всем, кто принял участие в деле Аяза Саму, отвечаем на письма соболезнования от разных людей — лорда Эйвбери из палаты лордов, Эллиота Абрамса из Соединенных Штатов и Карела Вана Миерта из Брюсселя, который вместе с социалистической группой Европейского парламента ходатайствовал об отказе от соглашений по экономическому сотрудничеству, которые должны были вскоре подписать с Пакистаном.

«Я с болью узнал о казни мистера Аяза Саму, хотя и не был этому очень удивлен, — написал лорд Эйвбери. — Это показывает, что Зия абсолютно глух к гуманным призывам, и боюсь, он знает: что бы он ни сделал, это не повлияет на щедрость Соединенных Штатов и решимость рейгановской администрации рассматривать Пакистан как часть “свободного мира”».

Мы тихо работали, как вдруг в холле, где у нас лежали пачки бумаг, папок и конвертов, раздался громкий стук. Мы в испуге взглянули друг на друга.

— Наверное, папка упала со стола, — сказал Башир, идя в холл.

— Ничего не падало, — сказала я, вспомнив предыдущую ночь.

— Действительно, — сказал он, вернувшись.

— Может, это душа Аяза Саму? — спросила я остальных.

— Да благословит его Господь, — сказала миссис Ниязи, которая была очень религиозной. — Мы должны иметь здесь для него Коран Хани. Это даст покой его душе.

Нахид быстро организовала группу пакистанских женщин, которые днем должны были прийти в квартиру. Мы все вслух читали отрывки из Корана, час за часом, пока

несколько раз полностью не прочитали книгу. Дух Аяза Саму больше никогда не давал знать о себе шумом.

1 июля я должна была ехать на юг Франции, чтобы отдохнуть вместе с мамой и со всей семьей. Но что-то все время удерживало меня: то политические митинги, то визиты руководителей ПНП, которые приезжали из Пакистана и не могли изменить свои планы, и так далее.

Мама позвонила и сказала, что Шах Наваз очень расстроился, что я не приеду на пикник с шашлыком, который он собирался приготовить специально для меня. Со времени моего освобождения мы были вместе всего лишь несколько раз. Я очень хотела всех их увидеть — Мира, Шаха, их маленьких дочек Фати и Сасси, их жен-афганок Фавзию и Рехану. Но я смогла увидеть их всех только в середине месяца.

Утром 17 июля я побросала в чемодан кое-что из одежды и помчалась в аэропорт. Впереди у меня две недели долгожданного отдыха в Каннах после месяца напряжения и трагедий. Я не могла ждать. Я была по горло сыта смертью.

СМЕРТЬ БРАТА

Где они? Меня забыли встретить? Проходя через иммиграционный контроль, я внимательно разглядывала суетливый аэропорт Ниццы.

— Сюрприз! — воскликнул Шах Наваз, выскочив из-за колонны. Мы обнялись, и его глаза так и сияли озорством.

— Это он придумал спрятаться, — улыбаясь, подошла мама и поцеловала меня.

Шах поднял мой чемодан и сразу же опустил его, сооротив гримасу:

— У-ух! Что это у тебя там? Золото?

Мы смеялись, выходя из аэропорта. Верхушки пальм французской Ривьеры лениво покачивались на тихом ветру. После напряжения последних месяцев было очень приятно снова видеть семью, побыть с моим шаловливым младшим братом, всегда веселым и беспечным. Я любила его больше других, у нас были с ним особые отношения, он был самым младшим, я — самой старшей. Я покачала головой и улыбнулась, увидев, что женщины оборачиваются и смотрят на Шаха. Он был стройным и хорошо сложенным, и, когда я шла рядом с ним, я не могла не замечать восхищенные взгляды.

Шах с мамой сели на переднем сиденье машины, я — сзади, и мы на большой скорости поехали в Канны. Шах непрерывно говорил и смотрел на меня в зеркало заднего вида так же часто, как и на дорогу; его глаза блестели из-под густых длинных ресниц, а волосы, выгоревшие на солнце во время катания на водных лыжах, отсвечивали золотом. Одетый в свежую белую рубашку и белые брюки, он еще никогда не выглядел таким красивым и здоровым.

Я успокоилась, увидев, что он так хорошо выглядит. Когда мы изредка встречались с Шахом после моего приезда в Англию полтора года назад, Шах казался мне очень худым. Теперь я видела, что он немного прибавил

в весе, как, кстати, и я. Он больше не волновался по поводу моих арестов в Пакистане, да и я теперь не боялась так за него и Мира. Уже долгое время не было никаких действий или заявлений по делу «Аль-Зульфикар», и я чувствовала, что непосредственная опасность семье не грозит. Зия был далеко-далеко от солнечных берегов Канн, где жил теперь Шах со своей женой Реханой, и говорили в машине совсем не о политике, а о манго.

— И какой же сорт манго ты нам привезла? — спросил Шах, глядя в зеркальце. — Мы уже две недели их ждем.

— «Синдрис», — сказала я. — Хотя мне больше нравятся «Сосерс». Они помельче и послаще.

— Из Синда и не любит «Синдрис»? — спросил Шах с притворным ужасом. — Мадам, вы уверены, что вы из Синда? И часто вы признаетесь в таких особо тяжких преступлениях?

Я засмеялась. Шах всегда смешил меня, как смешил и всю семью. Утомление от перелета и общая усталость ушли. Энергия и жизненная сила Шаха были заразительны. Как ему это удавалось? Он был так молод, когда нас захватил мир политики. Когда Шах родился, папа только что стал министром. Мама была занята, сопровождая мужа на официальных приемах, а бабушка с дедушкой уже умерли. Казалось, никто не мог избаловать Шаха так, как баловали нас троих. Поэтому у Шаха появилась ко мне какая-то необычная привязанность. Своими детскими каракулями он писал мне в Гарвард огромное количество писем. Когда он подросток, мы играли с ним летом в мяч. Его больше интересовал спорт, чем учеба. В школьной баскетбольной команде он был ведущим игроком, а дома, чтобы нарастить мускулы, занимался гантелями. Но для отца спорт и учеба были разными вещами.

Чтобы приучить Шаха к «дисциплине», его отправили в военное училище. Здесь, к удивлению многих курсантов, которые думали, что изнеженный сын премьер-министра будет в привилегированном положении, Шах стал одним из первых в физической подготовке и по «курсу на выживание». Но в училище Шаху не очень нравилось, и вскоре он уговорил маму поговорить с папой, чтобы его снова вернули в дом премьер-министра и устроили в Международную школу в Исламабаде.

Шах Наваз. На урду означает «король доброты». Шах был очень щедрым и совершал иногда самые неожиданные поступки. Годом раньше в Париже я два раза давала ему мелочь, чтобы он купил «Геральд трибюн», а сама ждала

в кафе. Оба раза он возвращался с пустыми руками, потому что отдавал деньги нищим, которые сидели на улицах с протянутыми шляпами. Он мог снять с себя последнюю рубашку и отдать ее. «Берите, берите», — настаивал он, стоило только кому-то восхититься какой-нибудь его вещью. Так он отдал однажды свой новый блейзер, который ему купила мама. С самого детства он жалел бедных. В саду на Клифтон-Роуд, 70 он построил хижину из соломы и неделями спал там, чтобы на себе испытать, как живет бедняк.

Он был единственным из нас, кто не поехал учиться в Гарвард, а предпочел Американский колледж в Лейсине, Швейцария. Там он влюбился в красивую турчанку, у него появилось много друзей. К ужасу моего отца, отметки Шаха не улучшились. Как только удавалось, он ездил с друзьями в Париж, чтобы провести вечер в «Режин». В 1984 году он настоял на том, чтобы взять нас с Ясмин в этот известный ночной клуб. Несмотря на то, что прошло уже семь лет, Шаха там узнали и приняли с удовольствием.

И все же я всегда чувствовала, что он был самым заметным из нас. Отец всегда брал его с собой на предвыборные митинги, потому что у Шаха был ярко выраженный дар политика. Когда ему было двенадцать лет, он провел свою первую пресс-конференцию. У него было острое политическое чутье и интуиция. Он чувствовал, о чем думают люди, что у них на душе, отчего начинает учащенно биться сердце. У людей обычно такой талант проявляется к музыке, балету или искусству. А у него был талант к политике.

— Шах напоминает мне меня в молодости, — часто говорил мне отец.

Наша семья собиралась в Каннах во второй раз.

— Весь год делайте все, что хотите, но я прошу, чтобы июль вы провели со мной, — сказала нам мама. Годом раньше семейный отдых в доме тети Беджат в Каннах не очень удался. Наши графики не совпадали, и вместе мы побыли очень мало. А мы с Миром постоянно спорили о том, как лишить Зию власти.

— Зия превратил Пакистан в государство вооруженного террора, — настаивал Мир. — На насилие надо отвечать только насилием.

— Насилие порождает насилие, — возражала я. — Такая борьба не может принести людям ничего стабиль-

ного. Любая смена власти должна произойти мирным путем, политически — через выборы при поддержке народа.

— Выборы? Какие выборы? Зия никогда не сдастся. От него можно будет избавиться только с помощью оружия, — заявлял Мир.

— Но у армии всегда будет больше оружия, чем у антиправительственных сил, — возражала я. — Да и возможности государства всегда шире, чем возможности любой группы диссидентов. Вооруженная борьба не только непрактична, но и непродуктивна.

Наши споры разгорались, мы спорили до хрипоты, пока Шах не убежал куда-нибудь в бассейн, кафе — куда угодно, лишь бы без нас.

— Я не выношу эти ваши споры, — сказал он мне. На этот раз, к облегчению Шаха, мы с Миром пришли к соглашению просто придерживаться разных точек зрения и вообще политику не обсуждать.

Интерес Шаха к политике не ограничивался одним Пакистаном. Пожив в нескольких ближневосточных странах после того, как его вынудили покинуть Пакистан, он заинтересовался сложными политическими отношениями Ливана, Ливии и Сирии.

— Ты питаешь нежные чувства к госпоже Тэтчер, — часто дразнил он меня.

— Неправда, Шах. Она правая, а я нет. — И я пыталась протестовать, напоминая среди всего прочего о высоком проценте безработицы в Великобритании. Но он качал головой и грозил мне пальцем.

— Нет, я прав, — говорил он. — Ты хорошо к ней относишься, потому что она женщина.

Не по случайности, а волею обстоятельств попал он в опасный и мрачный мир «Аль-Зульфикар». Работой Шаха в Кабуле была подготовка добровольцев для сил «Аль-Зульфикар». Шах подошел к своему поручению, как и ко всему, что он делал, с большим энтузиазмом и озорством, проскользнув однажды по ночным улицам Кабула во время комендантского часа, объявленного советскими, ради того, чтобы позавтракать со своими «войсками». Утром Мира охватила паника, когда он увидел, что Шаха нет.

— Как еще я могу учить своих людей? — сказал с улыбкой Шах сердитому Миру.

У Шаха, как и у всех нас, были разрушены все планы на будущее после переворота и убийства отца. Его помолвка с турчанкой расстроилась из-за того, что семья девушки узнала о его связях с «Аль-Зульфикар». Ему также пришлось за-

быть на время о своей мечте заняться бизнесом, хотя недавно он говорил о том, что нужно увеличить капитал и построить во Франции жилой дом, чтобы сдавать его в аренду.

— Вы с Миром можете заниматься политикой. А я буду зарабатывать деньги для семьи, — сказал он во время одной из наших встреч.

Еще он интересовался разведывательными системами и много читал на эту тему.

— Когда вы с Миром вернетесь в Пакистан и вновь станете заниматься политикой, не забудьте, что у вас есть младший брат, который поможет вам, если вы дадите ему высокий пост в разведке, — сказал он нам. — Руководители, независимо от их желания, не могут знать, что происходит во всех слоях общества. Общество в современном мире очень сложное и многообразное. И вам понадобится человек, на которого вы сможете положиться и который будет знать, каковы настроения и что происходит в низах. Помните оба, когда наступит время: я к вашим услугам.

— Сколько ты пробудешь в Каннах? — спросил меня теперь Шах в машине.

— До 30 июля, — ответила я.

— Нет, нет, нет! — возразил он. — Ты должна остаться подольше. 30-го уезжает Мир, и я тебя не отпущу. Останься со мной еще хотя бы на недельку.

— Мне надо в Австралию, — сказала я.

— Тебе никуда не надо, — заявил он. — Ты останешься со мной.

— Ну, ладно, ладно, — сдалась я.

Я знала, что не смогу остаться. Но мне не хотелось сейчас расстраивать Шаха. Он больше других в нашей семье стремился увидеться со мной. Однажды весной 1984 года даже прилетел без предупреждения в Париж, когда я начала свою политическую деятельность.

«У вас хочет взять интервью редактор «Красной звезды», — передал мне портье в гостинице, где я остановилась. Какая «Красная звезда»? Никогда о такой не слышала, но в то время я получала много просьб от людей и организаций, о которых ничего не знала. Когда редактор «Красной звезды» позвонил в третий раз, я взяла трубку.

— С главой государства поговорить легче, чем с тобой, — засмеялся Шах. — Легче пробраться к Валиду Джумблату в штаб друзей в Бейруте, чем добраться до мисс Беназир Бхутто.

В Париже каждое утро в 6 часов Шах звонил мне в номер.

— Ты еще спишь? — спрашивал он, притворно удивляясь. — Вставай. Давай вместе позавтракаем.

Политические обеды для Шаха тоже не были проблемой.

— Когда ты освободишься? — спросил он меня в первый же вечер в Париже, когда я встречалась с бывшим министром информации Назим Ахмадом. В назначенный час я увидела приближающегося к нам высокого человека приятной наружности. Но вдруг мой гость побледнел. Ведь Шах был не только сыном бывшего премьер-министра, но и имел репутацию террориста. Шах закурил сигарету, и вскоре мистер Назим Ахмад хохотал над его историями. А потом Ясмин, Шах и я гуляли по мощеным улицам, вдыхая теплый весенний воздух, болтали и пили кофе до трех утра.

— Я заеду за тобой в 7 вечера, — сказал мне Шах, заводя нас с мамой в квартиру на Круазетт, снятую на месяц. — Сначала ты посмотришь мою новую квартиру, а потом устроим шашлык на берегу. Я все приготовлю. А вам останется радоваться жизни.

— Рехана тоже поедет? — спросила я.

— Да, — сказал он, и по выражению его лица нельзя было угадать, что теперь происходит в его семейной жизни. Он уехал, чтобы сделать последние приготовления для пикника.

Санам, ее муж Нассер, их новорожденная дочка Азаде, пятнадцатилетний двоюродный брат из Лос-Анджелеса и я — все жили с мамой. В восточных семьях любят жить друг у друга на голове, поэтому недостаток места не представлял большой проблемы. Мир, который остановился с семьей у Шаха, приехал к нам ненадолго вместе с Фати. Я привезла Фати небольшой подарок — фигурки для вырезания и книжки, которые я читала ей днем. В квартире не было кондиционера, стояла сильная жара, поэтому мы всей семьей собирались на маленьком балкончике. Мы мило провели день вместе и с нетерпением ждали вечера. Я плохо была знакома с сестрицами-афганками, на которых четыре года назад в Кабуле женились мои братья.

Мир, казалось, был счастлив с Фавзией. Но о Шахе с Реханой этого нельзя было сказать.

— Обещай, что ты не будешь спорить со мной, если я тебе что-то скажу, — попросил меня Шах во время одного из наших первых приездов в Париж.

— Я постараюсь, — ответила я.

— Я собираюсь разойтись с женой, — сказал он.
Я открыла рот.

— Не сходи с ума, Годжи, — сказала я ему, назвав именем, которым его звали в семье. — Ты не можешь этого сделать. У нас в семье никогда не разводились. Тем более, что это был брак не по сватовству, поэтому ты против него и сказать-то ничего не можешь. Ты сам захотел жениться на Рехане и должен жить с ней.

— Тебя больше беспокоит развод, чем я сам, — сказал он и был абсолютно прав.

— Что случилось? — спросила я в надежде, что смогу предложить какой-нибудь выход.

Но по тому, что он рассказал мне о своих все ухудшающихся семейных отношениях, я поняла, что восстановить мир в семье действительно не удастся.

После замужества Рехану словно подменили, сказал он мне. Если сначала она была любящей и внимательной, готовила ему вкусную еду и подавала прохладительные напитки, когда он, усталый, возвращался после работы в войсках, то теперь она даже чашки чая ему не подаст. И часто, приходя домой, он видел, как она красится, а потом уходит, оставляя его одного дома.

— Мне было так одиноко, — признался Шах. — У меня не было ни семьи, ни дома. А все, что мне было нужно, — с кем-то поговорить, с кем-то посмотреть телевизор. Но она редко бывала дома. Я подумал, что, если родится ребенок, у нас все изменится к лучшему, но стало еще хуже.

Шах и Рехана расходились дважды, но каждый раз Шах возвращался из-за их дочери Сасси и в надежде на то, что Рехана снова станет прежней. Он сказал мне, что в Париже решил покончить со своим браком раз и навсегда. И я, как дура, отговорила его.

— Может, ей просто одиноко и скучно, Годжи, — сказала я брату. — Со времени вашей свадьбы вы жили в арабских странах. Она жила там, где у нее не было ни родственников, ни друзей, где она не понимала язык и не могла смотреть из-за этого телевизор, не ходила ни в магазины, ни в кино, ни в театр. У нее не было жизни. Добавь к этому эмоциональную нагрузку — в таком молодом возрасте родить ребенка.

Казалось, что Шах заинтересовался моим анализом проблем Реханы.

— Она хочет, чтобы я занялся бизнесом в Америке, и даже заявляет, что сможет убрать мое имя из американ-

ского «черного списка», — сказал Шах. — Но жизнь американского иммигранта не по мне.

— А что, если вам пожить в Европе, пока можно будет вернуться в Пакистан? — настаивала я. — Послушай, если бы вы жили в Европе, например здесь, во Франции, Рехана, по крайней мере, могла бы сходить в кино или к друзьям в твоё отсутствие. Здесь не консервативная страна, где женщины должны сидеть взаперти и все глазают на них, если они куда-то выходят. А поскольку Мир живет рядом, в Швейцарии, она будет недалеко от сестры. Если ты создашь Рехане хорошие условия, она, может, выйдет из своей депрессии и вновь станет такой женой, какой ты ее помнишь. Если хочешь, я поговорю с друзьями, и мы посмотрим, может, удастся получить для вас разрешение на жительство во Франции.

Было очевидно, что Шаха это заинтересовало.

— Жить во Франции очень опасно, — сказал он. — Если я здесь останусь, мне нужно будет получить разрешение на ношение оружия.

— Я ничего об этом не знаю, — сказала я. — Но постараюсь узнать.

После нашего разговора его настроение заметно переменялось. А я расстроилась, когда Шах взял меня с собой покупать пуленепробиваемый жилет.

— Мне нужно будет носить его в Европе, — сказал он мне, когда мы купили один для него и другой, посвободнее, для меня в специальном магазине. — Вдруг Зие удастся напасть на мой след.

Я старалась успокоить его, потому что и у меня самой было нечто вроде мании преследования. Но он не слушал.

— Есть сведения, что он хочет меня убить, — сказал Шах.

— Но, Годжи, «Аль-Зульфикар» нет в Кабуле и уже давно о ней нет ни слуху, ни духу, — спорила я. А он улыбнулся мне в ответ.

— У меня свои источники информации, — тихо сказал он.

Когда я сидела в тюрьме в Суккуре, меня постоянно мучил страх за жизнь братьев. За ними охотились, и поэтому я всегда жила в страхе, что с ними может что-нибудь произойти. Тот жизненный путь, по которому они шли, мог, вполне вероятно, привести к трагической смерти, но путь этот выбрали они сами. И, тем не менее, я была их сестрой, и меня это очень беспокоило. Потеряв отца, я стала еще больше заботиться о безопасности

близких и дорогих мне людей. А опасность, угрожавшая моим братьям, была вполне реальной.

Во время последнего приезда к Миру и Шаху в Кабул я узнала, что старый слуга, который служил в семье их жен, пытался отравить их. К счастью для братьев, собака съела еду первой и сдохла. Слуга, упав на колени и моля о пощаде, признался в преступлении.

— Мне заплатил *муджахеддин*, — признался он. — Они хотели услужить Зие.

Братья простили слугу после того, как жена Мира Фавзия поручилась за него.

Они чудом избежали и другого покушения, которое произошло, когда оба сидели на переднем сиденье автомобиля. Шах уронил что-то, и оба нагнулись, чтобы поднять. В эту же секунду в том месте, где должны были быть их головы, просвистела пуля.

Скорее всего целью был Шах, а не Мир. Когда братья были еще в Кабуле, к Миру через весь Пакистан пришел один патан.

— Зия сначала хочет получить голову Шах Наваза, — сказал он. — Приказ такой: первым убить Шаха, затем — Муртазу.

— Это было очень похоже на правду, — объяснил мне Мир.

— Я больше политик, но именно Шах проводит с партизанами все время и тренирует их физически. Шах опытен в военном деле и представляет собой более реальную угрозу.

— Господи, я надеюсь, что вы с Миром даже на самолете мимо Пакистана пролетать не будете, — сказала я Шаху. — Ведь если самолет угонят, то Зия вас сразу заполучит.

Шах рассмеялся.

— От смерти не уйдешь. Если она поджидает тебя, то, что бы ты ни делал, от нее не уйдешь. Но Зия никогда не получит ни нас, ни имена, которые он хочет у нас узнать. Мы всегда носим с собой ампулы с ядом. Если Зия поймает меня, я сразу же приму яд. Он действует почти мгновенно, достаточно нескольких секунд. Лучше смерть, чем бесчестие и предательство.

Вечер в Каннах был очень приятным, начиная с нашей поездки. Мы ехали по длинной извилистой дороге в новую квартиру Шаха в модном районе Калифорнии, где Шах с Реханой жили полгода. Он был в восторге, когда мне удалось получить от него

разрешение на жительство. Они с Реханой помирились и стали путешествовать по Франции: сначала они хотели жить в Монте-Карло, а потом поселились в Каннах. И теперь с большой гордостью они водили меня по своей квартире, показывая комнату Сасси с игрушечными клоунами на стене и полкой, набитой зверюшками, столовую и спальню, которая выходила на террасу, откуда открывался вид на Средиземное море.

Я тепло поздоровалась с Реханой, надеясь во время этого приезда сломать стену, существовавшую между нами, и установить с ней хоть какой-нибудь контакт. Она была, как всегда, одета по последней моде, хотя в такой одежде лучше было бы сходить в ресторан, чем на пляж. У нас в семье всегда предпочитали удобную простую одежду. Пока Шах наливал всем прохладительные напитки, я безуспешно пыталась разговориться с Реханой. Не знаю, была ли она застенчива или просто ей все было не интересно. Вскоре она устроилась со своей сестрой в дальнем конце комнаты. У них были красивые лица, но я терялась в догадках, какие у них души.

Я отдала маленькой Сасси подарки и немного поиграла с ней. Шах пошел на кухню, чтобы упаковать продукты в корзину для пикника. С нами пошли тетя Беджат и дядя Карим. Я села за стол Шаха, а все остальные ходили по комнате. На столе стояли фотографии Сасси и родственников. Лежала папка из красной кожи. На стеклянном кофейном столике стояла ваза со свежими цветами. Я порадовалась, какой спокойной стала жизнь Шаха.

— Впервые я чувствую себя на вершине блаженства, — сказал мне Шах, присаживаясь на краешек стола. — Сейчас все очень хорошо.

— Поймай меня, Вади! Поймай меня! — кричали мне две маленькие племянницы, убегая по пляжу почти до самой воды. Я гонялась за ними, делая вид, что не могу их поймать. Шаху, наконец, удалось разогреть угли, и к тому времени, как курица испеклась, все мы были очень голодны.

— Тебе первый кусок, — сказал он, подавая мне полкурицы.

— Ой, Годжи, я не могу, — запротестовала я.

— Нет, нет, нет, — настаивал он. — Ты должна все съесть.

Я посмотрела на родных — они болтали и смеялись. Как много лет прошло со времени наших пикников на берегу моря под Карачи, когда мы торопились доесть все,

пока хищные птицы с голой шеей не начнут пикировать вниз, чтобы урвать кусок. Кто бы мог тогда предсказать, что мы еще когда-нибудь соберемся на пикник далеко-далеко, на берегах французской Ривьеры? Но вместе мы все чувствовали себя очень хорошо. В отношениях между нами уже не было такой напряженности, как прошлым летом. Я поискала глазами своих снох. Рехана и Фавзия сидели одни отдельно от всех. Мир жил в Швейцарии, Шах — во Франции, поэтому сестрам не часто выпадала возможность встретиться, и им, как и нам, было чем поделиться друг с другом.

— Пошли в казино, — предложил дядя Карим.

Я чувствовала себя немного усталой, но Шах повернулся ко мне с выжидательной улыбкой.

— Мы сможем покурлесить всю ночь. Ты должна поехать с нами, Розанчик.

— Хорошо, я поеду, — сказала я. Этому братику я отказать не могла.

— Прекрасно. И не забудь про завтрашний день, — сказал он, напоминая мне о наших планах пойти в магазин за чемоданом, который мама подарит мне на день рождения. — Что касается «Луи Бюиттона», то я эксперт. Завтра, как проснемся, поедem в Ниццу в магазины.

Планы. Так много прекрасных планов. Шах и Рехана отправились домой, чтобы разобрать корзину. Тетя Беджат и дядя Карим подвезли Санам и Нассера. Перед тем, как поехать к Шаху, Мир и Фавзия отвезли маму, двоюродного брата и меня на квартиру, чтобы положить Фати спать.

— Мы с Шахом приедem за вами через полчаса, — позвонил Мир.

За нами он приехал один.

На берегу мы оставили веселого Шаха, но, как рассказывал нам Мир, когда мы приехали на квартиру, Шах был очень зол.

— Я спросил его, что происходит, — сказал Мир. — Но прежде, чем Шах смог ответить, Рехана закричала: «Вон отсюда! Вон отсюда! Это моя квартира!». Она продолжала орать. У нее была истерика. «Не уходи», — сказал мне Годжи, но мне не хотелось вмешиваться. Я решил, что, если мы с Фавзией заберем вещи и уедем, она успокоится.

— А где же Фавзия? — спросила мама.

— Она внизу в машине, очень расстроена, — сказал Мир. — Она прямо сейчас хочет ехать обратно в Женеву. Я ей говорю, что сейчас ночь и моя сестра только что

приехала. Она говорит, что надо остановиться в гостинице, а я говорю, нет, я не так часто вижу всю семью и хочу остаться с ними. Но давайте не будем портить вечер. Давайте поедem, как решили.

— Езжайте, — сказала я Санам, Нассеру и Миру. — Я устала.

— Почитай мне, Вади, почитай, — изводила меня на следующий день Фати. Санам, Нассер и Мир вернулись только в 6 утра, и все мы проспали допоздна. К часу дня, когда я все еще была в ночной рубашке, позвонили в дверь.

— Вади нужно одеться, чтобы ехать в магазин, — сказала я Фати, решив, что за мной приехал Шах, чтобы ехать в Ниццу.

Вместо этого в спальню вбежала Санам.

— Быстрее! Торопись! — сказала она, передав мне малышку, пока я стояла полуодетая.

— Что случилось? — спросила я.

— Рехана сказала, что Годжи что-то принял, — ответила Санам и выбежала из комнаты.

У меня начали дрожать колени, и я глубоко вздохнула, чтобы взять себя в руки.

— Он заболел? Это серьезно? — выкрикивала я, пока она бежала в холл.

— Не знаем. Увидим, — послышался ответ, и она исчезла.

Я осталась одна с Фати и малышкой.

Полиция. Вызвать полицию. Придерживая ребенка, я посмотрела на номер телефона скорой помощи, написанный на аппарате. Я набрала его и услышала запись на французском языке. Я схватила телефонную книжку, чтобы найти номера больничных телефонов. В комнату вернулись мама и Санам. Мир и Нассер уже уехали с Реханой на квартиру Шаха. Поскольку поймать такси на улице мама и Санам не смогли, то им пришлось вернуться, чтобы вызвать машину по телефону.

— Мама, ты лучше меня знаешь французский. Если не дозвонимся в полицию, надо звонить в больницу, — быстро сказала я.

— Нам надо просто поехать туда и посмотреть, как он, — сказала она.

— Нет, мама, лучше перестраховаться. Вспомни Тони, — сказала я, напоминая ей случай со знакомой девушкой, которая приняла слишком большую дозу

таблеток, но в больницу ее отвезли слишком поздно, чтобы спасти. Я сама получила похожий урок, когда полиция окружила Клифтон-Роуд, 70. Не было времени спрашивать, зачем приехала полиция. Сначала нужно было сжечь все бумаги. А спрашивать — потом.

Мама взяла телефонную книгу. Набрала номер одной больницы. Ей сказали, чтобы она звонила в другую. Она позвонила в другую. Позвоните куда-нибудь еще, ответили ей. Когда Мир вошел, она звонила в третью больницу.

Он был сломлен, разбит. Тихо прошептал то, что не мог сказать громко, я поняла это по его губам:

— Он мертв.

— Нет! — закричала я. — Нет!

Телефонная трубка упала из маминых рук.

— Да, мама, — с болью прошептал Мир. — Я видел мертвых. Тело Шаха уже остыло.

Мама заплакала в голос.

— Звони в скорую! — сказала я. — Господи, звони в больницу! Может, он еще жив. Может, его еще можно оживить.

Что мне делать с этим ребенком на руках? И Фати стояла, уцепившись за мою ногу и глядя на меня снизу вверх.

Мама подняла трубку с пола. Третья больница все еще была на линии:

— Скажите, куда нам ехать, — сказал диспетчер, услышав наши крики. Мы выбежали за дверь.

Шах Наваз лежал на ковре в гостиной около кофейного столика. Он все еще был в белых брюках, в которых я видела его прошлым вечером. Его рука, красивая загорелая рука, была вытянута. Он был похож на спящего Адониса.

— Годжи! — закричала я, пытаюсь разбудить его. Но потом увидела его нос. Он был белым, как мел, и сильно отличался от цвета кожи.

— Дайте ему кислород! — закричала я врачам из бригады скорой помощи, которые уже щупали его пульс. — Сделайте массаж сердца!

— Он мертв, — тихо сказал один из врачей.

— Нет! Сделайте же что-нибудь! — кричала я.

— Розанчик, он уже остыл, — сказал Мир. — Он мертв уже несколько часов.

Я оглядела комнату. Кофейный столик был сдвинут. На приставном столике стояло блюдо с коричневой жидкостью. Подушка почти сползла с дивана на пол, а

ваза с цветами упала. Я подняла глаза на его рабочий стол. Кожаной папки не было. Я посмотрела на террасу. Бумаги были там. Папка открыта.

Что-то было не так. Его тело уже остыло. Одному Богу известно, как долго Шах пролежал здесь, умирая. Но никто не поднял тревогу. А у кого-то даже нашлось время просмотреть его бумаги.

Я взглянула на Рехану. Трудно было поверить, что она только что потеряла мужа или бежала к кому-то за помощью. Она была одета с иголочки — белый льняной жакет без единой морщинки, все волосы забраны вверх, тщательно приглажены. Сколько часов она провела, хотя себя, пока мой брат, мертвый, лежал здесь на полу? Она взглянула на меня — в ее глазах не было слез.

Ее губы двигались. Я не слышала, что она говорила.

— Яд, — сказала вместо нее сестра Фавзия. — Он принял яд.

Я не поверила ей. Никто из нас не поверил. Зачем Шаху было принимать яд? Мы никогда не видели его таким счастливым, как вчера вечером. Он строил планы на будущее, хотел в августе вернуться в Афганистан. Может, дело в этом? Может, Зия учуял намерения Шаха и предупредил их? Или его убили люди ЦРУ в качестве доказательства дружбы с их любимым диктатором?

— Господи, закройте его хотя бы, — сказала Санам. — Кто-то принес кусок белой клеенки.

— Вади, Вади, а что случилось? — спрашивала у меня маленькая Фати, дергая за рубашку.

— Ничего, дорогая, — машинально успокаивала я трехлетнюю малышку. Сасси тоже выглядела очень расстроенной и грустной, она ходила по комнате и все хотела присесть у тела отца.

— Выведите отсюда детей, — сказала мама.

Я отвела их в комнату Сасси и дала книжку.

Когда приехала полиция, чтобы увезти тело Шаха, Мир заставил меня выйти на кухню.

— Тебе не нужно этого видеть, — сказал он.

Я смотрела на половинку помидора и яичницу в сковородке на плите. Кто это приготовил и для кого? На столе стояла бутылка молока. День был жаркий, и молоко скисло. Зачем его вынули из холодильника?

— Они забрали Шаха, — сказал Мир, вернувшись на кухню. — Полицейские говорят, что, похоже, у него был сердечный приступ.

Он отвернулся, вытирая с лица слезы. Когда он выбрасывал салфетку в мусорное ведро на кухне, то увидел, что там что-то блестит. Это была пустая ампула из-под яда.

Французские власти не выдавали тело Шаха несколько недель. Для всех нас, собравшихся в маминой квартире, ожидание было очень болезненным. По традициям мусульман, тело покойного нужно похоронить в течение суток после смерти, но над телом Шаха все время проводили какие-то исследования. Мы не знали, куда деваться. Мы или плакали, или сидели, уставившись в одну точку. Никого ничего не интересовало, никто не хотел ни есть, ни пить. С нами была малышка Санам, дочка Мира, и иногда Сасси, которую Фавзия привозила к нам, когда Рехану вызывали в полицию на допрос.

— Мы хотим на качели, — приставали девочки, и я отводила их покататься на качелях в близлежащий парк. Иногда с нами вместе ходил Мир. Пока девочки играли, мы с Миром сидели и молча смотрели на море.

У меня болело сердце за Сасси. Она была очень близка к отцу. Именно Шах поднимал ее утром, кормил завтраком и сажал на горшок. Сасси понимала, что потеряла Шаха, как это может понять трехлетний ребенок.

— Мой папа, — настаивала она, когда Мир приезжал забирать Фати. Когда мы проезжали на машине пляж Ля-Напуль, где делали шашлык, Сасси кричала: «Папа Шах! Папа Шах!» Полицейские вырезали часть ковра, где было найдено тело Шаха. Когда Рехана передвинула ковер, Сасси показала на место, где в последний раз видела отца.

— Папа Шах, папа Шах, — повторяла она.

Она цеплялась за нас всякий раз, когда мы с Миром возвращали ее Фавзие. Она не хотела идти в дом и крепко обхватывала нас за шею.

— Иди, — шептала я, а Фавзия тем временем старалась оторвать ее от нас. Но Сасси только сильнее цеплялась. Нам приходилось разжимать ее руки.

Ожидание выдачи тела было ужасным. Мне все напоминало Шаха. Я всюду видела его — вот он сидит в гостинице «Карлтон», вот идет по Круазетт. Боль от утраты усугублялась тем, что пакистанские газеты постоянно злословили по его поводу. В газетах, которые находились под контролем режима, писали, что у Шаха бывали депрессии, что он играл в азартные игры и покончил жизнь самоубийством. В ночь смерти он был пьян, утверждали они. Это заявление было опровергнуто результатами анализов, но нашему опровержению, основанному на резуль-

татах, в пакистанской прессе не уделили должного внимания. Теперь, когда Шаха не стало, наши враги делали все возможное, чтобы обесчестить его. А я продолжала мучительно ждать, когда мне выдадут тело брата.

— Я собираюсь отвезти Шаха в Пакистан и похоронить его там, — сообщила я семье.

У мамы началась истерика.

— Ох, Розанчик, тебе нельзя возвращаться, — плакала она. — Я потеряла сына. Я не хочу потерять дочь.

— Шах всегда все делал для меня, но никогда ничего не просил взамен, — сказала я. — Он мечтал вернуться в Ларкану. Он часто спрашивал точное место, где похоронен папа, чтобы сфотографировать могилу. Мне нужно отвезти его домой.

— Мир, скажи ей, что она не должна возвращаться, — умоляла мама моего брата.

Что ему оставалось делать?

— Если ты вернешься, то и я тоже поеду, — сказал он, пытаясь напугать меня, чтобы я не ехала, потому что все мы знали, что Зия обязательно его убьет.

— Вы не поедете. Поеду я, — сказала тетя Беджат.

— Я поеду, — сказала Санам.

— Я поеду, — сказал Нассер.

— Прекрасно. Мы поедem вместе. Но я еду с вами, — сообщила я. — Не хочу, чтобы похороны Шаха были незаметными и тайными.

Хочу, чтобы ему были возданы все почести, которые он заслужил.

Пока полиция занималась телом, я на несколько дней слетала в Лондон, чтобы посмотреть, как обстоят дела в Барбикане. Сотни людей звонили мне, чтобы высказать свои соболезнования. Горе из-за кончины Шаха было неподдельным, его разделяли во всей пакистанской общине, как разделяли и широко распространенное подозрение, что Зия имеет отношение к смерти моего брата. В самом Пакистане, сообщили мне друзья, смерть Шаха восприняли с большим сочувствием. По всей стране читались молитвы за упокой души Шаха, тысячи людей приходили молиться к дому на Клифтон-Роуд, 70. Сжигали газеты с клеветническими обвинениями, в которых говорилось, что Шах умер от алкоголя и наркотиков. В знак уважения в Синде было закрыто большинство лавок. Люди в течение двух недель съезжались в Ларкану, несмотря на июльскую жару. Все гостиницы были заполнены до отказа, и народ устривался на привокзальных платформах.

Вернувшись в Канны, я должна была сдерживать свои страдания, чтобы вести переговоры с Лондоном и Карачи по поводу нашего отъезда после того, как будет завершено следствие, поскольку много пакистанцев хотели проводить Шаха в последний путь. Чтобы противостоять той путанице, которую создавала ограниченная пакистанская пресса относительно выдачи тела Шаха и возможных сроков нашего приезда, я организовала регулярный выпуск бюллетеней, чтобы информировать сторонников.

Горю нашему не было предела. Без всякой явной причины в мамину машину кто-то врезался — в единственную среди многих стоявших на улице. Была украдена почта, которую я возила с собой и ненадолго оставила на заднем сиденье. Наша тревога усилилась, мы не чувствовали себя в безопасности. Существовала вполне определенная возможность, даже вероятность, что Шах был убит агентами режима. И не было гарантии, что они покинули Канны. Мы сообщили французскому правительству о своих опасениях и о том, что мы нуждаемся в защите, и получили положительный ответ.

Когда, наконец, нам выдали тело Шаха, мы собрались помолиться над ним. Я думала, что увижу моего младшего брата таким, каким помнила его: загорелым, стройным и красивым, в белом костюме, который мы передали похоронной службе, потому что Шах больше всего любил белый цвет. Но тело, лежащее в гробу, принадлежало совершенно незнакомому человеку. Лицо Шаха было сильно напудренным и опухшим. Его заgrimировали, чтобы скрыть шрамы, которые остались от вскрытия. Вид был ужасающий.

Мой бедный Годжи. Что они с тобой сделали? Комната наполнилась плачем. Не понимая, что делаю, я стала бить себя по лицу, молча хватая ртом воздух, не в силах выдавить его из груди. Нам надо было выйти из дома. Мы попытались взять себя в руки и пошли к машине, где нас уже ждали корреспонденты.

Я повезла Шаха домой в Пакистан 21 августа 1985 года. Власти неохотно, но все же дали согласие на его похороны в Ларкане, вспомнив негодование народа, когда, вопреки мусульманским традициям, ни мать, ни меня не допустили на похороны моего отца. И на этот раз режим пытался сделать все, чтобы похороны другого Бхутто прошли как можно незаметнее.

Опасаясь эмоционального всплеска со стороны народа, власти военного режима дали указания переправить тело

Шаха самолетом прямо из Карачи в Мохенджо-Даро и потом вертолетом на наше семейное кладбище, недалеко от которого уже построили вертолетную площадку. Власти хотели, чтобы Шаха похоронили быстро и без шума, втайне от народа.

Я отказалась. Шах восемь лет мечтал о возвращении на родину. Я решила сделать так, чтобы его последний путь значил для него так же много, как и для нас самих. Я решила пронести его через двери домов, где он жил: Клифтон-Роуд, 70 в Карачи, Аль-Муртаза в Ларкане. Я хотела провезти его по землям, где он охотился с папой и Миром, по нашим полям и озерам, мимо людей, которых он по-своему пытался защитить. И люди тоже заслужили право почтить этого храброго сына Пакистана, перед тем как он упокоится навеки рядом со своим отцом в Гархи Худа Бахш.

— Передайте военным властям, что они могут делать все, что угодно, но я не позволю отказать моему брату в мусульманском праве вернуться в последний раз в свой собственный дом, чтобы его обмыли члены семьи и домочадцы, — сказала я доктору Ашраф Аббаси, которая координировала приготовления похорон с местной администрацией в Ларкане. В конце концов был найден компромисс. Нам не разрешили привозить Шаха домой на Клифтон-Роуд, 70, но мы могли отвезти его в Аль-Муртазу. Наш дом в Ларкане был таким отдаленным и труднодоступным, отмечали местные власти в своих донесениях, что люди толпиться не будут, особенно в эту адскую августовскую жару.

На всякий случай на всех дорогах, ведущих в провинцию Синд, армия установила заграждения. Останавливались и обыскивались автобусы, грузовики, поезда и машины. В Синде была объявлена боевая готовность, а все руководители ПНП были задержаны под домашним арестом. Аэропорт Карачи был оцеплен, и по всем главным магистралям города курсировали грузовики с вооруженными солдатами. И еще для гарантии против любого выступления власти попытались успокоить народ, объявив наконец-то дату отмены военного положения. Накануне моего отъезда из Цюриха в Пакистан с телом брата назначенный Зией премьер-министр Мохаммед Хан Джунеджо объявил, что военное положение будет отменено в декабре.

Черное. Черные повязки. Черные *шальвар-камизы* и шарфы. Мы ненадолго остановились в Карачи, чтобы пересесть в самолет поменьше и добраться до Мохенджо-Даро. Когда гроб с

телом Шаха, накрытый флагом запрещенной ПНП, поставили на тележку, несколько слуг, приехавших с Клифтон-Роуд, 70, бросились, рыдая, к нему. Плакали многие — родственники, которые присоединились к нам в Карачи, Пари, Самия и ее сестра. И мы полетели на похороны — таких шумных похорон в Пакистане еще не видели.

«Поехали. Поехали. Поехали в Ларкану. Разве вы не знаете, что сегодня привезут Шах Наваза? Шах Наваза, сына Зульфикара Али Бхутто, Шах Наваза, борца, Шах Наваза, который за тебя и за меня отдал свою жизнь. Давайте, давайте. Поехали. Поехали и примем сегодня героя».

Красивую песню, написанную в честь брата, пели по всему Пакистану. Несмотря на угрозы властей, люди неделями шли к Ларкане, разбивали в полях палатки, спали на тротуарах.

Черное. Черное везде. Когда после десяти утра самолет подлетал к Мохенджо-Даро, видно было, что черная толпа наводнила аэропорт, вытянувшись по дорогам на мили. Дорожные заграждения, которые поставили власти, не смогли остановить людей, пришедших по изнуряющей жаре, чтобы выразить свое соболезнование павшему сыну страны. Даже во времена вражды среди мусульман принято выражать соболезнования по поводу смерти и оплакивать утрату. Но такой массы людей не ожидал увидеть никто. По сообщениям прессы, собралось больше миллиона людей.

— *Аллаху акбар!* — Велик Господь! — кричали люди, когда гроб с телом Шаха устанавливали в «скорую помощь» и обкладывали, как я просила, льдом. Учítывая все то, что случилось с ним после смерти, учитывая вскрытие, я не хотела никаких неожиданностей.

— Богу мы принадлежим и к Нему должны вернуться! — возглашали люди, когда проезжала машина, и держали руки ладонями вверх, читая мусульманские заупокойные молитвы.

Не думаю, что многие президенты государств удостаивались такой чести и такого пышного прощания, какое получил Шах в свои двадцать семь лет. За его гробом двигалось две тысячи различных машин — автомобили, мотоциклы, грузовики, повозки, задрапированные черным, — эта автоколонна растянулась на десять миль. На протяжении всего двадцативосьмикилометрового пути от аэропорта до Ларканы люди — в знак любви и прощания — забрасывали машину с телом Шаха лепестками роз. Многие мужчины в толпе в разукра-

шенных головных уборах или тюрбанах племен отдавали честь.

Фотографии Шаха с черной окантовкой. Шах Наваз *шахид*. Шах Наваз мученик. Были еще мои фотографии, фотографии мамы и одна, незабываемая, где стоит Шах, а сзади папа. «*Шахид ка бета шахид*, — было написано под ней, — сын Мученика был замучен». Горе, которое людям не разрешалось выразить после смерти моего отца, вырвалось наружу. Плача и ударяя себя в грудь, люди, охваченные болью утраты, бросались на наши машины и раскачивали их в неистовстве, чтобы хотя бы дотронуться до автомобиля с телом Шаха и попрощаться с покойным.

Солнце стояло уже высоко в небе, но нужно было еще многое успеть до дневных молитв: совершить ритуал обмывания тела, лицезрения покойного семьей, молитвы по усопшему, которые читают женщины, не провожающие тело до кладбища, моление для мужчин, которое организовано на близлежащем футбольном поле. Шаха нужно было похоронить до захода солнца. А мы с Санам должны были выбрать место для могилы. Мы не смогли сделать этого для отца. На этот раз мы хотели, чтобы у нас была возможность похоронить Шаха достаточно далеко от отца, чтобы потом построить им мавзолеи. Однако, когда мы стали приближаться к Аль-Муртазе, люди шли уже плотной стеной.

— Поезжайте прямо в Гархи, — сказала я водителю нашей машины. Ему каким-то образом удалось не врезаться в «скорую помощь», которая везла тело Шаха, когда она въезжала во двор Аль-Муртазы. В пятнадцати милях отсюда, на нашем семейном кладбище, народу было чуть меньше, и люди стояли за стенами. Вместе с Санам мы выбрали место в левом углу кладбища, на достаточно большом расстоянии от могилы отца, который похоронен рядом с дедом. После короткой молитвы, произнесенной над могилой отца, мы поспешили назад в Аль-Муртазу.

Плач. Вой. Обезумевшие от горя люди прорвались за ограду Аль-Муртазы и устремились не только во двор, но и в дом. Дом был битком набит ими и всеми нашими родственниками, сотрудниками партийного аппарата и слугами, которые работали в доме. Гроб Шаха из-за столпотворения все еще стоял закрытым в гостиной.

— Освободите нам, пожалуйста, место, — сложив руки, я умоляла людей, напирających друг на друга. Но порядок установить было невозможно.

Я хотела показать лицо Шаха родственникам, но, когда гроб понесли в комнату деда, где ждал *маулеви*, чтобы обмыть тело, эмоции хлынули через край. Женщины и прислуга были так переполнены горем, что стали биться головой о гроб. Головы мужчин и женщин были в крови.

— Во имя всего святого, уберите их, пока они не ранили себя еще больше, — закричала я. — Быстрее перенесите Шаха в комнату деда!

Наконец, наш *маулеви* и слуги тихо и осторожно обмыли Шаха и обернули в *каффан* — бесшовный мусульманский саван. Жара стояла удушающая, и я торопила похороны, как могла.

— Ох, у него шрамы по всему телу, — сказал один из слуг, шокированный тем, что увидел во время обмывания.

— Не рассказывайте мне, — сказала я ему. Но он не мог остановиться.

— Ему отрезали нос, подбородок, потом...

— Хватит! — закричала я. — Перестань. Теперь он дома, там, где и должен быть.

Ко мне подошел мой зять Нассер Хуссейн.

— Уже поздно, — сказал он. — Надо торопиться. Мы решили, что при такой толпе будет лучше перевезти Шаха на кладбище не в саване, а в крепком деревянном гробу.

Я попросила, чтобы слуги перенесли Шаха назад, в гостиную, где родственники могли помолиться. Затем гроб с телом Шаха неожиданно понесли через напирющую толпу к машине «скорой помощи». Нассер Хуссейн быстро шел позади. Сама я в этом хаосе чуть не пропустила отъезд. Под пение молитв я побежала к двери за гробом.

До свидания, Шах Наваз. Прощай. Проводы были такими быстрыми, такими болезненными. Как только машина тронулась, мне захотелось остановить ее, чтобы как-то вернуть Шаха обратно. Я не хотела отпускать моего младшего брата. Ох, Годжи. Оставайся со мной. Единный стон раздался в саду, где молились пятьсот женщин, когда «скорая помощь» выехала за ворота и скрылась из виду. Я рассталась с братом навсегда.

В каждом поколении, считают шииты, существует своя *кербела*, повторение трагедии, которая постигла семью пророка Мохаммеда после его смерти в 640 году.

Многие в Пакистане поверили, что принесение в жертву семьи Бхутто и наших сторонников стало *кербелой* нашего поколения. Не пощадили отца. Не пожалели мать. Братьев

тоже не пощадили. Досталось и дочери. Пострадали последователи. Однако, как у последователей внука пророка, наша решимость не была поколеблена.

Я стояла в дверях Аль-Муртазы и среди стонов в саду различила голос женщины, которая рассказывала о повторении трагедии.

— Глядите, глядите, Беназир, — стала причитать женщина. — Она приехала с телом своего брата. Какой он молодой, какой красивый, какой чистый. Он был сражен рукой тирана. Испытайте горе сестры. Вспомните Зейнаб, которая идет в сад Язида. Вспомните Зейнаб, которая видит, как Язид играет головой ее брата.

Подумайте о сердце Нусрат Бхутто, как разрывается оно, когда она видит сына, которого родила, с которым играла, когда он был еще ребенком. Он вырос у нее на глазах. Нусрат видит его первые шаги. Мать, которая вырастила его с такой любовью. Подумайте о ней.

Подумайте о Муртазе. Он потерял свою правую руку. Он потерял свою половину. Ему не быть уже прежним...

Крики эхом отразились от стен Аль-Муртазы, когда женщины завывали, ударяя себя в грудь.

— А-й-й-и-и-и! — это был громкий, мощный крик прощания. Я медленно вернулась в дом. Моего брата хоронили на кладбище наших предков. Большого я сделать не могла.

Нассер Хуссейн, Гархи Худа Бахи:

Когда мы после моления приехали на семейное кладбище Бхутто, стояла такая толпа, что было невозможно пройти. Когда гроб вынули из машины «скорой помощи», я подставил плечо под его передний край. Кто стоял сзади меня и что там происходило, я не видел. Я только старался не отпустить рук под напором толпы, стремившейся хоть секунду понести гроб и разделить с нами горе.

Не было никого, кто помог бы нам пройти к кладбищу, и мы не видели, куда идем. Гроб казался вдвое тяжелее, потому что мы не могли координировать наши действия. Он колыхался на наших плечах, как корабль без руля на штормящем море. Только мы, сделав шаг, поднимали ногу, как на это место сразу кто-нибудь вставал. Мы шли какими-то окольными путями, и, чтобы от машины до входа на кладбище пройти вслепую десять ярдов, нам понадобилось минут сорок пять, а может, и еще больше. Вдруг передо мной появилась из толпы чья-то рука, делающая мне знаки. Я увидел, что это сын одного из

слуг Аль-Муртазы, и пошел за ним, а он пытался по направлению к могилам. Толпа помогла, подталкивая туда гроб. Я взял себя в руки, чтобы от жары и переживания не упасть в обморок. Тем не менее во всей этой сумятице никто не наступил ни на одну из могил Бхутто.

Когда мы дошли до могилы Шаха, я все же упал, споткнувшись о насыпь могилы. Какой-то крестьянин принес мне чашку воды, и я одним глотком опорожнил ее. Места для того, чтобы вынуть тело Шаха из гроба, не было. Нам пришлось наклонить гроб, чтобы он соскользнул в могилу. Люди вокруг просили, чтобы им в последний раз показали лицо Шаха, но Беназир сказала, чтобы я этого не делал. Была быстро прочитана последняя молитва, и скорбящие начали *фатеху* — ритуал поднятия рук с молитвой и смирением. Когда я уходил, старики начинали долгое чтение двадцати четырех молитв. Мой печальный долг был исполнен. Мы доставили Шах Наваза к месту его вечного упокоения.

Пять дней спустя я была арестована в Карачи военными властями. Это не вызвало у меня удивления. Хотя Зия и заверил прессу, что, когда я вернусь с телом Шаха, меня не арестуют, а главный министр Синда сделал специальное заявление, что я смогу свободно въехать и выехать, солдатам не удалось остановить толпы скорбящих, которые пришли в Ларкану выразить солидарность семье, тяжело пострадавшей от военного режима. И пока люди толпами собирались в полях недалеко от Аль-Муртазы и на улице перед домом и совершали поминальные обряды, власти, я уверена, с опаской ждали восстания.

Хотя смерть моего брата заставила их объявить дату отмены военного положения, страдания тысяч людей и смерть Шаха не были отомщены.

— Теперь, когда страсти против Зии так разгорелись, мы должны взять инициативу на себя, — выступили с предложением некоторые члены ПНП на вечернем собрании после похорон Шаха.

Другие говорили, что мы не должны давать властям повод для того, чтобы не отменять военное положение. Казалось, что даже в горе я не могу забыть о политике.

— Военное положение — проклятие страны, и нам надо гарантировать, что оно будет отменено, — устало проговорила я, выступая за сдержанность. — Шах отдал за это жизнь. Если мы начнем выступление сейчас, они скажут, что хотели отменить военное положение, но вынуждены не делать этого. Надо принять во внимание этот аспект.

Тем не менее я приняла меры предосторожности против наступления властей. Обряд по усопшему *соем* проходит на третий день после похорон, а *челум* — сорок дней спустя. Я была совсем не уверена в том, что через сорок дней меня не посадят в тюрьму, поэтому после долгих переговоров с религиозными деятелями мы решили сороковой день считать со дня смерти Шаха в июле во Франции, а не со времени его похорон в августе. Таким образом, *соем* и *челум* почти совпадали.

Еще одна могила Бхутто. Еще один свежий могильный холм. Я взяла букет, чтобы положить его в массу цветов на могиле Шаха.

— Во имя Господа, всемилостивейшего и милосерднейшего, — молилась я с сотнями других, изнемогающих от жары, но пришедших помолиться на кладбище.

Невыносимо тяжело было видеть эту свежую могилу Шах Наваза.

На следующий вечер после *соем* Санам нужно было возвращаться в Карачи. Как и Фахри. Мне не хотелось оставаться в Аль-Муртазе наедине со своим горем, и я решила поехать с ними. Было хоть какое-то утешение в том, что мы с Санам вместе — какая-то частичка семьи. Но и на этот раз политика вмешалась в нашу скорбь.

Тысячи людей встречали нас в аэропорту Карачи. Нам было трудно пробиться через толпу, чтобы сесть в машину. Наконец членам партии удалось устроить нам нечто наподобие прохода — они пошли клином, взявшись вокруг нас за руки. Нам понадобилось несколько часов, чтобы доехать на машине до дома на Клифтон-Роуд, 70 — столько было людей. Некоторые сопровождали нас на джипах и мотоциклах, все время сигнала, но никто не выкрикивал политических лозунгов. Лозунги. Лозунги — это знак радости, а все были в трауре по Шаху.

Сад на Клифтон-Роуд, 70 был также полон народа. Я вышла, чтобы поблагодарить людей, которые разделили с нами горе и продемонстрировали солидарность. Многие лица были знакомы: мужчины и женщины, которые по несколько раз сидели в тюрьмах за свои политические убеждения.

— Принимали мы методы борьбы моего брата или нет, но это был человек, который выступал против тирании, — сказала я. — Его совесть не позволяла ему молчать, когда страдал Пакистан.

Нассер Балоч. Аяз Саму. Два других молодых человека, которые отдали свои жизни за дело демократии и стали

жертвами военного террора. И они тоже были мне братьями; поддерживали меня, защищали, считали меня своей сестрой. На следующий день я связалась с их семьями. Так же, как и люди, сочувствующие нам, приходили на Клифтон-Роуд, 70, так и я хотела позвонить их семьям, чтобы выразить свое соболезнование, разделить горе других матерей и сестер, которые потеряли своих братьев. Мне так и не удалось к ним дозвониться.

Рано утром 27 августа полиция оцепила Клифтон-Роуд, 70. Снова Клифтон-Роуд, 70, был объявлен тюрьмой, охраняемой полицией и армейскими подразделениями, у которых были гранаты со слезоточивым газом. Мне предъявили ордер на трехмесячный арест по причине того, как позже заявили власти, что я проигнорировала их предупреждения не общаться с «террористами» и не посещать «секретные зоны». Никаких предупреждений я не получала. Зоны, названные режимом «секретными», были Малир и Лиари, самые бедные районы Карачи, где жители, включая семью Нассера Балоча и Аяза Саму, больше всего страдали от Зии. Поэтому неудивительно, что он посчитал эти районы «секретными». И уж кто-кто, но Зия не должен был использовать слово «терроризм». Если терроризм определяется как применение силы меньшинством, чтобы навязать свои взгляды большинству, то такое определение как нельзя лучше подходит Зие и его армии.

В Вашингтоне администрация Рейгана выразила «тревогу» в связи с моим арестом.

«Пакистан предпринял обнадеживающие шаги к восстановлению конституционного правительства... заключение мисс Бхутто под домашний арест пошло бы вразрез с этим процессом», — было сказано представителем государственного департамента. Реакция со стороны английских парламентариев была более явной, два члена парламента — и Макс Мэддн, и лорд Эйвбери — связались с Зией по моему вопросу. Но я оставалась взаперти, без телефона и без всякой связи с миром. Первые несколько дней со мной были Санам, Нассер и двоюродный брат Лале, который остался ночевать и был случайно пойман властями. Но 2 сентября власти вынудили мою семью уехать, и я в доме на Клифтон-Роуд, 70, осталась одна со своим горем.

День тянулся за днем, неделя за неделей, и я пыталась свыкнуться со смертью Шаха. Я читала и перечитывала все старые журналы в доме, делала записи в дневнике и слушала по радио каждый выпуск новостей Би-би-си.

Обидно, что я снова была в неволе. Несмотря на то, что я была раздавлена горем, мне все же хотелось воспользоваться тем, что я в Пакистане. Поскольку предполагалось, что военный режим будет снят менее чем через три месяца, необходимо было организовать и сконцентрировать оппозиционные силы против Зии. Перед арестом я наметила четыре встречи с руководителями партии из четырех провинций. Теперь их пришлось отменить.

И хотя в подвластной режиму прессе было много шумихи относительно отмены военного режима 31 декабря, рука Зии оставалась столь же бесстрашной и карающей, как и всегда. Намеченные в Лахоре митинги с требованием моего освобождения были запрещены. Лидеры ДВД, направлявшиеся на митинг в Карачи 21 октября, или были выдворены из города, или получили запрет на въезд в город. Накануне митинга несколько лидеров ДВД были арестованы. И, несмотря на это, Зия уверял, что является представителем пакистанского народа.

Политика. Политика. Политика. Мантия руководителя давила мои плечи во время заключения на Клифтон-Роуд, 70. Как часто политика отрывала меня от семьи, особенно от Шах Наваза, лежащего теперь под пылью Ларканы.

— Выбери время, чтобы мы повидались. Почему ты не можешь выбрать время? — снова и снова звонил он мне в Лондон, предвкушая мой неизбежный ответ:

— Ой, Годжи, мне надо в Америку, в Данию. У меня важные встречи в Брэдфорде, Бирмингеме, Глазго...

Если бы я только сделала паузу, подумала, дала бы ему время. Но никто не может изменить судьбу. Его судьба была предопределена. И все же мне было невероятно трудно поверить в то, что его больше нет.

Его комната во флигеле через дворик была в таком же виде, какой он ее оставил восемь лет назад, — ежегодник из школы в Исламабаде все еще стоял на полке рядом с приключениями, которые он так любил, и Кораном, который подарил ему отец. Комната Мира тоже была нетронута — плакат с портретом Че Гевары на стене и гарвардский ежегодник в ящике стола. Теперь комнаты моих братьев были заперты, как и комнаты сестры, матери и отца. На те несколько часов, когда было разрешено включать электричество, свет зажигался только в моей комнате, единственно жилой во всем огромном доме.

Я скучала по Сасси, хотела привезти дочь Шаха сюда, чтобы она увидела родной дом своей семьи, свое наследство. Она не должна забыть своего отца, ей надо рассказать, за что он выступал и что дал своей стране. У нее гордое прошлое, которое оборвала трагедия. Возможно, все это было предопределено.

— Почему Шах хочет назвать ее Сасси? — спросила меня однажды доктор Аббаси, когда мы ехали вместе на машине в Хайдарабад. — Такое грустное имя. Помните легенду о Сасси, которая влюбилась в Панну, но их разлучили. Сасси ходила по пустыням и горам в поисках любимого. «Сасси, Сасси», — услышала она голос Панну откуда-то из пустыни. Но когда она подошла к этому месту, земля разверзлась и поглотила ее.

Но Шах любил имя Сасси, как любил и свою дочь, и имя осталось.

Станет ли нам когда-нибудь известно о том, кто стоял за убийством Шаха? Запертая на Клифтон-Роуд, 70, я все вспоминала то, что мне рассказала Самия, когда мы летели в Мохенджо-Даро с телом Шаха. За месяц до убийства, рассказала она, в нескольких редакциях газет в Карачи появился человек, который интересовался последними фотографиями Шаха. Может, кто-то интересовался фотографией, чтобы определить, как Шах выглядит в двадцать семь лет?

Рано утром 22 октября я слушала выпуск новостей Би-би-си и вдруг оцепенела. Диктор сообщил, что полиция арестовала Рехану в Каннах, по французским законам ее обвинили в «оставлении без помощи» лица, которое в ней нуждалось. И больше никаких деталей.

Через несколько дней после того, как я услышала сообщение о Рехане по Би-би-си, я прочитала в местных газетах, что мною была получена повестка на дачу свидетельских показаний по поводу смерти Шаха, но я ответила отказом. Какая повестка? Я не получала никакой повестки.

«Неправда, что я не хочу дать показания, — написала я письмо в министерство внутренних дел. — Я хочу там присутствовать, но это зависит не от меня, а от вас. Сообщите, пожалуйста, во французский суд, что я готова дать показания, но вы мне препятствуете».

Я была освобождена 3 ноября.

«Сегодня я начинаю тяжелое путешествие, печальное путешествие, которое пройдет по судебным залам чужой земли, где я буду свидетельствовать о смерти любимого моего

брата Шах Наваза... — начала я обращение к нашим сторонникам. Мне пришлось отпечатать его на обычной пишущей машинке. На этот раз власти отключили все электричество в доме на Клифтон-Роуд, 70, и даже отдельную систему электроснабжения во флигеле. — Я намереваюсь вернуться как можно скорее. — писала я в заключение. — Если будет на то воля Бога, я надеюсь возвратиться через три месяца... невзирая ни на какие обстоятельства».

Воздух во Франции был легким, когда я приехала давать показания, но на сердце у меня было тяжело. Стало еще тяжелее, когда я узнала о подробностях смерти Шаха и об аресте Реханы.

22 октября Рехана пошла в полицейский участок, чтобы забрать свой паспорт, который вскоре после смерти Шаха был изъят французской полицией. После нескольких месяцев непрерывных допросов, на которых Рехана повторяла и представителям Интерпола, и французской полиции, что не видела и не слышала ничего в тот отрезок времени, когда умирал мой брат, ее адвокату наконец-то удалось добиться того, чтобы ей вернули паспорт. Рехана, уже все подготовив для отъезда из Франции, неожиданно позвонила в полицейский участок и сообщила сногшибательную новость.

Отказавшись от своих первоначальных показаний, Рехана подтвердила то, что полиции было известно по результатам вскрытия, — Шах умер не мгновенно. Полиция снова подвергла ее допросам, обвинила в «оставлении без помощи», и ей предстояло явиться в суд. Вместо того, чтобы получить паспорт, Рехана получила ордер на арест и была отправлена в Центральную тюрьму Ниццы.

Семья была буквально убита подробностями смерти Шаха. Яд, который всегда носили с собой братья, сказал мне Шах, действовал мгновенно. Ампулу с ядом, которая была у Мира, исследовали и во французской, и в швейцарской полиции и подтвердили слова Шаха: принятый неразведенным, яд действует мгновенно. То, что Шах умер быстрой и безболезненной смертью, было для нас хоть каким-то утешением. И каково же было наше горе, когда мы узнали, что смерть его была иной.

Целую неделю мне снились кошмары.

— Помоги мне! — звал меня Шах. — Помоги мне!

Еще мне снилось, будто он дрожит от холода и я стараюсь закрыть его одеялами. Днем я бегала в ванную, и меня рвало. Нас мучили безответные вопросы, окружавшие ужасную смерть Шаха. Почему Рехана не бросилась за помощью? И почему она продолжала

утверждать, что Шах покончил жизнь самоубийством, ведь это — обвинение, особо тягостное для мусульман, которые считают, что только один Бог дарует и отнимает жизнь. Шах был сильным и жизнерадостным. Он никогда бы не пошел на самоубийство. И никто бы по своей воле не выбрал долгую и мучительную смерть.

Наша семья была убеждена в том, что Шаха убили, а обвинения в убийстве должны быть выдвинуты против неизвестных лиц. В Карлтоне у меня была неофициальная встреча с одним из офицеров полиции, ведущим расследование дела. Полиция тоже была поставлена в тупик.

— Не могли бы вы разузнать побольше об этом яде? — спросил он меня. — В организме не было обнаружено яда.

Я проверила все, что только могла, и получила, наконец, подробности от сведущих лиц. Я не могу забыть об этом и по сей день.

«Без разведения яд действует мгновенно, — было сказано в отчете. — При разведении действие его в корне изменяется. Через тридцать минут после принятия жертва теряет координацию, начинается сильная головная боль, мучает чувство усталости и жажды. Через час после принятия яда начинается дрожь, сопровождающаяся болью в области сердца и живота, которая затем распространяется по всему телу. Окопение наступает до момента смерти, причем во время паралича жертва остается в полном сознании. Горло наполняет слизь, становится тяжело дышать, и затрудняется речь. Все еще в сознании, жертва чувствует озноб. Время смерти колеблется от четырех до шестнадцати часов с момента принятия яда».

Предсмертная агония Шаха словно распространилась на всю нашу семью. Мир развелся с Фавзией. И Сасси была для нас потеряна. Когда я приехала в Ниццу давать показания, Рехана сидела в тюрьме, а Сасси была с Фавзией, которая нам не разрешала с ней видеться. Наше горе было просто бесконечно. Сасси — наша кровь. Сасси — наша плоть. Она была похожа на Шаха, особенно глаза. Сасси — все, что нам от него осталось. И мы ее теряли.

Мы старались выработать с Реханой семейное соглашение на юридических основаниях. Сасси будет жить с ней девять месяцев в году, а с нами — три месяца, причем мы будем оплачивать все расходы на ее содержание и обучение. Но Рехана не была в этом заинтересована. Мы снова были вынуждены обратиться в суд, но судебное разбирательство не могло нам избавить от чувства потери.

В феврале 1988 года суд вынес решение о том, что моя мать может встречаться с Сасси по выходным дням, но практически этого нельзя было сделать. Рехана отправила Сасси в Калифорнию к своим родителям. Кто знает, где сейчас Сасси и как она? Когда я думаю о ней, у меня начинает болеть сердце. Если бы только мы могли быть уверены, что с ней все в порядке, что она здорова и счастлива. Но нам ничего не говорят. Однако меня никогда не покидает мечта, что однажды Сасси вернется к нам. Как и ее тезка, Сасси перейдет горы и пустыни и найдет семью, где любят ее. Мы всегда будем ее ждать.

В июне 1988 года, после более чем двухлетнего судебного разбирательства, французский суд вынес решение, что Рехана должна будет предстать перед судом за неоказание помощи лицу, в ней нуждавшемуся, — обвинение, по которому грозит тюремное заключение от года до пяти лет. К нашему разочарованию, суд также решил, что не располагает достаточными основаниями, чтобы поддержать наше обвинение в убийстве неизвестными лицами. Но, по крайней мере, с Шаха хотя бы было снято клеймо самоубийцы. Вскоре после решения суда Би-би-си сообщило, что адвокат Реханы заявил, что и сама Рехана пришла теперь к заключению, что Шах был убит.

Сасси, как и все мы, может быть, никогда и не узнает правду о том, как умер ее отец. В июле 1988 года мы узнали, что Рехана покинула Францию, чтобы переехать к своей семье и Сасси в Америку. Выяснилось, что французские власти возвратили Рехане паспорт «из гуманитарных соображений». Наши адвокаты сказали нам, что у Реханы не возникло никаких трудностей в получении визы в американском консульстве в Марселе. И суд над ней, сообщили нам, состоится не раньше 1989 года, если состоится вообще. В любом случае наши адвокаты сомневаются, что Рехана приедет во Францию, чтобы присутствовать на заседаниях суда.

Еще один Бхутто погиб за свои политические взгляды. Еще одного активиста заставили замолчать. Но мы, конечно, пойдем дальше. Горе не заставит нас свернуть с политического пути и не отобьет у нас стремление к демократии.

Мы верим в Бога и оставляем суд за Ним.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛАХОР И АВГУСТОВСКАЯ РЕЗНЯ 1986 ГОДА

30 декабря 1985 года военное положение было отменено. Я еще находилась в Европе и увидела новости по гостиничному кабельному телевидению. Но, как ни странно, большого облегчения не испытала. Отмена военного режима была очередным рекламным трюком для Запада. Это не было возвращением к настоящему гражданскому правлению, поскольку Зия сохранял должности и начальника генштаба армии, и президента. Таким образом, нельзя было сказать, что армия устранилась от политики. Роль, которую могли сыграть на выборах политические партии, так и осталась неопределенной, что подчеркивало боязнь властей вернуть Пакистан к истинной демократии.

В действительности новое «гражданское правительство» Зии представляло собой сплошную загадку. Незадолго перед отменой военного положения марионеточный парламент Зии механически утвердил скандальную восьмую поправку, которая освобождала представителей властей от ответственности не только за свои прошлые деяния во времена военного режима, но и за любые действия, совершенные в оставшиеся три месяца его существования. Получив таким образом гарантию, что пересмотра справедливости их действий не будет, военные суды стали спешно приговаривать сотни людей к длительным срокам тюремного заключения, чтобы как можно больше инакомыслящих попало за решетку и осталось там до отмены военного положения.

С 1977 года Зия систематически уничтожал то, что ввело правительство моего отца, — независимость судопроизводства, структурную экономику, парламентскую форму правления, свободную прессу, свободу религий, соблюдение прав человека на основании конституции 1973 года. В стране не было никакого правового порядка, во всем чувствовалась нестабильность.

Взяточничество и преступность процветали по всей стране. Самой выгодной работой среди способных молодых людей была работа на таможне, поскольку заработки

там были самыми высокими. Появился — и существует поныне — новый вид предпринимателей, которые провозили контрабандой все — от кондиционеров до видеоаппаратуры, платя дань таможене и продавая затем эти товары на «черном» рынке. Как выяснилось из недавнего доклада государственного банка, примерно шестая часть экономического прироста Пакистана была достигнута за счет контрабанды. Никаких налогов от теневой экономики страна не получает.

Ввод советских войск в Афганистан отбросил на Пакистан еще более длинную и зловещую тень. Американское вооружение, предназначавшееся для *муджахеддинов*, появлялось в конце концов на новых процветающих рынках оружия в Пакистане. Автоматы Калашникова из Советского Союза какими-то путями попадали к пакистанским ремесленникам, которые делали с них копии и продавали на «черном» рынке не менее чем 40 долларов за штуку. Было известно, что в Карачи можно на час взять «Калашникова» напрокат. В провинции Синд люди с наступлением темноты предпочитали сидеть дома, потому что на дорогах орудовали бандитские шайки, вооруженные автоматическим оружием и ракетными пусковыми установками. Крупные землевладельцы и промышленники по всему Пакистану стали содержать собственные армии для своей защиты, а иногда и для того, чтобы нападать на соперников. Временами сами власти снабжали такие армии оружием, формой, а также выдавали деньги «солдатам», набранным вождями племен. В ответ эти силы запугивали сторонников ПНП, вырезая иногда всех жителей деревни. Не щадили даже мечети, где прятались люди.

Еще одним следствием вторжения в Афганистан стала контрабанда наркотиками. Если до появления афганских беженцев Пакистан был свободен от засилья наркотиков, то теперь более миллиона пакистанцев страдают наркоманией, и тюки с героином и опиумом, стоящие миллионы, если не миллиарды, долларов, доставляются из лагерей беженцев с севера на юг, в Карачи, откуда их увозят морским путем. К 1983 году Пакистан стал основным поставщиком героина всему миру. Громадные безвкусные виллы, построенные на деньги от доходов с наркобизнеса, стали появляться в Карачи, Лахоре и на территориях племен. И снова режим или закрывал на это глаза, или ухватывал свой кусок. Говорили, что много грузов, начиненных оружием для *муджахеддинов*, перевозилось в Карачи в армейских грузовиках и шло к перевалу Хайбер.

Родственники высокопоставленных официальных лиц, включая сына военного министра кабинета, были захвачены и арестованы Интерполом за контрабанду наркотиков в Америке и других западных странах. Но в Пакистане не тронули ни одного высокопоставленного чиновника. Всем было известно, что главной фигурой в торговле наркотиками был военный администратор Пограничной провинции, хотя он это и отрицал. Он сохранял свой пост на протяжении более семи лет, в то время как Зия по своему желанию снимал и назначал других военных администраторов. Еще один печально известный случай — с Абдуллой Бхатти, одним из двух наркобоссов, которых власти арестовали за восемь лет военного режима. После приговора военного суда Бхатти «исчез». Несколько лет спустя, когда в связи с плохой погодой его самолету пришлось повернуть на Карачи, Бхатти был арестован вторично. Генерал Зия воспользовался своим правом помилования — правом, которым он никогда не пользовался в отношении политических заключенных, — и освободил его.

Политика исламизации Зии разделила и деморализовала страну. Если при моем отце существовала терпимость к другим вероисповеданиям, то во время исламизации Зия стал преследовать иноверцев. Большинство пакистанцев — ханафиты, последователи умеренного направления в исламе. Наша страна была основана на исламских принципах единства, взаимной поддержки и терпимости по отношению к религиозным меньшинствам — секте ахмадийя, у которой свое религиозное управление в Англии, индусам, христианам и малочисленной, но спянной группе парсов — зороастрийцев, поклоняющихся огню.

— Вы свободны идти в ваши храмы, вы свободны идти в ваши мечети или в любое другое место поклонения в государстве Пакистан. Вы можете исповедовать любую религию, принадлежать к любой касте и разделять любые убеждения — все это не имеет отношения к государству, — заявил основатель нашей страны Мохаммед Али Джинна в день, когда он был избран президентом Пакистана в 1947 году.

Зия, однако, больше поддерживал вахабитов — секту, близкую к реформистам в Саудовской Аравии, которые стояли на правых политических позициях, наподобие Джамаат-е-ислами, и проповедовали более жесткое и менее терпимое толкование ислама. С момента переворота в 1977 году власти выступали за исламизацию, в то время как фундаменталисты пытались навязать остальному населению страны фанатические взгляды своего меньшинства. Христиане, индусы и парсы по утрам находили у себя под

дверью письма, отпечатанные на ротаторе: «Убирайтесь. Вы нам здесь не нужны». Многие тихо продавали свои пожитки и покидали страну, которая на протяжении целых поколений была их родиной. Тем, кто остался, пришлось смириться — зороастрийки, например, которые при моем отце носили джинсы, стали ходить в *шальвар-камизе*, чтобы не навлечь на себя гнев мулл-фундаменталистов.

Во времена Зии муллы стали карающим мечом исламизации. Они прикрыли исламом репрессивное правление, чтобы сделать его хоть немного удобоваримым, а Зия, в свою очередь, ввел исламский налог — два с половиной процента со всего дохода, — который среди них и распространял. Но в карманы мулл шло больше, чем в руки тех, кто действительно нуждался и для кого изначально собирался этот налог.

Фетва — суждение о том, что верно, а что неверно, — провозглашавшаяся муллами во время проповедей в мечетях по пятницам, приобрела очень большое значение. Одна поистине комическая *фетва* в 1984 году касалась актеров, игравших в популярном телефильме, которые в жизни были мужем и женой. В фильме актер отказывался от своей жены со словами: «Я развожусь с тобой», — и так три раза. В результате муллы объявили во время *фетвы*, что брак этот не только недействителен, но что «жену» надо подвергнуть *раджму*, то есть забить камнями до смерти за прелюбодеяние. И действительно, толпа среди ночи напала на дом этой супружеской пары. Общественность была настолько загипнотизирована непроверенными и не вызывающими никаких сомнений взглядами фундаменталистов на ислам, что инцидент фактически остался незамеченным.

Для оправдания своих репрессивных мер и терроризирования определенных слоев общества Зия постоянно прибегал к исламской риторике. Через две недели после возвращения Хомейни в Иран в 1979 году шариатские суды Зии приняли позорные указы, по которым карались такие преступления, как воровство, прелюбодеяние и изнасилование, следуя строжайшему толкованию шариата. Если женщина обвиняла кого-то в изнасиловании, то по указам для подтверждения ее показаний требовалось свидетельство четырех мужчин-мусульман. Без такого свидетельства, которое получить было, в принципе, невозможно, женщина, предъявляющая обвинение, могла быть осуждена за прелюбодеяние. Дело Сафии Биби, слепой служанки, которая забеременела после того, как ее изнасиловали хозяин и его сын, стало классическим примером этой несправедливости. Поскольку никто из обви-

няемых не признался, а Сафия Биби не смогла предоставить четырех свидетелей нападения — редко когда насилуют на людях, — двое мужчин были освобождены, а молодую женщину обвинили в прелюбодеянии и приговорили к публичной порке и заключению в тюрьму на три года.

Сафию Биби спас скандал, поднятый возмущенными женщинами, которые придали инцидент международной огласке. Обеспокоенные власти поспешно оправдали молодую женщину. А тринадцатилетней девочке, которая забеременела после того, как ее изнасиловал собственный дядя, повезло меньше. Неспособная убедить суд в том, что ее изнасиловали, она также была приговорена к трем годам тюрьмы и десяти ударам кнутом. Суд задержал исполнение приговора до тех пор, пока ее младенец не достиг двухлетнего возраста.

Конституция 1973 года, выработанная отцом, ограничивала дискриминацию женщин. «... Не должно быть дискриминации на основании половых различий», — говорится в статье 25(2). Политика исламизации Зии не только санкционировала дискриминацию, но и содействовала ей. В университете Карачи, где мечеть переделали под оружейный склад студенческой группировки Джамаат-е-ислами, студенты-фундаменталисты стали агитировать за разделение территории университета на две части — мужскую и женскую.

— Женщинам небезопасно находиться среди мужчин, — настаивали студенты. Чтобы доказать свою точку зрения, они преследовали студенток, которые не носили покрывала, а нескольких даже облили кислотой, прожегшей им одежду. Студентов, обливших девушек кислотой, не наказали.

Женщины подвергались дискриминации повсюду. Стали разделять людей по признакам пола и на некоторых официальных приемах, даже женщин, занимающих высокое положение, отделяли от их коллег-мужчин. Женщинам — дикторам на телевидении полагалось прикрывать голову шарфом, а тех, кто отказывался это делать, увольняли. Спортсменки знаменитых пакистанских команд по хоккею на траве должны были надевать брюки, из-за чего, естественно, они отстранялись от участия в международных соревнованиях. Это исламское рвение властей скоро дошло до абсурда.

— На этой фотографии видны голые женские ноги, — начал ругать цензор редактора газеты, указывая на фотографию, которой сопровождался материал об окончании всемирного первенства по теннису.

— Это не женщина. Это Бьерн Борг, — ответил редактор цензору.

Женщины пытались бороться, но указы властей систематически унижали их достоинство. Когда в феврале 1983 года суды шариата объявили, что свидетельские показания женщин будут учитываться только наполовину, коалиция женщин, получивших профессиональную подготовку, выступила с демонстрацией в Лахоре. С резиновыми дубинками и слезоточивым газом обрушилась полиция на преподавательниц университета, женщин, занимающихся бизнесом и адвокатурой, протаскивая за косы около восьмидесяти женщин в тюрьму. Считая это недостаточной мерой, муллы-фундаменталисты заявили, что браки всех, кто участвовал в демонстрации, расторгаются, поскольку ислам не приемлет агрессивных женщин. Можно проигнорировать мулл, но не режим. Несмотря на протесты, в 1984 году парламент Зии провел закон о свидетельстве. Закон действует и поныне, дисквалифицируя женщин как свидетелей по делам об убийстве, а также уменьшая компенсацию, которая полагается родственникам убитой. Исходя из того, что жизнь мужчины вдвое ценнее жизни женщины, семья убитой женщины получает компенсацию вполровку меньше, чем семья убитого мужчины.

Несмотря на все разговоры о том, что военное положение отменяется, в Пакистане продолжались и репрессии, и распри. Бедные были деморализованы. Были деморализованы и женщины. Вместо того, чтобы устранять свои разногласия мирным путем или хотя бы примириться с ними, по всему Пакистану соперничавшие группировки стали решать свои проблемы, похищая людей и устраивая вооруженные батании. Насилие захватило в основном провинции, где проживало меньшинство: в районах Синда, Белуджистана и Пограничной провинции, где политика Зии «разделяй и властвуй» привела к этнической поляризации и усилила стремление к отделению.

С самого начала запрет Зии на политические партии сочетался с покровительством сепаратистским лидерам. Дав заявлениям сепаратистов «зеленый свет» в прессе, Зия использовал их, чтобы разжечь недоверие между провинциями и Пенджабом и упрочить миф о том, что стране для сохранения единства необходимо военное правление. Непартийные выборы, проводившиеся властями, еще больше способствовали расколу страны. Запрещая политические партии, власти заставляли кандидатов проводить кампанию не на основе политических идеалов, выходящих за рамки

этнических и региональных проблем, а ставя в центр кампании собственную личность.

— Голосуйте за меня, я такой же шиит, как и вы, — обращались кандидаты на этих выборах к своим избирателям.

— Голосуйте за меня, я пенджабец.

И страна платила по счетам. Впервые столкновения на этнической почве между патанами и мухаджирами, выходцами из Индии, вспыхнули в Карачи в 1985 году из-за того, что автобус, за рулем которого сидел патан, случайно сбил девочку-мухаджирку. Более пятидесяти человек погибли, более ста получили ранения. И вскоре яростные толпы жгли сотни машин, скуттеров и автобусов. Столкновения распространялись с такой быстротой, что во многих соседних районах власти вынуждены были ввести на месяц комендантский час — шаг, который устранял симптомы болезни, но не излечивал ее. В течение следующих трех лет из-за столкновений на этнической почве повысилась смертность, участились случаи ранений и уничтожения имущества. Новые политические партии, основанные исключительно на этнических принципах, завоевывали популярность, что еще больше усиливало напряженность. Единство Пакистана было под угрозой.

— Думаю о возвращении домой, — сказала я активистам ПНП, которые собрались на квартире в Барбикане в январе 1986 года, когда я вернулась из Франции. Они выжидающе смотрели на меня, не совсем поняв, что я имею в виду.

— Наверное, я остановлюсь в Лахоре или Пешаваре, — продолжала я.

Их лица просветлели. «Домой» не означало для них Клифтон-Роуд, 70. «Домой» означало весь Пакистан. Вскоре должно было начаться наступление ПНП на Зию.

— Мы едем с вами, — сказали Нахид и Сафдар Аббаси.

— И я возвращаюсь, — присоединился Башир Рияз.

— Не принимайте поспешных решений, — предупредила я их, зная, что против Нахида и Башира в Пакистане возбуждены судебные дела. Но маленький штат добровольцев был полон решимости. Мы вернемся вместе.

Время было выбрано правильно. Благодаря отмене военного положения, о чем Зия говорил повсюду, мы могли заставить власти открыть свои карты и проверить их заявления относительно обновленной демократии. Если Зия арестует меня по приезду, то всем сразу станет ясно, что

его демократия — фарс. Если не арестует, я смогу впервые за девять лет свободно донести послание ПНП народу Пакистана. Да и психологически время казалось благоприятным. Двух диктаторов недавно свергли — Фердинанда Маркоса на Филиппинах и «папу Дока» Дювалье на Гаити. Очередь за третьим.

Это было главным решением. Но было ли оно правильным? После лет, проведенных в тюрьме и эмиграции, мне трудно было нащупать политический пульс Пакистана. Поэтому я собрала в Лондоне заседание Центрального исполнительного комитета ПНП.

— Думаю, что пришло время возвращаться, — сказала я. — Но это решать вам. С одной стороны, все может быть удачно, с другой — меня могут арестовать. Что в этом случае предпримет ПНП? Должна ли я отложить свое возвращение или время выбрано правильно, чтобы выразить протест и оказать на Зию давление с требованием полной демократии? Решайте вы.

— Вы должны вернуться. Мы будем с вами, — единогласно объявили лидеры. — Если Зия предпримет действия против вас, это значит, что он выступит и против всех нас.

Мне было очень приятно, когда несколько человек сели со мной за маленький обеденный стол в Барбикане и мы стали обговаривать возможные варианты моих поездок по Пенджабу, Пограничной провинции и Синду. Наша стратегия, как обычно, не была произвольной, а имела под собой почву: работать внутри системы, чтобы подорвать ее и не дать властям ни малейшего предлога для нашего ареста. Организовав массовые политические демонстрации по всему Пакистану, мы надеялись заставить власти объявить дату выборов — предположительно осень 1986 года.

Я все увеличивала список городов, в которых собиралась быть во время своей поездки. Вместо того, чтобы планировать одновременные демонстрации в главных городах, я хотела, чтобы ПНП провела демонстрации последовательно, через определенные промежутки времени и в разных городах. Таким образом, доверие народа росло бы как снежный ком, отменяя всякий страх, который Зия узаконил в стране, насадив политику виселиц, побоев и плеток.

— Сможете ли вы объехать столько городов? — спросили меня руководители партии.

— Смогу, — ответила я им за обедом, на который приготовила курицу и чечевицу. Мы договорились, что я

поеду через Лахор. Лахор был столицей Пенджаба, провинции, которая была опорой армии. Одновременно он был бастионом поддержки ПНП.

После того, как мы продумали остальной маршрут, другие лидеры ПНП вернулись в Пакистан, чтобы начать подготовку, хотя окончательная дата моего приезда держалась в тайне. К этому времени мы научились чинить препятствия Зие, не давая ему возможности подготовиться. Мы получили еще неожиданное вознаграждение, когда элемент секретности сделал нам рекламу. По всему Пакистану люди стали гадать о дне моего приезда.

— Она приезжает 23 марта, в День Пакистана, — говорили одни.

— Нет, она возвращается 4 апреля, в годовщину смерти своего отца, — настаивали другие. И даже прессой были подхвачены всякие домыслы.

Начались угрозы. Один сторонник ПНП в Пакистане передал мне сведения, которые получил от армейского офицера из Синда.

«Передайте ей, чтобы она не приезжала, — было сказано в сообщении. — Они хотят ее убить». Стали приходить и другие сведения о грозящей мне серьезной опасности — из Пенджаба, из Пограничной провинции, со всей страны: «Женщина в политике уязвимее, чем вы можете себе представить. Не возвращайтесь». В квартире стали раздаваться странные телефонные звонки — рано утром и поздно ночью. Когда я поднимала трубку, никто не отвечал. Друг позвонил мне и сказал, что в аэропорту Хитроу был схвачен майор-пакистанец, при нем была моя фотография, его выдворили.

Я не знала, существовала ли угроза на самом деле или же власти пытались сделать все, чтобы я не возвращалась. Но одно свидетельство показалось весьма зловещим. Нур Мохаммед, старый и верный слуга, раньше работавший у моего отца, был зверски убит в январе в Карачи. Перед его смертью я получила письмо от его племянницы и подопечной Шахназ, где говорилось, что Нур Мохаммеду очень нужно со мной поговорить и что я должна ей позвонить. Нур Мохаммед передал Шахназ, что власти хотят взять его, потому что он «что-то знал». Я срочно позвонила из Лондона, но было уже поздно. Не только Нур Мохаммед, но и одиннадцатилетняя Шахназ были зверски зарезаны. Вскоре после этого я получила письмо, посланное самим Нур Мохаммедом незадолго до смерти. И снова была просьба срочно позвонить. Что же Нур Мохаммед так и не смог мне сказать?

Я полетела в Вашингтон, желая привлечь внимание к предстоящей проверке устремлений демократических властей. Девять лет народ Пакистана ждал выборов и восстановления демократического правительства. Кто мог сказать, какую реакцию вызовет мое возвращение и какие шаги последуют от властей? Премьер-министр Зии Мохаммед Хан Джунеджо сделал официальное заявление, в котором заверял меня, что арестована я не буду. Но кто знал, что можно ждать от Зии?

В Вашингтоне у меня были встречи с сенаторами Пеллом и Кеннеди, с конгрессменом Стивеном Соларзом (который стал моим хорошим другом), блестящим и энергичным членом палаты представителей, наблюдавшим недавние филиппинские выборы, в результате которых Корасон Акино пришла к власти. Все они очень помогли мне по возвращении в Пакистан. Они выступали также за свободные выборы и восстановление прав человека в Пакистане и обещали мне пристально следить за ситуацией, которая возникнет после моего возвращения. Марк Сигель, политический консультант, с которым я встречалась в Вашингтоне еще в 1984 году, тоже очень помог мне, убеждая официальных лиц и просто влиятельных людей написать в пакистанские инстанции предупреждение о серьезных последствиях в случае, если я буду задержана. В качестве дополнительной меры предосторожности Марк купил мне пуленепробиваемый жилет.

Американские корреспонденты были заинтригованы сходством моей предстоящей борьбы с Зией с вызовом, который Корасон Акино бросила Фердинанду Маркосу на Филиппинах. Однако их представления о сходстве между мной и миссис Акино были несколько романтичными. Да, мы обе были женщинами из семей известных землевладельцев, обе получили образование в США. Мы обе из-за диктатора потеряли любимых людей: миссис Акино — своего мужа, а я — отца и брата. Миссис Акино свергла Маркоса «народной силой», чтобы провести мирную революцию, что надеялась сделать в Пакистане и я. Но на этом сходство между нами кончалось.

Корасон Акино на Филиппинах в своей борьбе против режима Маркоса пользовалась поддержкой армии и церкви. В Пакистане я такой поддержкой не располагала. Генералы выступали против меня, потому что я являлась угрозой прогнившей системе, благодаря которой они получали скидку на землю, пользовались бесплатными автомобилями и освобождением от таможенных пошлин. И хотя некото-

рые представители официального духовенства были со мной, муллы-фундаменталисты оставались на стороне диктатуры Зии.

Но самое важное то, что американцы помогали Маркосу на Филиппинах и даже вне страны, обеспечивали транспортом его самого, семью и окружение. Администрация Рейгана, однако, безоговорочно выступала за Зию. Рассматриваемый в конгрессе пакет военной и экономической помощи Пакистану сроком на шесть лет в сумме 4,2 миллиарда долларов целиком поддерживался рейгановским Белым домом. Я не могла рассчитывать на серьезную помощь от Америки, за исключением добрых пожеланий и моральной поддержки от некоторых членов правительства США и прессы.

— Мы поедem с вами, — сказали мне некоторые корреспонденты. — Иностранные журналисты — лучшая гарантия.

Я поблагодарила их, стараясь не вспоминать лидера оппозиции Бенигно Акино, которого в Филиппины тоже сопровождали журналисты, но он был застрелен в аэропорту, не успев ступить на филиппинскую землю. Кто-то в Барбикане подsunул мне под дверь записку, на которой было написано: «Помни про Акино».

Я не знала, буду ли я жить или умру, когда вернусь в Пакистан. Да и не хотела об этом думать. Аллах предопределил мою судьбу, и не имело значения, что я делаю и куда еду. Но я, тем не менее, хотела выполнить обязательство перед моим отцом — совершить в честь него религиозное паломничество. Почти сразу же после того, как я вернулась из Вашингтона, я вместе с несколькими друзьями полетела в Мекку. Каждый мусульманин, если он физически в состоянии это сделать, должен раз в жизни поехать в Мекку.

Я хотела совершить паломничество в честь отца еще с 1978 года. Дважды так называемый исламский режим Зии не давал мне разрешения на поездку в Мекку. Это была моя последняя возможность, так как я не знала, что меня ждет. В Мекке мы с друзьями переоделись в белые бесшовные одежды паломников и начали ритуал.

— Аллах, Ты — мир, и весь мир происходит от Тебя. О, Господь наш, приветствуй нас миром, — читали мы вместе молитву на арабском у Ворот мира, у входа в просторный двор из белого мрамора, ведущий к священной Мечети. Семь раз обошли мы Каабу, сооружение черного цвета, пятьдесят футов высотой и тридцать пять футов

длиной, которое, как считают мусульмане, стоит на том месте, где Авраам построил первый храм единому Богу.

— *Аллаху акбар.* — Бог велик, — говорили мы всякий раз, проходя мимо Черного Камня, установленного в юго-восточном углу Каабы. Пророк, мир да пребудет с Ним, поцеловал маленький камень, когда в седьмом веке помогал устанавливать его в Каабе.

Когда мы исполнили все ритуалы, я почувствовала, что мне стало легче. При каждой остановке я молилась за своего отца, за других мучеников, сраженных режимом, за брата Шах Наваза, за мужчин и женщин, сидящих в тюрьме. После этого религиозного обряда я ощутила духовный подъем и осталась еще на день, чтобы второй раз совершить его для себя. Духовно обновленная, я вернулась в мир политики и полетела в Советский Союз, куда меня пригласила женская организация. Я надеялась, что поездка в Россию отвлечет критиков в ПНП, которые продолжали обвинять меня в проамериканской направленности. Мне необходимо было вернуться в Пакистан, имея наиболее сильную поддержку.

25 марта мы послали сообщение: я возвращаюсь в Пакистан 10 апреля. Иностранные журналисты собрались в ожидании в Лондоне. Хотя мы считали, что наше дело политически правильно и справедливо, пресса представляла это как драматичную и острую конфронтацию между молодой женщиной и военным диктатором, современную феминизированную версию Давида и Голиафа. Си-би-эс сняло меня для «60 минут» в Америке. Журнал «Взникти феа» поручил лорду Сноудону сделать мой портрет для обложки. Я была в Лондоне на утренней передаче, которая транслировалась через спутник на Нью-Йорк. Би-би-си записало со мной интервью на английском для всемирной службы радиовещания и на урду для новостей. У меня брали интервью Ассошиэйтед Пресс, ЮПИ, Четвертый канал и английские журналисты на квартире у тети Беджат. Петула Кларк жила в этом же доме, и тетя Беджат впервые сухо заметила, что теперь другая квартира привлекает больше внимания, чем квартира Петулы.

Многие международные средства массовой информации с нетерпением ожидали успешного выступления ПНП против ЗиИ. Но я совершенно не представляла, что будет в Пакистане. Годы репрессий могли подорвать стремление людей к сопротивлению. В книге «Заключенный без имени, камера без номера» Джакобо Тиммерман описал стадию, через которые проходят угнетенные люди: злость, страх,

апатия. Ответит ли народ на призыв ПНП или будет молчать, чтобы выжить? Целое поколение пакистанцев выросло под тенью военного режима. Ребенок, которому в июле 1977 года было десять лет, превратился в молодого девятнадцатилетнего человека, и понятия не имевшего о своих элементарных правах. Захотят ли они снова получить то, чего никогда не имели?

Мы выступили по телевидению и объявили, когда собираемся возвратиться. Весь мир смотрел на нас.

— Как вы думаете, сколько человек встретит нас в Лахоре? — спросила я Джахангира Бадира, руководителя пенджабской ПНП, который возвращался раньше нас.

— 500 тысяч, — сказал он.

— Что-то это слишком много, — сказала я Джахангиру.

— Все равно будет не меньше 500 тысяч, — настаивал он. — Вы еще даже не покинули Лондон, а у нас есть сообщения, что люди уже направляются в Лахор.

— Но мы не можем быть ни в чем уверены, — сказала я. — Если журналисты спросят, скажите, что мы думаем 100 тысяч, а не 500. В этом случае, если, по подсчетам, наберется 470 тысяч человек, никто не сможет сказать, что людей меньше, чем ожидалось.

Из Европы до Лахора не было прямого рейса, поэтому 9 апреля мы с Баширом Рязом, Нахид, Сафдаром, моей школьной подругой Хумайрой и многими другими полетели из Лондона в Дахран (Саудовская Аравия), чтобы пересесть на рейс ПИА до Лахора. Экипаж ПИА нам очень помог, разрешив украсить самолет лозунгами, флагами и этикетками ПНП, что в течение девяти лет было запрещено. Я себе представить не могу чувства остальных пассажиров. На борту находилось около тридцати членов ПНП и журналистов, поэтому было похоже, что самолет выполняет специальный рейс.

Настроение праздника, хотя и с привкусом опасности, заразило всех нас. Во время остановки в Дахране саудовские власти отвезли меня в специальный коттедж, изолировав других в приемной. Позже я узнала, что в это же время в Дахран прилетел посол Пакистана, и саудовских властей беспокоил вопрос о моей безопасности. Также усилились угрозы из самого Пакистана. Нахид, Башир и еще кто-то из нас получили в Дахране сообщение, что все они находятся в списке тех, кого власти должны немедленно арестовать. В мой адрес поступали настойчивые просьбы не возвращаться.

Я постаралась не думать об опасности, и, пока мы летели в предрассветные часы к Лахору, я работала над своей речью. Говорили, что власти останавливают автобусы со сторонниками ПНП и не дают им пересечь границы Белуджистана, Синда и Пограничной провинции. Никто не знал, что ждет нас, когда мы прилетим в Пакистан.

Лахор, 9 апреля. Амина Пирача:

То, как Лахор выглядел ночью перед прилетом Беназир, было похоже на гигантский карнавал или фестиваль. Миссис Ниязи, мой муж Салим и я приехали в Лахор из Исламабада, чтобы встретить ее, и никто из нас раньше ничего подобного не видел. Вокруг всего города были разбиты лагеря, где продавались еда и напитки. Тележки с едой стояли и вдоль всей дороги из аэропорта. Город был целиком в руках народа. Студенты разбегались по улицам и пели песни про Бхутто, одна очень мило звучит на пенджаби: «*Аафи тэ хо гей* Бхутто, Бхутто». — «Сегодня, сегодня только Бхутто, Бхутто». Продолжали подъезжать люди в машинах, в автобусах, на воловьих повозках, в грузовиках, шли пешком. Я видела целый караван автобусов, битком набитых людьми и украшенных флагами, где было написано: «автобус из Бадина», «автобус из Сангхара». После долгих лет безобразий, репрессий, преследований впервые возникло такое возбуждение.

Всю ночь никто не спал. Мы ходили по городу, вместе со всеми возвращались в аэропорт. Один раз с нами прошел старик, у которого текли слезы. Потом к нам присоединилась пожилая женщина, которая то горько плакала, то смеялась. Никто в свое время не имел возможности оплакать мистера Бхутто. Для этого не был объявлен официальный траур. И теперь наконец-то люди смогли выразить свое горе, так же как и радость по поводу приезда Беназир. Лахор в ту ночь был одним из прекраснейших мест, которые я когда-либо видела в своей жизни.

Доктор Ашраф Аббаси:

Это было как праздник. Людям бесплатно раздавали мясо, рис и фрукты. Те, у кого были магнитофоны, проигрывали песни о мистере Бхутто, о ПНП, о Беназир. Слова очень легко запоминались и были положены на известные мелодии, поэтому все запросто подхватывали их. С балконов и фонарных столбов развевались флаги ПНП. Люди тайно закупали зеленую, красную и черную материю, готовясь к приезду Беназир. И даже наши

противники — фундаменталисты из Джамаат-е-ислами торговали на улицах флагами и фотографиями Беназир, пользуясь возможностью подзаработать.

Миссис Ниязи:

Я так хотела, чтобы мой муж и дочь Ясмин увидели Лахор, но власти в Исламабаде выдвинули против них такие серьезные обвинения, что им небезопасно было возвращаться из Лондона. И правда, это празднество было доказательством народных страданий. Я все время вспоминала слова одной женщины, которая в это ужасное время преследований заявила, что Пакистанской народной партии больше нет, что имя мистера Бхутто на людях никогда никто не произнесет. Нет, сказала я ей. ПНП никогда не исчезнет, потому что партия — это народ. Наступит день, когда вы увидите свободно напечатанное имя Бхутто. И теперь этот день настал, и эмоции людей вырвались наружу.

Самия:

Власти установили огромные железные решетки и окружили аэропорт колючей проволокой, чтобы сдерживать толпу, когда прилетит Беназир. Были переделаны даже входы и выходы из аэропорта. Администрация разрешила вход в аэропорт только двумстам людям — им были выданы пропуска. Нас провели черным ходом. У меня стоял ком в горле. Все мы были так счастливы и просто не понимали, что с нами происходит.

Доктор Аббаси:

Но наше счастье смешивалось со страхом. Мы очень беспокоились за безопасность Беназир, поэтому решили обступить ее со всех сторон и образовать живое ограждение. В Лахоре собралось очень много людей. Мало ли кто был среди них.

Около 7 утра в салоне для пассажиров раздался голос командира корабля:

— Мы начинаем снижение к Лахору, — сказал пилот. — Мы приветствуем мисс Беназир Бхутто в Пакистане.

Ко мне подошла стюардесса:

— Только что командир получил сообщение, что в аэропорту собралось около миллиона человек, — сказала она.

Миллион человек. Я выглянула в окно, но кроме бескрайних зеленых полей Пенджаба ничего не увидела.

— Пойдемте в кабину пилота, посмотрите сами, — сказала стюардесса. Я пыталась разглядеть хоть что-нибудь из кабины, но кроме приближающейся посадочной полосы пока ничего не видела. Вокруг полосы и на крышах зданий аэропорта показались крошечные фигурки людей.

Когда мы приземлились, я увидела, что это были люди из службы безопасности. В аэропорту приняли такие жесткие меры предосторожности, что были отменены посадки всех других рейсов.

— Нахид, Башир Дара. Не уходите от меня, — сказала я тем, кто был предупрежден об аресте. Было смешно — мои сторонники встали вокруг, чтобы защитить меня, а я держала их около себя, чтобы защитить их.

— Мы — ваша охрана, — сказали мне журналисты. Но нашей охраной оказалась масса людей, собравшихся у аэропорта. Иммиграционным властям так не терпелось убраться нас поскорее оттуда, что все формальности они проделали в самолете, быстро поставив штампы в наши паспорта.

Дома. Я дома. Ступив на пакистанскую землю, я замерла, чтобы почувствовать ее под ногой, чтобы вдохнуть воздух, частицей которого я была. Я много раз прилетала в Лахор. И много счастливых часов провела здесь. Но это также был город, в котором отца приговорили к смерти. И теперь я возвращалась, чтобы бросить вызов его убийце, генералу, который, уничтожив конституцию, совершил государственную измену.

Самия! Амина! Доктор Аббаси!

— Я не знаю, как нам выбраться отсюда, здесь так много народу, — сказала Самия на выходе, надев мне на шею гирлянду роз.

— Мы поедem на грузовике, — сказал Джахангир, подводя меня к ярко разрисованному грузовику с блестящим узором.

Я вцепилась в записи своей речи, увидев расшатанную лесенку, ведущую на платформу грузовика, где мне предстояло ехать. Иногда мне снятся кошмары: я не хочу взбираться на лестницу, но мне приходится. И вот эта лестница передо мной, и сотни ждущих глаз следят, как я буду подниматься. Что мне оставалось делать? Мы договорились еще в Лондоне, что именно так доедем до Минар-и-Пакистан, монумента, который построил в Лахоре мой отец в память о декларации, ставшей началом

рождения Пакистана. Этот план я теперь изменить не могла. За оградой — миллион человек. Я поставила ногу на первую ступеньку и сделала глубокий вдох.

— *Бисмилла*, — прошептала я. — Именем Аллаха, начинаю.

Есть в жизни моменты, которые невозможно описать. И одним из таких моментов было мое возвращение в Лахор. Людское море вдоль дорог, переполненные людьми балконы и крыши, люди на деревьях и фонарных столбах, люди, идущие рядом с грузовиком, — это было скорее похоже на океан. Обычно восемь миль от аэропорта до Минар-и-Пакистан в парке Икбал можно проехать за пятнадцать минут. В этот невероятный день, 10 апреля 1986 года, дорога заняла десять часов. К тому времени, когда мы прибыли на место, это число — миллион человек, встречавших нас в аэропорту, — сначала удвоилось, а затем утроилось.

Когда открылись ворота аэропорта, сотни ярких шариков взмыли в небо. Розовые лепестки, а не слезоточивый газ, наполнили воздух — ими обсыпали грузовик, и их набралось там по щиколотку. Бросали гирлянды цветов. Я увидела девочку, брата которой повесили, и кинула гирлянду ей. Грузовик забрасывали гирляндами, шарфами и шальями ручной работы. Я один за другим надевала шарфы на голову и перебрасывала через плечо. Когда мы проезжали мимо группы бывших политических заключенных, я узнала их в толчее и бросила им цветы и вышитые шали, а также семьям тех, кого повесили или замучили, и еще молодым и пожилым женщинам, стоявшим вдоль дороги.

Казалось, единственными красками в тот день в Лахоре были черный, зеленый и красный — цвета ПНП. Полотнища и флаги ПНП трепетали на сухом, жарком ветру, образуя почти бескрайний полог. Люди были одеты в красные, зеленые и черные куртки, шарфы, *шальвар-камизы*, шляпы. У ослов и буйволов в гривы были вплетены ленточки ПНП, даже обвязаны ими хвосты. Такими же цветами были окантованы мои фотографии и плакаты с изображениями отца, матери, брата.

— *Джийе, джийе*, Бхутто, *джийе!* — Живи, живи, Бхутто, живи! — скандировала на пенджаби толпа лозунг, который три месяца назад стоил бы строгого тюремного заключения и плетей.

— Беназир — моя сестра, Беназир — твоя сестра, — выкрикивали другие на синди. Были лозунги на урду, на пушту, на всех диалектах каждого района Пакистана.

— Беназир айеги, инкилаб лайеги. — Придет Беназир, придет революция, — говорили наши сторонники до моего возвращения. Теперь же они громко выкрикивали: — *Беназир айи хэ, инкилаб лайи хэ.* — Беназир пришла, пришла революция.

Когда я махала рукой, мне в ответ махали из толпы. Когда я хлопала в ладоши над головой, как это делал мой отец, люди хлопали в ответ, было похоже, будто по огромному полю пшеницы волнами прошла зыбь.

Когда я была под арестом в громадном пустом доме в Исламабаде, порой по утрам мне казалось, что я просыпалась, потревоженная ревом толпы. Сейчас я пыталась разбудить свою память в надежде понять, что это была за толпа. Кому они кричали? Что у них было за настроение? Может, они кричали в ярости на Зию? Или от радости, видя, как открываются двери тюрьмы Равальпинди и появляется мой отец? Нет, не похоже. Но я продолжала слышать этот рев и в тюрьме Суккура, и в Центральной тюрьме Карачи, и под арестом в Аль-Муртазе, и дома на Клифтон-Роуд, 70. Я всегда пыталась определить этот звук, но он ускользал от меня. Но когда 10 апреля я ехала по звуковому туннелю на улицах Лахора, я вдруг осознала, что именно этот рев я слышала.

Я стояла на грузовике в течение десяти часов, пока мы сантиметр за сантиметром продвигались по направлению к Минару, мимо квартиры премьер-министра в доме губернатора, где иногда останавливалась наша семья и где, после убийства моего отца, генерал Зия, как утверждали, бродил ночами с лампой по коридорам, как леди Макбет. Мы проехали мимо балдахина, под которым когда-то стояла статуя королевы Виктории — единственное ее изображение, оставленное в Пакистане с тех пор, как фундаменталистские правила запретили объемные изображения в искусстве. Потом мимо Замзамы, старинной пушки, описанной Редьярдом Киплингом. Как будто становилось легче, ведь я была уверена в том, что мученики, отдавшие свои жизни за дело демократии, идут сейчас радостно вместе с толпой. Была атмосфера победы, триумфа, возмездия за все суды и страдания.

— Зия уль-Хак, ты не нужен нам, — выкрикивали из толпы. — Мы обойдемся без твоих ассамблей. Нам не нужна твоя фальшивая конституция. Мы не хотим твоей диктатуры. Наша сила больше, чем весь твой слезоточивый газ, плетки и пули. Мы хотим выборов.

Хотя, стоя на грузовике, я была открыта со всех сторон, я не чувствовала опасности. Только тот мог причинить

мне вред, кто желал бы быть разорванным толпой. Не было угрозы и со стороны полиции и армии. Потрясенные размахом встречи, кое-кто из наших бывших врагов смотрел на нас, находясь за запертыми воротами казарм, а другие вышли, чтобы принять участие в праздновании. Я очень беспокоилась за свой голос, охрипший от недавно перенесенной простуды. По дороге я часто принимала дисприн, пила теплую воду и раствор глюкозы, которые слуга моего отца Урс привез из Карачи.

К тому времени, как мы подъехали к Минар-и-Пакистан, начало садиться солнце. Тем сотням тысяч людей, проделавшим с нами путь, не нашлось на земле ни одного свободного сантиметра, чтобы устроиться. Мы сами еле-еле разместились. У меня не было охранников (их я наняла позже), которые помогли бы мне пройти через толпу. У Минара я спустилась, окруженная четырьмя или пятью друзьями, помогавшими сдерживать натиск толпы.

Люди не хотели мне навредить, но возбуждение в этот момент достигло апогея. Толпа рвалась ко мне, толкая и теребя, пытаясь прорвать мое окружение. Я думала, что мы умрем прямо здесь, задохнемся или же нас раздавят. Казалось, что многие просто сошли с ума, включая и местного партийного лидера, который набрасывался на кордон моих друзей. Мне пришлось хорошенько его оттолкнуть. Кое-как мы добрались до сцены, на которой, упав в обморок от изнеможения, лежал президент пенджабской ПНП.

— Вероятно, нам придется обсудить вопрос об обеспечении безопасности, — сказала я, обходя его.

Какой вид открылся мне, когда я взглянула на парк Икбал. Напротив — красный песчаник мечети Бадшахи, одной из крупнейших в мире, мерцал, будто объятый огнем в лучах заходящего солнца. Справа неясно вырисовывался Лахорский форт, крепость Великих Моголов, в подземельях которой были замучены и убиты многие наши сторонники. И повсюду, со всех сторон, люди приветствовали меня, вернувшуюся домой.

— Кое-кто советует мне оставить политику, — выкрикнула я на урду. — Предупреждают, что меня может постигнуть участь отца и брата. Некоторые говорят, что политическая арена Пакистана — не для женщин. Вот мой ответ всем им: сторонники ПНП защитят меня от опасности. Я добровольно ступила на тропу терний и вышла в долину смерти.

Громкоговорители не работали, а поскольку народу собралось в десять раз больше, чем ожидалось, то никто

ничего не слышал. Но, словно по закону телепатии, люди замолкали, едва я поднимала руку.

— Здесь и теперь я клянусь, что пойду на любые жертвы, чтобы надежно защитить права человека, — выкрикивала я. — Вы хотите свободы? Вы хотите демократии? Вы хотите революции?

— Да! — каждый раз отзывалась ревом толпа, и три миллиона голосов звучали как один.

— Я вернулась, потому что хочу служить народу, а не искать мести, — сказала я. — Я не собираюсь мстить. У меня в сердце нет этого чувства. Я хочу построить Пакистан. Но сначала мы должны провести референдум. Вы хотите, чтобы Зия остался?

— Нет, — слышался рев.

— Вы хотите, чтобы Зия ушел?

— Да, — рев усилился.

— Значит, решение — Зия *джахве!* — выкрикнула я. — Зия должен уйти.

— *Джахве! Джахве! Джахве!* — выкрикивали миллионы голосов в темнеющее небо.

За весь день не было ни единого случая насилия. Не было ничего, кроме мирного вызова режиму. Толпа так хорошо реагировала, что многие почувствовали: режим можно просто свергнуть. Достаточно было одного слова, чтобы толпа разнесла здание ассамблеи Пенджаба, дома министров, Верховный суд Лахора, где судьи, отобранные Зией, приговорили моего отца к смерти. Но мы не хотели приходить к власти через кровопролитие. Мы стремились достигнуть демократии только путем мирных и законных выборов. Это режим пытался добиться своего путем насилия, а не мы. И той ночью они выступили снова.

Только я начала засыпать впервые за двое суток, как кто-то постучал в дверь моей спальни. Ради моей безопасности местные партийные работники назвали три адреса, по которым я могла остановиться. В одном из этих домов, принадлежащих семье Халид Ахмеда, где я после возвращения из Минар-и-Пакистан беседовала с иностранными журналистами, был только что произведен обыск каким-то армейским майором. Какое зловещее напоминание о том, что я снова в Пакистане Зии. Майор искал меня.

Азра Халид:

Я спала, когда меня разбудил один из слуг. Он был ранен после того, как в помещении для прислуги на него напали военные. Пятнадцать или шестнадцать человек

перелезли через ограду, огораживающую территорию, избили слуг и подошли к дому в поисках Беназир. Наша входная дверь была заперта, но они выбили ее, сбросили с окон цветочные горшки.

— Где Беназир? — размахивая пистолетом, спросил их предводитель, некий майор Кайюм. Один из слуг, который спал во дворе, подкрался и ударил его по голове крикетной клюшкой своего сына.

— Я офицер разведки, — закричал майор.

Я позвонила в полицию, хотя с тех пор, как к власти пришел Зия, стало абсолютно неизвестно, где друзья, а где враги. Как только подъехала полицейская машина, другие военные убежали. Полицейские арестовали майора Кайюм. У него в машине был ящик с пивом и виски — он хотел подбросить это к нам в дом. А в его записной книжке обнаружили телефоны многих верховных генералов и министров, находящихся у власти.

Майор Кайюм притворился сумасшедшим. Власти тоже сказали, что он сумасшедший и действовал сам, по своей инициативе. Но мы-то знали, что майор Кейим был абсолютно нормальным. Прием, оказанный Беназир в тот день в Лахоре, был настолько невероятным, что власти не посмели ее тронуть. Вместо этого они послали майора Кайюм, чтобы тот убил ее или хотя бы отпугнул от продолжения поездки. В тюрьме он пробыл очень короткое время. Когда он вернулся в свою деревню, то вскоре был застрелен без особых на то оснований. Мы считаем, что власти убрали его, чтобы не было свидетелей.

Гуджранвала. Файзалабад. Саргодха. Джелам. Равальпинди.

«Прием в Лахоре был исключением, — писали газеты. — Такого приема Беназир Бхутто не найдет в других городах».

Все оказалось не так. Мы начали нашу поездку по Пенджабу, выехав из Лахора в полдень 12 апреля с намерением добраться до Гуджранвалы к 5 часам. Но дорога, по которой двигался грузовик, была так запружена людьми, что до Гуджранвалы мы доехали только к 5 утра следующего дня.

— На митинге никого не будет, — сказала я. — Все пойдут домой спать.

Но собралось очень много народу. Люди прождали всю ночь.

— Мы должны постараться двигаться побыстрее, — сказала я нашим добровольным охранникам. Но это было невозможно. На дороге между Гуджранвалой и Файзалабадом было столько людей, что 80-километровый путь занял шестнадцать часов. Нас окружал эскорт грузовиков, автобусов, рикш и мотоциклов, которые заставляли встречные машины съезжать на обочину. Тысячи шли рядом с грузовиком всю ночь, как гигантский почетный караул. Я стояла на грузовике и приветствовала людей.

— Все дороги устилайте цветами и жемчужинами, потому что приехала Беназир, — пели люди. — О, Господи, верни те дни, когда бедняки жили счастливо!

И я и другие руководители ПНП почувствовали себя ничтожными перед этим.

— Дай нам смелости и мудрости, чтобы исполнить желания народа, — молились мы, сидя в еле движущемся грузовике.

Когда мы, наконец, добрались до окраин промышленного Файзалабада, над городом поднималось солнце. И снова мы опоздали на полдня на митинг, который проходил на стадионе, где я девять лет назад, очень волнуясь, произнесла свою первую речь. Опять я была уверена, что стадион будет полупустым. Но как только грузовик въехал в ворота, раздался рев сотен тысяч.

— *Каум ке такдир?* Беназир, Беназир! — Кто судьба народа? Беназир, Беназир!

Возбуждение не прошло и когда мы покидали стадион. Заводские рабочие не забыли партию, которая вернула им достоинство и гарантировала работу. И хотя многие владельцы заводов в Файзалабаде закрыли и даже заперли заводские ворота, чтобы рабочие не смогли выйти и поддержать ПНП, люди перелезали через ограду и присоединялись к нам.

Джелам — город, откуда в армию было набрано много мужчин. Равальпинди — город государственных служащих. Даже в этих городах, где люди были более предрасположены или проигнорировать, или выступить против вызова ПНП Зис, прием был очень теплый. Иностранные журналисты и группы телевидения с огромным удивлением снимали такое количество людей, чтобы показать своим соотечественникам. Мои же соотечественники не увидели ничего. Хотя военный режим был якобы отменен, власти запретили показывать меня по пакистанскому телевидению. Ни эта поездка, ни любое другое мое политическое выступление со времени возвращения в Пакистан не были показаны по телевидению.

Пресс-конференции. Выражение соболезнования. Партийные заседания. Я не знала, откуда берется энергия. Реакция людей на мое возвращение тонизировала, но бывали моменты, когда меня охватывала печаль. У меня перед глазами стояла картина, как тело Шаха лежит на ковре в Каннах, а своего отца я видела в камере смертников. Как мечтала я, чтобы они хоть на секунду могли вернуться и увидеть, что страдали не зря. Еще когда мы были детьми, нас учили, что любую цену, какой бы высокой она ни была, можно отдать во имя своей страны. Но наша семья заплатила слишком дорого.

Чтобы облегчить мои страдания, я попросила изменить дорогу, по которой мы поедem в Равальпинди, — мне не хотелось проезжать мимо Центральной тюрьмы Равальпинди, где умер мой отец. Но на трагедии и жертвы других я не могла закрыть глаза. В Гуджранвале я была на могиле Первеза Якуба, первого, кто принес себя в жертву, протестуя против смертного приговора моему отцу. В Равальпинди я позвонила семье одного из трех молодых людей, повешенных в августе 1984 года. Так много потерянных жизней, столько трагедий. Этому мальчику, как и другим, было всего шестнадцать, когда его арестовали, и девятнадцать, когда повесили.

— Взгляните на эти толпы, — сказала мне его мать. — Было время, когда люди боялись с нами разговаривать.

Мы двигались в сторону Пешавара и Пограничной провинции, и руководитель ПНП Пенджаба передал меня руководителю ПНП Пограничной провинции прямо на границе. Мы приехали ночью, и снова дороги были блокированы людьми. По приказу властей весь свет на улицах был выключен, чтобы никто не видел моего приезда, но люди зажигали факелы, чтобы осветить меня.

Начальник охраны был очень обеспокоен, потому что мы медленно двигались по узким улицам этого древнего торгового города, в часе езды от Хайберского перевала и Афганистана. В Пакистане было три миллиона афганских беженцев, которых поддерживал Зия, и многие из них жили в Пешаваре или около него. До нас дошли слухи, что власти собираются нанять афганского *муджахеддина*, чтобы убить меня. И хотя я не знала этого, начальник охраны попросил женщин, стоящих на грузовике, включая его собственную жену, теснее встать вокруг меня, чтобы я была не такой уж легкодоступной целью. Освещенная единственным лучом света на темных улицах, я, однако, была совершенно уязвимой. Но нападения не было.

— Приветствую храбрых пахтунцев, так, как это делал мой отец, — сказала я непрерывно хлопающим людям на стадионе, который освещался прожекторами, подключенными к генераторам. Единственной неудачей в Пешаваре было то, что один из помощников потерял записи с моей речью. А мне было очень важно снова выступить перед этой консервативной частью общества, чья угроза порвать с Пакистаном и сформировать независимое государство Пахтанистан была вполне реальной. Было также необходимо убедить главенствующих в патанском обществе мужчин, что ими может управлять женщина.

— Люди думают, что я слаба, потому что я женщина, — обратилась я к толпе, 99 процентов которой составляли мужчины. — Разве не знают они, что я мусульманка, а у мусульманских женщин такое прошлое, что им есть чем гордиться? У меня терпение Биби Хадиджи, супруги Пророка. Я настойчива, как Биби Зейнаб, сестра имама Хуссейна. И храбра, как Биби Айша, любимая жена Пророка, которая, сев на своего верблюда, повела мусульман в бой. Я дочь мученика Зульфикара Али Бхутто, сестра мученика Шах Наваз Хан Бхутто и ваша сестра. Я призываю моих противников выйти и сразиться со мной на поле демократических выборов.

Аплодисменты перешли в овации.

— Зия за, — крикнула я, сказав на пушту слово «уходить».

— *За! За!* — заревели люди мне в ответ.

На следующий день после обращения к Ассоциации адвокатов Пешавара мы вернулись в Пенджаб, чтобы через Лахор двигаться дальше — к Окаре, Пакпаттану и Вехари, где я отдала должное сотням рабочих, убитых восемь лет назад на текстильных фабриках. А после — домой в Синд и Карачи, где число собравшихся превысит толпу в Лахоре, потом в Кетту в Белуджистане и обратно в Синд, чтобы объехать Татту, Бадин, Хайдарабад и, наконец, Ларкану во время рамазана.

— *Марави малир джи*, Беназир, Беназир, — ревели толпы, называя меня именем героини синдских народных сказаний, которая отказалась покориться требованиям местного тирана. И хотя он запер ее в крепости, рассказывала легенда, ему не удалось сломить ее дух и любовь к народу.

В Ларкане было так жарко, что я на голову и на плечи под шарф положила кусочки льда, когда мы ехали из аэропорта на стадион, где десять месяцев назад люди

собрались на поминальную молитву в память о моем брате Шахе. Народу было так много, что нам пришлось поехать другой дорогой, чтобы добраться к стадиону до захода солнца. Я стояла все время на обжигающем солнце, сначала на джипе, открыв солнечный люк, затем на грузовике, попеременно посасывая то кусочек лимона, то соль. Руководитель ПНП Ларканы не выдержал жары.

— Господи, не дай мне упасть в обморок, — молилась я не переставая, потому что знала, что все мои враги очень хотели бы это увидеть. Но я не упала.

Слухи о том, что мне грозит смерть и что будут сорваны митинги, преследовали меня во время поездки по девятнадцати городам и особенно настойчивыми стали в Белуджистане, где мои охранники засекли трех афганских *муджахеддинов*, сидевших на корточках перед толпой и прятавших под одеждой автоматы. Но меня тревожило не оружие. Большинство мужчин в Белуджистане открыто носят пистолеты. Меня тревожило то, что это оружие было спрятано. Охранники не сказали мне тогда о подозрительных афганцах, а во время моей речи сели прямо перед ними, так, чтобы пули попали в них, а не в меня.

Я боялась, что у меня закружится голова, когда я буду стоять на вращающейся сцене, построенной специально для этого случая, чтобы каждый человек из этой громадной толпы мог меня увидеть. Но как только я взглянула на эту массу людей, многие из которых были бедными и очень худыми, я забыла свои опасения. Белуджистан был и остается нищей и отсталой провинцией; вожди племен сопротивляются всякому прогрессу, который ослабил бы их власть над людьми. До моего отца в Белуджистане были только грязные проселочные дороги, не было электричества, не хватало питьевой воды, с неорошаемой пустынной земли собирали плохой урожай. На протяжении поколений людей ждали одни только лишения.

Я была один раз в Белуджистане с моей мамой. Она встала в тени под деревом, когда ее окружили женщины и дети. Охранники пытались их прогнать, но она разрешила женщинам подойти. Они стали с удивлением трогать мамины волосы, такие гладкие и чистые, ведь у них волосы были грязные и в колтунах. Они не знали, что такое расческа. Правительство моего отца сделало многое, чтобы улучшить судьбу народа Белуджистана, в то время как вожди племен начали мятеж против правительства ПНП.

— Пакистанская народная партия считает, что процветание нации — это процветание народа, — обратилась я к

людям со своей медленно вращающейся сцены. — Если человеку гарантирована работа, если он может пользоваться услугами медицины, если дети его получают образование и живут в достатке, тогда процветает и страна. Не по закону Аллаха люди наши должны жить в нищете. Судьба нашей нации — не трущобы. Если у нас есть сила преобразить ее с помощью эффективного использования ресурсов страны, то тогда мы должны это сделать.

Люди в публике встали и начали хлопать, включая и трех афганцев в первом ряду. Мои охранники с облегчением вздохнули. Опасность миновала.

Но в другой части страны она дала о себе знать. 30 мая, менее чем через две недели после того, как я вернулась в Карачи, полиция ворвалась в молодежное общежитие в Хайдарабаде, устроила засаду и убила Факира Икбала Хисбани, президента Народной студенческой синдской федерации и нашего начальника охраны всей провинции. А его соратник и член ПНП Джахангир был во время нападения ранен и парализован — пули полицейских повредили ему позвоночник.

Я почувствовала, как кровь холодеет в жилах, когда рано утром меня разбудил Дост Мохаммед с известием об убийстве Икбала Хисбани. Снова черные траурные повязки, черные головные повязки, черные шарфы, черные флаги. Снова хороним молодого человека, которому я буквально доверяла свою жизнь. Еще один звонок с соболезнованиями матери, которая потеряла единственного сына. Она дала мне молитву, которую написала сыну вместо той, что он потерял в этой неразберихе во время моего приезда в Хайдарабат.

— Возьмите ее, — сказала мне его мать. — Это вам подарок от Икбала.

Я ношу эту молитву с собой в сумке. Скольким еще хорошим людям придется умереть от рук властей?

По всему Пакистану прошли мирные демонстрации с выражением протеста против убийства Икбала Хисбани. Но власти были нацелены на насилие. Во время одного митинга протеста член Провинциальной ассамблеи Зии выстрелил в толпу из автомата Калашникова. К счастью, никто не был убит, но это означало, что власти дали новую и опасную установку. Контролируйте ваши районы с помощью пуль. Управляйте ими с помощью ранений и смертей. Но держите в повиновении.

В течение нескольких недель убили еще двух членов ПНП: руководителя ПНП в Докри и партийного работника

Мохаммед Хана, которого застрелили в Тандо. В первом убийстве подозревался еще один член Провинциальной ассамблеи, а во втором — полицейский инспектор, использовавший для этого автоматическое оружие, которое обычно полиции не выдается.

— Один министр в кабинете Синда дал мне его, чтобы убивать собак ПНП, — инспектор сказал это в чайной, а местные жители слышали его слова.

Власти вооружали теперь мелких политиканов и других послушных людей, чтобы те выполняли за них грязную работу.

Мы шли на столкновение с властями. Мы знали это. И они это знали. Не было принято никаких политических решений, вся энергия режима была сосредоточена на действиях ПНП. Когда правительство в июне опубликовало свой бюджет, мы противопоставили ему народный бюджет. Когда они решили, что мы после окончания рамазана развернем в Синде движение, они объявили в провинции чрезвычайное положение. Но когда мы этого не сделали, они отложили введение чрезвычайного положения. Режим был выведен из равновесия, и настало время начать вторую фазу нашей кампании, чтобы заставить Зию провести осенью выборы.

5 июля, 1986.

Девятая годовщина переворота. Мы назвали ее «черным днем» и запланировали провести митинги во всех районных отделениях партии Пакистана — от Хунджабского перевала до Аравийского моря. Никто не знал, обладает ли политическая структура ПНП достаточной силой, чтобы скоординировать подобные одновременные демонстрации. С проведением «черного дня» мы хотели увидеть, достаточно ли организованы местные и региональные партийные работники, смогут ли они справиться с массовыми выступлениями протеста, которые мы наметили на осень, чтобы заставить власти провести выборы раньше. Для обеспечения эффективности осенних выступлений нам необходимо было набрать 100 тысяч «голубей демократии» — сторонников ПНП, которые могли бы пойти на арест за организацию голодовок и сидячих забастовок. Нужно было заранее разработать каждую деталь. По мере того, как 5 июля приближалось, я колесила по стране, чтобы помочь с организационными вопросами. И «черный день» прошел замечательно. В Карачи было 150 тысяч сторонников ПНП, больше 200 тысяч — в Лахоре.

14 августа — годовщина независимости Пакистана, следующая важная дата на календаре. Уязвленный поддержкой ПНП во время моей поездки по Пакистану, избранный Зией премьер-министр Мохаммед Хан Джунеджо объявил, что официальная партия Мусульманской лиги проведет 14 августа митинг у Минар-и-Пакистан в Лахоре. Как только Джунеджо объявил о своих намерениях, мы сразу же сообщили, что ПНП тоже проведет митинг в День независимости в Лахоре, зная, что к нам придет намного больше людей. Чтобы хоть как-то уменьшить их число, власти наняли все автобусы Пенджаба для перевозки своих собственных сторонников.

— Поезжайте на автобусах режима, — посоветовали мы членам ПНП. — Когда приедете в Лахор, перейдете на нашу сторону.

ДВД, со своей стороны, тоже присоединилось к драке. Со времени моего возвращения в Пакистан мы с лидерами ПНП вели переговоры с членами Движения за восстановление демократии, коалицией политических партий, сформированной незадолго до налета в 1981 году, которые снова дали неофициальное согласие на объединение сил, чтобы оказать давление на режим. 10 августа девять лидеров ДВД впервые за три года пришли в дом на Клифтон-Роуд, 70, чтобы скрепить наш договор. Один из лидеров появился, закутанный в белые одежды паломника. Власти остановили его в аэропорту, когда он собирался отправиться в Хадж.

С другой стороны, Зии в это время в стране не было, он ездил с государственными визитами. Боясь унижения, которое ожидало его на митинге в День независимости, он уехал 7 августа в Саудовскую Аравию, прихватив с собой всю семью. Один сторонник ПНП в аэропорту рассказал нам, что Зия вывез три контейнера с мебелью и золотом отделанный «роллс-ройс», подаренный когда-то ему как президенту главой одного арабского государства.

Снова настало время решительных действий. В конце нашей встречи мы с лидерами ДВД договорились организовать совместное выступление протеста в рамках закона и тем самым ускорить выборы. На следующий день ДВД объявило, что ПНП и другие оппозиционные группы проведут в День независимости совместные митинги в Карачи и Лахоре, и призвало Зию назначить выборы на 20 сентября. На этот раз не выдержали нервы у Джунеджо.

12 августа я встречалась с несколькими журналистами и партийными работниками, когда мне сообщили, что Джунеджо собирается выступить по радио и телевидению

с незапланированным сообщением. Мы слушали, как Джунеджо, упоминая о возможной «конфронтации» между Мусульманской лигой и оппозиционными партиями, объявил, что откладывает митинг Мусульманской лиги, назначенный на День независимости. Он призвал и оппозиционные партии отложить свои митинги. Но никакого административного приказа, запрещающего общественные митинги, отдано не было.

Меня не удивила попытка Джунеджо избежать позора, хотя чрезвычайно рассердило то, что он подстрекал нас к насилию. Власти постоянно пытались спровоцировать насилие во время наших митингов и шествий, в то время как мы решительно выступали за проведение изменений мирным путем и политическими средствами. Мои добровольные охранники даже не имели при себе оружия. Но премьеру Зии нужно было придумать какой-нибудь предлог, чтобы свернуть все политические выступления в Пакистане на целых восемь месяцев после того, как военное положение было якобы отменено. Он не мог рисковать и показать настоящее лицо режима. Джунеджо только что вернулся из Соединенных Штатов, где президент Рейган превозносил Пакистан за то, что он «делает огромные шаги на пути к демократии». Да и сам Джунеджо хвастался в интервью журналу «Тайм», что он решил проблемы в Пакистане отменой военного положения и переходом к демократии.

— Мы сделали это, — утверждал он. — И что же теперь осталось для выборов?

— Это для нас большая победа, — сказала я партийным работникам, которые собрались в моем кабинете и слушали, как Джунеджо сам отказался от собственного политического митинга. — Джунеджо утверждает, что он является демократическим премьер-министром, но где же его поддержка? Он отложил свой собственный митинг, потому что знал, что его обойдет ПНП. Власти покидают поле боя.

— Теперь нам вообще не нужно 14 августа проводить демонстрации, — сказал кто-то. — Мы и так уже выиграли.

— Нет, мы должны идти вперед, — предложил другой. — Почему бы нам не провести общественный митинг 15-го?

— 15-е — День независимости Индии.

— Значит, 16-го.

— Завтра я еду на митинг ПНП в Файзалабад, — сказала я им. — Потом решим.

С неофициальной встречи на Клифтон-Роуд, 70 я отправилась на чрезвычайную, созданную ДВД. Настроения там были очень разные. Лидеры ДВД были рассержены на меня уже за то, что я предложила лишь посоветоваться с остальными руководителями ПНП об изменении графика демонстраций.

— Вы плохо разбираетесь в политике, — сказали они. — Мы должны провести митинг в День независимости. Это самое подходящее время. Мы сейчас не можем отступать.

Я не соглашалась. Я знала, что ПНП не готова к решающему удару. Мы только что провели массовые демонстрации в «черный день», и не было ни времени, ни достаточной организации, чтобы так быстро подготовить людей к еще одному выступлению. А самое важное — то, что мы не стремились прямо противостоять властям, наша цель — организовать как можно больше политических демонстраций, чтобы за определенный период времени подорвать режим. Если забастовки и демонстрации парализуют режим, будет нанесен ущерб и торговле, и экономике, да и всей жизни в стране, что вызовет глубокое недовольство властями. А конфронтация с режимом сейчас будет непродуктивной. Возможно, арестуют руководителей партии. Могут быть арестованы и многие сторонники партии. И темп наступления остановится.

— Мы должны двигаться вперед, — сказали лидеры ДВД.

Я стояла на распутье. Или коалиция между ДВД и ПНП распадется, или же мне придется молча согласиться. Большинство приняло решение принять участие в демонстрации. Я единственная из девяти человек была против.

— Что ж, пойдём вперед, — сказала я неохотно. — Но, ради Аллаха, не объявляйте о своих планах сегодня вечером. По крайней мере, подождите до утра.

Мне необходимо было время, чтобы партийные лидеры могли уйти в подполье. Если всех нас арестуют, то из планов на осень ничего не выйдет. В любом случае ДВД сделает объявление.

13 августа, 1986.

Я еду в аэропорт, чтобы лететь, как было запланировано, на митинг ПНП в Файзалабад. У ворот меня встречает полиция.

— У нас приказ о недопущении вас в пределы Пенджаба, но если хотите, то можете ехать, — говорят они.

Они используют новую тактику, пытаясь спровоцировать меня, чтобы я поехала, несмотря на их приказ, и после смогут сказать, что я стала причиной беспорядков, а они пытались их предотвратить. Но я отказываюсь им подыгрывать. Наоборот, я быстро советуюсь с членами ПНП, которые приехали со мной в аэропорт. Я в полной уверенности, что, когда я приеду в дом на Клифтон-Роуд, 70, меня будет ждать полиция, и даю своим товарищам последние наставления, чтобы в случае моего ареста каждый из них координировал действия партийных активистов в разных районах страны.

Когда я возвращаюсь на Клифтон-Роуд, 70, полиции нет. Еще одна странность. Но индийское радио сообщает о моем аресте, и начинает звонить телефон. В Лиари — выступление против моего ареста. Люди, собравшиеся в аэропорту Файзалабада, чтобы встретить меня, избиты и разогнаны полицией при помощи слезоточивого газа. Достаточно перечислять «огромные шаги на пути к демократии».

Я продолжаю ждать полицию. Никто не появляется. Тем временем арестовывают каждого второго лидера ПНП и ДВД. Первый раз всех сажают в тюрьму, а я остаюсь на свободе. Я решаю, что режим хочет парализовать партию, не трогая меня, и таким образом избежать позора во всем мире — особенно в Соединенных Штатах, где осенью будет поставлен на голосование вопрос о предоставлении новой помощи Пакистану. Что касается меня, то я рассматриваю этот запрет выезда как возможность отложить открытую проверку сил ПНП и режима на то время, которое мы выберем сами.

На Клифтон-Роуд, 70 толпятся журналисты: Росс Мурро из журнала «Тайм», оператор телевидения Би-би-си, Энн Фадиман из журнала «Лайф», с которой я давно знакома по Рэдклиффу и которая приехала в Карачи с фотографом Мэри Эллен Марк, чтобы сделать материал о моем возвращении в Пакистан, Махмуд Хан и Хазур Шах, старые корреспонденты из «Джанг» и «Дон». К вечеру под арестом находится около тысячи руководителей и работников ДВД и ПНП. Но не я.

Приезжает журналист из пресс-клуба Карачи. Он только что услышал от одного из лидеров оппозиции, что митинг ДВД все еще назначен на завтра в Карачи и что я приму в нем участие. Я поражена. Никто не советовался со мной об изменении плана. Но новости расходятся. Вечером трижды в одной сводке новостей Би-би-си объявляет, что 14-го я отправляюсь в Карачи на митинг ДВД. Мне не

хочется, чтобы режим или ДВД поставили меня в провокационную ситуацию. Но что делать? Если я сейчас не поеду, оппозиция может заявить, что меня покинуло присутствие духа.

Я передаю записку нескольким партийным работникам невысокого ранга, чтобы они собрали всех, кому удалось избежать ареста, и попросили, чтобы они приехали утром на Клифтон-Роуд, 70, чтобы мы все вместе могли отправиться на митинг.

14 августа, День независимости Пакистана.

— *Джийе Бхутто! Беназир — моя сестра, Беназир — твоя сестра!*

Проснувшись утром, я услышала, как за стенами дома на Клифтон-Роуд, 70 скандируют политические лозунги. Перед воротами столпились тысячи моих сторонников, поднятые по тревоге другими членами партии и сообщениями Би-би-си из-за моего появления на митинге ДВД. Приходит сообщение, из которого становится ясно, почему я еще не арестована. Не зная, какое решение принять, власти послали телекс Зие в Саудовскую Аравию, советуясь, что со мной делать. Ответ пришел только в 9 часов утра по пакистанскому времени. «Арестуйте ее», — приказал Зия. Но к этому времени полиция уже не осмелилась это сделать.

«А, все ваши сторонники у Клифтон-Роуд, 70? Да они бы линчевали меня», — позже признался мне один полицейский. Полицейские не решались открывать огонь по толпе и разгонять людей. Район Клифтон-Роуд — это место, где живут дипломаты, и полиция не хотела, чтобы разъяренные толпы выместили свой гнев, поджигая в округе посольства.

Полиция не знала, где я нахожусь. Моя подруга Путчи ночевала в доме на Клифтон-Роуд, 70. Рано утром она уехала в машине, и агенты никак не могли решить, я это или нет. Строили предположения, что я тайком выехала в Файзалабад, несмотря на запрет властей. Им даже в голову не пришло, что я нахожусь в доме.

Однако скоро они об этом узнают.

— Во сколько вы поедете? — звонит мне представитель ДВД.

— Мы отправимся в 2 часа, — отвечаю я. Вскоре после этого я получаю сообщение, что полиция придет меня арестовывать в 2 часа дня, хотя для этого нет никаких оснований. Министр внутренних дел не объявлял о запрещении митинга.

Собираются журналисты, и мы решаем ехать в час дня. Я с сожалением вспоминаю, как в Гарварде время от времени читала раздел в «Лайф», который называется «"Лайф" идет в кино». А теперь «Лайф» идет на конфронтацию с пакистанской полицией и станет свидетелем моего несомненного ареста. Я беспокоюсь за Энн Фадиман. Росс Мунро, глава бюро «Тайм» в Нью-Дели, привык к политике на субконтиненте. Никто не знает, что случится, когда мы уедем из дома на Клифтон-Роуд, 70.

— *Киль хувва Аллаху Ахад.* — Скажи: «Он — Аллах — един», — прочитала я слова Корана, написанные над дверями дома. Энн Фадиман, Росс Мунро, оператор телевидения Би-би-си, несколько членов ПНП и моя подруга Путчи сели в джип. Я сажусь в свою собственную машину, обклеенную плакатами с политическими лозунгами, снабженную громкоговорителем, кассетами с песнями ПНП и флагами ПНП на капоте. Со мной едет Самия, некоторые партийные работники и фотограф Мэри Эллен Марк. Как только открываются ворота, я встаю на заднее сиденье, открыв солнечный люк.

— *Мараин ге, джейн ге, Беназир ко лахейн ге.* — Мы побьем их, мы умрем, но мы приведем Беназир, — на урду скандируют люди, столпившиеся около моего джипа. Мой почетный караул возрос до 5 тысяч.

Свист. Полиция выпускает первый заряд со слезоточивым газом, когда мы находимся рядом с больницей Мид-Ист, первый из 3 тысяч зарядов со слезоточивым газом, которые в этот день будут применены в Карачи, и 300 из них на одной только дороге в Клифтон. Следующее заграждение — у перекрестка, где полиция, чтобы меня арестовать, внедрилась в толпу. Полицейские стараются пробиться через толпу к джипу, забрасывая людей гранатами со слезоточивым газом. Кто-то запикивает меня в машину, закрывает люк, мы все давимся от кашля. Мы кладем в рот соль и лимоны и закрываем лица мокрыми полотенцами, которые взяли с собой. Я беспокоюсь о партерработниках ПНП и журналистах, которые едут в другой машине.

Энн Фадиман:

Мы ничего не могли рассмотреть из окон машины, настолько густыми были облака слезоточивого газа. Машина наполнялась газом, и мы попытались закрыть солнечный люк, но его заклинило. Когда мы наконец закрыли его, то люди стали карабкаться на джип, чтобы хотя бы

дотронуться до кого-нибудь из приближенных Беназир, и ситуация ухудшилась.

Росс уже подвергался воздействию слезоточивого газа до этого и знал, что делать. Мы наливали воду в ладони и промывали глаза, прикладывали мокрые носовые платки к глазам друг друга, но было действительно тяжело. Путчи, которая страдала астмой, к счастью, вышла из джипа, как только стали применять слезоточивый газ, и ушла домой. Но остальные мучились после этого неделями. Когда я пришла домой, доктору пришлось делать мне уколы, чтобы облегчить состояние от полученной «дозы глубокого вдыхания». Но мне еще повезло. Башир Рияз, как я узнала позже, проболел несколько месяцев.

Водители джипов, чтобы сбить с толку полицию, решили уехать с перекрестка двумя разными путями. Мы поехали по проселочным дорогам, чтобы попасть на митинг ДВД в Лиари, беднейший район Карачи и оплот ПНП. Но всякий раз, когда полиция засекает нашу кавалькаду, состоящую теперь уже из автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, она предупреждает по радио, и мы наталкиваемся на заграждение. Мы встречаемся с другим джипом и решаем ехать к могиле Мохаммеда Али Джинны. Но и там нас блокируют. Мы играем с полицией в смертельную игру. Мы едем в сторону Лиари, как вдруг у нас спускается шина. Нет времени подставлять домкрат, и вокруг быстро собираются люди, чтобы поддержать джип, пока заменяют колесо. Мы снова отъезжаем, а полиция тем временем приближается.

Росс Мурро:

Вокруг вереницы машин бурлила толпа по меньшей мере в 10 тысяч человек, когда мы подъехали к Чакивара-Чоук, просторной площади в Лиари. Беназир по крайней мере одержала символическую победу, добравшись до этого места и произнеся короткую речь.

— Вы все мои братья и сестры, — выкрикивала она на урду по своему громкоговорителю. — Зия должен уйти.

Этот День независимости окрашен горькой иронией, сказала она, поскольку у пакистанцев нет достаточно политической независимости, чтобы свободно выступать с демонстрациями. Она говорила, а в двухстах ярдах от нее поднимался дым от горящего автобуса.

Энн Фадиман:

Я не видела ни единого акта насилия, совершенного ПНП. Все насилие исходило от полиции, которая, чтобы

рассеять толпу, избивала людей. Молодые люди поднимали руки, чтобы отразить удары дубинок. Когда они увидели машину Беназир, то стали прижимать к стеклам свои окровавленные руки, показывая Беназир, что они готовы пожертвовать собой ради нее. Вдруг я увидела корреспондента Би-би-си в Карачи Икбала Джаффери, который бежал у края толпы.

— Там такое происходит! — крикнул он мне. — Я только что видел, как полицейский сбил с ног десятилетнего мальчика за то, что у него была наклейка ПНП. Когда полиция увидела Беназир, то применила в Лиари еще больше слезоточивого газа.

— Пригнись! Пригнись! — я слышу, как кто-то кричит. Меня затаскивают в джип в тот момент, когда снаряд со слезоточивым газом проносится рядом с моей головой. Это похоже на нападение на меня и мою мать на стадионе Каддафи. Полицейские используют снаряды со слезоточивым газом как оружие. Подъезжает все больше и больше полицейских машин.

— Мы не можем допустить, чтобы лидера партии арестовали на улице, — кричит один из активистов ПНП. Крик усиливается. — Остановить полицию! Остановить полицию!

Возводятся баррикады. Поджигаются шины и кучи мусора. Мы мчимся по окраинным улочкам Лиари, и у нас жжет глаза и горло от слезоточивого газа. Люди забрасывают камнями преследующие нас полицейские машины.

— Сюда! Сюда! — кричат люди, чтобы мы не заехали в тупик. Мы на какой-то момент отрываемся от полиции и останавливаем такси. Повсюду дым от костров, слезоточивый газ. Крики. Вой полицейских сирен. Мой джип трогается снова, Самия в моем шарфе сидит на переднем сиденье, чтобы увлечь за собой полицию. Наш таксист так напуган, что трогается с места с открытой дверью.

— Что за спешка? — спрашиваю я его.

Он гонит машину по узким улочкам, но не может оторваться от полицейского мотоцикла, преследующего нас. Я быстро советуюсь с лидерами ПНП, сидящими в машине. Нам необходимо провести пресс-конференцию, но где? Предлагаются различные места, но я в конце концов настаиваю на возвращении на Клифтон-Роуд, 70. И хотя я сразу же попаду в руки полиции, мне надо обратиться к журналистам именно в моем доме, и, если придется,

пусть меня арестуют там же. Но мотоцикл все еще едет за нами. Необходимо уйти от него.

— Поверните направо, — неожиданно говорю я водителю, когда мы проезжаем дорожку, ведущую к гостинице «Метрополь». Визжа тормозами, машина поворачивает, объезжает вокруг гостиницы и выезжает с другой стороны. Мотоцикла не видно.

Когда мы подъезжаем к Клифтон-Роуд, повсюду полицейские заграждения. Водитель в панике, собирается разворачиваться.

— Поезжайте прямо. И держите нормальную скорость, — говорю я. — Полицейские ищут не желтую «тойоту».

Беднягу всего трясет, когда мы проезжаем мимо полицейских заслонов. Мое лицо закрыто покрывалом Самии, и полиция не узнает меня. Мы ненадолго останавливаемся у дома одного партерботника, чтобы смыть слезоточивый газ.

— Сколько я вам должна? — спрашиваю я водителя, вынимая бумажник.

— Я не таксист. Это моя собственная машина, — говорит он, все еще дрожа.

— Вы не таксист? — удивляюсь я, не веря и вспоминая, как я им командовала.

— Нет. Я просто сторонник ПНП, — говорит он. Он отказывается взять у меня деньги и уезжает.

Когда мы приезжаем на Клифтон-Роуд, 70, журналисты уже там. В разгаре пресс-конференции мне передают, что приехала полиция.

— Впустите их, — говорю я. Трое полицейских робко входят в комнату под взглядами иностранных журналистов и вручают мне ордер на арест сроком на тридцать дней по обвинению в проведении нелегальных собраний. После того, как я собираю вещи и беру зубную щетку, меня везут в полицейский участок под многочисленным конвоем полицейских машин, сопровождаемых не меньшим числом автомобилей ПНП.

В полицейском участке я узнаю, что в Лахоре в День независимости было убито шесть человек и множество ранено. Вновь режим послал своих прихвостней, чтобы они сделали свое черное дело.

С людьми расправлялись члены парламента, стрелявшие в толпу из автоматов Калашникова. Против них никогда не выдвигали обвинений. Как я позже узнала от репортера «Дон» в Лахоре, не тронули и полицейских, которые ворва-

лись в приемное отделение больницы и избили прикованных к постелям раненых. И *маулеви*, который в мечети промывал глаза пострадавшим от слезоточивого газа, тоже не пощадили. Полиция атаковала мечеть и избила его.

Число жертв в Синде тоже велико: шестнадцать убитых и сотни раненых. Полиция нападала на мирных демонстрантов не только в Лиари, но и в сельской местности по всей провинции. В Пограничной провинции силы Зии атаковали демонстрантов. И это все за то, что мы приняли участие в мирных демонстрациях в годовщину образования независимого Пакистана.

Меня поместили в одиночную камеру в тюрьме Ландхи-Борсталь для подростков, которая находится на окраине Карачи. Полиция арестовала столько политических, что места в Центральной тюрьме Карачи для меня не нашлось. Выражение протеста по поводу моего ареста распространилось по всей стране, вызывая беспорядки посерьезнее тех, что были в 1983 году после образования ДВД. В Синде были сожжены полицейские участки, государственные учреждения и железнодорожные станции. В Лиари сторонники ПНП в течение недели воевали против полицейских винтовок и слезоточивого газа. Подавлять выступления полиции помогала армия. Пленки Мэри Эллен Марк, запечатлевшие мятеж, были конфискованы.

Англия и Германия незамедлительно выразили неодобрение по поводу крутых мер, принятых режимом. В Соединенных Штатах свою обеспокоенность выразили сенаторы Кеннеди и Пелл, а также конгрессмен Соларз, который особенно выступал в мою защиту.

— Если правительство продолжает задерживать лидеров оппозиции и отказывается в проведении мирных политических митингов, то друзья Пакистана в конгрессе окажутся в затруднении при решении вопроса о выделении дополнительных средств помощи США... в течение многих последующих месяцев, — предупредил Соларз, глава подкомитета палаты по делам Азии и Океании. Но администрация Рейгана поддерживала Зию и его «гражданского» премьер-министра Джунеджо.

— Он [Джунеджо] имел смелость осадить оппозицию и выдержать международную критику, — сказал один член государственного департамента.

Но Зия быстро сумел смягчить всякую критику со стороны важных американских конгрессменов, когда в конце августа вернулся из Мекки.

— Проблема не в мисс Бхутто, — заявил он корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Стивену Вайсману 26 августа. — Вызывают возражения ее излишние непрактичные амбиции и стремление захватить власть.

Мое дело должно было слушаться 10 сентября в Верховном суде Синда. Я находилась под арестом без предъявления обвинения. Митинг в День независимости был легальным. Законы я не преступала. И когда 9 сентября тысячи людей пошли от тюрьмы по направлению к зданию суда, где я должна была появиться на следующий день, власти уступили.

— У меня для вас сюрприз. Вы свободны, — сказал тюремный надзиратель, войдя в 9.30 вечера ко мне в камеру. Но это меня не удивило. Вещи я уже сложила и была готова идти.

На сессии ПНП, состоявшейся сразу после моего освобождения, эмоции накалились: решался вопрос, что делать дальше. Некоторые хотели, чтобы движение развивалось, стремясь отомстить тем самым за пролившуюся по вине режима кровь. В первый раз, отметили они, власти убили участников демонстраций ПНП в Пенджабе. Стремление свергнуть Зию никогда еще не достигало такой силы. Но мы не могли сломить его сейчас.

— Мы обещали добиться изменений политическими средствами, — спорила я, призывая к сдержанности. — Но власти прибегли к силе. Продолжение митингов означает большее кровопролитие, хаос, возможно, выйдут из-под контроля экстремисты. Давайте будем считать, что в августе мы морально победили, и станем придерживаться наших мирных обязательств.

Вскоре после встречи я совершила еще одну поездку по стране, выступая с новым призывом осторожного продвижения вперед.

К началу 1987 года я уже чувствовала уверенность. Мне всегда кажется, что новый год будет лучше, чем прошедший, а сейчас все признаки указывали на это. Впервые за шесть лет я была в Пакистане свободной. И после долгого запрета политической деятельности мы старались усилить влияние ПНП как политической организации. Мы начали прием в партию и за четыре месяца записали миллион человек — огромная цифра для Пакистана, где такой низкий уровень грамотности. Мы провели партийные выборы в Пенджабе — неслыханное событие на субконтиненте, — на которых проголосовало более четырехсот тысяч человек. Мы начали диалог с Мусульман-

ской лигой в парламенте и продолжали обращать внимание на нарушение властями прав человека.

Зия постоянно утверждал, что мы жаждем мести, особенно в своих обращениях к армии, где использовал эту тему, чтобы вселить страх перед возможным возвращением ПНП к власти. Но наша партия призывала не к мести, а к национальному возрождению. И все знали это.

Я призывала к тому, чтобы в Пакистане была профессиональная армия, не связанная с политикой. Я продолжала критиковать Зию за то, что он улаживает инциденты с Индией по поводу ледника Сиячен, где за последние три года Пакистан потерял уже более 1400 квадратных миль территории. Казалось, люди, к которым мы обращались, стали лучше слушать нас. Когда я в декабре поехала в Лалу-Музу, чтобы принести соболезнования семье активиста ПНП, убитого в День независимости, солдаты, находящиеся в той части страны, которая всегда была оплотом армии, махали нам, когда мы проезжали мимо, открыто выражая поддержку. Я опять слишком раздражала Зию.

— У нас есть информация, что власти планируют акцию против вас, — сказал мне сторонник ПНП, бывший армейский бригадир, когда я поехала в Ларкану на день рождения своего отца. — Мы хотим в Аль-Муртазе отработать действия по обеспечению вашей безопасности.

Тысячи людей пришли 5 января принять участие в праздновании дня рождения моего отца, все прошло очень гладко, и какой-то особой угрозы я не чувствовала.

— Охрана в Аль-Муртазе прекрасная, — убеждала я бригадира.

— Ее нужно провсерить, — настаивал он. Но я не тревожилась.

— Не стоит, бригадир, — сказала я.

Еще одно предостережение пришло из Равальпинди, другое — из Лахора.

— Режим часто прибегает к ложному покушению, — сказал мне один благожелательно расположенный член администрации. — «Убийца» подходит прямо к вам, а потом сообщает, что все очень просто, что любой может спокойно к вам приблизиться.

Я старалась не волноваться. И хотя смерть всегда ходила рядом со мной, я пыталась все же сосредоточиться на политических вопросах.

Предостережения росли вместе с просьбами сторонников партии усилить мою охрану. Один человек из Пограничной

провинции решил прислать мне шестерых мужчин, вооруженных автоматами Калашникова, но я отказалась. Мне никогда не нравилась идея демонстрации оружия, и я приказала своим добровольным охранникам ходить безоружными. Вскоре я начала сомневаться, было ли мое решение правильным.

В течение одной недели января 1987 года на двух близких мне людей были совершены нападения. В первом случае в Карачи выстрелили в моего охранника, загнав в тупик машину, на которой он ехал. И только благодаря тому, что его сопровождали вооруженные люди, которые смогли отразить нападение, Мунаввар Сухраварди остался жив. А лидеру ДВД Фазилю Раху не повезло. 11 января он был насмерть зарублен топором у себя в деревне. В это же время моему пресс-атташе и бывшему редактору «Амал» в Лондоне Баширу Риязу начинают звонить среди ночи, угрожая расправой. Было ли это предупреждением для меня со стороны властей?

— Свяжитесь с властями, — сказала я своему адвокату. — Передайте, что, если что-нибудь случится, вся ответственность ляжет на них. Мы предупреждаем их заранее.

Нападение было совершено 30 января. Я собиралась в Ларкану, но задержала отъезд из-за важной встречи. Обычно в Ларкану я езжу на джипе, но бронирую также билет на самолет в случае, если возникнет что-нибудь непредвиденное. И то, что я могла пользоваться разными путями, было для меня хорошей мерой предосторожности. Я часто бронировала на самолет места, которыми не пользовалась, иногда дважды заказывала билеты в города, куда не собиралась лететь, и все для того, чтобы держать в неведении агентов Зии. Часто скрывала свои планы даже от близких, чтобы не вышло случайной обмолвки.

— Биби-сахиба, уже поздно, — сказал мне около полудня один из работников. — Если вы хотите доехать до Ларканы засветло, вам надо выезжать.

— Поезжайте вперед, — сказала я Урсу. — У меня назначена встреча, и я подъеду позже.

Машины в Ларкану так и не приехали.

Встреча была в разгаре, когда вошел один из наших сотрудников и протянул мне записку. Я увидела всего два слова — «выстрелы» и «джип». Как раз в этот момент мы говорили о нападениях на мою охрану и убийстве лидера ДВД. Казалось, что это было просто запланировано.

— Извините, я на минутку, — сказала я гостям. — На мою машину только что было совершено нападение.

Я попросила быстро позвонить в полицию и моему адвокату и, взяв себя в руки, вернулась обратно.

История эта показалась еще более безобразной, когда в течение нескольких дней проявились факты. Две машины проезжали днем по дороге около Манджханда, как вдруг человек, стоявший на обочине, кому-то просигналил. Моментально возникло четверо других, которые открыли огонь по моему джипу. Но Урс быстро нажал на газ, и джип, который и так шел со скоростью 70 километров в час, пронесся сквозь град пуль. Когда люди, сидящие в машине, обернулись, те все еще стреляли в мою машину и остановили вторую. Охранников и сотрудников из второй машины увели.

Попытка хладнокровного убийства. И хотя власти утверждали, что это был обыкновенный дорожный разбой, я в это не верю. Это не было похоже на разбой. Нападение, которое произошло в сорока милях от района, где орудуют бандиты и дорожные грабители. Бандиты обычно нападают ночью, для того чтобы остановить машину и обобрать пассажиров, а не изрешетить их пулями.

Как только распространились слухи о попытке убийства, в стране начались волнения. Возмущение общественности было настолько сильным, что власти устроили грандиозное представление, послав самого генерального инспектора полиции для вызволения моих сотрудников. А тем временем появлялось все больше и больше информации. На месте нападения видели мужчину с приемно-передающей радиоустановкой приблизительно в то время, как джип выехал с Клифтон-Роуд, 70. Кто-то должен был передать по радио, что джип в пути. Они думали, что я нахожусь в джипе, не разглядев никого через затемненные стекла.

Я абсолютно не могу принять на веру утверждения властей, что бандиты предприняли это нападение по собственной инициативе. Обычно они останавливали несколько машин, а не одну, а машина, которая ехала впереди джипа, проскочила это место без приключений. Бандиты также посчитали бы позорным нападать на женщину. Нет. Это не была попытка ограбления.

Становились известны и другие случаи. Накануне ночью якобы к тайному прибежищу бандитов приблизилась машина, в которой о чем-то переговаривали с главарем.

— Завтра нам предстоит большая работа, — сказал главарь, когда машина отъехала. Ходили и другие слухи, по которым власти использовали угрозы, чтобы заставить бандитов делать за них грязную работу. Тем временем те,

кто похитил сотрудников ПНП, не требовали даже выкупа. Это не было простым похищением.

Людей отпустили несколько дней спустя так же внезапно, как и похитили. Слава Богу, они были целы и невредимы. Но то, что им пришлось нам рассказать, усилило подозрения относительно участия в этом деле властей.

— Мы сотрудники мисс Беназир, — сказали люди своим похитителям, которые уже видели мой джип с наклейками ПНП, флагами и громкоговорителем на крыше.

— А мы люди генерала Зии, — ответили похитители. Ни одного «бандита» в связи с этим делом арестовано не было.

Еще один вызов, брошенный властями, в обществе, где постоянно растет насилие. Власти вооружали *муджахеддинов*, студентов-фундаменталистов, сепаратистов и членов Мусульманской лиги. Чтобы постараться сохранить правдоподобие своего положения главы «гражданского» правительства, Зия сформировал частные армии, которые должны были расправляться с политической оппозицией. Еще не кончился январь 1987 года, военное положение отменено не было, зато одного активиста ПНП выпороли в тюрьме, а многие другие были застрелены. Мне становилось все труднее сдерживать молодых членов ПНП, чтобы сами они не стали на путь насилия.

Журнал «Саут», который издается в Лондоне, сообщил в февральской передовой статье, что ситуация в Пакистане быстро превращается в неуправляемую.

«Военные уже исчерпали свой запас доверия... — было написано в передовой. — Правительство теперь даже теряет свои административные функции. Институт правительства, армии, полицейских сил, судопроизводства, исполнительные органы — все это есть, но они кружатся, как жук в отдельности, только по своей орбите... Страна зажата в тиски напряженности, охвачена борьбой — фракционной, местнической и этнической. Закон и порядок фактически сломлены, и жизнь людей контролируют наркомафия и торговцы оружием».

Пакистан стоял на грани анархии. Зачем нужен внешний враг? Зия разрушал страну изнутри. Приближались обещанные в 1990 году национальные выборы. Но все меньше и меньше людей верило, что выборы будут проведены свободно и беспристрастно.

Печальным предвестием были выборы в местные органы, которые состоялись осенью 1987 года. 40 процентов канди-

датов, которые выступили против поддерживаемой режимом Мусульманской лиги, были избраны тайным голосованием в низовых организациях. Тем не менее государственные чиновники, боясь, что их вышвырнут на пенсию, отклоняли документы этих кандидатов. Незадолго перед тем, как назначить выборы, Зия провел закон, согласно которому правительства в провинциях имели право отзывать любого государственного служащего после десяти лет работы, то есть отрезок времени с начала переворота.

Итоги соревнования, если его вообще можно так называть, для оставшихся шестидесяти мест были в еще большей степени подтасованы режимом. Избирательные списки, которые, как мы знали, были поддельными, не только не исправлялись, но и совершенно не изменялись вплоть до даты выборов. В избирательных округах проводились всякого рода махинации — число избирателей варьировалось от 600 до 2600 человек, в зависимости от того, что обеспечит победу Мусульманской лиге, поддерживаемой режимом. Правила менялись постоянно. Последний день для отзыва кандидатов на выборы был назначен на 19 ноября. Затем этот срок был продлен до 25 ноября. Это давало администрации еще шесть дней для того, чтобы силой заставить кандидатов отказаться от участия в выборах и объявить, что не имеет оппозиции в данном округе.

Само голосование было также сфальсифицировано. Обычно избирательные участки организовывались в наиболее населенных деревнях и городах. Во время этих выборов власти в последнюю минуту заявили, что избирательные участки будут расположены в наименее заселенных районах и даже в домах членов Мусульманской лиги, куда люди и заходить-то боялись. В день выборов власти поменяли местоположение некоторых избирательных участков, не сообщив об этом оппозиции. Это привело к тому, что многие наши сторонники не смогли отдать нам свои голоса. Многим просто не удалось добраться до избирательных участков. За два дня до выборов избирательная комиссия реквизировала у сторонников ПНП машины и другие средства передвижения, чтобы обеспечить транспортом своих сотрудников. А машины, принадлежащие членам Мусульманской лиги, не тронули.

Но несмотря на грубейшую подтасовку результатов голосования, Мусульманская лига не всегда получала желаемый результат. В нашем избирательном округе Ларканы, в котором, кстати, жили и родственники Джунеджо, представите-

ли Мусульманской лиги заявляли, что Бхутто не смогут выиграть выборы даже в своем родном округе. И когда их попытка запугать и подкупить нашего кандидата, чтобы он отозвал свою кандидатуру, провалилась, они урезали 600 голосов ПНП с жителей комплекса, созданного для бедных моим отцом.

И все же место мы выиграли.

За первым этапом выборов, на котором избирались члены совета, последовал второй этап, где члены совета голосовали за председателей округов и муниципалитетов. Но и результаты второго этапа выборов были также подтасованы. Если мы обладали большинством, власти через свой проверенный избирательный механизм дисквалифицировали наших членов совета, чтобы отдать «большинство» Мусульманской лиге. Когда они не справлялись с математическими упражнениями, то в любом случае меняли результат, как, например, во время второго этапа выборов в избирательном округе Ларканы, когда председателем был избран кандидат ПНП. После подсчета окружной комиссией, исполняющий обязанности члена избирательной комиссии, вышел из комнаты, а когда вернулся, то потребовал пересчета. Несколько бюллетеней оказались непостижимым образом «недействительными», и победившей была объявлена Мусульманская лига.

Когда советники — члены ПНП стали обвинять окружного комиссионера, тот извинился, сказав, что сделать ничего не мог.

В муниципалитете Шахадкот власти использовали другую тактику. Накануне выборов председателя муниципалитета два члена муниципалитета, состоявшие в ПНП, были похищены. Члены военизированной группировки «Магзи форс» врывались с угрозами в дома других членов муниципалитета.

— Если завтра кто-нибудь из вас выдвинет свою кандидатуру против кандидатуры Мусульманской лиги, вы тоже будете похищены, и Беназир вас не спасет, — говорили они. Запуганные члены муниципалитета не выдвигали своих кандидатур, и Мусульманская лига была объявлена победившей.

Власти раззвонили, что выборы в местные органы 1987 года дали им огромный перевес. Когда мы обвинили их в махинациях, они ответили: «Зелен виноград».

«Реальности меняются», — утверждал отец в ООН в 1971 году, когда Дакка уже была готова пасть под натиском индийской армии. Нацисты некогда были у ворот Москвы, отметил

он, Франция — под немецкой оккупацией, Китай — под оккупацией Японии, Эфиопия — под правлением фашистов. Но вместо того, чтобы смириться с такой «реальностью», народы этих стран отразили нападение и изменили ход истории. Его речь в Совете Безопасности произвела на меня, девятнадцатилетнюю студентку университета, глубочайшее воздействие и помогла мне пройти через все последующие годы тирании и преследований генерала Зии. «Реальности меняются», — слышу я иногда слова моего отца.

Мечты могут остаться мечтами или воплотиться в жизнь. Все, кто любит Пакистан, не могут не мечтать о великом будущем нашей страны и нашего народа. Но для того, чтобы осуществить эти мечты, необходимы решительные шаги. Ожидается, что население Пакистана к 2000 году возрастет со 100 до 155 миллионов человек. Целых 44 процента населения будет составлять молодежь до 15 лет. Из-за несостоятельной политики нынешнего режима невозможно будет обеспечить население даже минимальными услугами здравоохранения, а также жилищем и транспортом.

По скромным подсчетам, городское население Пакистана возрастет в 3 раза по сравнению с настоящим. Но даже теперь 85—90 процентов пакистанцев не имеют доступа к чистой, свежей воде. Сколько же людей живет в перенаселенных трущобах без водопровода и канализации. А в некоторых районах Белуджистана и Северо-Западной Пограничной провинции люди все еще живут в пещерах. Лишь 0,5 процента годового бюджета режима отводится на жилищное строительство.

Вместо того, чтобы заняться образованием людей, власти вообще не обращают на них внимания. Согласно одному из принятых в мире показателей уровня грамотности, 90 процентов пакистанцев неграмотны. По другому показателю (человек считается грамотным, если он может написать свое имя) — неграмотными в Пакистане остаются 73 процента. Только 45 процентов от пяти до десяти лет ходят в школу, и четверо из пяти от этого числа вынуждены оставлять школу до десятилетнего возраста из-за тяжелого материального положения семьи. Статистика не только шокирует, но и подавляет. Каждый год к населению Пакистана прибавляется по 1,5 миллиона неграмотных. При генерале Зие уровень грамотности скорее падает, чем повышается.

Наши национальные приоритеты смещены. При Зие расходы на оборону выросли более чем в 2 раза, учитывая

то, что военные расходы в Пакистане вообще выше, чем в любой другой стране Южной Азии. А наши расходы на образование, жилищное строительство и здравоохранение — среди самых низких. По данным Детского фонда ООН, около 600 тысячам из 4 миллионов детей, родившихся в Пакистане в 80-х годах, предназначено умереть до года и еще 750 тысячам — до пяти лет. Если сравнить эти цифры с таким же числом рождений в западных странах, в Пакистане ежегодно умирает на 700 тысяч детей больше. Тем не менее люди почти не имеют права голоса в выборе своего будущего.

Свободные и беспристрастные выборы. Мы все еще работаем, приближая день, когда в Пакистан вернется демократия. Мой отец посвятил этому свою жизнь — предоставил конституционное равенство богатым и бедным, мужчинам и женщинам, всем этническим группам и религиозным меньшинствам. Через образование и экономическое развитие он принес пользу всей стране и донес голос демократии до народа, жаждавшего ее. Он сполна заплатил за свою мечту.

«Тиранию, как и ад, нелегко победить; и все же у нас есть утешение — чем серьезней конфликт, тем восхитительнее триумф», — писал Томас Пэн в «Американском кризисе» в 1776 году. Мы прошли через ад военного режима и готовы противостоять любому угнетению, которое еще может нас ждать. Мы страдали и приносили жертвы, видели, как умирают члены наших семей, и выражали соболезнование детям и родителям других семей. Может, нам снова это предстоит. Но, пройдя через все это, мы сохранили огонь демократии. Ни одна победа не будет такой сладкой, как тот день, когда диктатор наконец будет побежден и мечта о демократии снова станет реальностью в Пакистане.

ЭПИЛОГ

ЗАМУЖ ИЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

29 июля 1987 года в моей личной жизни произошел крутой перелом — я дала согласие на брак по сватовству по настоянию семьи. Браком по сватовству мне пришлось заплатить за вынужденный выбор политической карьеры. Мое заметное положение в Пакистане исключало для меня возможность просто встретить человека, ближе с ним познакомиться и потом выйти за него замуж. Даже самые невинные отношения обязательно вызвали бы догадки и сплетни, которые и так всегда меня сопровождали.

На Востоке брак по сватовству скорее норма, чем исключение. Но мои родители женились по любви, поэтому я всегда верила, что настанет день, когда я полюблю и выйду замуж за человека, которого выберу сама. Тем не менее разговоры о моих планах на замужество начались, когда я была еще в Рэдклиффе. Моя семья относилась к числу родовитейших и известнейших в Пакистане, а в то время я была еще и дочерью премьер-министра.

Я училась в Америке в период расцвета феминистского движения, и тогда я была убеждена, что брак и карьера вполне совместимы, что одно не исключает другого. Я верила тогда, как верю и сейчас, что женщина может добиться всего: хорошей карьеры, удовлетворения от семейной жизни и радости материнства. Мне хотелось выйти замуж за человека, который занимался бы своими делами так же, как и я своими.

Военный переворот все изменил. И хотя предложения о замужестве поступали в первые несколько лет военного режима, я отказывалась в то время даже думать об этом. Как могла я думать о радостях счастливого замужества, когда отец в тюрьме и жизнь его в опасности?

После его гибели вопрос о замужестве вообще перестал меня интересовать. По обычаю, когда умирает видный член клана Бхутто, в семье в течение года не справляют свадьбу. Но я была так травмирована смертью отца, которого

считала необыкновенным человеком, что, когда в 1980 году мама снова завела речь о моем замужестве, я сказала «нет». Я решила подождать еще два года. И дело не только в том, что я хотела соблюсти собственный траур по отцу, я просто думать не могла о счастливом замужестве, когда меня так переполняло горе.

Когда мы были детьми, отец часто выдумывал истории о том, как мы будем заводить собственные семьи.

— Мне не хочется выдавать вас замуж, но, конечно же, вы выйдете, — говорил обычно отец мне и Санам. — Когда вы уже замужними дамами приедете погостить в родительский дом, и, если я увижу на ваших глазах хоть слезинку, если ваши голоса будут хоть немного грустными, я побью ваших мужей, побью их, а вас заберу домой.

Конечно, он нас дразнил, но разговоры о замужестве сразу напоминали мне о детстве и наполняли печалью. Я так и не примирилась со своей утратой.

Прошло два года, я была в тюрьме, о замужестве не могло быть и речи. Когда в 1984 году я оказалась в изгнании в Англии, эти разговоры возобновились, но и на этот раз я сказала маме «нет». Мои нервы никуда не годились, я была измучена годами, проведенными в одиночном заключении, я отвыкла от людей, с трудом общалась с ними — какое уж тут замужество. Разговоры, даже в кругу семьи, вызывали у меня сердцебиение. Я начинала задыхаться. Я вздрагивала от малейшего шума.

— Мне необходимо обрести душевное равновесие, прежде чем думать о семье, — сказала я маме. — Я должна немного успокоиться. Мне нужно время.

В течение года в Англии я постепенно стала приходить в себя. Однако хлопоты о моем замужестве так и не прекращались: и в нашей семье, и у наших друзей были разные кандидаты. Незадолго перед тем, как наша семья собралась в Каннах в июле 1985 года, мама и тетя Манна сообщили мне о предложении от семьи богатых землевладельцев Зардари, у которых был сын Асиф. Как я позже узнала, прежде чем передать предложение маме, тетя Манна осторожно разузнала все о возможном женихе: где учился Асиф (Военное училище Петаро, Лондонский центр экономических и политических исследований), чем занимается (торговля недвижимым имуществом, сельское хозяйство и семейная строительная фирма), чем увлекается (плавание, игра в сквош, конное поло — имеет собственную команду «четверка Зардари») и даже любит ли он читать!

— С Беназир, конечно, ему тягаться трудно, но читать он любит, — сказал отец Асифа Хаким Али, бывший член Национальной ассамблеи и нынешний вице-президент Национальной партии Авами, участник ДВД. Тетя Манна, давний друг семьи Асифа, хотела еще и лично познакомиться с женихом. Асиф был приглашен к ней домой и явно удовлетворил теткинны требования: стройный и элегантный, в костюме для поло, Асиф тете Манне понравился, и она связалась с мамой в Англии. Но тут произошла еще одна беда.

Не прошло и месяца, как был убит мой брат Шах Наваз. Трагедия потрясла нас всех. Я сказала маме и тете, что в течение года-двух и думать о замужестве не хочу. Я не спросила даже, как зовут этого Зардари.

Однако тетя Манна была полна решимости устроить наш брак. Когда я вернулась в Пакистан в апреле 1986 года, она продолжала настаивать, чтобы я подумала о сыне Зардари, наследнике настоящего княжества, населенного стотысячным племенем Зардари. Несколько столетий назад Зардари переселились из иранского Белуджистана и осели в синдском районе Навабшах, где Асиф теперь управлял поместьями семьи.

— Он очень мил. Твоего возраста. Из семьи землевладельцев. В их семье интересуются политикой. Были предложения от бизнесменов из Лахора и Пешавара, но мне кажется, что они тебе не подходят. Тебе лучше выйти замуж за человека из Синда, знающего местные обычаи и традиции...

Она все говорила и говорила, но меня это не интересовало. Впервые за девять лет я радовалась своей стране, свободе, возможности видеться с друзьями, ездить, работать.

— Дай мне хоть немного насладиться свободой, — говорила я ей.

Но тетя Манна не сдавалась. Не сказав мне ни слова, она подговорила мою двоюродную сестру Фахри пригласить Асифа на обед.

Это было в ноябре 1986 года, через семь месяцев после моего возвращения в Пакистан. Чтобы произвести на меня впечатление, тетка даже заставила Асифа вместо его обычной свободной белуджской одежды, которую он любит больше всего и может носить даже на улицах Лондона, надеть пиджак и галстук. Тетя Манна улучила момент, когда около меня осталось совсем мало людей, чтобы представить его. Имя Асиф ничего мне не

говорило. Я и представления не имела, кто он такой, единственное, что я помню, — мы сразу начали о чем-то спорить. Тетя Манна была очень обеспокоена тем, что он долго сидит возле меня и что это может стать поводом для сплетен. Она прислала за ним кого-то, а я вздохнула с облегчением. Я и так целыми днями вела политические споры, и мне совершенно не хотелось спорить еще и за обедом.

Я все чаще задумывалась над тем, какой же муж сможет выдержать образ жизни, который веду я. Когда я бывала дома, то политические встречи нередко заканчивались за полночь. Но дома я бывала редко. Я постоянно колесила по всему Пакистану. Какой муж смиритсЯ с тем, что мое время не принадлежит мне, и не будет претендовать на него? И вообще, существует ли мужчина, который мог бы отступить от традиций и свыкнуться с мыслью, что моим главным обязательством всегда будет обязательство перед народом Пакистана, а не перед мужем?

Меня беспокоило также и то, как воспримут мое замужество люди. Друзья говорили, что из-за того, что я молода, много лет провела в тюрьме, перенесла столько бед, народ считает меня почти святой. Жертвы, которые моя семья принесла во имя демократического Пакистана, то, что я лишена поддержки отца, матери и даже братьев, — все это дало повод людям считать себя моей родней. ПНП черпала силу в покровительственном отношении народа ко мне. Не изменится ли оно, если я выйду замуж?

С другой стороны, спорила я с собой, если я останусь одна, то в политическом плане это может сыграть против меня. Мы живем в обществе, ориентированном на мужчину. Если мужчина остается холостяком, то это никого не волнует. А незамужняя женщина вызывает подозрение.

— Почему вы не замужем? — часто задавали мне вопрос журналисты. Меня это раздражало, мне хотелось спросить, обратились бы они с таким вопросом к холостому мужчине, но я сдерживалась. Журналисты не привыкли иметь дело с одинокой женщиной в традиционных мусульманских обществах, поэтому необычные обстоятельства диктовали необычные вопросы.

В этом вопросе крылся и другой смысл, характерный для мужского взгляда на мир: раз женщина не замужем, то что-то в ней не так. Кто знает, будет ли она надежным лидером? Как она поведет себя в экстремальной ситуации?

На первом месте стояли не мои способности, не политические концепции, а тайная неуверенность в том, что одинокая женщина сможет возглавить государство: не окажется ли она истеричной, слишком напористой или слишком робкой. Тем более в мусульманской стране, где к браку относятся как к важной стороне жизни мужчины, а жизнь жены и детей считается чем-то вторичным.

Асиф Зардари. Асиф Зардари. Асиф Зардари. Прошло два года, но ни он, ни его семья не сдавались. В прошлом моя тактика в подобных случаях заключалась в том, что я тянула с ответом до тех пор, пока другая сторона либо теряла интерес, либо понимала, что не интересуюсь я. С Зардари это не вышло. В феврале 1987 года я отправилась в Лондон, чтобы принять участие в теледебатах по Афганистану. Неожиданно в это же время в Лондоне появилась мачеха Асифа, чтобы повидаться со своей старой школьной подругой, моей тетей Беджат.

— Асиф такой добрый, такой вежливый, такой благородный, — передала мне тетя Беджат ее слова. — Убеди Беназир повидаться с ним.

Тетя Манна присоединилась к семейному укору.

— Ты ему понравилась. Ты для него человек, а не просто образ. Он действительно хочет на тебе жениться.

Мама добавила со своей стороны:

— Мы знаем их семью, — сказала она. — Ему тридцать четыре, твой возраст. Он из Синда, знает все наши обычаи и правила. Он не какой-нибудь городской служащий без роду, без племени, который может собрать свои пожитки и отправиться куда угодно. Он из сельской местности, у него есть чувство долга перед своей семьей и кланом, поэтому ему будут понятны и твои обязательства.

Ее уговоры только усилили мой скепсис. Маме всегда нравились какие-то скучные люди. Она утверждала, что они самые преданные и заботливые мужья, а красавцев и весельчаков будут отбивать другие женщины и я не буду счастлива. Я-то знала, что с такими занудами мне будет скучно до слез.

Тетя Беджат умолила меня прийти к ней на чай, где будет и мачеха Асифа. Я отказалась. Даже эта встреча могла быть расценена как обязательство, и, хотя я уже свыкалась с мыслью о замужестве, реальность этого ввергала меня в ужас.

— Отложим все до июня, — умоляла я своих родственников. — Я еще не готова.

— Как можно выйти замуж за абсолютно незнакомого человека? — спросила я подругу в Лахоре, когда вернулась в Пакистан.

— Когда выйдешь замуж, будешь смотреть на него совершенно по-другому, — сказала она.

О том же я спросила другую подругу.

— Даже если ты никогда раньше его не видела, все равно начинаешь его любить, потому что он твой муж, — ответила она. — Знаешь поговорку: сначала свадьба, а потом любовь.

Я сама стала наводить справки об Асифе. От кого-то я узнала, что Асиф упал с пони во время игры в поло и будет теперь хромать до конца жизни. Это оказалось неправдой, но даже если бы это было так, то меня это не волновало. Хромота — не недостаток характера. Знакомый Асифа сказал, что Асиф слишком щедрый, всегда дает деньги друзьям, когда те оказываются в затруднительном положении. Мне нравилась щедрость. Другой общий знакомый, описывая сильную волю и преданность Асифа, привел пословицу на урду: «Он другу — друг, врагу — враг». Эта характеристика напомнила мне братьев и понравилась.

Несмотря на нечеловеческую загруженность, мне иногда бывало одиноко. Дом на Клифтон-Роуд, 70 очень большой и строился в расчете на несколько поколений Бхутто. Дом в Аль-Муртазе тоже большой. Но часто по ночам свет горел только в моей комнате. Кстати, я не знала, что будет с этими домами, — ни один из них не принадлежал мне. Мир, несомненно, женится снова и вернется в Пакистан при первой возможности. Кем я буду в доме моего брата и его новой жены? Я решила, что мне нужен собственный дом.

И мне нужна была своя семья. Моя сестра замужем, у нее ребенок. И у братьев дети. На месте нашей прежней семьи появились новые семьи. Куда меня забросит в этом водовороте новых семей? И я все время думала о смерти. До убийства Шаха я чувствовала, что у нас большая семья, но когда нас осталось всего трое, семья показалась мне очень маленькой. Остался один брат, и равновесие нарушилось. Я все больше и больше думала о собственных детях.

Я пообещала родственникам, что увижусь с Асифом в июне в Англии, но из-за встречи с группой парламентской оппозиции в Исламабаде поездка была отложена. Когда я вернулась из Исламабада в Карачи, то нашла написанную от руки записку от мачехи Асифа с просьбой разрешить ей зайти.

— Фахри, Фахри, что мне делать? — позвонила я своей двоюродной сестре.

— Встреться с ней, — посоветовала она. — Хочешь, я тоже приду? С ней и поговоришь о своих сомнениях.

— Для нас будет большой честью, если вы остановите свой выбор на Асифе, — сказала мне безупречно одетая выпускница Кембриджа, когда мы сидели в гостиной дома на Клифтон-Роуд, 70. — Брак откроет перед вами новую грань жизни.

Я удержала себя от замечания, что женщине совсем не обязательно выходить замуж, чтобы жизнь ее была многогранной, и начала излагать мачехе Асифа причины, по которым женитьба на мне станет для него не честью, а сплошным кошмаром.

— У меня непростая жизнь в политике, — сказала я ей. — Я не могу позволить себе роскошь спокойно ждать очередных выборов каждые пять лет. Для меня политика — это присяга на верность свободе, это смысл моей жизни. Как будет чувствовать себя мужчина, зная, что жизнь его жены принадлежит не ему?

— Дорогая моя, Асиф очень уверенный молодой человек. Он знает, на что идет, — сказала мне его мачеха. Но я ринулась дальше.

— Мне приходится много ездить, и я не всегда смогу брать с собой мужа.

— У Асифа свои дела, дорогая моя, он и не сможет всегда с вами ездить, — парировала она.

— Я слышала, он любит ходить по гостям и очень общителен, — сказала я. — У меня остается мало времени на личную жизнь, и я предпочитаю проводить время дома, в кругу немногих друзей.

— Это не проблема, — сказала она просто. — Когда мужчина женится, он с удовольствием проводит время дома с семьей.

Расхрабрившись, я глубоко вздохнула и заговорила о самом главном.

— Несмотря на обычаи, я не могу поселиться в доме мужа, — сказала я. — У меня постоянно бывают встречи — то днем, то поздно вечером, в доме всегда полно народу, который толчется и в гостиной, и в столовой. Мне необходимо жить отдельно.

Я ушам своим не поверила, услышав ее ответ:

— Я согласна, и Асиф тоже, — сказала она. — Матери Асифа и его сестрам тоже нужен покой.

Что же это за человек необыкновенный, подумала я. Я изменила график своей поездки, с тем чтобы встретиться с ним в Лондоне, вдали от спецмашин и всевидящих глаз режима Зии.

Слава Богу, что днем 22 июля 1987 года в Лондоне мои мысли занимали политические встречи. И только к вечеру у меня начало сосать под ложечкой, когда я поняла, что встречи с Асифом не избежать.

Тетя Манна, нервничая, пила свой кофе, когда в дверь квартиры моего кузена Тарика позвонили. Пришли Асиф и его мачеха. Устроившись в кресле в гостиной, я изо всех сил старалась выглядеть непринужденно, но чем ближе подходил Асиф, тем сильнее и сильнее билось мое сердце. Эти шаги были, наверное, мучительны и для него, хотя он держался уверенно. Шел вежливый разговор на общие темы. О браке никто и не упомянул.

За весь вечер мы с Асифом так и не поговорили наедине. Он был в очках, и я не разглядела даже выражения его глаз. Вечер, проведенный в его обществе, оставил меня равнодушной; никаких чувств не вызвала и дюжина роз, присланных им на другой день. Однако, признаюсь, что манго из магазина «Фортнум и Мейсон», равно как и мои любимые засахаренные каштаны, были восхитительны. Мне понравились и вишни, корзинку которых он передал Санни.

— Что ты решила, Розанчик? — спрашивали меня мама, тетя Беджат, тетя Манна в то утро, на следующее и еще на следующее.

— Не знаю, — ответила я.

Меня терзали сомнения. Я знала, что моим друзьям на Западе будет трудно понять своеобразные культурные и политические мотивы, которые подталкивали меня на брак по сватовству. Феминизм на Западе также очень отличается от того, который существует на Востоке, где главными остаются религиозные и семейные обязательства. И еще существовала личная сторона вопроса. Являясь лидером самой крупной оппозиционной партии Пакистана, я не могла-идти на возможный скандал — расторжение помолвки или даже развод, разве что в случае самых чрезвычайных обстоятельств. Мне предстояло решиться прожить всю жизнь с человеком, с которым познакомилась всего три дня назад и то в присутствии родственников.

Я представила его нескольким моим друзьям по Оксфорду. Он им понравился. Я познакомила его с моей пакистанской школьной подругой. Она нашла его обаятель-

ным и посоветовала выйти за него замуж. Асиф пригласил мою семью на обед, и мне пришлось сесть рядом с ним. Но «для защиты» с другой стороны я посадила свою племянницу Фатхи, которая говорила без умолку.

На следующий день мой кузен Тарик и Асиф поговорили по-мужски.

— Если ты женишься на Беназир, то будешь в центре внимания, — сказал ему Тарик. — Позволишь себе какую-нибудь мелочь, пусть даже засидеться с друзьями, — все отразится на ней.

Но Асиф покори́л и Тарика.

— Он понимает ситуацию, — уговаривал меня позже Тарик. — Он уже столько лет не отступает от тебя. Он знает, на что идет.

— Розанчик, ну что ты ему ответишь? — не унималась Ясмин.

Каждое утро Санни и мама бросались к моей постели и многозначительно смотрели на меня.

— Ну, в чем проблема? Почему ты так долго решаешь?

— Я еще не знаю.

На четвертый день после визита Зардари я повела Фатхи в Виндзорский парк, а Асиф пошел на матч по поло. Меня в руку укусила пчела. К обеду рука сильно опухла. На следующее утро еще больше.

— Я отвезу вас в больницу, — сказал Асиф, когда приехал ко мне.

Не обращая внимания на мои протесты, он вызвал такси, договорился с доктором и купил необходимые лекарства. Впервые наконец-то мною кто-то руководит, подумала я, кто-то обо мне заботится. Это было очень приятное и непривычное чувство.

На следующий вечер судьба вмешалась снова, когда мы никак не могли найти пакистанский ресторан. Мама, Санам, Асиф, я и наши пакистанские друзья набились в машину, чтобы поехать поужинать. Мы заблудились. Асиф не проявил ни раздражительности, ни нетерпения, все время веселил всех. Я отметила, что он обладает чувством юмора, находчив и, ко всему, заботлив.

— Ну, что ты ответишь, Розанчик? — спросила меня мама на следующее утро.

Я глубоко вздохнула.

— Мама, я согласна, — сказала я.

Мы обручились через семь дней после того, как я познакомилась с Асифом.

«Сознавая религиозные обязательства и долг перед семьей, я рада согласиться на предложение о замужестве, которое поддерживает моя мать Бегам Нусрат Бхутто, — было написано в моем заявлении для печати. — Предстоящий брак ни в коей мере не затронет мои политические обязательства... Народ Пакистана заслуживает лучшего, более надежного будущего, и я буду вместе с ним стремиться к этому».

Реакция в Пакистане была неоднозначной. Несмотря на мое заявление, агенты режима сразу же распустили слухи о том, что я оставляю политику. Организованные банды стали останавливать на дорогах автобусы и срывать плакаты с моим изображением, говоря при этом, что плакаты уже ничего не значат, раз Беназир выходит замуж.

— Почему флаг ПНП еще поднят? — поддразнивали партийных работников. — Беназир все бросила и покинула вас.

Опасения сторонников ПНП усугубило еще и фальшивое интервью, которое будто бы мать Асифа дала представителям прессы, контролируемой властями.

— Я собираюсь пригласить на свадьбу генерала Зию, — якобы сказала она.

Но многие в стране были рады, что я зажила нормальной жизнью. Народ праздновал мою помолвку, и в течение трех дней городские кондитерские продали все свои запасы.

— Десять лет мы были в трауре. Наконец-то мы сможем повеселиться, — говорили люди.

Радовалось и все племя Зардари: пятнадцать тысяч человек собрались приветствовать Асифа на землях Навабшаха. Они пели, танцевали и размахивали флагами ПНП.

Вернувшись в Пакистан, я стала ездить по стране, уверяя людей, что всегда была их сестрой и навсегда останусь их сестрой, что мое замужество никак не повлияет на мою политическую деятельность. Где бы я ни была, Асиф звонил мне каждый вечер, и мало-помалу благодаря телефонным разговорам я хорошо узнала его. Между нами было больше общего, чем я думала раньше. Семья пострадала от военного режима: отца Хакима Али решением военного суда лишили права заниматься политикой в течение семи лет, и урожай на его хайдарабадской ферме площадью в 1800 акров погиб из-за того, что власти перекрыли воду. Еще хуже стало после обручения, когда выплаты ссуд, полученных Хакимом Али на строительство,

были неожиданно прекращены национализированными банками.

— Вы делаете ошибку, — говорили Хакиму Али, когда о нашей помолвке стало известно. — Ваш единственный сын женится на Беназир, армия и бюрократия ополчатся против вас.

— Ну и пусть, — ответил Хаким Али. — Мне важнее счастье сына.

Я знала, что Асиф политикой не интересуется.

— Одного политика в семье вполне достаточно, — сказал он журналистам в Лондоне. Но как и многих в семьях с феодальным прошлым, его интересовали местные политические дела, и он выдвинул свою кандидатуру на выборах 1985 года. Однако позже по призыву ДВД бойкотировал их. Ему тоже досталось от военного режима.

Его забрали среди ночи из дома: военные утверждали, что он ездил с оружием, на которое не имел разрешения. Но, к счастью для Асифа, эта лживая история не убедила даже военный суд.

— Я провел в тюрьме всего двое суток. Но и этого мне хватило, — сказал Асиф одному моему другу. — Представляю себе, что вынесла Беназир.

Он подарил мне кольцо в форме сердечка из сапфиров и бриллиантов. Каждый день он присылал мне розы. Мы говорили и говорили. Нельзя сказать, что наш брак заключается между совершенно незнакомыми людьми, заявил он. Когда мы были подростками, он наблюдал за мной, как я входила и выходила из кинотеатра, принадлежавшего его отцу. И двадцать лет спустя именно у него самого, а не у его родителей возникла мысль жениться на мне.

— Если вы хотите, чтобы я женился, сделайте предложение Беназир, — сказал он пять лет назад своему отцу. И с тех пор терпеливо ждал.

— Вы в нее влюблены? — как-то спросил его журналист.

— А кто в нее не влюблен? — ответил он.

По-настоящему мы еще не любили друг друга; мама уверяла меня, что любовь придет позже. Однако между нами установилась духовная близость, сознание того, что мы целиком и навсегда признаем друг друга мужем и женой. И я поняла, что эта связь прочнее любви. И хотя, конечно же, я не хотела — и не хочу — выступать в защиту браков по сватовству, я понимаю, что есть что-то в отношениях, основанных на согласии. Мы шли к нашему браку без предубеждений и без особых ожиданий — только

добрая воля и уважение. От браков по любви, казалось мне, слишком многого ждут, но нередко эти ожидания не оправдываются. И еще неизбежен страх, что любовь может кончиться, а с ней и брак. Наша же любовь могла только крепнуть.

За неделю до нашей свадьбы, в декабре 1987 года, у дома на Клифтон-Роуд, 70 стали собираться люди. К воротам приносили подарки: простые, ручной работы *шальвар-камизы* из Синда, вышитые шарфы из Пенджаба, сладости, свадебные куклы, изображавшие Асифа и меня. Время от времени мои родственники выходили и танцевали вместе с народом. Женщины и дети приходили и рассаживались в саду.

По традиции будущая невеста должна неделю-другую до свадьбы находиться в уединении, одетой во все желтое и ненакрашенной, чтобы не привлекать дурного глаза. Но для этого обычая, который называется *майюн*, у меня не было времени. Я не могла на две недели прервать работу. Мы с Асифом не могли себе позволить и медовый месяц.

Мы порвали со многими традициями, стараясь подать пример всей стране. Наша свадьба должна была быть достойной, но скромной, в отличие от длительных, дорогих празднеств, которые устраивали многие семьи, считая это необходимым, хотя на них уходили все семейные сбережения и еще приходилось брать займы. По обычаю семья жениха дарила невесте двадцать один или пятьдесят один наряд, я потребовала всего два: один — для свадьбы, другой — для приема, который Зардари устраивали через два дня после свадьбы. Одежда невесты обычно целиком расшита золотой нитью и бисером, но я попросила, чтобы на моем наряде был вышит только верх или низ.

Дарить украшения — тоже часть традиции, и часто на невесте бывает надето по семь ожерелий — от короткого вокруг шеи до длинного, доходящего до самого пояса. Я попросила, чтобы Асиф подарил мне два простых украшения, одно я надела бы на свадьбу, другое — на прием. При моем образе жизни мне не нужны украшения. Сколько бриллиантовых ожерелий можно надеть, идя на работу?

— У тебя вся жизнь впереди, чтобы дарить мне драгоценности, — утешала я Асифа, который хотел подарить мне все. Я воздержалась даже от традиционных золотых браслетов, которые невесты обычно надевают на обе руки от запястья до локтя, решив надеть только несколько золотых, а остальные — стеклянные. Я хотела,

чтобы в народе говорили: если уж Беназир может надеть стеклянные браслеты, то и моя дочь тоже. И еще я решила не менять фамилию. Тридцать четыре года я была Беназир Бхутто и не собиралась быть никем другим.

«Прядь волос на лбу возлюбленного. Прядь волос на лбу возлюбленного. Несите, несите хну, хной окрасят руки возлюбленного». За три дня до обряда хны, 17 декабря, моя сестра, двоюродные братья и сестры, друзья собрались во флигеле на Клифтон-Роуд, 70, где мы устраиваем рабочие заседания и приемы, чтобы порепетировать перед дружеским состязанием в песне и танце с семьей жениха, которое полагается проводить во время обряда. Здесь были Самия, Сальма, Путчи и Амина, а также Ясмин, которая прилетела из Лондона. Каждый день из Лондона приезжали друзья: Конни Сейферт, которая много сделала, чтобы заставить Зию выпустить мою мать из Пакистана на лечение, Дэвид Соскинд, Кейт Грегори и другие друзья по Оксфорду, Виктория Шофилд, которой не выдавали визу до последнего момента. Энн Фадиман и моя университетская подруга Иоланда Кодержиски прилетели из Америки. На этот раз Энн собиралась делать материал о свадьбе для «Лайф».

— В 1986 году ты приехала, чтобы получить порцию слезоточивого газа, — со смехом говорила я Энн. — Хорошо, что теперь ты здесь, чтобы петь и танцевать.

Эта встреча была по-своему чудом, ведь отношения за годы тирании военного режима не только не были сломлены, но укрепились. Явились адвокаты моего отца, многие бывшие политические заключенные. Всех взволновало появление доктора Ниязи. Несмотря на серьезные обвинения, он приехал на мою свадьбу после шести лет ссылки. В Карачи он находился в сравнительной безопасности, но никто не знал, что ждет его, когда он вернется в Исламабад, чтобы попытаться возобновить свою практику. Все это интересовало мою мать, которая вникала во все подробности, как и положено матери невесты. Она не была в Пакистане с 1982 года, и неудивительно, что ее мучила бессонница.

В то время как родственники и друзья собирались в доме на Клифтон-Роуд, 70, тысячи людей шли по направлению к Лиари, в центр Карачи. У нас должно было быть две свадьбы: одна — дома, в присутствии семьи и друзей, а другая — среди народа в самом бедном районе Карачи, оплоте ПНП. Мы разослали на народный прием 15 тысяч приглашений семьям пострадавших от военного режима и

сторонникам ПНП, которые в годы военного положения сидели в тюрьмах. Прием должен был проводиться на Какри-Граунд, большом стадионе в Лиари, где когда-то мой отец первым из политических лидеров воззвал к массам, где во время демонстрации 14 августа 1986 года шесть человек было убито, а другие избиты полицией и разогнаны слезоточивым газом.

Вечером перед обрядом хны я потихоньку съездила в Лиари, закутавшись в покрывало, чтобы проверить, как идут приготовления. Члены профсоюза докеров и других профсоюзов уже почти закончили монтаж главной сцены в Какри-Граунд размером пятьдесят на сорок футов, сооруженной из дерева и стали. Были установлены генераторы, которые осветили бы стадион, если бы власти решили отключить электричество, и размещены двадцать мониторов с большими экранами для показа церемонии. По обе стороны покрытой коврами сцены стояли стулья для наших семей, над ними — навес, увитый жасмином, бархотками и розами. В центре — два кресла для Асифа и меня.

Сотни электрических гирлянд, красных и зеленых — цветов ПНП, а также белых украшали фасады пятиэтажных домов вокруг стадиона; прожектор освещал огромную картину, на которой был изображен мой отец, возложивший в благословении руку на мою голову. Мы ожидали, что в Какри-Граунд соберется сто тысяч человек. По меньшей мере десять тысяч уже устроились здесь на ночлег, ведь некоторым пришлось ехать или идти пешком из синдской глубинки. Они считали себя моими братьями и сестрами, а им приглашение не нужно. Они пришли на свадьбу в свою семью.

Бой барабанов и стук деревянных палочек. Пение женщин. Шумные поздравления родственников. 17 декабря на Клифтон-Роуд, 70 прибыли гости со стороны жениха. Родственники Асифа несли хну на блюде в форме павлина, украшенном павлиньими перьями. Когда гости проходили в сад, мои родственники надевали на каждого гирлянду из роз. Асиф шел в окружении своих сестер, которые держали над его головой большой платок. Я успокоилась, увидев, что он пришел пешком. Он грозился, что въедет на своем пони для поло.

На самом верху лестницы, ведущей во флигель, стояла скамейка, спинка которой была выложена перламутром и кусочками зеркала. Нас с Асифом усадили на нее. Я видела из-под покрывала свою семью и друзей, толпившихся по одну сторону покрытых ковром ступенек. По другую сторону

стояла семья Асифа. Не думаю, чтобы когда-нибудь на свадьбах исполняли такие песни, какие пела моя сторона. «Асиф должен смотреть за детьми, пока я провожу политические кампании, и не мешать мне садиться в тюрьму», — пели Ясмин, Санам, Лале и другие. «Ты должен согласиться с тем, что Беназир будет служить народу», — заливались они, а следом отвечали за Асифа: «Я готов, потому что буду служить народу, служа своей жене».

Человек двести гостей, наших ближайших друзей, хлопали и переговаривались, стоя под разноцветным тентом в саду, прежде чем подойти к накрытым столам. Я увидела слезы на мамином лице. Я не знала, плакала ли она от счастья или переживала из-за того, что иностранным фотографам непонятным образом удалось пройти мимо охраны и они теперь толпились вокруг меня и Асифа. Обряд хны считается семейным обрядом, но пресса так развоняла об этой двухдневной церемонии, называя ее свадьбой века на субконтиненте, что приехали журналисты из арабских стран, Германии, Франции, Индии, Соединенных Штатов и Англии, а также представители телеграфных агентств и, конечно же, местной прессы.

Когда мы на следующий вечер собрались в саду на *никах*, свадебный обряд, мне так хотелось, чтобы с нами был мой брат Мир. У него не было возможности приехать и на свадьбу Санам, так же как никто из нашей семьи не мог присутствовать на его свадьбе в Афганистане. Мир грозился пробраться на мою свадьбу в Пакистан тайком, невзирая на опасность ареста. Но мама запретила ему рисковать.

— Не иди так быстро. Ты не на общественный митинг опаздываешь, — прошептала мне Санны через покрывающую мое лицо розовую вуаль, когда они с мамой вели меня к свадебному помосту, установленному в саду.

— Невесты ходят степенно, — вторила ей тетя Беджат, держа надо мной Коран и стараясь при этом не отставать от меня.

Заняв свое место на свадебном помосте, я старалась с подобающей скромностью опускать глаза. Подошел, улыбаясь, мой родственник Шад.

— Что вы там так долго? — спросила я, не понимая, что происходит на мужской половине, где *маулеви* из нашей семейной мечети читал свадебные молитвы.

— Манзур? Ты согласна? — спросил меня Шад на синди. Я решила, что Шад спрашивает меня в шутку, готова ли я.

— Готова, — ответила я. — Но где же они все?

Но он только засмеялся и повторил свой вопрос еще дважды.

— Да, да, — снова ответила я. И прежде чем осознала это, я была уже замужней женщиной, так как по традиции три раза мужчине, родственнику, ответила «да».

Меня окружали семь предметов, начинающих на букву «с», а также блюда со сладостями, посеребренными и позолоченными орешками, посеребренные свечи в серебряных подсвечниках. Сад был украшен тысячами белых лампочек, свет от которых отражался в мишуре, увивавшей помост. Мои родственницы держали у меня над головой зеленую с золотом прозрачную шаль, когда Асиф занял свое место рядом. Мы оба посмотрели в зеркало, поставленное перед нами, и впервые увидели себя вместе, супругами. Сад наполнился радостными криками, когда мама и тети посыпали нам головы сахаром, чтобы жизнь была сладкой, а после соединили наши головы, что означало наш союз.

Той ночью тысячи людей толпились у дома на Клифтон-Роуд, 70, чтобы взглянуть на меня и Асифа, когда мы переходили в Клифтон-Гарденс, всего через квартал от дома, на семейный прием. Добровольные охранники из ПНП насилу сдерживали толпу, чтобы освободить проход для гостей. И когда через час мы поехали на народный прием в Лиари, улицы, по которым мы следовали, тоже были заполнены нашими сторонниками, а из джипов раздавались свадебные песни, которые неожиданно запели по всему Пакистану в честь нашей свадьбы. Гирляндами из лампочек, выкрашенных в цвета ПНП, были увешены здания по пути следования, на перекрестке, где год назад так много народа пострадало от слезоточивого газа.

Число людей в Какри-Граунд и на окрестных улицах превысило двести тысяч. Тогда впервые Асиф ощутил народную любовь и поддержку ПНП, но его беспокоило, что охранники расталкивали людей, чтобы освободить дорогу для нашего джипа. Спортивное поле было забито народом, на балконах зданий, которые окружали стадион, — ни одного свободного места. Несколько дней упаковывали женщины из ПНП свадебные сладости в коробки, чтобы раздавать людям в Лиари. Сорок тысяч коробок было роздано за час.

Джийе Бхутто! Джийе Бхутто! Звучала народная музыка. Люди танцевали, хлопали в ладоши. В небо взлетали воздушные шары, увлекающие за собой огненные ленты.

Ночное небо озарялось фейерверками, а на земле били фонтаны золотого и серебряного бенгальского огня. Я помахала толпе рукой. Мне замахали в ответ. Замужняя или одинокая, я все равно оставалась воплощением их надежд и чаяний.

Я уверена, что среди толпы в Лиари были и агенты Зии, надеявшиеся доложить ему, как снизилась моя популярность после замужества. Но надежды властей не оправдались.

— Теперь, пока у Беназир не пойдут дети, Зия не назначит выборов, — сказала в шутку Самия моим родственникам, когда мы вернулись в дом на Клифтон-Род, 70, чтобы поужинать. Все засмеялись. И хотя Асиф мечтал иметь большую семью, мы решили подождать. Нам нужно было привыкнуть к супружеской жизни и друг к другу. А мои политические приоритеты оставались неизменными.

«Сегодня, в связи с очень личным и торжественным для меня событием, я хочу снова подтвердить свою клятву, данную народу Пакистана, и снова торжественно обещать, что жизнь моя будет посвящена благоденствию каждого гражданина страны и освобождению нашего великого народа от тирании, — написала я в обращении к народу утром в день свадьбы. — Как и раньше, я готова идти ради этого на любые жертвы — большие или малые. Я буду трудиться бок о бок со своими братьями и сестрами — народом Пакистана, чтобы создать эгалитарное общество, свободное от тирании, коррупции и насилия. Это была моя цель вчера, это мечта, которой я делюсь с вами, это станет нашим твердым обязательством навсегда».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

29 мая 1988 года генерал Зия внезапно распустил парламент, отправил в отставку им же назначенного премьер-министра и объявил новые выборы. У меня была встреча с членами партии из Ларканы в доме на Клифтон-Роуд, 70, когда мне передали это неожиданное сообщение.

— Этого не может быть, — сказала я. — Генерал Зия избегает выборов. Он просто их не проводит.

И даже когда наш сотрудник заверил меня, что Зия в 7.15 выступил по радио и телевидению с этим заявлением, я никак не могла в это поверить.

— Наверное, вы спутали с какой-то другой страной, — сказала я.

Но поздравительные телефонные звонки, хлынувшие на Клифтон-Роуд, 70, и голоса журналистов у ворот подтвердили, что Зия сделал этот шаг. Некоторым показался подозрительным выбор времени. За четыре дня до этого одна карачинская газета сообщила, что я собираюсь стать матерью.

— Я же говорила, что стоит тебе обзавестись семьей, как Зия назначит выборы, — с победным видом сказала Самия после того, как я поговорила с журналистами. Не знаю, повлияло ли мое положение на сообщение Зии, но оно действительно последовало за информацией о том, что я жду ребенка. И хотя мы с Асифом хотели подождать с детьми, мы были в восторге от семейной новости. А теперь, после этого мелодраматического заявления Зии, 1988 год во многих отношениях обещал быть событийным.

Никто не знал о намерениях Зии, включая премьер-министра Джунеджо, который только что вернулся из поездки по Дальнему Востоку и в 6 часов проводил пресс-конференцию. Где-то через час помощник Джунеджо, который слышал выступление Зии, сообщил премьер-министру, что он уволен. Роспуск правительства объясняли четырьмя причинами: неспособностью правительства Джу-

недждо достаточно быстро ввести исламское законодательство; неквалифицированным расследованием причин сильнейшего взрыва на складе оружия боеприпасов в Одждри в апреле, в результате которого от ракет и бомб пострадало гражданское население; продолжающейся коррупцией в государственном аппарате и отсутствием порядка по всей стране.

И хотя я не питала особых симпатий к премьер-министру Зии, мне было неприятно, что его вышвырнули таким образом. Джунедждо верно служил Зие — безоговорочно подписал конституцию, провел все акции военного положения, утвердив Зию в качестве президента и начальника генштаба армии до 1990 года. Однако никто его не жалел.

— Валяешься с собаками, они тебя и кусают, — был один из резких откликов.

Несколько человек сказали мне, что лучшей эпитафией Джунедждо были бы слова: «свалившийся в историю и вывалившийся из нее».

Тем не менее заявление Зии вызвало ликование в стране. Его же собственная конституция предусматривала проведение выборов в течение девяноста дней после роспуска правительства, и многим казалось, что победа близка.

— Никто теперь не сможет остановить ПНП, — говорили сторонники партии.

Я безуспешно призывала к осмотрительности. Публично я дала условно положительную оценку обещанию провести выборы: «Если в течение девяноста дней будут проведены справедливые, свободные и беспристрастные выборы, основанные на участии всех партий, мы будем их приветствовать». Но в душе у меня были сомнения.

Свободные и честные выборы означали возвращение к власти ПНП и Бхутто. Зия уже объявил публично, что он «не вернет власть тем, у кого ее отнял». Если уж ему было трудно ужиться с Джунедждо, его собственной креатурой, как же он смирится с тем, что премьер-министром станет дочь человека, казненного им.

— Зия отозвал Джунедждо не для того, чтобы позволить ПНП захватить парламент, — пыталась я умерить энтузиазм наших ликующих сторонников. К сожалению, произошло неизбежное: последующие действия Зии подтвердили мои наихудшие предположения.

15 июня Зия объявил о введении *шариата*, исламского закона, как верховенствующего закона страны. Зия в своем выступлении по телевидению не уточнил, что имеется под

этим в виду, поэтому никто не знал, к чему это приведет. Значит ли это, что банкноты с портретом основателя Пакистана Мохаммеда Али Джинны будут изъяты, поскольку часть исламского духовенства считает изображение человеческого лица грехом? Значит ли это, что государственные ценные бумаги, по которым выплачивается определенный процент, будут объявлены формой ростовщичества? Никаких разъяснений не предлагалось. А свелось все это к тому, что теперь каждый гражданин мог объявить в Верховном суде любой существующий закон противоречащим исламу. И если суд посчитает, что закон противоречит исламу, судьи могут его отменить. Но почему, чтобы принять *шариат*, Зия ждал до 1988 года?

Многие считали, что очередная апелляция Зии к исламу была связана со мной. Пресса на урду предполагала, что Зия может использовать ортодоксальное толкование ислама, чтобы попытаться помешать мне как женщине выставить на выборах свою кандидатуру или же впоследствии лишить меня парламентских полномочий в Национальной ассамблее как лидера большинства. Но я сомневалась, удастся ли ему это. Конституция 1973 года, одобренная религиозными партиями страны, предоставляла женщине право стать главой правительства. Конституция Зии 1985 года подтверждала это право. Выбор Зии сужался.

Больше, чем когда бы то ни было, мы сомневались, что выборы будут справедливыми и беспристрастными. Тем не менее ПНП готовилась к выборам, хотя мы понятия не имели, разрешат ли политическим партиям выдвигать своих кандидатов и когда намечаются выборы. И хотя Зия объявил, что дата выборов будет названа после введения исламского законодательства, она оставалась неизвестной. Зия взялся за свои старые фокусы и избегал столкновения с ПНП на выборах. Но на этот раз мы не были безоружны.

В феврале мы обратились в Верховный суд, чтобы опротестовать статью конституции 1985 года об обязательной регистрации всех политических партий. По закону, принятому Зией, для участия в выборах все политические партии должны были представить назначенному администрацией председателю Избирательной комиссии всю документацию и списки функционеров. Председатель Избирательной комиссии, руководствуясь этой информацией, мог затем запретить любой политической партии участвовать в выборах на том основании, что деятельность партии идет вразрез с идеологией ислама, хотя определения этой идеологии никогда не давалось. Столь же невероятным мог

показаться и другой факт: председатель имел право отстранить сроком на четырнадцать лет любого функционера от участия в выборах и даже приговорить его к тюремному заключению сроком на семь лет!

Этот закон, открыто направленный на то, чтобы не допустить на выборы ПНП, не только был нарушением фундаментального гражданского права на свободу объединений, но и давал возможность человеку Зии произвольно решать, какая партия может участвовать в выборах, а какая нет. На наше счастье, Яхья Бахтияр, бывший генеральный прокурор Пакистана, который занимался апелляцией моего отца, согласился принять к рассмотрению дело в Верховном суде. Дело слушали одиннадцать судей — самый большой судейский состав за всю историю суда. Их единогласное решение, объявленное 20 июня 1988 года, означало моральную и юридическую победу народа Пакистана: статья о регистрации была отменена как «целиком недействительная».

«Парламентская система правления есть правление партии, что является основным принципом представительного правительства, — написал верховный судья в своем заключении. — Как минимум выборы представляют собой юридическое средство, обосновывающее право претендовать на власть. А система партий дает возможность создать правительство на основе результатов выборов в парламент». Соглашаясь с верховным судьей, другой член Верховного суда заметил:

— Лица, избранные в законодательные органы, в своем личном качестве не играют особой роли. Их, как правило, носит без руля и без ветрил. И только объединившись в группу, то есть став партией, они превращаются в силу, способную своей деятельностью оказать какое-либо влияние. Достичь своей цели они могут только как представители политической партии, а не в своем личном качестве.

Смысл решения Верховного суда, отменившего статью о регистрации, был ясен: ни одной партии, зарегистрированной или нет, нельзя запретить участвовать в выборах. Решение суда было однозначным: каждый гражданин страны имеет право участвовать в выборах через политическую партию по своему усмотрению. Выборы должны проходить на основе политических партий. Иного пути по конституции не было, даже по конституции Зии. Но Зия, как мы все знаем, не считал законы Пакистана обязательными для себя.

Я продолжала поездку по стране. Из Ларканы я поехала в Джейкобабад, где меня замечательно приняли, потом в Навабшах, где бывшие члены Мусульманской лиги объединились с ПНП. Когда я вернулась в Карачи, к нам присоединился еще ряд парламентариев — членов Мусульманской лиги. Ситуация складывалась в пользу ПНП, все больше людей, не желавших оставаться в стороне, вступало в партию. Потенциальные кандидаты стремились заручиться мощной поддержкой, которую обеспечивала эмблема ПНП на избирательном бюллетене.

Куда бы я ни приезжала, тысячи людей встречали меня, несмотря ни на изнуряющую жару, ни на муссонные дожди. В июле во время моего выступления в Лахоре народу было так много, что журналисты сравнивали толпы с теми, которые встречали меня, когда я возвратилась домой из эмиграции в 1986 году. Слава Богу, я чувствовала себя бодрой и полной энергии.

— Вы уверены, что вы в положении? — спросила меня докторша, когда я явилась к ней на осмотр. — Мы все думали, что это политическая уловка, чтобы заставить Зию провести выборы.

Я удивилась, когда узнала, что многие люди по всей стране верят этому.

— Меня все время спрашивают, как ты выдержишь такую нагрузку, если ты действительно в положении, — сердито сказала мне Фахри.

На карту было поставлено слишком много, чтобы отдыхать. Если Зия соблюдет свою собственную конституцию, выборы будут проведены к концу августа.

20 июня во время завтрака с послом Австрии на Клифтон-Роуд, 70 мне передали записку. Зия объявил, что выборы назначены на 16 ноября. Признавая, что по конституции выборы должны быть проведены в течение девяноста дней после роспуска Национальной ассамблеи, Зия объяснил, что отсрочка проведения выборов обусловлена наступлением муссонных дождей, *мухаррамом* — месяцем скорби для мусульман, а также наступлением месяца паломничества в Мекку. Напряженность, которая обычно возникает во время *мухаррама*, утверждал Зия, сделает проведение выборов невозможным, и если выборы будут проведены в этот период, то, продолжал Зия, девяносто тысяч пакистанских паломников будут лишены возможности голосовать. А дожди уже вызвали наводнение во многих районах страны. Я же чувствовала, что настоящая причина, по которой он отложил выборы, заключа-

лась в моем физическом состоянии. Зия не мог допустить, чтобы я участвовала в предвыборной кампании.

Как бы то ни было, дата была объявлена, и мы почувствовали облегчение — в известной степени: Зия уже нарушил конституцию, и не было никаких гарантий, что он снова не нарушит ее в ноябре и не отменит выборы. Не было известно также, собирается ли Зия проводить выборы на партийной основе или нет. Во всяком случае, все говорило о том, что в лагере Зии возникла паника. Следом за внезапным роспуском Национальной ассамблеи и отставкой премьер-министра Джунеджо распалась Мусульманская лига. Зие пришлось уговаривать вернуться тех самых министров, которых он сам обвинил в коррупции и некомпетентности, включая и им самим назначенного премьера, в попытке восстановить партию в связи с угрозой со стороны ПНП.

Стараясь поправить дело, Зия уже ввел во временное правительство девять членов кабинета Джунеджо. Из семнадцати членов нового кабинета, включая государственного министра, семеро были раньше сенаторами, а десять — членами Национальной ассамблеи. Зия даже публично извинился за то, что «были задеты чувства» бывших законодателей, обвиненных в распущенности и коррупции. Публичное извинение было и реверансом в сторону премьер-министра. Ирония судьбы — два месяца назад Зия выгнал Джунеджо, а теперь понял, что снова нуждается в нем.

Растущая сила ПНП привела в замешательство даже избирательные комиссии на местах. Когда я послала своего представителя за списком избирателей в комиссию в Ларкане, ему сказали прийти на следующий день. Но на следующий день и еще через день он получил тот же ответ.

— Почему вы тянете с этим вопросом? — спросил мой представитель.

Испуганный чиновник ответил:

— Мы послали в Исламабад телеграмму, чтобы получить разрешение. Но ответа до сих пор нет.

21 июля стало совершенно ясно, что Зия боится ПНП. Заявляя, что выборы на партийной основе противоречат духу ислама, так как люди чаще всего подчиняются партийным решениям, а не действуют по собственной воле, и поскольку эту точку зрения поддерживает большинство народа, Зия решил проводить выборы внепартийного типа, и кандидаты не имеют права использовать на избиратель-

ных бюллетенях партийные эмблемы. Это нововведение лишило бы подавляющее большинство населения возможности понять, за кого оно голосует. К тому же такого рода выборы способствовали бы победе влиятельных лиц, а не убежденных политических деятелей, которым победу могла бы обеспечить только поддержка партии.

В очередной раз Зия наплевал на конституцию и решения высшей судебной инстанции страны. Газетное сообщение от 31 июля прояснило суть дела. Оказалось, что незадолго до этого очередного антидемократического шага Зия собрал в Исламабаде секретарей всех четырех провинций и некоторых крупных чиновников, чтобы обсудить с ними, проводить ли выборы на партийной или непартийной основе. Газета сообщила, что главы правительств Белуджистана, Синда, Пенджаба и Северо-Западной Пограничной провинции заявили, что ввиду разногласий внутри Мусульманской лиги ПНП без труда одержит победу на выборах. Раскол в оппозиции, сказал лидер из Северо-Западной Пограничной провинции, «создаст Беназир Бхутто все условия, чтобы получить достаточное число мест и образовать единую группу большинства». Три дня спустя Зия объявил о проведении выборов на непартийной основе.

И снова мы обратились в суд. В начале августа мы подали петицию в Верховный суд, в которой опровергали правомочность решения Зии о выборах на непартийной основе. Но много ли нам даст победа в Верховном суде, если учесть, что Зия уже пренебрег предыдущим судебным решением? Зия как диктатор обладает громадной властью. Даже если Верховный суд, исходя из фундаментального гражданского права на свободу объединений, примет решение в нашу пользу, Зия может просто ввести чрезвычайное положение, тем самым аннулируя решение суда. Возможно, он уже готовится к этому. 4 августа, накануне мусульманского месяца скорби, в Пешаваре был убит шиитский лидер. Мы старались понять, стоял ли режим за этим убийством, может быть, рассчитывая вызвать напряженность, чтобы иметь предлог ввести чрезвычайное положение. Ходили слухи, что Зия, желая обеспечить себе победу, готовит новые избирательные законы, согласно которым победивший кандидат может быть лишен полномочий из-за того, что пользовался поддержкой политической партии. У нас есть информация, что закон вступит в силу в начале октября, и у противников Зии не останется времени опротестовать закон в суде до выборов. Зия —

диктатор, и он, конечно, будет всячески подтасовывать результаты непартийных выборов, и прибегая к запугиванию избирателей, и нагромождая все новые законы.

В середине сентября в Пакистан возвращается моя мама, чтобы принять участие в избирательной кампании и, возможно, самой бороться за место. При выборах на непартийной основе мы нуждаемся в каждой влиятельной и хорошо известной кандидатуре. Несмотря на неравные шансы, мы будем продолжать выступать против Зии мирными, демократическими средствами и только в рамках закона, что является основой любой цивилизованной страны. Пулями и слезоточивым газом можно вынудить народ замолчать, капитулировать, смириться со своей судьбой, но нельзя подчинить себе его душу. Зия знает, что ему никогда не завоевать сердце и поддержку народа, и потому главное в его правлении — террор и угрозы.

По мере того, как мы приближаемся к ноябрьским выборам, Пакистан выходит на распутье между демократией и тиранией. Народ Пакистана требует самоопределения. Голос народа — это Пакистанская народная партия. И Зия знает это. После одиннадцати с половиной лет правления Зия все еще может позволить себе провести свободные и честные выборы, опасаясь победы ПНП.

Как цветок не может расцвести в пустыне, так и политические партии не могут развиваться при тоталитарном режиме. Если политические партии сумели выжить и укрепиться, вопреки драконовским мерам против них, то это заслуга тех, кто жизнью пожертвовал во имя демократии, и заслуга пакистанского народа, который понимает, что может восстановить и отстоять свои права, только объединившись в национальную партию. Мы — совесть страны, ее будущее и надежда. Наш день, я знаю, придет.

*Карачи,
август, 1988*

СОДЕРЖАНИЕ

- Вместо введения 7
- Предисловие 18
- 1 Убийство отца 20

ГОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- 2 Тюрьма на дому 39
- 3 Размышления в Аль-Муртазе: глоток демократии 64
- 4 Размышления в Аль-Муртазе: задумчивые шпили Оксфорда 90
- 5 Размышления в Аль-Муртазе: государственная измена Зии уль-Хака 115
- 6 Размышления в Аль-Муртазе: убийство отца по приговору суда 138
- 7 Освобождение из Аль-Муртазы: демократия бросает вызов военному режиму 191
- 8 Одинокое заключение в тюрьме Суккура 204
- 9 В камере моей матери в Центральной тюрьме Карачи 240
- 10 Еще два года одиночества под домашним арестом 265

НАСТУПЛЕНИЕ НА ДИКТАТОРА

- 11 Годы изгнания 295
- 12 Смерть брата 328
- 13 Возвращение в Лахор и августовская резня 1986 года 358
- Эпилог 404
- Послесловие 421

Мемуары

**Беназир Бхутто
ДОЧЬ ВОСТОКА
Автобиография**

**В книге использованы
архивные фотодокументы**

Редактор О. А. Топалова

Оформление художника Ю. С. Саевича

Художественный редактор С. С. Водчиц

Технический редактор З. Д. Гусева

Корректор Л. Ф. Крылова

ИБ № 1718

Сдано в набор 14.11.90. Подписано в печать 1.04.91. Формат 84 × 108
1/32. Бумага кн. журнальная. Гарнитура «таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 22,68 + вкл. 1,68. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 25,15.
Тираж 19 000 экз. Заказ № 1399. Цена 3 руб. Изд. № 17-и/90.
качество иллюстраций обусловлено использованием
архивных фотографий.

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР,
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Бхутто Беназир
Б94 Дочь Востока: Автобиография: Пер. с англ. — М.:
Международ. отношения, 1991. — 432 с.

ISBN 5-7133-0405-1

Впервые на русском языке публикуется автобиография Беназир Бхутто — дочери бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, свергнутого и убитого генералом Зией уль-Хаком в 1979 году. Женщина — лидер оппозиционной партии в мусульманской стране — явление неординарное. Безмятежное детство, учеба в Гарварде и Оксфорде, возвращение в Пакистан, борьба за жизнь отца после военного переворота, смерть отца, борьба за восстановление демократии, годы заключения, освобождение и снова борьба — обо всем этом Б. Бхутто пишет в своей книге.

Для широкого круга читателей.

Б 0804000000-013
003 01 } 91 КБ-35-4-1990

ББК 66.4(5П)



«Вы люди, и у вас есть права» — с таким призывом обращался отец к народу, после того как он сложил с себя обязанности министра иностранных дел и основал ПНП в 1967 году.

Пока я осознавала, что такое демократия в колледже Рэдклифф, в Пакистане мой отец вел успешную кампанию за избрание его лидером прямым народным голосованием.





После переворота Зия ввел публичные порки, чтобы силой держать народ в повиновении.



Многие сторонники ПНП на себе испытали жестокость военного положения. Моей матери наложили двенадцать швов на рану на голове после того, как нас избила полиция во время крикетного матча в Лахоре.



Пока шёл издевательский процесс над моим отцом, я ездила по всему Пакистану, чтобы поднять дух народа. Мои братья, Шах и Мир, организовали в Лондоне международную кампанию за спасение жизни нашего отца.





«Мсть! Мсть!» — кричали люди, окружившие поезд, который увозил меня в Ларкану на могилу отца.



Я чувствовала, что часть меня умерла, когда я осыпала лепестками роз могилу отца.

Возвратившись в Карачи, я продолжала принимать скорбящих людей.



В сентябре 1981 года меня отпустили из Центральной тюрьмы Карачи по случаю свадьбы моей сестры Санам. •



На следующее утро полицейские вернули меня в тюрьму, где я провела в одиночном заключении более шести месяцев.



Я находилась под домашним арестом в Карачи в 1983 году, когда адвокаты потребовали отмены военного положения и проведения выборов



Когда женщины выступили с протестом против принятого Зией закона, который снижал ценность свидетельских показаний женщины наполовину по сравнению с мужчиной, полиция избила их и применила слезоточивый газ.



OFFICE OF THE CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR

PAKISTAN

Confirmation minute in respect of accused
Muhammad Ayub Malik, Abdul Nasir Baluch,
Muhammad Essa and Saif Ullah Khalid of
Karachi.

I do hereby confirm the sentence of death
awarded to -

- a. Accused Muhammad Ayub Malik s/o Ghulam
Sarwar Malik, Karachi.
- b. Accused Abdul Nasir Baluch s/o Wali
Muhammad Baluch, Karachi.
- c. Accused Muhammad Essa s/o Faiz Muhammad
Baluch, Karachi.
- d. Accused Saif Ullah Khalid alias Sain .
Khalid s/o Muhammad Ali Jauhar, Karachi.

Y. Zia, Ho

Rawalpindi.

General
(M. Lia-ul-Haq)

26 x 84

Генерал Зия утвердил смертные пригово-
ры четырем политическим узникам за
десять дней до того, как его марионеточ-
ный суд публично объявил об этом.



В Вашингтоне я поблагодарила Питера Гэлбрейта и сенатора Пелла за предпринятые ими усилия и помощь мне.

Спустя несколько часов после того, как моя сестра Санам сделала этот снимок, мой брат Шах умер в агонии.

•

Неизмеримо было наше горе, когда мы увезли Шаха домой, чтобы похоронить рядом с отцом на нашем семейном кладбище.





Возвращение в Пакистан: более миллиона людей собралось, чтобы приветствовать меня в апреле 1986 года в Лахоре. Когда я объезжала четыре провинции, мои сторонники осыпали наш джип лепестками роз. «Зия *джахве!*» — гремела толпа. — «Зия, убирайся вон!»



Вскоре после того, как президент Рейган одобрил успехи режима «на пути достижения демократии», вооруженные прихвостни Зии разогнали мирную демонстрацию по случаю Дня независимости Пакистана. Так же жестоко обошлась полиция и с теми, кто выступил с протестом против нападения на мой джип в январе 1987 года.



Мой брак с Асифом Зардари был «устроен» нашими семьями. 200 тысяч человек танцевали и поздравляли нас на народном приеме в Лиари.



3 р.

Беназир Бхутто

ДОЧЬ ВОСТОКА